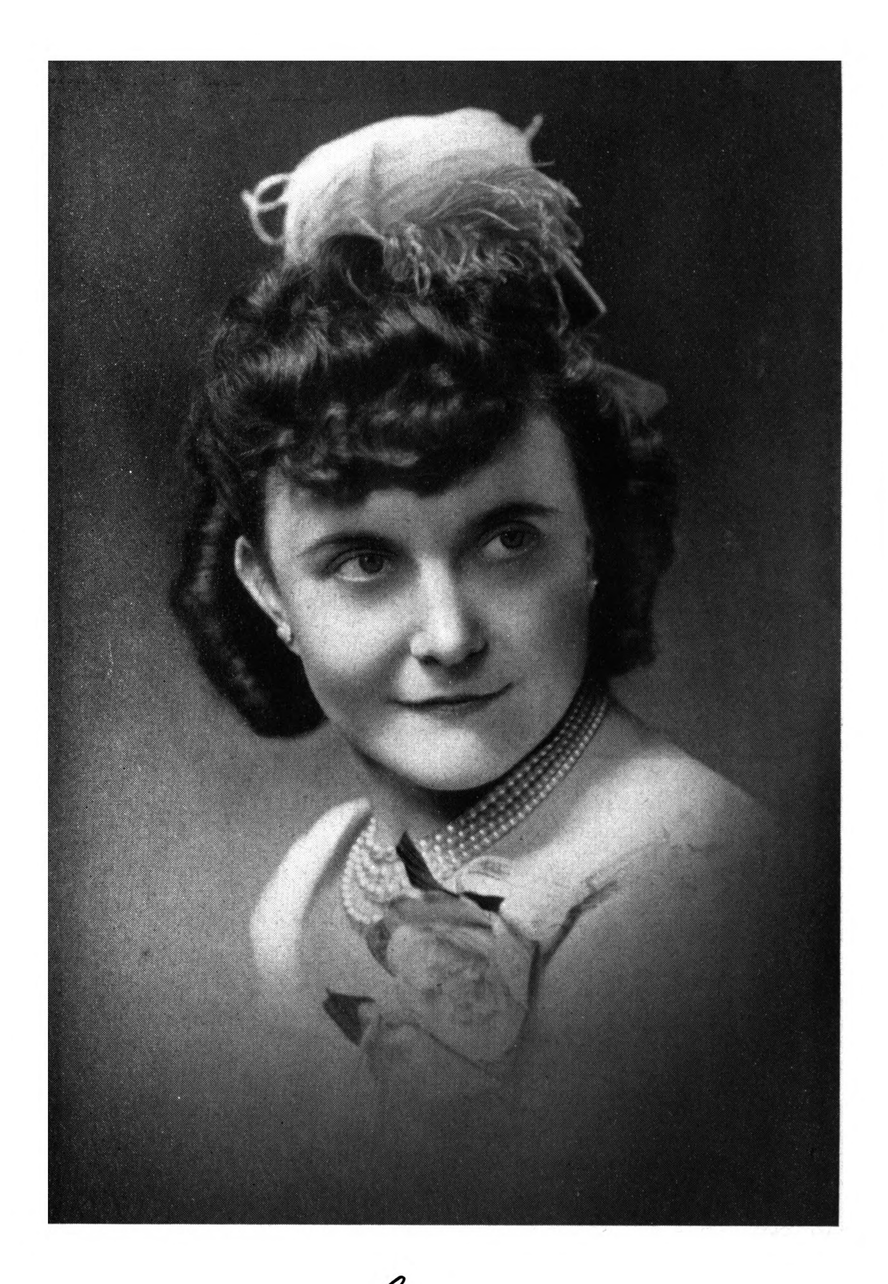
Е. ПЕЧАТКИНА

Перекати-Поле

Роман в 3-х частях



Е. Печаткина

Е. ПЕЧАТКИНА

Перекати-Поле

Роман в 3-х частях



Herstellung: Buchdruckerei Hieronymus Mühlberger, Augsburg

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ

*   *
*

С доверчиво раскрытыми широкими листьями, но на слабом, тонком стебле, Перекати-Поле очень чувствительно к непогоде. Ветер легко треплет его лопастые листья, пригибает к земле хрупкий стебелек, и Перекати-Поле быстро истощается в борьбе со злыми силами природы. А осенью, когда природа особенно злеет, оно и совсем не выдерживает испытаний судьбы, легко отрывается от слабого корня и против воли уносится ветром в беспредельность.

Гонимое ветром, оно несется вперед и вперед. подбирая на своем пути все, что только можно захватить, как будто цепляясь за всякую возможность, чтобы остановиться в своем движении и укрепиться на месте, но тщетно: легкое и слабое, оно уносится ветром дальше.

По дороге оно округляется, укатывается в шар и иногда весьма большим, но безвольным потерянным комом катится по просторам земли. Его когда-то широкие, как будто и рожденные для больших целей, листья давно уже смяты, и всецело подчинившись безотчетной силе, с разбитыми мечтами и неосуществленными надеждами, Перекати-Поле безыдейно и беспутно лишь несется туда, куда, его гонит судьба-ветер.

Подбирая на своем пути все, что только можно прихватить, Перекати-Поле состоит всецело из случайностей, и остановить его может тоже лишь только случай.

*   *
*

Часть первая

Выйдя из гимназии, Николай Петрович Ключевский полной грудью вдохнул морозный воздух.

Зима в Пореченске в этом году стояла ровная, мягкая, а после пятичасового пребывания в стенах гимназии было особенно приятно идти по чистому, свеже выпавшему снегу, самоуверенно хрустевшему под ногами.

Ключевский любил возвращаться домой пешком и, широко и мерно шагая, он в то же время машинально перебирал в голове разные мелочи дня. Фигуры гимназистов, одна за другой, вставали перед ним.

— Паганееву не зря поставил единицу: что заслужил, то и получил, — рассуждал он сам с собой: — пусть подтянется!

Тяжелая складка легла меж бровей Ключевского.

Несмотря на свою десятилетнюю педагогическую деятельность, он, как и в первые годы, близко принимал к сердцу все недоразумения с гимназистами, сейчас же начиная анализировать свои решения, чтобы, с одной стороны, не оказаться слишком строгим, а с другой, наоборот, не быть слишком мягким.

— Вполне справедливо и педагогично, — сделал заключение Ключевский, оправдывая сегодняшнюю свою строгость к Паганееву, — он — впечатлительный: на него это подействует надлежаще... Хорошо бы на ужин сосисок купить, — скакнула его мысль: отдаленный уголок его мозга, по привычке многих лет, знал, что сейчас Ключевский будет проходить мимо гастрономического магазина, в котором он всегда что-нибудь покупал для своего холостого, одинокого ужина.

— А, может быть, все-таки и не надо было единицы? — стал сомневаться Ключевский, открывая дверь в магазин: — Ать! — сейчас же с досадой крякнул он, отходя от магазина: — Чуть было в игрушечный не залетел. Гастрономический-то ведь рядом.

Ключевский уже попрежнему, было, широко и размеренно зашагал, как вдруг, заинтересованный, остановился у витрины игрушечного магазина.

Пестрые паяцы, расставив руки, лихо сидели верхом на качалках-лошадях из папье-маше. У кипы книжек-складней в воинственной позе застыли железные солдаты с бесформенными, на всю жизнь приделанными к подставке, ногами. Своими густо налитыми черной краской глазами они бесстрашно уставились на одного с ними роста неуклюжий поезд, который угрожающе остановился перед ними и, казалось, вот-вот свистнет и закружится мимо складных домиков, наверху которых удобно расселись всех возрастов и классов куклы. Бесцеремонно свесив на окна домов оборки своих топорщащихся юбок, они снисходительно улыбались своей застывшей кукольной улыбкой.

Но не красивая витрина привлекла внимание Ключевского: уткнувшись лицом в стекло, у окна стоял плохо одетый мальчик, лет шести, и оживленно разговаривал с немыми паяцами и куклами. Несмотря на явное с их стороны равнодушие, он так горячо говорил, что можно было подумать, будто минуту назад со стороны этого немого окна был сделан против него серьезный выпад. Он определенно с кем-то не соглашался, кого-то ругал, отстаивая свою точку зрения. Одновременно он отдавал распоряжения машинисту поезда и руководил маршировкой застывших солдат. Казалось, вся витрина была в его подчинении, и если там все и было в порядке, так только благодаря ему, маленькому оборвышу, мусолившему грязными руками зеркальное стекло витрины.

Мальчик настолько увлекся, что ничего не замечал вокруг себя.

Держа руки в карманах пальто и немного выпятив вперед грудь, Ключевский внимательно слушал болтовню ребенка. Строгое лицо словесника смягчилось улыбкой. Она светилась из его карих глаз, проступала из под коротко подстриженных рыжеватых усов.

— Иди назад, тебе я говорю! — тем временем кричал в стекло мальчик: — Эх, ты, невороченный чорт! — со взрослой серьезностью выругался он: — Поезд же идет! Поезд! Не видишь, что ли? Сюда заворачивай! Ишь, варначье племя! Сюда! — размахивал он руками и вдруг, зацепившись за собственные ноги, обутые в сильно поношенные, не по размеру большие ботинки, он плюхнулся на землю.

— Хм! . . . хм! . . . — не раскрывая рта, мягко засмеялся Ключевский.

Тут только мальчик заметил рядом с собой чужого мужчину. Падение в действительный мир было настолько для него неожиданным, что, даже забыв встать, он, упершись обеими руками в землю, некоторое время лишь испуганно смотрел на смеющегося господина в форменном, с золотыми пуговицами пальто.

Да, именно испуг был в его светлосерых, серьезных, глазах, ушастая, нахлобученная по самые брови шапка еще более усиливала впечатление определенного недружелюбия, которое проглядывало во всем его лице.

— Вот тебе и »варначье племя«, — сказал Ключевский, — не сумел все ж поезда-то повернуть! Хм! . . .

Вдруг, с быстротой дикого козленка, мальчик вскочил на ноги и бросился бежать.

Ключевский этого никак не ожидал и взмахнув руками, бросился за ним: расстаться с этим ребенком так быстро показалось ему прямо невозможным.

Мальчик был очень прыток и ловко нырял среди прохожих.

— Куда ты? Да куда же? Господи! Вот чудак! — кричал ему вдогонку Ключевский и, не заботясь о том, что останавливает на себе внимание, старый педагог, расталкивая прохожих, неуклюже бежал по улице за маленьким оборвышем.

— Аха-а! — наконец, с удовлетворением проговорил он, держа беглеца за шиворот: — Ты, зачем же от меня бежишь?

В глазах мальчика стоял теперь совершенно неприкрытый ужас, а все его тело затряслось мелкой дрожью.

— Карманник, вероятно, — подумал Ключевский.

— Ты у меня ничего не украл, — сказал он вслух, — я просто хочу с тобой познакомиться. Тебя как зовут?

Мальчик, тяжело дыша, молчал.

— Ты меня не бойся, я тебе ничего плохого не сделаю. Пойдем, я куплю тебе этого паяца на лошади. Хочешь?

Не выпуская из рук ворота мальчика, Ключевский повернул назад к игрушечному магазину.

— Хочешь паяца?

Слегка упираясь, мальчик недоверчиво косился и продолжал молчать.

— Наверно, хочешь? Впрочем, может быть, ты не знаешь, о ком я говорю: ты, называл его »Хромым«. Хочешь »Хро-

мого«? Ну, вот и пришли! Заходи, заходи, не бойся! Ключевский слегка подтолкнул упиравшегося мальчика: — Ты сам выбирай, что хочешь. Не знаешь, что выбрать? Ну, так остановимся на »Хромом«. Дайте мне вон этого паяца. Заворачивать не надо. Смотри, какой он! Да он вовсе и не хромой! Он просто двигает ногами и руками и может сделать так, что одна нога у него иногда делается короче другой. Только и всего! Видишь, какой он ловкий! — говорил Ключевский, дергая паяца за веревочку: — На, бери! Он — твой!

Мальчик нервно завертел руками, не зная, поддаться ли соблазну, беспомощно повертел головой в стороны, проглотил слюну и вдруг резко вырвал паяца из рук Ключевского и жадно уперся глазами в раскрашенное лицо куклы.

— Да у тебя, милый, руки-то совсем замерзли! Те-те-те! — сказал Ключевский, заметив посиневшие пальцы мальчика: — Нет ли у вас варежек? Ах, в другом отделении! Прекрасно. Синие? Очень хорошо: как раз к глазам. Надень-ка вот эти штуки, паренек! Смотри, вот здорово! Неправда ли?

Ключевский одобряюще похлопал по спине совсем озадаченного мальчика.

— Как видишь, я тебе правду говорил, что не собираюсь тебя бить.

Страх сменился полным недоумением в серьезных глазах мальчика, он смотрел на Ключевского, на варежки, на паяца и опять на Ключевского, как бы стараясь придти к какому-то выводу, но, повидимому, ему была задана непривычная психологическая задача, решить которую он не мог.

— Ну, пошли теперь сосиски покупать, — заявил Ключевский, выходя из игрушечного магазина.

Теперь мальчика не нужно было держать за шиворот — он добровольно шел за непонятным, странным дядей, но продолжал угрюмо хранить молчание, и если б Ключевский не был сам свидетелем его разговорчивости, то подумал бы, что мальчик нем.

— А я, все-таки, думаю, что ты мне скажешь, как тебя зовут. А?

Мальчик опять нервно повертел руками, перевернул паяца, осмотрев его с нижней стороны, но опять ничего не сказал.

Ключевский зашел в гастрономический магазин рядом

и вдруг увидел голодные детские глаза, жадно бегавшие по висевшим кругам колбас и разложенным на прилавке окорокам.

— А не съесть ли нам по бутерброду? А? И впрямь будет неплохо!

Он заказал три бутерброда. Взяв и сам в руки бутерброд, он смотрел, как жадно ел этот молчаливо голодающий ребенок.

Уминая второй бутерброд, мальчик вышел за Ключевским из магазина. Теперь Ключевский, не глядя, знал, что мальчик идет за ним. Он слышал его хлюпающие за собой шаги (верно, подошвы ботинок были порядком изношены и поэтому издавали такой звук) и слышал его торопливое чавканье.

Они уже прошли вместе два квартала. Молча, нога в ногу.

— Колей меня зовут, — неожиданно проговорил мальчик, как бы продолжая только что начатый разговор.

— Ах, вот как! Очень приятно! Тезка, значит. А. где же ты живешь, Коля?

— А вам зачем? — с проснувшимся недоверием покосился Коля.

— Да так ... Я, может быть, к тебе в гости хочу придти. Ха!

— Нельзя! — резко ответил тот.

— Почему же?

Коля молча пожал плечом, напряженно рассматривая раскрашенную маску своей новой игрушки.

— У тебя есть мама, папа? — продолжал расспрашивать Ключевский.

— Не ... Мать есть.

— А папы нет?

Коля серьезно посмотрел на Ключевского, как бы спрашивая: »что тебе нужно от меня?« — И ничего не ответил.

— Братья, сестры есть?

Коля, прижав к груди паяца, уперся глазами в свои новые синие варежки. Какие странные вопросы! И опять ничего не ответил.

— Ты часто ходишь к этому окошку играть в игрушки? — переменил тему Ключевский.

— Хожу ...

— Ну, мы будем с тобой тут встречаться. Неправда ли? Завтра увидимся? А? Мне сюда заворачивать надо, — я вон там живу, вон в том белом доме, — показал Ключевский.

Понурившись, Коля грустно посмотрел на белый дом в Никульском переулке, куда уйдет сейчас этот странный господин в широком пальто с блестящими пуговицами.

— Ну, до свидания, Коля, — протянул руку Ключевский.

Вместо руки, Коля протянул паяца.

— Нет, его мне не надо — он твой. Ты его себе оставь.

— А это? — тихо спросил мальчик, протягивая свои руки в теплых синих варежках.

— И варежки твои.

Совершенно озадаченный, Коля пытливо посмотрел на Ключевского недетски-грустными глазами. »Неужели все это правда, и ты меня не обманываешь?« — спрашивали эти глаза.

— Ну, так завтра, значит, увидимся, Коля! Там же, у витрины. До свидания, малец!

И ободряюще похлопав мальчика по худенькому плечу, Ключевский пошел к своему белому дому.

Коля проводил глазами его широкую фигуру, пока она совсем не скрылась за входной дверью с медной дощечкой, на которой было выведено имя, отчество и фамилия педагога, а потом, глубоко вздохнув, прижал к груди глупо улыбавшегося паяца и медленно побрел назад.

* * *

На другой день, возвращаясь из гимназии, Ключевский не нашел маленькой фигурки у игрушечного магазина на Большой улице. А он был так уверен, что опять увидит ее здесь. Он даже нарочно лишний раз прошелся по улице, но мальчика нигде не было.

»Надо было б вчера его к себе взять — мальчик плохо одет, голодный . . . Где он сейчас?«

Ключевский вернулся домой недовольный собой. И когда пожилая экономка принесла ему мягкие туфли, чтобы заменить ими штиблеты, он отмахнулся: — Не надо, . . . Я мало ходил сегодня.

И хмурый прошел к себе в кабинет.

* * *

А Коля, оставив Никульский переулок, где жил Ключевский, долго шел, заворачивал, пересекал разные улицы.

Какая-то бесцельность была в его походке, как будто он нарочно старался протянуть время.

Рукам было тепло и не нужно было теперь на них дуть или прятать за обшлага пальто. Ах, и хорошая же штука — варежки! Коля раза два снимал и опять надевал их. Осматривал изнанку и то, как это удачно придумано, что один палец был свободным от других, как будто специально для того, чтобы удобно было держать паяца.

»Паяц, — ухмыльнулся Коля новому слову. И в сотый раз дернул куклу за веревочку. Паяц ожил и начал жестикулировать и пританцовывать, причем можно было заставить его выделывать самые отчаянные па. Однажды паяц закинул ногу за шею. Это было так забавно, что Коля даже засмеялся, но сейчас же боязливо оглянулся: не слышал ли кто его и не дадут ли ему подзатыльника за его смех? Нет, прохожих в этой глухой улице почти не было.

Зимний день кончался. Некто в коротком черном полушубке ходил с длинной лестницей, останавливался у каждого фонаря, подносил волшебную палочку, и фонари вспыхивали.

Коля следил, как они загорались один за другим, смотрел вперед, стараясь предугадать, который фонарь сейчас зажжется, а потом оглядывался назад и смотрел на ряды уже зажженных и замечал, что чем дальше шли фонари, тем ближе становились они друг к другу, а самые далекие, насколько хватал глаз, даже сходились меж собой.

Коля щурил глаза, чтобы яснее отдаться перспективе, и ловил эффект света рядом с темнотой. Так интересно: все было темно, темно — и вдруг — светло!

Но вот и Косой переулок.

Коля замедлил шаги. Лицо его вытянулось и потеряло беззаботность, которой он заразился от паяца. Теперь улыбался только паяц, а Коля, со взрослой серьезностью нахмурив брови, стал пролезать под высокую подворотню иссине-серых покосившихся ворот и оказался в грязном дворе, заставленном со всех сторон флигелями.

Сняв варежки, он спрятал их вместе с паяцом под пальто и направился к флигелю повыше других, который был как будто даже на фундаменте и выдвигался во двор »покоем. В центре его было шесть одинаковых, близко одна к другой, дверей. Видно было, что строили этот флигель с большой экономией места, чтобы вышло как можно больше квартир. А то вдруг не хватит их на всех, кто желал бы поселиться в этом тесном антисанитарном дворе!

По двум другим сторонам флигеля были построены сараи для дров. Сараи стояли на срубах, и пустое место от

пола до земли было плотно обито досками. В одном месте была сделана в этих досках калиточка, через которую добирались до отдушин в подпольях. Зимой эти отдушины закладывались кирпичами и замазывались глиной, а летом, наоборот, открывались.

Коля, постояв некоторое время в раздумьи перед лестницей в квартиру, быстро нырнул в калиточку под сараем.

Нащупав в темноте подстилку из сена, он с облегчением уселся. Недовольная крыса выскочила из-под него, побежав искать себе приюта в другом углу. Коля даже не обратил на нее внимания — он привык к крысам и не боялся их. Да и вообще с животными он жил в мире — они не причиняли ему зла. Вот люди — другое дело: с ними всегда надо быть настороже!

Оставшись один на один с паяцом, Коля ласково прижал его к груди. За несколько часов обладания им Коля очень полюбил этого размалеванного дурака. Но, впрочем, если он и выглядел идиотом, то- во-первых, в темноте этого не было видно, а, во-вторых, Коля на этот счет был совсем другого мнения. Что ж такого, что паяц не был таким же красивым, как другие куклы! Наоборот, это даже вызывало какую-то особую жалость и нежность к нему и каким-то тайным образом сближало его с ним: живого мальчика Колю и ярко раскрашенную куклу с дурацким лицом.

И вот, оставшись наедине с паяцом, Коля почувствовал к нему такой прилив нежности, что даже прижался губами к холодному его лицу из папье-маше и что-то прошептал ему ласково-детское. Высказав таким образом свои чувства, он уложил паяца на варежки и прикрыл его сверху сеном, а сам стал вылезать из своего никому, кроме крыс, неведомого убежища.

Конечно, жалко было идти в дом без паяца и варежек, но зато можно было не беспокоиться за их участь.

Шлепая отстающими подошвами, Коля направился к правой двери. В общем, по случаю съеденных бутербродов в гастрономическом магазине, можно было бы сегодня и не идти домой, но, с другой стороны, зачем же было упускать случай что-нибудь пожевать? Может быть, сегодня его не забыли, как бывает иногда, и что-нибудь оставили поесть.

Коля открыл дверь в квартиру. В небольшой и темноватой кухне пахло чем-то кислым и залежавшейся грязью. Дверь в другую комнату была открыта, и оттуда доносились возня и всхлипывания.

— Я выбью из тебя твое барство, стерва, — сквозь стиснутые зубы свистел злобный шопот, и удары по чему-то мягкому перемешивались с женским плачем.

— Володя, Володичка... — сквозь слезы умоляла женщина: — довольно!

— Пойдешь ты у меня? А? Пойдешь?

— Но ведь он требует очень многого . . . Володя!

— Бережешь себя, подлая!

— Ой, не надо! Ну, пойду, пойду . . . Хорошо, я вернусь к нему! Хорошо... Володя! Довольно...

Коля присел в кухне у сундука и притаился. »Опять, значит, назюзюкался Володька«, — подумал он, — »и опять бьет мать«.

Необычного в этом, конечно, ничего не было, Но, установив факт, надо лишь было выждать конца сцены и не попасться пьяному на глаза.

— Смотри ты у меня! — предостерег Володька и вышел в кухню.

Это был высокий, широкоплечий брюнет, лет тридцати пяти, с красивым, хотя и испитым лицом. Не доверяя своим ногам, он прислонился к двери, чтобы закурить папиросу. Во всей его фигуре была небрежность и распущенность. Хорошего черного сукна пальто было сильно потерто, карманы оборваны. Чиновничья, без кокарды, фуражка ухарски сидела на затылке, предоставляя тяжелым кудрям в беспорядке свисать на лоб.

Неверными шагами он направился к выходу, придерживаясь руками за вещи. Проходя мимо сундука, он как бы почувствовал чье-то взволнованное дыхание, и рука его упала на светлые мягкие кудри, выглядывавшие из-под кучи тряпок, сваленных на сундук.

— А-а-а-а . . . — длинно, со злорадством протянул он, выволакивая притаившегося за сундуком Колю: — Вот кого я нашел! Вот кого мне надо!

Весь трясясь, Коля с мольбой посмотрел в выкатившиеся наглые глаза и беззвучно зашевелил губами.

— Наичудеснейшее произведение наипрекраснейшего рода! Позвольте вас съездить по морде! Ха-ха-ха!

От удара громадной волосатой руки колина голова резко болтнулась сначала вправо, потом влево.

— Ха-ха-ха! — выкатывался садический смех из-под франтовато подстриженных усов: — Что, получил? Неправда ли — мало? А? Ну, на еще... На... получай!

Ни единого звука не проронили детские губы, принимая удары от жестокой руки, и только лишь, когда все его худое тельце подняли за руки вверх и с силой шмякнули об пол, что-то вроде стона пронеслось по затхлой кухне. Ударившись головой о дрова у плиты, Коля потерял сознание.

— Сумасшедший! Ты его убьешь! — раздалось в дверях, и красивая молодая брюнетка, не выражая, впрочем, большого беспокойства, стала всматриваться в лежащего на полу ребенка.

— Чем скорее, тем лучше. А тебе жаль, что ли? Не притворяйся! Самой легче будет. И зачем только ты его, поганца, взяла с собой — не понимаю! Оставила бы с отцом — лучше было б. А то, скажите, пожалуйста, какие нежности при нашей бедности: плод любви с собой взяла! Безмозглая дура!

Он подошел к лежащему без чувств Коле и пнул его носком сапога в лицо. Из губы ребенка пошла кровь, он зашевелился и, встав на коленки, шмыгая носом, пополз в спальню.

— Жив . . . — разочарованно проронил Володька

— Если бы убил — отвечать перед полицией пришлось бы, — спокойно сказала женщина.

— Ага! Ты полиции боишься! А не боишься, что он вырастет . . . и нас предаст? Уж лучше сейчас с ним покончить . . . Ну, как-нибудь . . . на досуге.

Поправив сползающую фуражку, Володька вышел из квартиры.

— Ушел он, Коля . . . — сказала женщина, входя в спальню. Но Коли нигде не было видно. Она уверенно нагнулась под единственную в комнате кровать и вытащила оттуда мальчика.

— Несчастный . . . — тихо проронила она, обтирая кровоточащую губу ребенка.

Коля, одеревенело взглянув на мать, вдруг запрокинул назад голову и, вскрикнув, начал биться у нее на руках, заплевывая пеной ее изящное синее платье.

— Еще этого недоставало, — с отвращением поморщилась она, бросая Колю на пол и оглядывая забрызганное платье.

»В чем же я к Погодину пойду?«

Обтерев платье, она все же решила положить ребенка на кровать. Коля уже перестал судорожно крутить руками и ногами и, тяжело дыша, теперь спокойно лежал с закрытыми глазами.

»Теперь он уже не запачкает одеяла«, — подумала она, поднимая его на кровать, но, увидев грязные ботинки на ногах сына, ахнула и стала их брезгливо стаскивать.

Но вдруг что-то похожее на материнское чувство проснулось в ней: »Наверное, он голоден«, — подумала она и пошла в кухню варить на керосинке кашу.

»Прав Володя, что с ребенком много хлопот«, — тем временем думала она. Где и как ест ее любовник, она не знала, сама же чаще всего обедала в ресторане: то Погодин пригласит, то кто-нибудь еще. А вот с Колей постоянные неудобства: или кашу ему вари, или мясо жарь ... Кухня — вещь грязная, неприятная.

Когда она принесла кашу в спальню, Коля уже открыл глаза и широко смотрел вокруг себя, стараясь припомнить, что случилось, а, главное, выяснить, где сейчас Володька и не нужно ли соскакивать с кровати и куда-нибудь прятаться. Но увидев спокойную мать, он успокоился и сам.

— Ешь! Хочешь? — ткнула она в него кастрюлькой.

После припадка Коля еще плохо соображал и ничего не ответил.

— Ну, если не хочешь сейчас, я поставлю вот сюда: съешь потом

Она спрятала кастрюльку в тумбочку, рядом с одеколоном и пудрой.

Выполнив свой долг, она подошла к комоду и стала приводить в порядок волосы, которые после взбучки, данной Володькой, были сильно встрепаны. Ее правильные черты лица с карими миндалевидными глазами особенно красиво выделялись на нежном, с исключительно чистой кожей, лице и оттенялись черными вьющимися волосами.

Она любила свои волосы. Любила вот так распустить их перед зеркалом и долго расчесывать. Расчесывать и думать ...

Сейчас она думала о том, как после вчерашнего, довольно резкого, разговора с Погодиным, она сегодня опять придет к нему и, конечно, он удивится, увидев ее.

»О, Корнелия«, — наверно, скажет он: — »Это — вы, милая! Как хорошо вы сделали, что раздумали на меня сердиться. Ведь, согласитесь, что все же я был прав: я не могу держать вас в ущерб делу. Ведь, правда же, что как натурщица вы уже не годитесь — так много молодых девушек. О, я не говорю, что вы стары — нет! Но как натурщица ... А вообще вы — очень пикантны и, если хотите, вы можете

продолжать приходить ко мне в студию, но я не буду с вас ничего писать« ...

О, она прекрасно поняла, что он хотел сказать, и тут-то и вырвались у нее те резкие слова, после которых, ей казалось, можно лишь хлопнуть за собой дверью и больше не возвращаться. Но Володя рассудил иначе ... Он требует, чтобы она вернулась к художнику. Он знает, что она не будет больше получать с него честно заработанных денег. Знает это и все же ...

Корнелия чувствовала, что ее любовник тянет ее все ниже и ниже. И это после той жертвы, которую она ему принесла ... Но ТОГДА он был другим. Так, по крайней мере, ей казалось, когда он как управляющий имением ее мужа бывал у них, в их богатом особняке в Финляндии.

Владимир Матвеевич Духанов произвел тогда на экспансивную Корнелию такое сильное впечатление, что она была готова на все ради него. Духанов учел расположение хозяйки. Он вообще тяготился трудом, к которому вынуждала лишь необходимость.

Устроившись управляющим у Ведрожицкого и войдя к нему в доверие, он крал что только можно. Но много ли можно было украсть так, чтобы это оставалось незаметным? И Духанов искал других путей разбогатеть.

Убедившись, что Корнелия Мариановна по уши влюблена в него, он решил воспользоваться ею для корыстных целей.

Много перепадало ему через нее. Но жадность к деньгам, которые лежали, казалось, под самым носом, развивалась у него все сильнее и, наконец, однажды он уговорил Корнелию Мариановну выкрасть у мужа только что полученную им от продажи леса крупную сумму денег. Кроме Ведрожицкого, секрет замка денежного ящика знала только его жена. И когда деньги уже были переданы Духанову, она вдруг поняла, что сделала. Тут открывались сразу два преступления: кража и измена.

По горло занятый своими делами по должности товарища прокурора, Ведрожицкий был вполне уверен в своем семейном счастье и, до безумия любя свою жену, конечно, не подозревал ее ни в чем.

Страх перед содеянным охватил Корнелию Мариановну. И в состоянии полной прострации она совершила еще один неправильный и непоправимый шаг. Вместо чистосердечного признания мужу, она поддалась уговорам Духанова и бежала с ним.

После того, как пять тысяч рублей лежали у Владимира Матвеевича в кармане, красивая полька ему была больше не нужна. Боясь, однако, что она всякую минуту может его выдать, он решил держать ее при себе. Кроме того, он глубоко был уверен, что самолюбивый и гордый Ведрожицкий не станет оглашать перед обществом преступления своей жены.

Таким образом, они оказались где то на юговостоке России.

Поосмотревшись, Духанов скоро вошел в компанию с одним опытным пивоваром и решил на его знаниях и своих деньгах открыть пивоваренный завод. Было куплено все оборудование и даже уже были заказаны ярлычки для бутылок, как неожиданно пивовар скрылся в неизвестном направлении, предварительно ловко продав какому-то немцу-кантонисту весь завод, со всем его оборудованием.

Духанов хватался за голову, но, вероятно, на жулика наскочил жулик посильнее, а краденые деньги впрок не пошли. Было безумно жалко пропавших денег и очень хотелось их вернуть, но не быть уже таким простофилей.

С этой мыслью Духанов стал играть в карты. Вначале ему очень повезло, и он с радостью ухватился за легкий способ наживы. Он так уверовал в свое счастье, что случайные проигрыши лишь удивляли его. Но втянувшись в азарт, он уже не мог остановиться. Проигрыши перемежались с выигрышами до тех пор, пока однажды он вдруг не проиграл очень крупной суммы. Бросить игру во-время Духанов не смог и, решив отыграться, в конце концов, проиграл все, до последнего рубля. Проигравшись же, он с отчаяния ухватился за нечестные приемы, но был в этом пойман и даже бит.

Озлобившись на судьбу, Духанов предался алкоголю, стал опускаться, и через два года его совсем нельзя было узнать. Никогда не любив Корнелии, теперь он возненавидел ее, так как она стала надоедать ему своими похныкиваниями и упреками.

Конечно, молодая женщина очень скоро поняла свою ошибку. Мысль о возвращении к мужу не раз сверлила ее мозг, но каждый раз она с ужасом думала об объяснении с ним. Мог ли он простить ее? Осталась ли в нем хоть искра той любви, которой раньше пылало его сердце, или же он задавил в себе всякое чувство? Вернувшись к нему, не увидит ли Корнелия лишь его спину? И сможет ли он, ради своей вероломной жены, пренебречь мнением общества и

вновь назвать ее своею? А вдруг она будет просить, умолять о прощении и все же не получит его? Гордость заливала лицо Корнелии Мариановны краской при этой мысли.

Но за последнее время, правда, гордости оставалось все меньше и меньше. Больше было страха перед полицией: как же вдруг оказаться одной с ребенком где-нибудь в поезде, где у нее потребуют паспорт? Она никогда его не имела. У Духанова были какие-то фальшивые документы, по которым он назывался Владимиром Петровичем Константиновым, и была у него жена, которую звали Анной Григорьевной. Это она, Корнелия, была Анной Григорьевной . . .

Все это было так страшно и непонятно, что Корнелия старалась зажмуриться и ни о чем не думать.

Вообще, она не умела заботиться о себе. В детстве, обо всем думал отец. В замужестве — она была под крылом мужа, а потом Володька взял ее в свои руки. Попробуй-ка сделать не так, как он говорил! И Корнелия во всем ему подчинялась: так трудно самой придумать что-нибудь, чтобы задуманное было бы и практично и благоразумно. На это не хватало ни знания жизни, ни опыта. Все, что Корнелия делала самостоятельно, без посторонней помощи, всегда почему-то оказывалось или страшно фантастичным, совсем не жизненным, или же настолько несуразным, что потом уж никакими слезами во всю жизнь нельзя было исправить.

Тяжела и непонятна была для Корнелии жизнь, с ее обилием злых обманщиков и грубиянов. И часто бывало так, что именно те люди, которые казались ей хорошими, потом оказывались негодяями, а те, что представлялись ничтожными, наоборот, бывали героями . . . Трудно было во всем этом разобраться. Поэтому, бросившись вниз головой в бурный житейский поток, она предпочла отдаться течению, и волны несли ее к грязным берегам затона, где стоялая вода отдавала гнилью и отбросами . . .

Волосы были причесаны. Корнелия еще раз оглядела за — брызганное платье. »Кажется, пятен не будет«, — подумала она и надела маленькую черную шляпку с сильно загнутым левым краем, заканчивавшимся наверху множеством разноцветных бантиков, теснивших один другого. Коротенькая, очень не новая, каракулевая жакетка и лайковые перчатки довершили костюм Корнелии. Она выглядела очень стройной и изящной, заплаканное же припуд-

ренное лицо, несмотря на хамское обращение Володьки, не потерявшим своей породистой красоты.

Корнелия тщетно потрясла пустой флакон, где когда-то был »Fleur d'amour«. »Как ужасно, когда нет духов! — вздохнула она, направляясь к выходу.

— Корнелия! — позвал ее Коля, — куда ты?

— К Погодину. Ты лучше иди за сундук.

Коля медленно встал. Голова была тяжелой и трудно было поднять ее с подушки. Захватив подмышку ботинки, Коля, шатаясь, пошел в кухню. Боком, кое-как залез он в отведенное ему место между сундуком и стенкой. Корнелия сверху накрыла его пледиком, ловко забросала какими-то тряпками, и никто никогда не догадался бы, что под ними прячется живая душа и боязливо бьется маленькое сердце.

* * *

На другой день Коля почти не вылезал из-за сундука. Очень болела голова, тело же ныло, как один сплошной синяк. И, как всегда после припадка, его сильно клонило ко сну, и Коля проспал беспросыпно много часов подряд.

Вставал лишь для того, чтобы пробраться к тумбочке в спальне, где стояла вчерашняя манная каша. Она застыла и была тверденькой, но Коля съел ее с удовольствием. Для него всякая еда всегда оставалась съедобной, в каком бы виде она ни была: в холодном ли, горячем, жидком или твердом, — пища всегда оставалась годной к употреблению, и Коля не игнорировал ничем, что можно было отправить в желудок.

Квартира почти весь день оставалась пустой. Мать не показывалась, Володька приходил и опять уходил, и, судя по походке, был трезвым. Потом приходил один из соседей — слесарь по профессии — и, громко насвистывая, ходил по квартире и звал Володьку.

Никто из соседей никогда не называл Володьку по имени-отчеству: он не любил этого. Поэтому никто даже и не знал его отчества и просто называл »Володькой«. Под этим именем знал его весь двор.

Все это, как сквозь сон, слышал Коля, лежа за сундуком и просыпаясь каждый раз, кагда кто-нибудь входил или выходил из квартиры, так как при этом из двери паром шел с улицы холодный воздух и, стелясь по полу, обдувал его с ног до головы.

Но на другой день, проснувшись рано утром и чувствуя себя достаточно здоровым, Коля вспомнил и паяца, и ва-

режки, и того странного человека в форменном пальто, которого он встретил на улице. Вспомнил, что обещал встречаться у игрушечного магазина. Может быть, он все врал, и ничего этого не будет, но все же надо было попробовать пойти сегодня к витрине на Большую улицу.

Коля оделся и пошел под сарай. Нащупав подстилку, он стал искать паяца и варежки. Но нашел лишь одну варежку, другая обнаружилась у самой стены, куда, вероятно, затащили ее крысы, пытавшиеся унести ее в свою нору. Там же, разбросав в стороны руки, лежал и паяц. Одна его нога была обглодана и, вместо лакированной туфельки, на конце ее болталась какая-то бумажная обмотка. Варежки были целы, только замусолены и запачканы.

Подобрав несчастного калеку, Коля вылез из-под сарая.

Бедный кривляка-паяц! Он даже не понимал приключившейся с ним беды и продолжал так же широко улыбаться, как и раньше. Он был жалок со своей широкой улыбкой и оторванной ногой. Но Коля знал, что паяц просто не хотел показывать своей боли и обиды, что он молча страдает. Он так его и понял . . .

Надев варежки и обняв паяца, Коля прошелся по небольшому квадрату двора.

Было грустно. Хотелось кому-нибудь пожаловаться на обидчиц-крыс. Но также и страшно было довериться кому-нибудь: вдруг отнимут и паяца и варежки . . . И Коля ходил один по дворику со своей печалью и своими мыслями.

Прошелся мимо соседских дверей, одинаковых, как близнецы. Одна из них была открыта. Оттуда шел чад. Это была квартира слесаря. Коля заглянул вовнутрь. Жена слесаря, ругаясь, что-то соскабливала из кастрюльки в помойное ведро.

»Сожгла что-то, рохля!« — мысленно выругался Коля. Он не понимал той небрежности, с какой иногда люди относятся к продуктам: уж если варишь что, так смотри!... »Я бы не сжег! Уж я бы смотрел, чтоб не сгорело! — волновалось его голодное воображение.

Он тихонечко вошел в кухню и заглянул в помойное ведро: что же это было такое, что рохля-слесарша сожгла?

Сама хозяйка вновь озабоченно вертелась у плиты. Коля запустил руку в ведро и вытащил оттуда какой-то черный сухарь. Вкусу в нем уже не было никакого, только горечь. Он поворошил отбросы и под картофельной шелухой нашел худосочный заплесневелый соленый огурец. Обтерев плесень рукавом пальтишка, он отправил огурец в рот.

— Ох, уйди ты, Господи! — взвизгнула слесарша: — Мой-то опять ушел с вашим в карты играть. Заманивает Володька! Уж я ему ужо отпою! Уйди!

Слесарша всегда на кого-нибудь сердилась и всегда была не в духе. Дожевывая огурец, Коля вышел от слесарши.

Крайняя дверь была самой гостеприимной: за ней жил почтальон с женой. Коля потрогал ее — она была заперта изнутри.

»Почему люди запираются? Чего они боятся? . . .

Коля подошел к выходившему во двор окну и прильнул к стеклу. Беременная жена почтальона тоже возилась у плиты. Коля знал, что в этот час они все что-то делают у плиты. Жена почтальона увидела Колю и открыла дверь.

— Ты чего? Погреться пришел?

В кухне было тесно, но чисто. На кушетке, покрытой цветным чехлом с оборками, лежал маленький ребенок и играл со своими ногами. Рядом с ним лежала соска.

Коля слышал, как другие соседи говорили про почтальона, что не по средствам имеет он большую семью: три девочки уже есть да еще четвертого ребенка ждет. Зачем так много детей бедному человеку? »Конечно, и так много на свете никому не нужных мальчиков и девочек«, — соглашался с ними Коля, — »а они родят еще!« Коля неодобрительно покосился на живот худосочной и бледной жены почтальона. »Наверно, опять будет девчонка!« — решил он.

— Хочешь чаю? — прервала его размышления хозяйка: — Да сними пальто-то. Молока не дам — самой мало. Вот тебе хлеб с маслом.

Завернув паяца в пальто, Коля уселся поудобнее на краю кухонного стола и принялся за чай.

Он пил его долго и громко, с причмокиванием, наслаждаясь сладким горячим напитком. От горячего чая по животу и по всему телу разливалась приятная теплота. Из носу потекла жидкость, которую приходилось подтирать рукавом рубахи. Колю разморило, и он даже слегка порозовел от тепла и от сытости.

Он выпил целых две кружки чаю с мягким ситным хлебом, которым он украдкой ткнул и в паяца (может быть, и он хотел есть?), а потом, сев на кушетку, разморенными глазами стал смотреть, как маленький ребенок ловит на стене рисунок обоев. От тщетных усилий он сердился и, в конце концов, решил даже заплакать.

— Дай ей соску, — сказала жена почтальона, — да прикрой одеяльцем.

Коля машинально выполнил приказание, а сам мечтательно следил за золотой пылью в комнате, блестевшей от солнечных лучей из окна. Лучи шли полосами из окна на пол. И много-много в них кружилось пылинок, отливающих золотом. Откуда они? и почему кружатся? Конечно, они живые, потому и бегают и волнуются . . .

Коля вдруг почувствовал, что живые пылинки не только на солнце, а везде. Он почувствовал их вокруг себя, они проходили перед глазами, касались его лица Были живые-живые! . . .

Жутко стало Коле от того, что кругом так много невидимого живого. Он протянул руки, стараясь отодвинуться от всего этого, защититься . . . Но — нет, это было невозможно: он определенно чувствовал тихое касание вокруг себя. Вот »оно« прошло мимо губ, коснулось волос... Коля вскрикнул.

— Ты чего? — оглянулась жена почтальона.

Коля соскочил с кушетки. Было так страшно . . .

Ему захотелось очень странного, никогда не изведанного: ему показалось, что если бы он сейчас подошел к этой беременной женщине, а она погладила бы его по волосам. провела своей рукой по его лицу, у него сразу прошел бы страх, и он успокоился бы.

Но женщина озабоченно ходила по кухне и уже не замечала его. И Коля не подошел к этой чужой женщине. которая, широко расставив ноги, начала ловко расщеплять дрова на мелкие хрустящие лучины.

Много было разных неосознанных мыслей в голове у Коли, много непонятных чувств, спутанных в один общий клубок. Ему хотелось о многом рассказать, поведать о своих глубинных переживаниях и, вынув из-под пальто обгрызанного крысами паяца, он понес его к жене почтальона.

— Вот . . . — сказал он, вкладывая в это короткое слово все, что накопилось в его душе за последние, полные событий, дни.

Но женщина не поняла его.

— Чего это у тебя? Откуда такое чучело? — небрежно спросила она.

И Коля отошел от нее, ничего не ответив.

Что же можно было ответить?

»Надо к »н е м у« идти«, — подумал он о странном человеке с Большой улицы.

Одевшись, он вышел на улицу так же молча, как и вошел.

* * *

Дойдя до Никульского переулка, Коля сразу узнал в середине квартала белый дом, где жил Ключевский.

В нерешительности он потоптался у входной двери. Вот тут и звонок есть — только стоит надавить чуть пальцем — и дверь моментально откроется. Хорошо сказать: откроется! А вдруг оттуда выскочит этот самый дядя с блестящими пуговицами да как схватит за волосы — и отдерет! Нет, уж лучше отойти и от звонка и от двери . . .

Коля обошел дом кругом.

Он был небольшой, двухъэтажный. Сбоку была аккуратненькая калиточка.

Открыв ее, Коля вошел в небольшой чистенький дворик. В дальнем конце его стояла собачья конура, около которой ходил на цепи большой лохматый пес.

Если пройти дальше, то можно было увидеть и черную лестницу, которая вела на второй этаж.

»В котором же этаже »он« живет?« — думал Коля: — »И какие »его« комнаты?«

Во всех окнах дома висели кисейные занавески, только внизу белые, а наверху кремовые.

»Богатый он, должно быть«, — вздохнул Коля и пошел прочь от белого дома в Никульском переулке. Куда ж такому богатому до Коли! Просто пошутил он позавчера, позабавился — и все!

Коля вернулся на Большую улицу.

Вот тут, в этом магазине жил его паяц, который теперь у Коли подмышкой. Смешно! Сидел паяц вон там, на том сером коне, теперь же там никто не сидит. И как-то странно смотреть на эту лошадь без седока.

Коля приложил паяца к окну витрины.

— Смотри, »Хромой«, где ты жил. Это ничего, что ты . . . Вы знаете, — обратился Коля ко всему обществу кукол: — он вчера с Володькой подрался! Ранетый в ногу . . . Володька ему в ногу зубами вцепился, а он Володьке всю морду разворотил — завтра . . . умрет! И мы тогда с Корнелией сбежим из дому . . . К Леве поедем . . . Мне »Хромой« сказал, что вон этот тоже хочет с нами бежать, да только полиции боится. Ладно, возьмем тебя с нами. У тебя, у рыжего, голова только больно большая и тяжелая. Я знаю, ночью ты ходишь на голове — кверху ножки . . . Когда все спят и никто не видит. Я-то знаю! Ты мне не ври! Языком не болтай, каналья: мне »Хромой« рассказал. Он мне все про всех рассказал. И что вон та румяная дура в оборках по ночам круглую колбасу из соседнего магазина ворует — оттого

такая и круглая ... Как наша почтальонша ... Ну, поезжай, ладно! ... Некогда мне ...

Коля отвернулся. Сегодня у него не было охоты разговаривать со своими знакомцами у витрины.

Было холодно и приходилось бить нога об ногу, чтобы не мерзнуть. Он видел, как полицейский на углу делал так же.

Куда же сейчас идти?

Коля прошелся взад и вперед по Большой улице.

Мимо него проходили люди, все куда-то спешили и, натыкаясь на фланирующего Колю, толкали его. А одна немолодая дама даже выругалась, неожиданно перед собой увидев Колю.

— Вот напугал! Чего под ногами болтаешься, паршивый мальчишка!

Коля, оглянувшись, долго смотрел на развевающиеся хвосты ее горжетки.

»Разве я такой страшный, чтоб меня пугаться?«

Он стоял и смотрел вслед уже давно скрывшейся даме, а вокруг него все шли и шли люди. Высокие и маленькие, мужчины и женщины, иногда с детьми, одни хорошо одетые, другие похуже. Коле было интересно так стоять и смотреть на прохожих. То его толкнут справа, то слева, — он болтнется то в одну сторону, то в другую ... И все вокруг идет, движется, а он стоит и стоит ... У всех есть какие-то дела, все куда-то спешат, зная, зачем идут, а он стоит, и ему все равно ...

Впрочем — нет: не все равно! И он быстро зашагал опять в Никульский переулок.

Усевшись на цементную ступеньку белого домика, Коля решил ждать.

Нос и щеки чуть пощипывало от мороза, и, надвинув на глаза ушастую шапку и спрятав нос в варежки, он весь сжался в комочек, чтоб было как можно теплее. И издали нельзя было разобрать: то ли это собака сидит, то ли лежит какой-то сверток.

Так, по крайней мере, подумал Ключевский, завернув в свой переулок. Но подойдя ближе, он увидел очертания поношенных сапог, которые, очевидно, были на чьих-то ногах, а ноги уж кому-то должны принадлежать! Ах! Как будто что-то знакомое в этих синих варежках! А вон и паяц выглядывает из-под крепко сжатых рук.

— Да это ж мой новый знакомый!

И испуганно стал трясти Колю за плечи:

— Эге-ге-ге, малец! Нельзя спать! Слышишь? Эй, Коля!

Коля медленно поднял сонное лицо. Ему было так хорошо. Он видел во сне, что пришел в квартиру Ключевского и ходил по его комнатам, и все у него было такое красивое, и было тепло, тепло. И пришел он в одну из комнат, где стоял буфет, а на нем лежало что-то странное, а Ключевский вдруг взял это незнакомое и странное и дал Коле. И Коля ел. И было очень, очень вкусно. И так хорошо было и так тепло с этим дядей, что не хотелось открывать глаз. Но кто-то так сильно тряс его за плечи и кричал, что Коля, наконец, с усилием открыл глаза.

»Да это же »он« самый и есть!« — удивился Коля.

— Ты откуда пришел, я не видел? — сонно спросил он.

Но Ключевский уже поднял Колю на руки и нес в теплую переднюю, покрытую темнокрасным ковром.

— Анна! Снимите с него все это тряпье и приведите в кабинет — пусть отогреется у печки, — говорил Ключевский своей экономке.

Коля с недоверием смотрел на немолодую и очень серьезную женщину в очках и чепце, которая снимала с него шапку и пальтишко.

— Иди за ним в кабинет, — сказала она, показывая на спину Ключевского, а сама куда-то ушла, неслышно ступая по мягкому красному ковру.

Коля и сам сделал несколько шагов по этому ковру, и у него это так же неслышно получилось, как и у нее. А потом он преувеличенно громко топнул ногой по паркету и получилось так звонко, что Коля даже испугался своей неожиданной смелости: а вдруг отколотят? Бежать скорей, пока не поймали! Но серьезная тихая женщина в чепце куда-то запрятала его пальто и шапку. Куда деват ся? Коля бросился в гостиную и шмыгнул под диван.

— Коля, где же ты? — минуту спустя, говорил Ключевский.

Затаив дыханье, Коля молчал, наблюдая из-под дивана как черные штиблеты Ключевского, отчеканивая шаг, два раза прошли мимо, сначала носками в одну сторону, потом в другую.

Слышал, как о чем-то говорил он с Анной, а потом вернулся к дивану и уселся в кресло, как раз напротив Коли.

— И куда это Коля девался? — рассуждал вслух Ключевский: — Как бы мне найти его к обеду, а то придется без него пообедать.

Слышал потом, как в руках Ключевского зашелестела бумага, и тот сказал:

— Вот хорошую сказку нашел и жаль, что Коля не услышит ее.

И начал каким-то особым голосом сам с собой разговаривать.

Говорил он о каком-то бедном мальчике и девочке, которые жили очень бедно, но у них был волшебный горшочек, который по одному лишь слову варил им вкусную сладкую кашу.

Оказывается, этот большой дядя с рыжими усами, называя Колю выдумщиком, и сам был большой выдумщик. И так это у него складно получалось, что под диваном вскоре началось шевеление.

Заинтересованная пара серых глаз выглянула из-под бахромы и уставилась на выдумщика в синем мундире с золотыми пуговицами. Он держал перед собой толстую, красную с золотом, книгу и ловко придумывал вкусную историю с кашкой. Изредка он для чего-то перелистывал книгу и все говорил и говорил . . .

Фабула разрасталась.

Когда Ключевский дошел до того места, где волшебный горшок, не будучи во-время остановлен, наварил так много каши, что для нее уже не было места, и она потекла с плиты на пол, побежала из квартиры на улицу, Коля выскочил из-под дивана.

— Где это? — взволнованно проговорил он, вырывая из рук Ключевского книгу: — Где?

— Вот тут, — показал Ключевский на страницу со странными черными знаками.

Коля долго смотрел на это место, а потом с недоверием покосился на Ключевского.

— Ну и заливает, — говорил его взгляд. Коля отдал Ключевскому книгу.

— Интересно? — спросил Ключевский.

Коля неопределенно повел плечом:

— Это не здесь, Это вы сами выдумываете.

— Нет, это я по книге читаю. А ты разве не умеешь читать?

— Наверно, умею. Если есть картинки, — добавил Коля.

— Ах, вон что! Нет, это не то. Как же, такой большой мальчик и не умеешь читать?

— Зачем? Мне не надо.

— Ну, как же: ведь интересно же знать, как другие мальчики и девочки живут. Тебе сколько лет? Шесть? Семь? —

— Не знаю . . .

— Как так? Что ж это ты, брат? Ну, ладно, идем обедать. А читать я тебя научу.

И они пошли в другую комнату, и там Коля увидел такой же самый буфет, какой был во сне. Коля даже поднялся на цыпочки: не лежит ли там то странное, вкусное, что он также видел во сне. Ну, конечно, лежит! Вон оно: красивое, желтое.

— Что? — спросил Ключевский: — Хочешь апельсина?

Очистив апельсин от кожи, он дал его Коле.

Душистые брызги стремительно заскакали и полетели в стороны, когда Коля заработал челюстями.

— Ну, как? Вкусно? — спросил Ключевский, следя за каждым его движением.

— Угу! Как во сне . . .

— Ха-ха!

— Я во сне это ел, — пояснил Коля.

— Чудишь! — не понял его Ключевский.

— Нет, правда. И буфет и это . . . Во сне видел. Тут на крыльце. И красиво у вас и тепло тоже, как во сне.

А потом сели за стол.

Во время обеда Коля рассказал Ключевскому, почему паяц оказался без ноги.

— Вот ты его все называл и называл »Хромым«, так вот теперь он уж самый настоящий хромой, — шутил Ключевский.

Тут же решено было, что паяц может поселиться у Николая Петровича на диване.

— А где это ты губу себе рассек? — спросил Ключевский.

— Это Володька ногой, — небрежно ответил Коля, жадно пожирая замечательное произведение кулинарии — зразу с кашей.

— А я ждал, что ты вчера придешь ко мне. Почему же не пришел?

— Я лежал. Меня трясло.

— Болен был?

— Трясло. Меня иногда трясет.

После обеда Коля пошел по всем комнатам и стал подробно осматривать вещи в квартире.

Особенно его заинтересовали золотые часы, разукрашенные цветными камнями и стоявшие на столе под стеклянным колпаком.

— Почему ж под колпаком? — спросил Коля, тыча в стекло и оставляя на нем мутные отпечатки пальцев.

— Чтоб не пылились. Они очень дорогие. Видишь вот эти цветные камешки? Это все драгоценные камни.

— Неправдошние часы?

— Нет, настоящие.

— Да, они же не тикают, чего вы врете!

— Я не вру, а не тикают они потому, что испорчены. Они очень старые, а все же очень ценные.

Нет, он не стал бы держать такую вещь в доме.

— На что часы, коли не тикают: их и не слышно, — сказал он вслух и отошел прочь: много другого интересного было в этой квартире.

А Ключевский, покусывая кончики рыжих усов и сияя глазами, ходил по пятам Коли и давал ему нужные объяснения.

Он чувствовал себя сегодня очень счастливым. Что-то новое и необычное влилось в его размеренную одинокую жизнь.

И Коля уже не боялся его.

— Вы, наверно, вообще не деретесь? — неожиданно обратился он к Ключевскому: — А как вас зовут?

— Николай Петрович, — услужливо сообщил Ключевский: — А фамилия моя — Ключевский. Запомнишь? — Коля кивнул головой.

— А как же твоя фамилия? Ты мне до сих пор еще не сказал.

— У меня нету. Просто -- Коля.

— Ну, а как же фамилия твоей мамы? Не знаешь? — Коля сдвинул брови.

— Нету фамилии. Ее зовут Корнелией. Это Володька и я так ее зовем, а другие —Анной Григорьевной.

— Как же так?

— А вот так и есть, — отрезал Коля.

— А кто же это — Володька? Твой брат?

— Не, Володька . . .

— Ну да, но кто же он такой?

— Слесарша говорит, что любовник он, а другие говорят, что муж. Не знаю я . . . По моему, муж, потому что кабы был любовником, так не бил бы он ее: любовники не бьют — так и слесарь говорил, а вот слесарша — та свое твердит. Не знаю я . . .

— А . . . Гм . . . Ты говоришь, он тебя ногой ударил?

— Ну да. Он во как дерется! Иногда так побьет, что умрешь, а потом опять живой сделаешься.

Ключевский нахмурился, и складка меж бровей разом стерла с его лица всю веселость, и он опять сделался похожим на строгого педагога.

— Вот что, — сказал он, направляясь в кабинет: — Давай опять почитаем. Хочешь?

Надев принесенные Анной мягкие туфли и сменив мундир на бархатную куртку, он взял ту же толстую, красную с золотом книгу, раскрыл ее, и опять из его уст полился певучий рассказ. Рассказывал Ключевский на этот раз о забитой, чумазой Золушке, о семи карликах и Белоснежке.

Коля опять не верил, что все это так и написано в книге, и несколько раз требовал показать особо волнующие места. И каждый раз удивлялся, что не видит в книге того же, что видит Ключевский.

— Потому что ты не умеешь читать? Вот научишься, тогда и ты будешь видеть то же, — говорил Ключевский.

— А трудно научиться?

— Нет, не очень. Я тебе в следующий раз покажу. Сейчас у меня больше нет времени — я должен проверять тетради своих учеников. У меня есть ученики, которых я учу. Они пишут в тетрадки, а я их проверяю.

И Ключевский стал рассказывать, как он каждый день ходит в гимназию, как занимается с мальчиками, среди которых есть плохие, есть хорошие, и что он им ставит отметки за успехи.

— Ты, посмотри картинки вот в этой книжке, а я позанимаюсь.

Ключевский присел к письменнному столу и углубился в занятия.

Спускались зимние сумерки. В голландке потрескивали дрова.

Сквозь скважины чугунной дверцы выбивался трепещущий непокорный огонь, который как бы нащупывал выход из печки, такой горячей, что даже не верилось, что где-то на улице сейчас мороз может щипать лицо и леденить пальцы в дырявых ботинках.

И от тепла, чистоты и тишины, нарушаемой лишь тихим поскрипыванием пера в руках немолодого лысоватого педагога в мягких туфлях, Коле тоже стало спокойно и легко. Уставившись на склоненную бархатную спину Ключевского, Коля старался понять, где сказка, а где реальная жизнь из всего того, что наговорил ему этот непонятный

чудак, живущий в квартире, где, как в игрушечном магазине, много всяких интересных вещей. Детский мозг был возбужден, и Коля замолчал, стараясь переварить все им виденное и слышанное за сегодняшний день.

И когда Ключевский, проверив десятка два тетрадей, удивленный тишиной вокруг себя, обернулся на Колю: не заснул ли, — то увидел забившуюся в угол меж двумя столиками с тяжелыми словарями сжавшуюся фигурку. Коля сидел на ковре, прижавшись к ножке стола и широко смотрел на видневшийся из окна кусочек погасающего неба. По выражению его лица видно было, что он отделился от земли, витая вместе с теми пушистыми снежинками, которые мягко падали за окном. Хрустальные и легкие. они, в конце концов, все же опускались на землю, задавленные, обесформленные . . .

— Коля, — тихо позвал его Ключевский.

Мальчик встрепенулся.

— Не пора ли тебе идти домой? Мама может забеспокоиться.

Коля не ответил.

— Ты лучше пошел бы, — продолжал Ключевский: — уже поздно. А то еще наколотят.

Как странно иногда люди рассуждают! Думают, что раз они — большие, так все и понимают, а на самом деле ни чорта лысого не смыслят! С какой стати вдруг Корнелия забеспокоится? И почему надо идти домой, чтобы там наверняка наколотили? Или идти в Косой переулок только для того, чтобы переспать ночь за сундуком? Зачем, — когда можно прекрасно выспаться вот здесь, на ковре, между этими двумя столиками.

Но Коля не умел всего этого объяснить и молчал.

— Ты лучше приходи ко мне завтра — мы будем с тобой палочки писать. Ты теперь знаешь, когда я прихожу из гимназии, — говорил Ключевский, надевая на Колю его ушастую шапку и пальтишко.

Нервно вертя у себя на груди руками, Коля долго не решался открыть входную дверь, за которой, он знал наверно, оборвется сегодняшняя сказка.

— Итак, до завтра! Если мама будет беспокоиться, ты вот дай ей эту карточку.

Коля стоял на крыльце белого домика и долго рассматривал данную Ключевским визитную карточку. А потом спрятал ее в кармашек пальто и сиротливо оглянувшись

вокруг, охваченный знакомым чувством заброшенности, тихо побрел по улице.

* * *

Дома сильно пахло пивом, и из спальни неслись повышенные голоса, в которых Коля узнал Володьку и слесаря.

Володька хвастался своим карточным выигрышем, выставляя своих партнеров совершенными дураками.

Слесарь тоже не оставался в долгу, и оба они, не дослушивая друг друга, говорили так громко, что можно было подумать, что комнате находится, по крайней мере, человек пять.

От успеха в картах Володька перешел к рассказам об успехах у женщин.

А Коля, лежа под тряпками за сундуком, перебирал в голове впечатления дня, такого необычного, и долго не мог заснуть, прислушиваясь к циничному мужскому разговору в соседней комнате. И, в конце концов, задремал под сальные анекдоты, вздрагивая, когда какой-нибудь особенно удачный анекдот вызывал в спальне взрыв смеха.

Сказочные персонажи, с которыми Коля познакомился за сегодняшний день, как живые, стояли перед ним, властно завладев его воображением. И во сне он тихо с кем-то разговаривал, кого-то звал и горько плакал в грязную, без наволочки, подушку. И вдруг, просыпаясь от своих же собственных слез, он беспокойно хватался за ботинки, пытаясь их надеть. Но прислушавшись к ночной тишине и убедившись, что все в порядке, он опять ложился и опять засыпал, пока взбудораженный впечатлениями мозг вновь не заставлял его нервно вскочить на постели.

Вконец изможденный, Коля только к утру заснул тяжело, беспробудно.

* * *

Весь следующий день тоже был не таким, как всегда.

Прежде всего, Володька все утро торчал дома и играл сам с собой в карты. Он как будто изучал какие-то неудавшиеся ему приемы.

А потом приехала Корнелия. От нее пахло духами, и вся она была такая приятная, свежая, какой не была давно.

Она принесла из ресторана судок с обедом, от которого пахло настоящими щами.

— Обедайте, пока еще горячее, — сказала она, поставив судок в кухне на стол, а сама прошла в спальню к зеркалу.

— Где деньги? — прошипел над ее ухом Володька, когда Корнелия, чуть касаясь, легко обмахивала лицо пуховкой. При вопросе Володьки она вздрогнула и отступила на два шага.

— Денег нет... Он деньгами не дает... Подарил духи... Обещал шубу... — растерянно бормотала она, причем ее миндалевидные глаза как-то особенно лживо приподнялись наружными углами кверху.

— Врешь, поганая! Опять прячешь? Хочешь к своему Левушке бежать?

И освободив правую руку из кармана, он тыловой ее стороной снизу ударил Корнелию по губам и носу. Ее губы непроизвольно чмокнули, на глазах показались слезы.

— Володичка, я правду говорю. Вот осталось немножко от обеда.

Корнелия открыла сумочку, стараясь собрать какую-то мелочь.

Володька вырвал из ее рук сумочку и, высыпав деньги на ладонь, бросил сумку на комод.

— Дай мне хоть на извозчика, — тихо попросила Корнелия. Володька, как бы не слыша, прошел в кухню и сел к столу.

Вскоре Корнелия ушла.

Володька и Коля остались вдвоем. Они сидели напротив друг друга и ели настоящий обед из двух блюд.

— Совсем, как у Николая Петровича, — думал Коля.

Обед проходил в полном молчании. Коля искоса поглядывал на Володьку, стараясь угадать его настроение. Володька тоже пристально смотрел на Колю.

Взгляд его холодных, насмешливых глаз пронизывал всего Колю, и ему становилось неприятно от этого взгляда. Торопливо глотая куски, мальчик только и думал, как бы скорее шмыгнуть на улицу.

А между тем, в голове Володьки зрел новый план заработать деньги, и вдохновителем этого плана был сам ничего не подозревавший Коля.

— Напишу я Ведрожицкому заказным на его именье, — думал Володька, — подпишусь анонимно, конечно. И пусть ответит он мне, согласен ли дать выкуп за своего сына, которого я якобы нашел. Адресовать он должен будет до востребования, хотя бы, например, в Москву, чтоб ни в коем случае не упоминать мне своего настоящего местожитель-

ства. И письмо сдам тоже на московском почтамте. Специально для этого съезжу туда: чорт с ними с расходами — тут тысячами пахнет! А получив ответ, Кольку в охапку и — айда! Никто не будет знать, даже Корнелия — пусть думает, что Колька где-нибудь под забором околел. Да и ей это тоже, в конце концов, все равно .. А пожалуй вся эта процедура в сотнягу вскочит! Надо будет поднажать на Корнелию: пусть, собака, выманит у Погодина — не впервые, знает как!

Размышляя таким образом, Володька не отрывал своего взгляда от Коли, сверля его жесткими глазами. И под его взглядом у Коли начинало усиленно биться сердце, как от глаз змеи, завораживающей свою жертву.

— И скипидар на что-нибудь пригоден бывает! — неожиданно рявкнул Володька, вставая из-за стола.

Коля выронил вилку и, скатившись с табуретки, бросился к выходной двери.

— Осел! — сухо отрезал Володька в ответ на оборонительный маневр Коли. — Ты еще мне пригодишься, поганец!

Коля ни на секунду не доверяя Володьке, поглядывая одним глазом в спальню, куда тот ушел, вернулся к столу и стал хлебом вычищать судки, тарелки же, для скорости, начисто вылизал языком — и свою и володькину.

Убедившись, что нигде не осталось ни крошки съестного, он схватил шапку и пальтишко и выбежал на улицу, совсем даже и не предполагая, что Володька в этот самый момент корпит над посланием к его отцу с предложением продать его за определенную сумму.

* * *

Подойдя к дому Ключевского, Коля смело ткнул пуговку звонка. Но когда в дверях показалась строгая фигура Анны, он струсил и, заикаясь, путанно стал объяснять причину своего прихода.

— Я ... я палочки ... палочки писать пришел. Ни-николай Петрович говорил ...

В то время как руки его непроизвольно расстегивали и застегивали единственную пуговицу пальто.

— Иди, — коротко сказала Анна, пропуская его в квартиру. Но ходить по всем комнатам она не разрешила, а повела за собой. И в большой, светлой кухне Коля сразу отыскал уголок погрязнее и потемнее, между чуланом и лестни-

цей в подполье, и засел в нем до самого прихода Ключевского.

Ключевский пришел нагруженный покупками, которые, как он сразу же объявил, все принадлежали Коле.

Что за чудеса!

Было очень интересно развязывать веревочки и разворачивать один за другим свертки, которые из безличных и бесформенных превращались в какие-то вещи.

А вещей было много! Тут был и букварь, и кубики с нарисованными на них буквами, и грифельная доска, и чистые синие тетрадки, в которых Коля должен будет писать сначала палочки, а потом буквы.

Весь день Коля просидел на полу в кабинете Николая Петровича, складывая из кубиков свое имя. Он настолько уже заучил эти четыре буквы, что находил их даже тогда, когда Николай Петрович перемешивал все кубики. И только было непонятно, почему он не позволял ставить буквы вверх ногами.

— Не все ли равно? Ведь и так видно, что это за буква, — спорил Коля с Николаем Петровичем.

А потом писал обещаннные палочки. И полстраницы чистой синей тетрадки украсились кривыми, разной длины и толщины, палочками. Коля долго смотрел на эти несколько строк нарисованных им каракуль. Каждая из них имела свою историю, каждая жила своей особой жизнью, имела свой особый характер и не походила на другую. Сколько было в них разнообразия! А Николай Петрович, наоборот, требовал, чтобы они были все совершенно одинаковые, одна, как другая. Разве не лучше, что они все были разные?

Коля мог долго так сидеть и думать, думать над этими палочками. Так много неясных ощущений и мыслей рождали они своим разнообразием. Но Николай Петрович сразу же замечал, когда Коля задумывался, и возвращал его на землю.

— Давай лучше посмеемся, — говорил он, — я еще не слышал, как ты смеешься.

И начинал читать ему про двух шалунов, Макса и Морица.

Так легко и красиво он читал стихи. Но проказы двух мальчуганов Коле вовсе не казались забавными. Наоборот, ему делалось жалко тех бедных людей, над которыми Макс и Мориц глумились.

И Коля шел к книжному шкафу, отыскивал там сказки бр. Гримм и просяще протягивал книгу Николаю Петровичу:

— Эту читайте . . . Эта лучше.

И жил и страдал вместе с обиженными и обездоленными. Их горе и их радости ему были понятны, и вместе с ними он взлетал в полетах своей фантазии.

А когда вечером Николай Петрович, отложив книгу, опять объявил, что пора идти домой, Коле стало грустно и так обидно, обидно . . . За что же его гонят? Он ничего плохого не сделал.

— Иди простись со своим паяцом. Скажи ему »спокойной ночи« и иди домой.

Значит, так нужно!

И Коля покорно пошел в гостиную, где на диване, огороженный бархатными подушками, жил паяц.

Но целуя его размалеванное, уже замусоленное, лицо, Колю осенила мысль: не идти в Косой переулок, а где-нибудь спрятаться в квартире Ключевского и таким образом остаться здесь. Как мышь, Коля незаметно шмыгнул в спальню Ключевского: там он видел большой шкап с массой разных костюмов.

Среди пиджаков, форменных сюртуков и фраков совсем было неплохо. Правда, слегка пахло нафталином и сосновым деревом, а внизу стояли какие-то неудобные коробки, но, придвинувшись в самый угол, Коля, затаив дыхание, замер, остро прислушиваясь ко всем звукам вне шкапа.

Ключевский ходил по комнатам, звал Колю, но он, конечно, и не догадывался, что Коля надел шапку-невидимку и поэтому найти его было невозможно. Кругом люди, идет какая-то жизнь, а он хоть и есть, а его не видно!

Прошло порядочно времени, и Коля стал подремывать. Пожалуй, он даже что-то сказал во сне. Пришла фея и коснулась волшебной палочкой его плеча: »Вставай«, — сказала она: — »иди и читай сердца людей — открытые и замкнутые, добрые и злые« . . .

— Вставай, вставай!

Коля открыл глаза. Да это Николай Петрович!

— Ишь, куда забрался!

— А как же вы меня нашли? Я ведь под шапкой-невидимкой! — протестовал Коля, когда Ключевский извлекал его из шкапа.

— Шапка, не шапка, а на штанах моих выспался. Выдумщик! Так ты что же это? Не хочешь идти домой?

Коля стоял посреди спальни, слегка освещенной лампой из гостиной, и виновато смотрел на чуть оттопыривавшиеся носки серых фланелевых туфель Ключевского.

— Идем, — сказал Николай Петрович и решительно взял Колю за руку.

— Я тут могу спать, — показал Коля на кованый железом сундук, когда они проходили через переднюю. Как будто все сундуки в мире существовали для того, чтобы давать ночлег маленьким бездомным мальчикам!

Ключевский ничего не ответил и вел Колю прямо на кухню.

»Что он хочет со мной делать?« — со страхом думал Коля: — »Конечно, выгонит сейчас через заднюю дверь во двор и отдаст цепной собаке. Хоть бы пальто надеть!«

Но Ключевский крепко держал его за руку. »А вдруг он идет за ремнем или плеткой и будет сейчас бить за то, что выспался на форменных брюках! Конечно, это самое верное!« Маленькое сердчишко усиленно забилось.

— Не надо . . . — умоляюще проронил он, упираясь о косяк двери, когда они стали входить в кухню.

— Ты что? — спросил его Ключевский, не понимая его волнения. И сейчас же обратился к Анне: — Сделайте ему хорошую ванну с зеленым мылом и уложите на мою кровать. Я буду спать сегодня на кушетке.

Оставив недоумевающего Колю посреди кухни, Ключевский ушел.

— На нем белья нет никакого, — через некоторое время жаловалась Ключевскому Анна, — какие-то две рубахи, да и те такие грязные. . . Вши на нем. . .

— Я так и думал. Наденьте какую-нибудь из моих рубашек, и, пожалуй, придется лишить его кудрей.

После горячей ванны было так приятно лежать в широкой, чистой рубахе Николая Петровича, у которой наскоро, неровными зубцами были отрезаны рукава по длине колиных рук. Остриженная под машинку голова сделала Колю еще более худым. И еще больше выделились на бледном длинном личике серьезные, с печалью смотрящие вверх, серые глаза.

Кровать была большая, мягкая и такая широкая, что нельзя было достать руками до краев, если лежать посредине. Хорошо бы покататься по такой кровати, но Коле вдруг так захотелось спать, что он не успел додумать эту мысль, как по его телу разлилось сонливое блаженство.

Анна таскала какие-то подушки, одеяла, чтобы устроить постель для Ключевского где-то на кушетке, но Коля не мог заставить себя над этим задуматься. Блаженство цепко охватило его, и он заснул здоровым и глубоким сном, без всяких сновидений и кошмаров.

* * *

Коля был очень удивлен, когда проснулся: как будто, ведь, вот только что лег, а уже сквозь спущенные драпри осторожно, как бы нащупывая время, пробивалось солнышко.

Коля сел на кровати и стал оглядывать комнату в ее утреннем освещении. Смотрел, как меняются и прыгают солнечные блики на голубых обоях, как притаились в темных углах вещи, прислушиваясь к наступающему утру.

Было приятно и, вместе, странно сидеть вот так на чужой кровати, в чужой комнате и ничего не бояться. Что-то непривычное было в этом ощущении, рождавшем что-то новое в детской душе. Эти чувства не были похожи на те, что бывали в квартире почтальона, когда Колю поили горячим чаем и отогревали у печки — нет! Ключевский рождал приятные ощущения не физического свойства. Коля начинал убеждаться, что Ключевский был не таким, как все другие люди, с которыми ему приходилось сталкиваться за свою коротенькую жизнь. И эта его исключительность рождала в Коле чувство уважения, — чувство, прежде совершенно ему незнакомое.

— Проснулся? — вдруг раздалось в дверях, и строгая Анна внесла в комнату какие-то вещи и положила их на стул у кровати. А потом подошла к окнам и дернула драпри, которые нервно сжались красивой гармошкой. В комнату с солнцем вошел реализм, сразу заполнивший все уголки. Фантастические полутени сбежали, и все стало определенным, ясным. Предрасположенность к мечтательности сменилась радостным чувством здоровья и любовью к жизни. Желание скорей одеться и бежать на улицу заполнило Колю.

— Одевайся во что есть, — продолжала тем временем Анна: — Николай Петрович сказал, чтоб ты к концу занятий пришел сегодня в гимназию: пойдешь с ним к Бакшееву.

Все это хорошо, но во что же одеваться? Где же его грязные синие штанишки и рубаха? Коля внимательно присмотрелся к вещам, которые Анна положила на стул. Что-то знакомое и, вместе с тем, чужое было в них.

— Чего смотришь? Одевайся! это я выстирала да прогладила твое старье, чтоб не очень сыдно было к Бакшееву идти.

Действительно, это и были колины штанишки и рубаха, полинявшие и сделавшиеся от стирки светлее. И чулки его тут же, с большими свежими заплатами, вместо прежних бесстыдно открывавших грязные коленки, дыр. Одни лишь ботинки не изменили своего вида и виновато стояли под кроватью с сознанием своего убожества.

— Какой Бакшеев? — наконец, спросил Коля, освободившись от охватившего его удивления.

— Да магазин готового платья. Сегодня пойдешь к нему с Николаем Петровичем. Одевайся! Я завтрак тебе приготовила.

Да, совсем новая жизнь открывалась перед Колей. Но он пока еще не чувствовал ее сердцем и только удивлялся.

* * *

Мужская гимназия была на Вознесенской улице. Серое длинное здание шло далеко вглубь, кончаясь небольшим гимназическим садом. Коля стоял перед молчаливым зданием, по которому, ему представлялось, взад и вперед ходит Николай Петрович в форменном сюртуке и учит мальчиков правильно писать в синие тетрадки. Коля заглядывал в широкие казенные окна, за которыми было тихо и безлюдно.

»Где же все мальчики?« — недоумевал он. И было очень досадно, что нельзя заглянуть в окна со двора.

Но вот раздался резкий звонок, и вдруг, как с горы скатывается оползень, неся с собой груды камней и комья сухой земли, раздался шум и галдеж, и вся гимназия сразу заполнилась серыми фигурками разных размеров. Они мелькали мимо окон, висели на подоконниках.

И вдруг входная дверь распахнулась и оттуда выскочило несколько таких же шумных маленьких фигурок, на ходу надевавших форменные серые пальтишки. Коля спрятался за столб и исподлобья разглядывал гимназистов. Мальчики разных возрастов прямо рвались из дверей на улицу, как будто сзади кто-то их подстегивал. Их маленькие, но крепкие глотки испускали самые разнообразные звуки.

— Бу-у-у . . . бука! — перед лицом Коли, как в рупор, прогудел в свернутую трубкой тетрадь один из мальчиков. И описал полукруг своим ранцем над колиной головой.

— Скорей бы уж Николай Петрович выходил, — вздыхал Коля. Ему становилось жутко среди этих крикливых существ.

Анна выслала его из дому, сказав: »Вот дойдешь до гимназии, и как раз будет время Николай Петровичу выходить«. Но вместо знакомого пальто, ленивая входная дверь лишь выпускала одного за другим штампованнных гимназистов.

Но вот, наконец, и он! Как обрадовался ему Коля! Схватился обеими руками за обшлаг его рукава и не выпускал его, пока не вышли с Вознесенской на Большую улицу.

— Вот видел, сколько всяких мальчиков учится здесь? —говорил Николай Петрович:—И ты когда-нибудь будешь сюда ходить.

— Нет, не хочу! . . . Они будут драться.

— А ты их сам бей! В чем дело? Будь героем.

Но Коле не улыбалась слава героя. Гимназисты ему не нравились, и он был рад, что не было уже видно серого здания и тесно с ним связанных серых задир.

От Бакшеева Коля вышел преображенный: все, с головы до ног, было на нем новое. И оказалось, что он вовсе не был расхлябанным, неуклюжим звереньшем, каким представлялся в своем прежнем тряпье. Это был тоненький изящный блондинчик, с несколько длинноватым носом, но вдохновенными серыми глазами.

От полноты чувств Коля не мог говорить и молча, как взрослый, шел рядом с Ключевским, изредка лишь поднимая на него искрящиеся глаза.

— Анна! Вот! — лаконично крикнул он, входя в квартиру Ключевского, и встал перед ней с затаенным дыханием и руками по бокам. как один из тех манекенов, которые стояли в витрине Бакшеева.

— Ишь, какой красивый! — искренно вырвалось у Анны, и она бережно стала снимать с Коли теплое, на вате, пальто. — Ах ты, Господи! — опять вырвалось у нее, когда Коля предстал в прелестной матроске.

— И манжеты . — обращал Коля ее внимание на важные детали костюма.

— Да ты совсем красавчик!

Боясь расплескать то громадное счастье, которым он наполнился, Коля весь остаток дня промолчал, забравшись в свой любимый угол в кабинете Ключевского между двумя столиками со словарями.

А ночью опять рыдал в подушку и метался по широкой кровати Ключевского.

— Где я? Что это? — испуганно спрашивал он темноту, не узнавая окружающей обстановки.

И Ключевский вставал со своей кушетки и поил его валерьяновыми каплями и долго стоял над ним и успокаивающе гладил по руке, пока тот не уснул.

* * *

На другой день, когда Ключевский ушел в гимназию, Коля оделся в новое пальто и барашковую шапочку, поверх черных ботинок надел высокие калоши на красной подкладке и отправился в Косой переулок.

Он шел сияющий, оглядываясь по сторонам. Ему казалось, что прохожие окидывают его взглядами с ног до головы. Еще бы! Ведь, не на всех же такие шапки и пальто! И день-то выдался какой чудесный! Или же это только так казалось тепло одетому Коле? Запрокидывая назад голову, он с удовольствием смотрел на синее зимнее небо с мелкими барашками, которые постепенно расплывались, меняли форму и куда-то уходили. Куда они шли? И совсем ли они уходили, или когда-нибудь опять вернутся сюда, и Коля опять сможет видеть эти самые барашки?

Но вот и Косой переулок. Знакомые места дохнули на Колю грустью. И небо и чудесный теплый день — все сразу куда-то ушло, на лице его отразилась деловитость. Зачем он шел сюда? Конечно, не мать повидать он хотел и, безусловно, не Володьку. Ему просто хотелось придти к жене почтальона и сказать: »Здравствуйте! Посмотрите, что из меня получилось! Наверно, вы за всю жизнь не видали такой красивой одежды«. Примитивное желание хвастнуть перед старыми знакомыми заливало счастливого Колю.

Подлезши в подворотню, он смело направился к флигелю с шестью одинаковыми дверями.

Нет, конечно, нельзя идти к себе на квартиру: не дай Бог, если Володька дома! Конечно, к почтальонше . . . Она поймет, посочувствует.

Но только Коля поднялся по ступенькам, чтобы идти к крайней налево двери, как из крайней правой он услышал пьяный рев, сопровождаемый ругательствами. Володька кричал у самой двери. Вот-вот дверь откроется, и перед Колей предстанет лохматая масса, готовая смять его в два приема! Знакомый страх охватил его, и в миг он скатился вниз и бросился в свое заветное убежище под сараем. И

только успел притаиться, как по лестнице стал тяжело спускаться Володька.

Коля подсматривал за ним в щелочку. Володька был очень пьян и нес подмышкой каракулевую жакетку Корнелии.

»Продавать понес, подлец! — злобно подумал Коля: — Несет, как свое! Когда сам никогда не покупал! Это, ведь, еще от Левы« — припоминал он домашние разговоры.

Когда хлопнула за Володькой калитка, Коля вылез из засады отряхнулся, поправил сползшую барашковую шапку и уверенно пошел к двери почтальона. Долго и упорно он стучал в запертую дверь, никто ему не отвечал. Вот уж на это он никак не расчитывал: пришел в гости, а хозяев нет дома!

»Куда ж они делись? У них всегда бывал кто-нибудь дома«.

Бесцельно простояв несколько минут, Коля дернул знакомую крайнюю правую дверь.

Попрежнему везде была грязь и разгром, как будто вещи в этой квартире никогда не могли определить своего постоянного места и временно стояли где попало.

Корнелия, растрепанная, с разорванной на спине кофточкой, стояла на коленях у кровати. Протянув вперед руки и обливаясь слезами, она молилась маленькому деревянному образу в углу.

— Матка Боска! Сжалься! Помоги мне! Пошли избавление! Неужели же до конца жизни нести кару? Довольно! Уже довольно! . . . Прости меня! Я больше не могу
Пресвятая Мать Великого Сына! .

И совсем захлебнувшись слезами, она упала головой на кровать, вся трясясь от рыданий.

— Лева! Лева . . . Услыши меня! Спаси! Лева! . . . — слышалась приглушенная ее мольба уже не к Богу, а к человеку.

»Опять этот Лева! — думал Коля, стоя у дверей и боясь войти в спальню. Все то же, ничего нового. Когда ей очень плохо приходится, она всегда вспоминает какого-то Леву. Наверно, это был ее самый главный любовник . . . Сказать ей или нет про жакетку? — колебался Коля: — все равно, Володька уже унес ее и сейчас, наверно, пропивает вырученные деньги . . . Не стоит говорить«.

Сдвинув брови и не сказав матери ни слова, он, неслышно ступая в своих новых калошах, тихо вышел из квартиры.

На душе стало тоскливо от знакомой тяжелой сцены. »Хоть к слесарше, что ли, пройти« . . . — подумал он.

— Кто там? — раздался высокий голос слесарши, когда Коля вошел в кухню. . .

— Это я. . .

Из комнаты слева несся булькающий храп самого слесаря. Слесарша боком заглянула в кухню, чтобы убедиться в своих предположениях о пришедшем.

— Чего лезешь? Давно не видали? Да это кто? . . . — вдруг переменила она недружелюбный тон на более ласковый, не узнав Коли: Да ты это и есть, — опять взвизгнула она: — Господи! Что это с тобой? И не узнать!

Коля подошел ближе.

— Иди сюда, — позвала она его в столовую: — а то самого разбудишь, только что лег. Пьян, как стелька! — отрывисто говорила она: — Ну, рассказывай, откуда у тебя все это?

— Николай Петровича это . . .

— Подарили, што ли?

— Да . . .

— Ну что же . . . На здоровье!

А сама завистливо сверкала глазами, стараясь делать вид, что ей безразлична чужая радость.

— Повезло, значит. Ношеное от своего ребенка подарили. Умер, что ли, их собственный-то? . . Да мне-то што, — тут же перебила она сама себя: — хоть от живого! . . Мать-то твою, поскудницу, Погодин выгнал! Без любовника осталась.

— Выгнал? — как эхо, отозвался Коля.

— Ну да! Кто же долго держать такую будет? В синяках да слезах приходит Ему веселую нужно!

— Конечно, веселую, — согласился Коля.

— Ничего! Найдет другого! Володька-то, как узнал, такую ей встряску задал! Я через стенку все слышала.

И многое еще порассказала слесарша из тяжелой интимной жизни Корнелии, черпая сведения через тонкую, простодушно все пропускавшую, деревянную перегородку.

— Эх, паренек! Сдается мне, что не жена она Володьке. Корнелия-то! . . Вот что! Что-то тут не чисто!

Коля стоял перед слесаршей в хорошо сшитом пальто и барашковой шапочке и молча выслушивал грязные факты из жизни своей матери. Он не спускал своих взрослых, задумчивых глаз со злого желтого лица слесарши, как бы изучая его.

— Все они прыгают, покуда не придет расплата, — продолжала она: — Почтальонша-то умирает от родов. В больницу повезли.

— В больницу . . .

— Допрыгалась! Нарожала троих — мало! Ну, и твоя мать допрыгается, погоди!

— Сама ты лахудра! — вдруг неожиданно выпалил Коля и бросился из квартиры. На лице слесарши сначала изобразилась растерянность, но потом, сообразив, что ее оскорбили, она выскочила за Колей. Но Коля был уже у ворот.

— Ах, ты, ублюдок эдакий! Погоди, я Володьку-то настрочу на тебя! Покажет он тебе барашковую шапку. Погоди!

Подлезая в подворотню, Коля все еще слышал ее высокий голос, отпускавший по его адресу нелестные словечки. Но ему сейчас это было безразлично: у него был Николай Петрович, и к нему Коля сейчас пойдет и укроется от всех недоброжелателей.

Сделав последнее усилие, он облегченно вздохнул и уже хотел встать на ноги, как вдруг почувствовал на спине какую-то тяжесть.

»Что это?« — Коля поднял голову, и от страха у него даже сердце упало: он узнал на своей спине ногу Володьки. Боясь пошевелиться, Коля лежал ничком на земле и прерывисто дышал в затоптанный грязный снег. Но Володька, очевидно, не хотел причинить ему боли, он только не мог отказать себе в удовольствии поиздеваться и тер свой грязный сапог о новенькое колино пальто. Потом вдруг снял ногу, сорвал с Коли шапку и, о чем-то думая, стал мять ее в руках.

Почувствовав себя свободным, Коля вскочил на ноги и бросился, было, в сторону.

»К Николаю Петровичу скорей« . . . — прорезало его мозг. Но вдруг остановился: »Как же шапка?«

Шапку было жаль, и Коля стоял и с мукой в глазах смотрел на жестокие володькины руки, комкавшие его мечту последних дней. Как ненавидел он в эту минуту так хорошо знакомую широкую володькину спину, вылезающие на воротник пальто давно не стриженые волосы, широко расставленные, нетвердые и, все-таки, продолжавшие быть наглыми, ноги.

»Если бы я был большой«, — подумал Коля: »я подошел бы так к нему сзади, тихонечко, и убил бы из левольверта«.

Но Коля был маленьким, слабым мальчиком, и у него не было с собой никакого оружия. От ненависти и досады ему хотелось плакать, но плакать было нельзя в володькином присутствии. И надо было делать недетские усилия, чтобы задержать в груди рвущиеся наружу рыдания.

Володька сопел и злобно водил по сторонам красными пьяными глазами.

— Вот куда она деньги девала, — сквозь стиснутые зубы прошипел он в ответ своим собственным мыслям: — решила барченка одеть по-барски ... Ха! Вот, ведь, сволочь-баба!

Размахнувшись, он злобно перебросил шапку через ворота. Но шапка, задев за острие верхушки, немного поколебавшись, прочно осела на столбе. От размаха Володька не удержался на пьяных ногах и плюхнулся на землю. Побледнев и крутя на груди нервными руками в синих варежках. Коля, не отрываясь, смотрел на безжизненно повисшую шапчонку. Она продолжала быть такой же недосягаемой, какой была в руках Володьки.

— Хэа, хэа ... — пьяно засмеялся Володька: — А ну-ка, достань, поди. Ну, поди, поди! — уговаривал он Колю, издеваясь над его беспомощным положением.

Голове было холодно. Коля оглянулся вокруг в надежде, что кто-нибудь его выручит из беды. Но в глухом переулке никого не было. Нет, надо самому лезть на столб. Но как это сделать? Опять же страшно Володьки: в любой момент он может схватить его за подол пальто.

— Хэа, хэа ... — продолжал сипло смеяться Володька: — Поди, пожалуйся матери. Поплачьте вместе ... Вы оба издеваетесь надо мной! — вдруг заревел он: — Издеваетесь! Убью! Обоих убью! И Ведрожицкого не дождусь!

Коля отступил на шаг. Володька был страшен. Ах, если б вдруг откуда-нибудь, из-под земли, вырос Николай Петрович, как в тех сказках, которых Коля наслушался в теплом кабинете. Но и кабинет и сам Ключевский сейчас казались такими далекими. Пред глазами была неприглядная, жестокая явь: шапка продолжала висеть на воротах, Володька не уходил.

— Бежать с матерью от меня хотите? — пьяно ревел тем временем Володька: — Я вам убегу! Я ...

Коля не успел понять, откуда в следующий момент у Володьки в руках оказался громадный камень, и только лишь сделал движение бежать, как вдруг упал от сильного толчка, почувствовав страшную боль в правой ноге.

Как сквозь сон, слышал он охрипший смех Володьки, а потом боль застелила его сознание.

— Ты что здесь лежишь, мальчик? — вдруг раздался над Колей чей-то голос, и кто-то слегка тронул его за плечо: — Тебя зашибли? Извозчик, что ли, переехал?

Это говорил бородатый, уже немолодой, плохо одетый мужчина.

— Хочешь, я отнесу тебя домой? Далеко ли живешь-то? — продолжал он допытываться, в то время как глаза его зорко оглядывали хорошо одетого мальчика, чтобы определить выгоду своего предложения.

— К Николаю Петровичу . . . В Никульский . . .

Коля сделал движение подняться, но, застонав, опять упал на землю.

— Нет, милый! Тебе, видно, самому-то не встать. Извозчика надо. Далеко до Никульского. Не знаю, брать иль не брать извозчика-то? Заплатят за извозчика-то, говорю?

— Заплатят, — уверенно ответил Коля, боясь упустить незнакомца: — Николай Петрович богатый . . .

А у самого дрогнуло сердце: а вдруг Николай Петрович, как увидит его такого, без шапки и в запачканном пальто, так и хлопнет дверью. И останется Коля на улице. И будет бородатый незнакомый мужчина его бить за неоплаченного извозчика. А потом придется ему как- нибудь самому ковылять обратно в Косой переулок, чтобы укрыться в своем заветном убежище под сараем и, уткнувшись лицом в солому, выплакать там свое горе. Коля так ясно себе все это представил, что комок слез стал подкатываться к горлу. Но вдруг он увидел возвращающегося бородача, важно восседающего на извозчике.

— Только ты сначала шапку мою достань . . . вон . . . — Коля показал на ворота.

— Кака-така шапка? Вот так штука! — Бородач от удивления даже разинул рот, увидев шапку на воротах. — Как же ты ее туда запсатил? Шалил, значит. Ну, вот и доигрался! Достать ее никак нельзя! Куда ж ее к чорту достанешь?

— Погодите, я достану.

Извозчик лениво слез с облучка. Его широкая, неуклюжая фигура медленно двинулась к воротам.

»Неужели я сейчас на извозчике поеду?« — подумал Коля о событии, которое не так часто случается в жизни человека. Но радостная мысль тотчас же потухла, когда он взглянул на свою ногу, как-то особенно прямо черневшую

на снегу. Лицо Коли искривилось от боли. Он недоверчиво посмотрел на синий в сборку армяк извозчика, в котором тот походил больше на женщину и казался очень неповоротливым: »Где ж такому справиться с шапкой!«

Но извозчик тем временем очень ловко сбил кнутовищем шапку и, скомканную, грязную, равнодушно подал Коле. С радостным удивлением схватил Коля свою, уже почти потерянную, драгоценность, но тут же от боли в ноге закрыл глаза: двое мужчин осторожно понесли его к экипажу.

В момент Коле стало страшно, что вдруг он больше никогда уже не сможет встать на обе ноги. Никогда больше не сможет ни бегать, ни даже ходить. Ужас охватил его маленькую душу. И упав лицом в пальто чужого человека, Коля заплакал.

Зачем, зачем только он пошел сегодня в Косой переулок? И что теперь говорить Николаю Петровичу? Ах, если б только можно было весь этот злосчастный день взять да и выкинуть из жизни и из вчерашнего прямо перескочить в завтрашний! И опять ненависть, большая, недетская, зазмеилась в его душе. Ненависть к жестокому Володьке, который с такой легкостью и простотой насмеялся над ним. От закипевшей в Коле ненависти слезы разом высохли. Он широко раскрыл глаза и увидел перед собой потертый, засаленный воротник чужого человека, к которому он прижимался мокрым лицом. Воротник был до того заношен, что грубые волокна материи, раньше дружно шедшие ровными полосками, тут, покрытые салом, вдруг теряли свою полосатость и переходили в ровную, лоснящуюся поверхность. Стараясь найти то место, где полоски начинали уже не быть полосками, Коля думал о Николае Петровиче. А что если он рассердится? Подсознательно копошилось в Коле желание сделать или сказать Николаю Петровичу что-нибудь очень, очень, приятное, от чего бы тот сразу простил бы все: и запачканную шапку, и приезд на извозчике, за которого надо платить и от которого Коля, все равно, не получил удовольствия. Но хорошие слова не приходили Коле в голову по той простой причине, что он не знал их, не мог найти их в себе. Поэтому желание его было совершенно бесформенным. Поэтому же, когда его внесли в квартиру, он, увидя испуганное, побледневшее лицо Ключевского, его плотно сжатые губы и глубокую складку меж бровей, только с мольбой молча смотрел на него, и Николай Петрович долго не мог ничего от него добиться.

— Нет, надо что-то сделать! Что-то сделать . . — говорил через некоторое время сам себе Ключевский, ходя взад и вперед по кабинету, когда доктор объявил у Коли перелом бедра: — надо все это как-то . . того . . . Так этого оставлять нельзя!

И долго все ходил по кабинету, принимая какое-то серьезное решение.

К ночи у Коли появился жар, ему стало трудно дышать, и он все просил вынести его на улицу, на хрустящий холодный снег. Коля широко хватал ртом воздух, стараясь захватить его побольше, и захлебывался от кашля. Было очень больно в боку, и ему казалось, что это Володька, забравшись под кровать, колет его длинной острой иглой. От страху Коля широко открывал глаза, но видел перед собой лишь бесформенную черную массу, которая однообразно крутилась вокруг него, выжидая момент, чтобы захватить и поглотить его. Коле было страшно.

— Володька, уйди! — дико кричал он, отмахиваясь от черной массы, и масса временно отходила, а потом исподтишка опять начинала незаметно крутиться где-нибудь сбоку, сначала вдали, а потом придвигаясь все ближе, ближе . . .

— А-а-а . . .

Ключевский, прислушиваясь к бреду ребенка, исходил в эту ночь не одну версту по своему кабинету. И все думал и думал . . .

К утру он выработал что-то совершенно определенное и ясное.

Груда же синих тетрадей к исправлению осталась в этот вечер нетронутой на его письменном столе.

* *

Целый месяц пролежал Коля в плеврите. Сломанная нога была в лубке, грудь и спина обложены горчичниками, компрессами.

Целыми днями он покорно перебирал, сидя на кровати, кубики, складывал картинки по разрезанным на неправильные фигуры дощечкам. И все было так тихо, размеренно и спокойно . . . Настолько тихо, что даже было чуть тоскливо, и Коля с нетерпением ждал прихода из гимназии Ключевского, когда мертвая квартира, наконец, оживала. Тогда начинали раздаваться звонки, слышались голоса, приходили доктора.

А вечером, когда зажигались лампы, Ключевский обычно усаживался у колиной постели и или читал, или рассказывал ему что-нибудь. Тогда делалось совсем хорошо.

За свою болезнь Коля немало наслушался всяких увлекательных рассказов о жизни разных народов и животных различных стран. Узнал, что, кроме Пореченска, есть еще очень большой мир, и то наполовину лишь исследованный, и что вообще много есть всяких чудес на свете, о которых можно узнать, если сесть на пароход или в поезд, и о которых много также написано в книгах.

И Коля полюбил держать в руках книгу. Но только не любил он читать все по порядку, строчку за строчкой: на это у него не хватало терпения. Его любимым занятием было самому выдумывать всякие истории. Любил кое-как, с пятого на десятое, прочесть страничку какого-нибудь рассказа, схватить идею, а дальше дополнять фантазией. Сочиненную историю он потом преподносил Ключевскому за прочитанную вот в этой самой книжке, на этой вот странице. Ключевский тотчас же уличал Колю во лжи и заставлял его читать весь рассказ по порядку. Это было очень скучно. Скучно было и то, что Ключевский не позволял выдумывать своих слов, нельзя было также и ничего пропускать, даже и такие слова, которые, по мнению Коли, уж совсем были ни к чему, потому что и без них все было понятно. Мысль бежала вперед гораздо быстрее, чем по складам выводились слова, и потому чтение для Коли было нудным занятием.

Ключевский боролся с колиным нетерпением и стремительностью, давал ему, в связи с этим, целые наставления, доказывая весь вред и несостоятельность этих черт. И тогда Коле делалось совсем тоскливо, и он объявлял, что у него болит живот или что его тошнит. Николай Петрович тотчас же оставлял свои наставления, делался странно молчаливым, и Коля засыпал.

Коля отсчитывал каждый день, каждый час, когда он выздоровеет, соскочит с кровати и убежит на улицу из этой, уже надоевшей ему за время болезни, тихой и спокойной квартиры, где царит система и порядок. И будет тогда Коля бродить один по большому городу, вбирая глазами что попадется, смотреть на небо и вслушиваться в звуки кругом, как бывало раньше, когда он был на свободе. Тепло и уют уже перестали радовать его привыкшую к бродяжничеству натуру. Хотелось прежней безответственности и свободы.

Но вот, наконец, лубки сняты с ноги, но Коля не побежал вдруг, как мечтал, на улицу, а осторожненько стал передвигаться от стула к столу, чуть ступая на больную ногу. Он всеми мыслями ушел в то, как надо ступить, как повернуться. Зажившая нога казалась такой хрупкой, что никак нельзя было ей доверить: а вдруг опять возьмет и сломается — вот только встань на нее, как следует! И Коля предпочитал, подогнув ее, просто прыгать на одной ножке. Но это ему запрещалось, его заставлялитихонечко ходить на обеих ногах одинаково.

Желание же бежать на улицу как-то прошло само собой. Вместо этого, он до прихода Николая Петровича тенью ходил за Анной, которая со вздохом вспоминала калошу, потерянную Колей в тот злосчастный день. Коле и самому было до боли жаль ее — хрустящую, на мягкой красной подкладке. Но что ж поделаешь, если злой рок и Володька были синонимами?

Изредка Анна разговаривала с ним, но больше молчала. Тихая, неслышная в своих войлочных туфлях (у нее были опухшие больные ноги), она была главной виновницей того, что в квартире царила тишина и монотонность. И Коля, засев в каком-нибудь уголке, отделившись от земли, переставал себя чувствовать, плавая в каком-то особом мире, созданном его фантазией. То ему казалось, что он вовсе не мальчик, а красивая синяя птица, которая летает по всему миру, все видит, все знает и разносит по всем уголкам земли счастье, которое она держит в своем клювике в виде листочков, цветов и травки. То воображал себя Коля могущественным богатырем, один шаг которого сотрясал землю и перед которым даже громадный и сильный Володька казался мошкой. И Коля небрежно давил эту мошку ногой и освобождал весь мир от великого врага человечества. И никому больше не надо было бояться, и все были счастливы . . .

Когда же, наконец, Коле в первый раз разрешили выйти на улицу, то он, прежде всего, был удивлен, что зима кончилась, и снег уже начал таять. Сердце радостно забилось в его хилой груди.

Но жизнь улицы после болезни показалась Коле необычно шумной и суетливой, и мечтая в постели о бесконтрольных брожениях по городу, сейчас он был рад, что рядом с ним идет Николай Петрович, который держит его за руку и с которым наверно знаешь, что никто уж не зашибет его, еще неуверенной ноги.

И Коля с любовью чувствовал свою связанность с Ключевским и с любовью засматривал в его мягкие, окруженные мелкими морщинками, карие глаза и улыбался ему от радости быть не одному в этом большом, неудобном и злом мире.

* * *

— Ну, веди меня к Володьке, — сказал однажды Николай Петрович, выйдя с Колей на послеобеденную прогулку.

Это было так неожиданно и так странно, что Коля даже остановился, услышав эти слова, и с испугом посмотрел на Ключевского: »Разве может у нормального человека явиться подобное желание«.

— П . . . п-почему? . . . — заикаясь, проронил Коля вслух, сразу сжавшись под своим драповым пальто. Вихрем замелькали в голове страшные мысли: »Хочет обратно меня отдать«. И жуть прежней жизни охватила все его тело.

— Не . . . не надо . . . с дрожью в голосе сказал он, нервно дернув головой.

— Ты чего испугался-то? — похлопал его по плечу Ключевский, угадывая его переживания: — Я просто с ним познакомиться хочу, для твоего же блага, глупыш! С ним и с Корнелией. Мне это надо. Ты не бойся! Я должен это сделать, иначе они каждую минуту, если захотят, могут отнять тебя от меня. Веди, веди! Все будет только к лучшему. Я хочу, чтобы ты был моим, совсем и навсегда, по всем законам. Понимаешь?

Где тут все понять? Какие-то законы! Конечно, есть всесильные полицейские . . . Но не все ли им равно, у кого будет жить маленький мальчик Коля?

Коля непривычно перешагнул калитку своего дома в Косом переулке. Непривычно потому, что Николаю Петровичу было совсем нетрудно открыть ее, не то, что Коле, который предпочитал раньше подворотню вместо неудобного обращения с тяжелой калиткой. Калитка, как обычно, была на цепочке, так что пролезать в нее приходилось боком.

Перед шестью одинаковыми дверями Коля остановился, строго посмотрев на Ключевского, как бы желая проверить серьезность его намерения. »Одумайся! Еще не поздно«, — говорили его глаза.

— Ну, ну . . . — подбодрил Ключевский, и Коля дернул ручку двери своей прежней квартиры.

— Ты не звонил! Ах, разве не надо? Звонка нет . . . Ну, хорошо, — заволновался Ключевский.

Дверь в спальню была закрыта, отчего в кухне было темнее и неуютнее обыкновенного. Коля огляделся: все было, как прежде. Вот и сундук, за которым было пережито столько страху, пролито столько одиноких слез. Коля заглянул за него. Там тоже все было без изменений, как будто он вот только вчера оставил свою постель.

— Вот моя подушка! — радостно воскликнул Коля, вытаскивая что-то очень серое, грязное. — Возьмем с собой? — жадно, с сознанием собственности, прижал он подушку к груди.

— Брось, не надо! — брезгливо поморщился Ключевский и постучал в дверь спальни.

За дверью кто-то легко соскочил с кровати, стукнув каблучками о пол.

— Кто там?

Дверь открылась. На Ключевского пахнуло духами, и он увидел пред собой красивую молодую женщину.

— Прошу извинить меня. Я, кажется, нарушил ваш отдых. С кем имею удовольствие говорить?

Корнелия, быстро окинув взором Ключевского, перевела взгляд на Колю, и в ее подведеннных миндалевидных глазах отразилось не то удивление, не то недовольство.

— Константинова, — сухо ответила она.

— Очень приятно, — продолжал Ключевский: — я пришел к вам по делу. Вот . . . относительно Коли.

Теперь уже определенный испуг выразился на ее лице. Слово »дело« ударило ее, как плетью.

— Я . . . я . . . Какое же может быть ко мне дело? Я никакого отношения не имею к этому ребенку.

— То-есть . . .

— Я ничего, ничего не знаю, — перебила Корнелия, — мой муж уехал на-днях в Москву. Вы придите потом как-нибудь, когда он приедет. Я же ничего не могу вам сказать. Я ничего не знаю.

— Разве Коля не ваш сын? — удивился Ключевский.

— О, нет, нет! — испуганно подняла Корнелия руки к вискам.

Ключевский вопросительно посмотрел на Колю. Коля вертел в руках шапку и широко смотрел на Корнелию, как будто видел ее в первый раз в своей жизни. Ключевский растерялся: может быть, это вовсе и не Корнелия?

— Но мне нужно говорить с матерью Коли.

— Я не знаю ее, — сухо ответила Корнелия.

— Да врет она! — как бы проснувшись от удивления, вдруг воскликнул Коля.

— Как ты смеешь так говорить! Молчи! — вспыхнула Корнелия: — Много ты знаешь! . . .

— А Владимир . . . — начал опять Ключевский, затрудняясь в володькином отчестве.

— Владимир Петрович, — охотно подсказала Корнелия.

— Да. именно. А он? Он тоже не отец Коли?

— Боже сохрани! — деланно рассмеялась Корнелия.

— Мне это как раз и надо было знать, — уверенно заговорил Ключевский. — Одним словом, повидимому, никто не претендует на этого мальчика.

Ключевский сделал паузу, полувопросительно смотря на Корнелию.

— Я вас не понимаю . . . Да вы садитесь, пожалуйста, — вдруг спохватилась Корнелия, — вот тут есть стул, сзади вас. Сковородку можно поставить на пол. Я не пойму, в чем дело. Что этот паршивый мальчишка натворил или наговорил? При чем тут я?

Ключевский не стал переставлять сковородки. Всюду было так нечисто, что он, все равно, не решился бы сесть, даже если б стул и не был занят посудой.

— Я не буду отнимать у вас много времени и буду краток. Я узнал, что Коля жил с вами, поэтому и решил, что вы имеете какое-то к нему отношение. Я хочу взять его к себе, даже усыновить, если он сирота. И от вас я только хотел получить на это согласие, так как предполагал, что вам, при ваших условиях жизни, нелегко содержать ребенка. Мне же он будет только на радость.

— Ха-ха! — неожиданно засмеялась Корнелия.

Ключевский на секунду остановился от ее неуместного смеха, а потом продолжал:

— Я совершенно одинокий человек. Не богат, но Колю я могу воспитать. Он мне нравится. Я его полюбил за те два месяца, что он со мной.

— Два месяца? — удивилась Корнелия, — а я-то думала: куда он делся? — Кокетливо дернула она плечом.

— Да, два месяца. И потому, что за это время на него не было никаких притязаний, я и решил, что в нем никто не заинтересован. Вы, ведь, не заявляли в полицию об его исчезновении?

— В полицию! Что вы! Мой муж запретил . . . то-есть, я . . . Нет, я никуда не заявляла, — забормотала она, спутавшись.

Ключевский пытливо посмотрел на нее.

— Ну, а как сейчас выяснилось, вы не мать его, то, может быть, вы мне скажете, кто его родители? И . . .

— У него нет родителей, — опять перебила Корнелия: То-есть, я не знаю их.

Корнелия заволновалась и, не глядя на Ключевского, стала теребить кружево своей белой кофточки.

— Я вначале не поняла, зачем вы пришли . . . Хотя я вам и сказала, что я не мать его, но . . . Конечно, я не мать его . . . Видите ли . . . мне его подбросили, совсем грудным . . . — Корнелия взмахнула на Ключевского ресницами: — Я его вырастила.

— Но при нем была какая-нибудь записка с указанием его имени, возраста?

— Н-нет, не было . . . Очень странно, неправда ли? — обворожительно улыбнулась она.

— Да, конечно . . . Но вы его потом усыновили, ведь? Он, наверно, носит вашу фамилию?

— О, нет! Я этого не могла сделать, потому что мой муж был против.

»Просто, милочка, это твой, незаконный ребенок«, — мысленно сделал заключение Ключевский.

— Под какой же фамилией он живет? — вслух произнес он. . .

— Ни под какой, — просто сказала Корнелия, — бумаг у него никаких нет.

Ключевский пытал взглядом Корнелию, так бесцеремонно ему лгущую. Но Корнелию смутить было трудно.

— Несчастный ребенок . . . — лицемерно прошептали ее губы.

»Коля действительно совсем не похож на нее лицом«, — думал тем временем Ключевский.

— Одним словом, вы ничего не будете иметь против того, чтобы я усыновил Колю?

— Пожалуйста, — любезно согласилась Корнелия, как будто ей предлагали выпить чашку чаю.

— Хотя он и вырос вашими заботами, но вам, очевидно, не легко было с ним.

— О, да!

— Я дам ему имя, определю в гимназию . . . Постараюсь сделать из него человека.

— Это . . . удивительно с вашей стороны . . . такого мальчика . . .

— Он, мальчик хороший, — запротестовал Ключевский. — Только ваш муж, кажется, не очень его долюбливал?

— Ах, Коля вам уже все насплетничал?

— Нет, я сам узнал, — срезал Ключевский. — Так вы совсем не можете дать мне какие-либо сведения о его родителях?

— К сожалению ... — Корнелия кокетливо покачала головкой.

— Благодарю вас! — Ключевский повернулся к двери.

— Вы как хорошо одели его, — завистливо проронила Корнелия, в первый раз за весь разговор осмотрев Колю: — А мы так нуждаемся ... иногда не на что обед купить ...

— Может быть, вы хотите знать мою фамилию? — прервал ее Ключевский.

— Да, пожалуй ...

— Вот вам моя карточка.

— Нет, я карточки не возьму ... мне не надо, я ... только хочу знать вашу фамилию. Николай Петрович Ключевский, — прочла она. — Хорошо. А карточку вы возьмите. Мой муж скоро вернется из Москвы, он не должен ничего знать ...

— Странно, но если вы так хотите, Корнелия ... то-есть, Анна Григорьевна ...

— Да, меня зовут Анной Григорьевной ... А Корнелией меня зовет только муж, потому что это ... поэтичнее.

— Мне это все равно. Прощайте.

— Постойте! — Корнелия вдруг схватила Ключевского за рукав польто и быстро зашептала: — Пожалуйста, не афишируйте! Сделайте так, чтобы Володя не узнал ... Весь сегодняшний разговор должен остаться строго между нами. Хорошо? Я вам, может быть, когда-нибудь расскажу больше ... Вы хороший человек, берите Колю к себе. Я ... простите, я ... вы не думайте, что я сумасшедшая. Может быть, мне когда-нибудь нужна будет ваша помощь ... Я приду к вам ... Можно? Вы мне поможете?

Говоря это, Корнелия совершенно изменилась. Куда-то исчезла вся ее наигранность, и она превратилась просто в несчастную женщину, которая не могла сказать всего человеку, которого видела в первый раз. Может быть, еще один момент, и она вся ему раскрылась бы. Для этого нужно лишь было что-то сделать Ключевскому, повернуть какой-то рычажок. Но его неприятно раздражали ее крепкие духи, и он устал от мелькания ее глаз: она имела привычку при разговоре быстро перебегать глазами по глазам собе-

седника. И освободив свою руку, в которую вцепилась Корнелия, Ключевский отступил на шаг.

— Извините. Нет, я не могу разрешить вам приходить ко мне. К Коле вы совершенно равнодушны: вы не видели его два месяца и даже этого не заметили, — резонно заметил он, — зачем же вам приходить ко мне?

— Нет, не то . . . вы не поняли . . . — разочарованно уронила руки Корнелия, — я в таком сейчас положении . . . я не знаю, что мне делать . . .

— Вам нужны деньги? — холодно спросил Ключевский, действительно не понимая ее.

— Ах, — встрепенулась она и опять наигранность и кокетство вернулись к ней, — могли бы вы дать мне взаймы?

— У меня с собой много нет . . . — Ключевский открыл бумажник. — Вот десять рублей я мог бы предложить вам.

Корнелия тоненькими пальчиками слегка потянула розовую бумажку за уголок, и она быстро исчезла у нее в кулаке.

— Спасибо, спасибо! Это как раз столько, сколько мне не хватало.

— Отдавать не беспокойтесь, — еще холоднее сказал Ключевский и обратился к молчаливо стоявшему Коле: — Простись, Коля, и идем, пора. Ну, простись же! — подтолкнул его Ключевский, — ты больше сюда н и к о г д а н е придешь. Понимаешь? . . .

Коля делал свои наблюдения, и у него были свои умозаключения по поводу всего слышанного, и поэтому он растерялся и как-то чрезвычайно официально проговорил:

— Прощай. Корнелия!

— Прощай! — небрежно бросила Корнелия, тоже думая о чем-то своем, и опять схватила Ключевского за рукав: — Вы удивительный человек, удивительный . . .

»Нет, пожалуй, она действительно не мать его«, — думал Ключевский, подвигаясь к двери за Колей и не замечая, что тянет за собой Корнелию.

— Подождите! — вдруг истерически выкрикнула Корнелия, — я . . . (ее глаза с мольбой уставились на Ключевского) . . . я . . .

Она сотояла у раскрытых дверей, ежась от свежего весеннего воздуха и нервно кусала губы. Ключевский молча, с равнодушием, ждал.

— Нет, это все . . . — неожиданно бросила она одним краем рта и как-то криво улыбнулась: — Ничего . . . Это — все.

— Прощайте, — сказал Ключевский и вышел, в последний раз взглянув на эту красивую, но уже помятую и издерганную женщину. Ему показалось, что в глазах Корнелии стояли слезы, когда она, сказав »прощайте«, захлопнула дверь.

* * *

Трудно давалась Коле учеба — он быстро забывал все, что нужно было брать зубрежкой. Так же плохо обстояло дело с арифметикой. Никак не давались ему коммерческие расчеты, распределения сумм и прочее. Изучить же таблицу умножения стоило Коле нескольких припадков. И опять пришлось ему посещать доктора, и опять в спальне на его ночном столике появились лекарства.

Ключевский стал заметно во многом себе отказывать, только чтобы дать что-нибудь лишнее своему приемышу. И до этого-то он жил скромно, но тут совсем заперся в своем одиночестве, отдавая все свое время занятиям с Колей.

Коля усердно прозанимался все лето, а осенью предстал пред экзаменаторами.

Это было очень страшно, — так страшно, что, очутившись у черной доски перед незнакомыми учителями, которые называли его »Ключевским«, Коля замолчал. Даже Николай Петрович, среди незнакомых лиц, перестал ему казаться своим. От Коли долго ничего не могли добиться, пока, наконец, Николай Петрович не начал сам задавать ему вопросы.

Благодаря Николаю Петровичу же, Колю все же приняли в приготовительный класс. И стал Коля одним из тех серых мальчиков, которые носили за своими спинами ранцы и которые раньше казались ему недоступными, как бы из другого мира, и до Николая Петровича Коля боялся их и при встрече на улице сторонился. Это было для него новым психологическим поворотом и вызвало массу новых ощущений.

Хотя Николай Петрович много рассказывал Коле и о гимназии, и о дисциплине, и о правилах, которые все гимназисты должны выполнять, все же Коля создал в своем воображении иную гимназию. Многому пришлось удивляться. Прежде всего, учительница оказалась молодой блондинкой, тогда как Коля почему-то представил ее себе старой и седой женщиной. А мальчики, хотя и не дрались, но таращили на него глаза, а один даже несколько раз

ткнул в него карандашом, потому что хотел заставить его говорить. А говорить Коля не желал и не мог, потому что слишком много нужно было думать.

Забравшись на самую заднюю парту, Коля исподлобья наблюдал за классом. А учительница вызывала всех по порядку и с каждым знакомилась и каждого о чем-нибудь спрашивала. Дошла очередь и до Коли.

— Ключевский! — вызвала она, — так прямо, перед всем классом, и назвала его »Ключевским« . . . Коле вдруг стало очень стыдно, что его называют чужой фамилией. Нырнув под парту, он грубо пробурчал с пола:

— Никакой я не »Ключевский«! Нету у меня фамилии, я просто Коля . . .

Мальчики дружно рассмеялись. От их смеха Коле стало еще стыднее, и он бросился вон из класса.

— Постой, постой! Куда ты? — закричала ему вслед учительница и, выбежав за ним, поймала за рубаху.

Коля не знал, что будет с ним делать эта женщина — может быть, она начнет его бить! Кто ж ее знает? Ведь, видел он ее в первый раз в своей жизни, и, отбиваясь от учительницы руками и ногами, он дико закричал:

— Иди ты к чорту от меня!

Учительница, побледнев, отпустила его, и Коля бросился в раздевальню искать какого-нибудь прикрытия, где можно было бы спрятаться, уйти от всех этих чужих, навязчивых людей.

Зарывшись под чужие пальто, он притаился, дрожа мелкой дрожью каждый раз, когда кто-нибудь проходил мимо.

Сидя в своей засаде, он вдруг почувствовал себя таким несчастным и таким ненужным никому подкидышем, что от горечи и жалости к самому себе у него сделалось очень больно в груди.

И все, все чужие! Все от него отказались. И Николай Петрович тоже оставил его среди всех этих новых людей. Знакомое чувство одиночества охватило Колю. Сидя сейчас под шубами, он испытывал то же, что и под сараем в Косом переулке, куда он забирался в трудные минуты жизни. Поэтому, когда, после отчаянных поисков по всей гимназии, Николай Петрович, наконец, нашел его, то бедняга радостно бросился ему навстречу и, упав в знакомые колени, разрыдался.

Плакал он долго, горько причитая: »Чужой я, всем чужой« . . . Николай Петрович тотчас же взял извозчика и привез его домой.

Но и дома Коля не нашел облегчения. И дома все представилось ему теперь в новом освещении. И шкап с книгами, и стол для занятий — с зеленым абажуром — и вделанная в стену полочка для учебников, — все показалось ему таким же надуманным и ему не принадлежащим, как и данная ему фамилия.

Изнемогая от наполнивших его самых разнообразных горьких чувств, Коля залез под кровать и принялся злобно грызть и ломать на куски карандаш, который он нашел в своем кармане.

Николай Петрович долго не приходил к нему в комнату. Но, наконец, Коля услышал его шаги, а потом и увидел знакомые черные штиблеты, которые остановились прямо перед кроватью, под которой он устроился. Правый штиблет несколько раз нервно постучал носком об пол, а потом Коля услышал:

— Сознаешь ли ты, насколько серьезен твой поступок, Коля?

Так как Ключевскому никто на это не ответил, то, помолчав, он продолжал:

— Ты оскорбил учительницу. Тебя исключают из гимназии. Понимаешь? — исключают! — значительно повторил Ключевский: — Это значит, что ты никогда не сможешь больше учиться в гимназии.

»Слава Богу!« — подумал про себя Коля, но вслух ничего не сказал.

А Николай Петрович начал объяснять, что значит исключение. Говорил он долго, постукивая в более сильных местах правым носком ботинка об пол. И вдруг Коля перебил его:

— И пусть исключают! Я уеду в Индию. И не хочу я никакой фамилии! Я там без фамилии буду.

— Как же, Коля? Нельзя этого, у всех есть фамилия.

— Моя нарочная.

— Но этого никто не знает, а сам ты об этом никому не говори.

И Николай Петрович начал пространно объяснять правила усыновления и представил все выводы из этого. А потом говорил, что так любит Колю, что рад дать ему свою фамилию, чтобы Коля был ему как сын и ничем не отличался бы от других детей, был таким же, как все остальные. И говорил, что надо забыть все, что было раньше, не вспоминать прошлого, что начинается новая жизнь, открывающая новые возможности, и т. д., и т. д.

Долго говорил Николай Петрович. Коля молчал. И вдруг вылез из-под кровати с горящими глазами и побледневшим, лицом, бросился к книжному шкафу. Недолго он отыскивал то, что ему было нужно: он хорошо знал каждую книгу в этом шкафу. Взяв с полки »Принца и нищего«, Коля с гордо откинутой головой сказал:

— Вот, он тоже был нищим, а потом стал принцем. Вот .. — тыкал он книгой в Николая Петровича.

Это было сказано с такой торжественностью, что Ключевский искренно рассмеялся и, притянув к себе Колю, ласково обнял его.

— Вот именно: вырастешь ты и будешь какой-нибудь знаменитостью. Правда, ведь?

— Да, правда, — серьезно ответил Коля.

— Фантазер ты у меня! А? — продолжал смеяться Ключевский, вспоминая как поразил его своей оригинальностью в первую встречу сейчас стоящий перед ним мальчик. Но вдруг встретил неодобрительный взгляд Коли, который не видел во всем этом ничего смешного и почувствовал себя неловко. Сразу переменив тон, он сказал:

— Вот что: теперь мы должны говорить, как взрослый со взрослым. Хорошо?

Коля кивнул головой. Они сели на диван.

— Вот, что, Коля, — начал Ключевский: — я постараюсь все уладить в гимназии, но ты должен делать все, что я тебе скажу. Ни в какую Индию ты сейчас не поедешь, а останешься здесь, и теперь, сейчас же, ты должен дать мне честное слово. Понимаешь, — честное слово, которому я поверю и которого ты никогда не должен нарушать, — слово в том, что впредь ты никогда не посмеешь говорить старшим ругательных слов. Ты больше не уличный мальчик, чтобы ругаться. Понял? Даешь слово?

Коля кивнул головой.

— Нет, ты не кивай мне головой, а скажи: »даю честное слово в том, что« . . .

— Даю честное слово в том, что никогда не буду ругать старших, — торжественно проговорил Коля.

— Ну, вот и молодец! А уж я все устрою.

Ключевский, ласково похлопав Колю по плечу, ушел к себе в кабинет.

Коля тяжело вздохнул. »Даю честное слово . . . — Мысленно повторил он: »Не ругаться« . . . И вдруг все показалось ему страшно безвкусным. И стало ему скучно-скучно.

* * *

Несколько дней Коля не ходил в гимназию. Ключевский старался уладить инцидент с учительницей и просил директора простить Колю и попробовать еще подержать в гимназии этого бурного, недисциплинированного мальчика. В конце концов, директор поддался просьбам Николая Петровича, приняв во внимание юный возраст мальчика.

Было решено не доводить дела до педагогического совета, заставить Колю извиниться перед учительницей и этим ликвидировать неприятный инцидент.

Ключевский радостный пришел в тот день домой и долго опять говорил с Колей, который не видел большой необходимости возвращаться в гимназию. Но Ключевский так строго и решительно этого требовал, что Коля понял, наконец, что не может иметь по этому вопросу своего мнения и понял, что должен подчиниться.

Заставив Колю извиниться перед учительницей, Ключевский видел, как много он уже достиг в его воспитании, сломив его характер Коля тоже вдруг понял, что такое дисциплина, и стал подчиняться и выполнять, что от него требовали в гимназии. Иногда только у него сверкали глаза своеволием, но он тут же вспоминал данное Николаю Петровичу обещание и сдерживался.

Но в гимназию Коля ходил все же без удовольствия, и часто утром, в надежде остаться дома, он вкрадчиво спрашивал Николая Петровича:

— Нужно идти? А может быть . . . не надо? . . .

И Николай Петрович каждый раз неизменно твердо отвечал:

— Да, нужно. Идем.

Они шли по Большой улице, а потом сворачивали на Вознесенскую, к длинному серому зданию. Коля любил эти хождения нога в ногу с Николаем Петровичем. И пока шел, забывал все неприятное, что его ожидало. А неприятно было все. И то, что там было тридцать горластых мальчиков, которые почему-то насторожились против него, и то, что там с него требовали отвечать перед всем классом. Коле казалось стыдным перед всеми вслух отвечать урок, и он часто, если даже и знал, молчал под испытующими, насмешливыми взглядами товарищей, которые уже ждали от него какой-нибудь выходки.

Дома Николай Петрович вместе с Колей зубрил заданные слова на ять и писал столбцы цифр, которые для Коли были гораздо хуже букв, потому что меняли свою величину и значение, как только неосторожно поставишь их

чуть правее или чуть левее. И Коля всей душой возненавидел их.

Но стоило только Николаю Петровичу оставить Колю одного, как все комбинации со сложением и вычитанием разом от него отскакивали. Учить урок не хотелось. Коля рассеянно водил по столу карандашом, смотрел в окно или уставлялся в стену перед собой и в неровных линиях обоев отыскивал какие-нибудь фигуры или лица. Вот здесь определенно выглядывала обезьянья морда, наполовину спрятавшаяся за деревом — наверно, кого-нибудь выслеживала... А вон там показался остроносый профиль учительницы, или — нет: скорее это летит птица, причем одно крыло у нее поджато, вид у нее жалкий, беспомощный, вот-вот упадет... Как будто ее только что подстрелил охотник, прячущийся где-то за наличником окна. Коля даже как будто слышал выстрел. И запах пороха ... этот запах имел оранжевый цвет. Коля щурил глаза, и оранжевый цвет переливался в цвета радуги. Из всех цветов Коле больше всего нравился фиолетовый. На нем он любил остановиться и, вглядываясь, начинал видеть своего законоучителя. Фиолетовый цвет мигал, сгущался и опять расплывался. А батюшка из-за него улыбался, кивал головой, говорил что-то ласкающее, приятное. Коля погружался во что-то мягкое, как будто летел в пушистом облаке. Оно несло его в бесконечность, из которой выступали какие-то струи, нежные, как женские руки. Они касались колиных волос, гладили его руки... Коля невольно закрывал глаза, а по губам его начинала бродить счастливая улыбка. Как глоток горячей воды, попавшей в желудок, растекалось по всему его телу блаженство. Боясь нарушить его, Коля неподвижно сидел, упершись горячим лбом в ставшие влажными ладони.

— Ну, как дела? — вдруг раздавалось в дверях, и Ключевский, грубо ворвавшись в хрупкий иллюзорный мир, вмиг разбивал его. Коля вздрагивал от неожиданности.

— Все та же страница? — продолжал Ключевский: — Ты что же это, брат? Мечтаешь о чем-то, а не учишь урока?

Коля тупо смотрел на Ключевского, плохо понимая, о чем он говорил: и его громкий голос, и чеканные шаги, и перелистывание учебника, — все это были звуки из другого мира. Коля не помнил, что отвечал, он только с нетерпением ждал, чтобы Ключевский скорее бы ушел из комнаты.

И тогда Коля снова пытался вернуться в прежнее блаженное состояние. Для этого надо было принять прежнюю позу и найти ту же точку в стене, которая вызвала восхитительные ощущения. Коля искал, нащупывал внутри себя ту кнопку, которая была причиной этих переживаний. Нужно было чуть-чуть сжать сердце, как при испуге. От этого внутри чуть немело, и в груди разливалась волна. Тогда уже легко было невидящим взором нащупать фиолетовый цвет. Он обычно выглядывал уголком, не показывался сразу: сначала блеснет ярким светом, как молния, и лишь потом начинал принимать свой настояший цвет. А дальше было уже легко, и Коля автоматически погружался в сладостное состояние безграничной любви и ласки. Он плавал в этом блаженстве опять до момента, пока Ключевский не появлялся в дверях, и опять жесткий реализм, как только что подстриженный щенок — шершавый, самоуверенный — врывался в комнату, и опять привычный и надоевший мир трех измерений лез на глаза своими заученными, избитыми, ложными формами.

— О чем же ты все думаешь? — спрашивал Ключевский.

— Так . . . интересно . . . — неопределенно отвечал Коля, опуская глаза и делая вид, что усердно принимается за учебник.

— Но, ведь, ты уже больше часу сидишь вот так, с глазами, устремленными за пределы комнаты!

— Я . . . я еще не додумал тогда . . . Когда вы приходили в первый раз . . . еще не досмотрел. . .

Даже Николая Петровича Коля не мог допустить в свой заветный мир, да и объяснить ему, что, собственно, он делал не мог бы. не мог бы установить, что все это началось с батюшки, что он вызывал в нем такие особые и новые ощущения.

Конечно, сначала Коля со своим обычным недоверием отнесся к нему (ведь, это опять было новое лицо, к которому зачем то нужно было привыкать). Но его рассказы о Боге и чтение ветхозаветной истории были так занимательны — совсем, как арабские сказки, — а сам батюшка был таким вкрадчиво-ласковым, что все недоверие, которым вначале Коля себя застраховал, разом исчезло, растаяло, а взамен его явилось что-то новое, дотоле не испытанное. Что-то женственное было и в движениях батюшки и во всей его длиннополой и длинноволосой фигуре. Этот старичок неожиданно и мягко вошел в душу Коли и заполнил ту пустоту, которая существовала у него с детства,

лишенного ласк матери. И одному батюшке Коля не стеснялся задавать в классе вопросы и ему одному отвечать уроки, не замечая других мальчиков.

Бога Коля не знал, но рассказы о сотворении мира и Божественной природе всколыхнули в нем нетронутые глуб ы. Не умом, а подсознательно, он понял Бога и потянулся к Нему.

Как-то сразу, в один день, величие мира охватило его. Тогда захотелось открыть кому-нибудь свою душу, поделиться с кем-нибудь своими переживаниями, рассказать, что с ним творится. Но не выдержанному Николаю Петровичу хотелось говорить об этом, а женственному батюшке.

И Коля ходил за ним по пятам, ища случая встретить своего кумира где-нибудь одного, в коридоре гимназии, но, встретившись, Коля от радости терял дар речи и был счастлив лишь почувствовать на своих плечах или голове батюшкины ласковые руки. От этого прикосновения счастье разливалось в груди Коли. От восторга ничего не сказав ему, он лишь безмолвно провожал его глазами до учительской, которая Коле представлялась большой, темной комнатой, посреди которой находится большой котел, а в нем варится какое-то зелье. . .Кругом пары. . . А учителя все стоят вокруг этого котла, смотрят на дно его и видят там всех своих учеников, знают, что они делают, что говорят. . . И тут же, под действием курящихся паров, узнают они, что им говорить в классе на следующем уроке. Коле всегда было немножко жалко батюшку, закрывающего за собой дверь учительской, жалко, что он, такой особый, стоит вокруг общего учительского котла, вместе с обыкновенными суровыми учителями.

Коля просто и глубоко полюбил батюшку.

Так же полюбил он и ходить в церковь. Став в темном, неосвещенном углу храма, любил наблюдать за всем священнодействием, следить за величественными жестами священнослужителей, прислушиваться к пышным, непонятным фразам. Все в церкви было так непохоже на обыкновенную жизнь, что оторваться от всего этого было трудно.

А дома он и утром и вечером с чувством прочитывал все молитвы, которые охотно выучил, и клал бесчисленные поклоны перед загадочно поблескивающей иконой Божьей Матери и шопотом выкладывал ей все свои детские грехи, сомнения и желания.

Кроме Закона Божьего, остальные отметки у Коли были плохими, и ясно было, что ему придется остаться еще на

один год в приготовительном классе. Уяснив это, Ключевский не стал налегать на его занятия и посещением зверинца, цирка и небольшого городского музея старался отвлечь его от чрезмерного увлечения церковью, снизить его религиозный подъем. А на лето Ключевский сулил Коле поехать на дачу, где Коля будет ходить в лес, бегать по полю, рвать цветы, собирать разных насекомых, составлять интересные гербарии.

Коля с нетерпением стал ждать лета, уже витая мечтами по тем полям и лесам, которые »находятся на даче«. Каждый день он надоедал Николаю Петровичу, спрашивая, не пришло ли уже лето.

— Мне показалось, что я его видел сегодня.

— Где же ты его видел?

— А на углу Большой и Порохового: там цветочница продавала ландыши, и так запахло летом! — задумчиво говорил Коля.

— Нет, это еще не лето, — отвечал Ключевский, — оно наступит после экзаменов.

Экзамены... Коля тяжело вздохнул. Почему нельзя делать того, что хочешь, а надо еще с чем-то считаться! Теперь вот эти экзамены! Уже сколько месяцев он учится — надоело! И Коля стал уделять занятиям лишь необходимый минимум времени, не задумываясь над последствиями.

Остаться на второй гой Коле совсем не было стыдно. Он еще не понимал, что значит »второгодник«, и самолюбие его не страдало. После экзаменов он лишь с большим нетерпением стал ждать обещанных летних развлечений.

Наконец, в один из последних майских дней, лето любезно пришло. Высунувшись в этот день в окно, Коля увидел дворника из соседнего дома, подметавшего улицу в одной рубахе, и тотчас же объявил Ключевскому о несомненных признаках лета. Сомнений на этот раз не было и у Ключевского. Он подтвердил, что лето действительно пришло, и стал собираться на дачу.

* *

В первый раз в своей жизни Коля поехал поездом. Сели они в длинный желтый вагон, где приятно пахло особой смесью дерева и перегорелого масла. И везде были все только отделения да полки с обтянутыми тиком мягкими сидениями.

Коля не успел, как следует, всего рассмотреть, как раздался свисток, и поезд тронулся. Это было очень странное и, вместе с тем, приятное ощущение. Почти такое же, как когда едешь на извозчике, но только сильнее и лучше. Хотелось, чтобы поезд никогда не останавливался, а бесконечно- долго летел вперед, движимый неутомимой силой, которая потому была так стремительна, что была совершенно уверена в том, что впереди, за неясными далями, скрывается что-то очень хорошее.

Примостившись у окна, Коля не мог оторваться от мелькавших мимо фабричных труб, от деревенских девчонок в развевающихся по ветру длинных, до земли, цветистых юбках, с лукошками и цветами в руках и застывшим удивлением на лицах; от мальчишек в вздувшихся пузырем неподпоясанных рубахах, что-то кричащих и низко кланяющихся поезду. . . А потом пошли бесчисленные поля. Было что-то убаюкивающее в их однообразии. Прислонившись к мягкой обивке вагона и прислушиваясь к мерному стуку колес, Коля незаметно для себя задремал.

Ему показалось, что он только на секунду закрыл глаза, и потому был старшно удивлен, когда Николай Петрович, слегка тряхнув его за плечо, объявил:

— Вставай, вставай! Через десять минут приедем.

— Как десять минут? — с ужасом открыл глаза Коля.

Дневной свет, изо всех сил борясь со вставленной под потолком нервной, мигающей свечой, в конце концов, уступил и стал деликатно уходить через щели холщевой занавески на окне.

»Неужели уже вечер?«

Коля мечтал, что будет еще много-много этих сладостных часов в поезде, и вдруг, через какие-то десять минут, все это должно кончиться.

— Зачем так близко дачу сняли? — недовольно ворчал он, когда Николай Петрович стал помогать ему одеться, чтобы не прозевать остановки.

* * *

Дачу, действительно, сняли под самым Пореченском, где был небольшой лесок и текла жалкая речушка, которую только в некоторых местах нельзя было перейти вброд.

Николай Петрович с Колей поселились в простой избушке, в которой только было две комнаты. В одной комнате стали жить они сами, а в другой осталась хозяйка из-

бушки, еле слышная старушка, которая готовила им простые сытные обеды, а также прибирала избушку.

Старушка была очень боязливой: все боялась чем-либо помешать или не угодить барину с сыном, и от страху и угодливости все время вертелась под ногами; говорила тихо, еле слышно, и поэтому ее часто приходилось переспрашивать. Ходила она тоже совсем неслышно, чтобы, Боже упаси, кого не обеспокоить, и часто пугала Колю своим неожиданным, как из-под земли, бесшумным появлением. Старушка в ответ виновато улыбалась и юркала в свою комнату. Она была настолько забитой, что даже когда погода менялась к худшему, чувствовала себя виноватой и, как бы извиняясь, говорила: »Это не надолго, оно ветром сдует«. А когда шел дождь, она с заискивающей улыбкой говорила: »Это . . . молодой месяц обмывается. Обмоется — потом ясно будет« . . . Вообще, в погоде она принимала большое участие.

— Ветер-то сёдня какой: так и норовит подол на голову задрать, — довольно сообщала она, приходя откуда-нибудь, как будто погоду она сама сделала и потому страшно радовалась, что она ей так удалась.

Будучи вообще страшно молчаливой, она не пропускала ни одного разговора о погоде, и стоило только упомянуть слова: »солнце«, »небо«, »тучи«, как она разом вырастала из-под земли с какой-нибудь репликой — или в укор, или в оправдание небесных сил. По большей части, она их обвиняла в безалеберности: все ждешь-ждешь солнца, а оно — на тебе: дождь! . . . И возникало подозрение, что в небесной канцелярии вообще не все в порядке. Все как-то не так. И всегда-то у нее была война с небесами: она старалась их обмануть и в перерыве между ливнями прошмыгнуть куда-нибудь — или корове сена подбросить, или хлопающую калитку прикрыть. А дождь всегда ловил ее в таких случаях и весьма яростно проливался над ней. Случалось, что никакого даже намека на дождь не было, а она, смотришь, придет вся мокрая. Николай Петрович иногда даже сердился:

— Да откуда же вы дождь взяли? Я тоже выходил с Колей гулять, и ни одной капли не упало.

— Так, ведь, вы куда ходили? На станцию? А я к опушке ходила, ягоды посбирать. Да уж всегда так . . . — со вздохом заканчивала она: — как мне со двора, так и дождь . . .

— Так почему бы вам не переждать его, если дождь-то

чисто местный был, только на опушке, да и шел-то он, очевидно, главным образом, только по вашим следам?

— Чего же ждать? Жди — не жди ... — загадочно роняла она. И, унося на себе особый знак предопределенности, бесшумно шмыгала в свою комнату.

Может быть, там, в тишине заставленной сундуками и заваленной тряпками комнаты, она молилась — неизвестно: было так тихо, что ничто не выдавало ее присутствия, и лишь особый старушечий запах слегка струился из щелей ее комнаты и залезал под коврики и в чуланы, где неприметным слоем виновато пристраивался к чужим пальто и брюкам.

А в общем, жить в избушке, не считая чудачества хозяйки, было хорошо.

При домике был небольшой садик, и, под руководством Николая Петровича, Коля расчистил клумбы и посадил петуньи, резеду и незабудки. Это опять было ново и до сжимания в груди интересно. Как радостно было выбегать рано утром в сад и смотреть, как поднимаются из-под земли все более и более густеющие побеги!

Когда Колю никто не видел, он осторожненько, двумя пальцами, вытаскивал из земли некоторые из побегов и с интересом иследывал мохнатые белые корни. Он смотрел: не больше ли они стали со вчерашнего дня и не скоро ли, наконец, покажутся спрятанные в них цветочки. Он знал, что этого делать нельзя, но не мог не удовлетворить своего любопытства, и потом аккуратно тыкал росток обратно в землю, уверенный, что завтра из него уж наверно полезут цветы.

Но как ни торопил их Коля, пришлось долго еще ждать, пока, наконец, петуньи важно распустили свои бархатные колокольчики. Радости колиной не было конца. Он с удвоенным усердием стал поливать цветы из красной леечки, купленной Ключевским еще в городе.

Коля так увлекся садом, что даже перестал задумываться: некогда было, садоводу всегда много всякой работы — то полить, то окопать, то обобрать желтые листочки и срезать отцветающие цветы, чтобы новым бутонам дать больше соку.

Все это он узнал от Николая Петровича. Он же сообщил Коле, что трава и цветы растут и дышат совсем так же, как и люди. Колю это ничуть не удивило.

— Я сам это знал, — ответил он: конечно, они живые, как и »Хромой«, как книжки и ... все.

И когда Николай Петрович стал объяснять, что книжки неживые, Коля с сомнением покачал головой и остался при своем мнении.

Общество цветов так же, как и вещей, было Коле больше по душе, чем знакомства с детьми. Цветы всецело завладели его душой. С ними он разговаривал, рассказывал им многое из прочитанного. Он так полюбил их, что иногда даже разговаривал с ними и во сне, все боясь, как бы чего не случилось с ними.

И надо же было, чтобы однажды, в ясное, солнечное утро, когда Коля с радостно бьющимся сердцем вбежал в сад сказать цветам свое обычное »доброе утро«, он нашел клумбу затоптанной, а цветы обглоданными и помятыми. Калитка в сад была раскрыта, корова, небрежно помахивая хвостом, стояла в соседнем с садиком дворе и равнодушно пережевывала взлелеянные детскими руками резеду и петунью.

Коля остолбенел от ужаса. Уставившись на равнодушный зад коровы, он, как прикованный, не в силах был оторвать от него своих широко раскрытых глаз. Не напрасно, видно, он все время боялся за свое счастье, боялся, как бы не случилось чего с цветами. Конечно, про себя Коля знал, что совсем не имел права быть счастливым: судьба всегда подстерегала его и напоминала о мрачной стороне жизни. И вот — оно случилось . . .

Наконец, устав смотреть на тупо жующее рыжее животное, Коля, тяжело вздохнув, тихо побрел в избушку и залез под кровать.

Когда Николай Петрович узнал о беде, он, с несвойственной ему горячностью, набросился на хозяйку и долго ругал эту тихую, неслышную старушку за то, что она не досмотрела за калиткой. Она беззвучно что-то шептала ему в свое оправдание, но Николай Петрович даже не слушал ее, а, отчитав, пошел отыскивать Колю.

— Ты что там делаешь? — спросил он, заглядывая под кровать.

— Думаю . . .

— Перестань думать, вылезай!

Но Коля не вылез — он еще не кончил думать.

— А в общем-то, корова и не так уж виновата, — задумчиво произнес Николай Петрович, ходя взад и вперед по комнате: — Какое ей, в общем, дело до тебя, до красивых цветов, — она получила приятное вкусовое ощущение и вовсе не виновата, что не имеет понятия о красоте. . . Что

корова! — через минуту продолжал он, — когда и между людьми часто не бывает согласия в этом. И то, что одни считают красивым, то другие находят лишь пригодным отправить себе в желудок... Так часто бывает в жизни. И лестница, по которой люди взбираются к высшему, такая длинная! И каждая ее ступень дает новое миропонимание.

Николай Петрович увлекся, забыв, что он не читает лекции о различном восприятии мира людьми перед аудиторией. Но Коле почему-то стало легче от пространного доклада Ключевского и, встав на коровью точку зрения, он, совершенно успокоенный, вылез из-под кровати.

— Пойдем в лес! — неожиданно предложил Николай Петрович.

Коле было все равно — в лес, так в лес. А Николай Петрович, чтобы отвлечь мальчика от грустных мыслей, не переставая, тормошил его, обращая его внимание на искусно свитые гнезда птиц, заставлял его заглядывать под мох, находить грибы, а когда грибов набралось полные руки, даже предложил свою новую панаму, хвастаясь ее вместимостью.

— Я готов пари держать, что тебе не донести ее, с верхом наполненнную грибами, — мальчишески подзадоривал он Колю.

Шляпа. действительно, оказалась очень удобной, и когда Николай Петрович и Коля, через несколько часов, потные и встрепанные, возвращались к своей избушке на обед, то поверх грибов в потерявшей и цвет и форму панаме копошились еще гусеницы, скреблись большие и малые жучки всевозможных классов и пород, сверху заботливо прикрытые листьями и сушняком.

Глаза у обоих блестели радостью бытия, желудки урчали от голода, и они оба не заметили заплаканных глаз хозяйки и ее дрожавших рук, когда та подавала им на стол свежие щи и запеченную в молоке картошку. Это были колины любимые блюда, приготовлением которых старуха как бы испрашивала прощения своей невоспитанной корове.

*
*

Но лето, в общем, было уже на ущербе, а после инцидента с цветами Николай Петрович думал, что, пожалуй, будет лучше вернуться в город.

Клумба с обезглавленными стебельками производила жалкое впечатление. Казалось, что здесь, в саду, произошла поголовная казнь. И невыносимо-грустно было смотреть

на эти молчаливые зеленые создания, которые дышат, едят и размножаются, как говорил Николай Петрович, и значит, могут и радоваться и печалиться... Коля чувствовал всем своим любвежадным сердцем, как теперь они страдают. Он верил в то, что они понимали все, что он им рассказывал. Как внимательно слушали они его, неподвижно вытянув свои тонкие стебельки, как трепетали их лепестки под горячими его губами, с волнением делившимися своими детскими фантастическими планами. И вдруг все это куда-то исчезло... И леечка, специально привезенная сюда из города, потеряла всю свою осмысленность. Коля бросил ее, с облезшим красным боком, около бочки с водой, из которой он два раза в день, бывало, брал воду, чтобы напитать свои сокровища. Пускай она там и остается лежать около этой бочки! ... Она, потерявшая весь смысл своего назначения.

Узнав, что господа уезжают, хозяйка страшно забеспокоилась: не поднялся бы ветер, не пошел бы дождь. И утром, в день их отъезда, прямо с постели побежала на крыльцо — обследовать со всех сторон небо.

— Накрывает! — опасливо покачала она головой, с интересом всматриваясь в легкие облачка, без всякой задней мысли плывущие по небу.

А в полдень, еще раз освидетельствовав небеса, значительно зацокала языком, потому что солнце, действительно, на миг скрылось по своим делам за тучки.

— Закладывает! — трагическим шопотом изрекла она: — Зонтики-то не укладывайте далеко. Вы люди нездешние, — заботливо предостерегала она Николая Петровича, — того и гляди, намочит! Об эту-то пору завсегда грозы бывают. Кабы ветер, так оно, может, и пронесло бы, а то ветру нет, а холодно — примета верная! Прямо впору исподнюю юбку надевать...

И вдруг неслышно провалилась сквозь землю.

Однако, несмотря на все сложные предвещания враждебно настроенных небес, Николай Петрович с Колей все же благополучно выехали с дачи.

Когда поезд тронулся, и в окне вагона замелькали однообразные поля, Коля радостно ощутил возвращение в город.

Это радостное чувство сразу оформилось в лице батюшки. Перед ним всплыли, чуть было, за лето не забытые его добрые, с особой искоркой глаза, длинные до плеч волосы и бледные губы, нашептывавшие Коле что-то очень-

очень ласковое. Сердце сладко замерло при мысли о встрече с ним.

Думая о батюшке, Коля, конечно, думал и о том, как опять будет ходить в пореченскую церковь, без которой тоже становилось немного скучно. Маленькая дачная церковка была совсем не то, что городская. В ней не было хора, а батюшка, коренастый, с бойкими глазами, всегда страшно спешил отслужить и частенько о чем-то переругивался с дьяконом. Все это не давало того настроения, которое создавалось в пореченской церкви.

Поэтому, смотря в окно вагона и любовно сжимая меж коленками банку с головастиками, пойманными в речке, Коля с радостью думал о городе.

Ключевский же, сидя в поезде, думал свое. Он все боялся, что гибель цветов нанесла чуткому и впечатлительному мальчику глубокую сердечную рану, и не спускал глаз со своего питомца, стараясь угадать, о чем он думает. А уловив грустный взгляд колиных глаз, делал свои заключения. Заглядывал в самого себя, обращался к своему педагогическому опыту и, со свойственной ему систематичностью, старался отыскать наилучшие способы залечить колину сердечную рану.

По приезде в город, Ключевский купил Коле горшок с розой. Горшок поселился на самом солнечном окне квартиры, был очень прихотлив и требовал много внимания, и Коля лелеял его и вкладывал в него всю нежность своей души.

Когда Коля после каникул в первый раз пришел в гимназию, то нашел там все таким знакомо-своим, что даже был рад сесть за ту же парту, что и в прошлом году, открыть те же учебники. С радостью отметил Коля, что все мальчики в классе знали меньше него. А когда учительница говорила о вещах уже ему знакомых, в то время как другие мальчики сидели с широко раскрытыми ртами из-за новизны темы, Коля, впервые в жизни, испытал сладостное чувство быть лучше других. Это придало ему уверенности. Он вдруг почувствовал себя хозяином класса. В особенности это чувство усиливалось потому, что все мальчики в классе были другие и ничего не знали о колиных происшествиях прошлого года

Но попрежнему Коля боялся сойтись с кем-нибудь из них и не принимал участия ни в их играх, ни в их затеях. Николаю Петровичу это не нравилось. Он хотел, чтобы у Коли были товарищи, и всячески старался завлечь мальчиков к себе на квартиру.

Однажды он объявил Коле, что 6-го декабря, по случаю дня его Ангела, он устроит ему праздник. Николай Петрович объяснил, что у всех бывает день рождения и день Ангела, и что день 6-го декабря как раз и будет таким днем для Коли. В этот день Николай Петрович предложил пригласить кого-нибудь из товарищей, которым Анна устроит угощенье.

Но Коле эта затея совсем не понравилась. Он представил себе, как Анна будет кормить разными вкусностями всех этих мальчишек, и досада овладела им.

Коля всегда был жадным к еде, и, несмотря на все старания Николая Петровича, этот недостаток было трудно из него вытравить. Сколько раз, бывало, Николай Петрович заставал его или в кухне, за вылизыванием чужих тарелок после обеда, или же в столовой, где Коля прятал по карманам разные остатки из буфета.

— Ведь, ты можешь кушать, сколько хочешь, пока не убрано со стола, — говорил Николай Петрович: — Разве ты сейчас голоден?

Коля молчал. Он и сам не знал, почему старался запастись едой. Часто Анна вытаскивала из-под его матраца что-нибудь съестное, что Коля припрятывал, чтобы поесть или перед сном или среди ночи, когда его никто не видел. Это была одна из самых крепких нитей, связывавших теперешнего Колю с прежним. Постоянное прежнее недоедание оставило глубокий след в его психике, и он никак не мог избавиться от страха перед голодом.

Когда Николай Петрович, все-таки, по своему усмотрению пригласил на 6-ое декабря четырех колиных одноклассников, Коля совсем не чувствовал себя именинником. Наоборот, настроение у него было отвратительное. Мрачный ходил он по комнатам и тщательно исследывал все пакеты, которые приносил из магазинов Николай Петрович. Поджимая губы, с обидой в голосе, он спрашивал:

— Что, и это тоже »им«?

— Ну да! — просто отвечал Николай Петрович: — Для твоих товарищей. Тебе, ведь, приятно будет что мы сделаем это для них. Не правда ли?

Коля молчал. Как же могло все это быть приятно? Отдать другим то, что могло бы принадлежать ему самому!

Злой от ревности и зависти, Коля ушел к себе в комнату, но, против обыкновения, ничем не мог заняться. Даже »Приключения Тома Сойера« не могли увлечь его сегодня. Отложив книгу в сторону, он на цыпочках подошел к двери в столовую. Прижавшись лицом к замочной скважине, стал ревниво следить, как Николай Петрович и Анна расставляли на столе всякие сласти. Вон Анна принесла глубокую тарелку с грецкими орехами и поставила ее между винными ягодами и нежными, со стыдливым румянцем, крымскими яблоками. А вот Николай Петрович, весь сияющий, довольный своей выдумкой, несет гору розовых и белых кирпичиков. »Ах, да, ведь, это же пастила!« — чуть не вскрикнул Коля. Та самая, которой Коля подолгу, бывало, любовался в магазине Алексеева, еще до встречи с Николаем Петровичем. Коля думал тогда, что эти подушечки сделаны из ваты, и что по ночам на них спят мухи, уставшие за весь день от постоянного кружения вокруг шоколадных и фруктовых конфет. И только недавно Николай Петрович разубедил его в этом. Когда Коля положил себе в рот одну из таких аккуратненьких подушечек, то она почти сразу же и растаяла, и Коля не заметил, как съел четверть фунта пастилы. Но вкуса ее забыть он не мог, конечно.

— Пастила . . . — с благоговением прошептал Коля в замочную скважину, а сердце его гулко забилось: — Неужели и пастилу отдавать этим мальчишкам?

У него даже глаза перекосились от злобы при этой мысли. Он отошел от двери. Нет, конечно, Николай Петрович больше не любит его! Вероятно, ему больше нравятся эти Суходолов и Матвеев, которых он особенно настаивал пригласить сегодня.

Злобно кусая ногти, Коля бросился в свой угол в гостиной, между этажеркой и столиком, и, уткнувшись лицом в стену, стал колупать потрескавшуюся штукатурку. »Назло »ему!« Пусть у »него« будет стена дырявая, раз »он« их любит больше меня, пусть! Вот »ему« . . . И закусив губу, Коля, кусок за куском, отламывал отставшую штукатурку.

Прошло уже много времени. В столовой возня прекратилась — наверно, стол был уже окончательно накрыт, и Николай Петрович ушел к себе в кабинет в ожидании гостей, которые должны были скоро придти. А Коля все сидел в своем углу и думал о том, что скоро все, что стоит в сто-

ловой на столе, будет съедено мальчишками. Эта мысль, в конце концов, стала прямо невыносимой, и он выбежал в столовую. С загоревшимися глазами, оглянувшись вокруг, схватил со стола салфетку, высыпал в нее всю пастилу, часть винных ягод, орехов, сколько только могло поместиться в салфетке, и быстро убежал со своей драгоценной ношей к себе в комнату. Тут он ловко рассортировал все под матрацом, подушкой и даже засунул часть пастилы за географическую карту, висевшую над рабочим столиком и мозолившую глаза своей непонятной пестротой.

Когда пришли мальчики, Коля, повидимому, решил не вылезать из своего угла куда опять упрямо засел. Гости, предоставленные самим себе, тихо бродили по комнатам, вытаскивали альбомы, ворошили книги в шкафах. Но после чая они осмелели, стали шумнее бегать по всем комнатам, кроме кабинета, где за закрытой дверью стушевался Ключевский. Очень скоро организовалась у них какая-то игра. А так как им никто ни в чем не препятствовал, то мебель в квартире скоро была сдвинута с привычных ей мест, были образованы какие-то баррикады, и, хотя война не была объявлена, но четыре мальчика разделились на два враждебных лагеря, и началось небывалое в истории мира побоище. В ход как оружие пошли, главным образом, диванные подушки. Под конец, забыв о всякой военной этике, мальчики просто перешли в драку, катаясь по полу и стараясь выкрутить друг другу руки и ноги.

На Колю никто не обращал внимания, а он с интересом следил из-за своего угла за жаркой схваткой, стараясь предугадать последствия.

Но вдруг кто-то его нечаянно задел, и неожиданно он сделался центром внимания. Мальчики будто обрадовались свежей струе в игре. Кто-то выволок Колю на середину комнаты и стал пытаться завернуть его в ковер. Эта выдумка была настолько блестящей, что объединила всех гостей против нелюбезного хозяина. И произошло это без всякого стовору, как-то само собой. Коле пришлось проявить чудеса изворотливости, чтобы освободиться от своих неожиданных врагов. Ему удалось, наконец, вскочить на диван, и, отбрыкиваясь ногами, он неожиданно попал ботинком по губе одного из нападавших. Брызнула кровь. Раздался плач. Смех и веселые взвизгивания разом прекратились. Исчезли дерзкие воины, и в гостиной остались только дети. Мальчики притихли. Гордо сидя на спинке

дивана, Коля только успел презрительно бросить: »Рева, сволочь!« — как в комнату вошел Ключевский.

Пострадавшему мальчику была оказана первая помощь, но к играм больше никого уж не тянуло, и вскоре все разошлись по домам.

Как только гости ушли, Ключевский притянул к себе Колю и очень просто, как бы продолжая начатый разговор, сказал:

— Ну, а теперь ты мне скажи . . .

»За »сволочь« будет ругать — слышал, наверно«, — беспокойно рванулось в голове Коли, и сердце его упало.

— Я нечаянно . . . — пробормотал он вслух.

— Что »нечаянно«?

Коля потупился.

— Иди принеси пастилу и прочее, что ты взял со стола, — строго сказал Николай Петрович.

Вот уж чего не ожидал Коля! Он думал, что так замечательно ловко совершил кражу, что никто этого не заметил, и вдруг . . .

— Сейчас же верни все, что ты взял! Слышишь? Иначе я должен буду тебя наказать, — еще строже повторил Ключевский, видя колебание Коли.

— Я нне ббрал . . . — начал, было, Коля, но Ключевский разом его остановил:

— Не лги! Иди и принеси! — значительно повторил он таким тоном, каким он еще никогда не говорил с Колей и каким говорил только в классе, и то только тогда, когда, объявлял ученику, что принужден поставить ему два балла.

Коля испуганно поднял глаза и встретился со строгими, ставшими суровыми, глазами своего приемного отца. Коля вздрогнул. Вмиг в его памяти встал тяжелый володькин взгляд, когда тот поднимал руку и хлестко бил по лицу. И бил так, что в голове начинало шуметь, а в глазах становилось темно. Коля так отчетливо представил себе этот удар, что в голове стало уже мутиться. Он не только отчетливо представил себя в Косом переулке, но даже стал обонять неотделимый от той квартиры затхлый, непроветренный ее запах. От нахлынувших воспоминаний Коля даже затрясся и, плохо сознавая, что надо делать, спотыкаясь, пошел в спальню и стал вытаскивать из-под матраца спрятанные сласти. Он боялся, как бы чего не забыть, потому, что верил, что Ключевский знает поштучно в лицо каждую конфету. Дрожащие руки плохо повиновались. Казалось, что у салфетки больше, чем четыре конца, потому что Коля никак

не мог всех их собрать. А орехи решили оказать наибольшее сопротивление и, как бы издеваясь, нахально-громко раскатывались по полу. Коля смиренно ходил за каждым из них и собирал, а они опять выкатывались . . .

Кое-как, в конце концов, удалось собрать все. Обхватив обеими руками липкий сверток, он пришел в столовую и покорно положил его перед Ключевским, который со спокойной педантичностью рассортировал сласти по тарелкам и поставил на буфет, на самое видное место, с которого Коля легко мог достать, и сказал:

— Вот, смотри, Коля: я поставил все это сюда, но ты не имеешь права взять ни одной штуки без спроса, понял? Я их все пересчитал и всегда узнаю, если ты возьмешь хотя бы одну. Поэтому ты лучше этого не делай, а спрашивай меня, и я буду давать тебе сам. Если же ты не послушаешься и возьмешь хотя бы одну штуку без спроса, я должен буду тебя очень-очень строго наказать. Ты это помни и давай лучше останемся друзьями. Спокойной ночи!

Послав Анну приготовить Коле постель, он ушел к себе в кабинет.

*

Было большим соблазном для Коли проходить каждый день мимо буфета с расставленными на нем лакомствами и ничего не сметь взять.

Николай Петрович каждый день методично отбирал по одной каждого сорта и давал их Коле, пока не было съедено все. Ключевский знал, чего стоит Коле подобная выдержка, и в награду подарил ему прекрасно изданную книгу Гоголя: »Вечера на хуторе.«

Коля с интересом набросился на книгу и вдруг обнаружил, что весь дом наполнен всякого рода страшилищами, которые подстерегали его из каждого угла. Жить после знакомства с Гоголем стало жутковато. Коля сделался суеверным. Стал верить в приметы и случайные совпадения приписывал действию темных сил; стал зависеть от вещей, которые определенно имели какую-то власть над ним. Вещи могли быть добрыми и злыми — в зависимости от отношения к ним Коли. Поэтому приходилось заискивать перед ними, чтобы снискать их расположение.

Бывало, бежит Коля после звонка в класс, торопится до прихода учителя успеть сесть на парту и в спешке хлопается лбом об дверь, которая оказывается не настолько от-

крытой, как этого он ожидал. На лбу, конечно, образовывается синяк, но не это огорчает Колю: дело не в синяке, а в том, что дверь чем-то оказалась им недовольна и потому зашибла . . .

Понимая невысказанные чувства вещей, Коля подходил к двери и вежливо извинялся за свое к ней невнимание, незаметно от всех поглаживал ее, чтобы загладить какую-то свою перед ней вину.

Так же обстояло дело и с партой, которая иногда царапалась или сбрасывала на пол книги и другие предметы, — стоило лишь зазеваться!

Вещи жили своей собственной жизнью, и, поняв это, Коля оказался в мистической от них зависимости.

Сам он не замечал, что был неловким и неуклюжим мальчиком. Неуклюжесть же его происходила от усиленного роста. Коля как-то вдруг сразу вытянулся. Николай Петрович только руками разводил, когда, через какие-нибудь два месяца, брюки опять оказывались короткими. С длинными руками и длинными ногами, худой, бледный, с устремленными вверх глазами, вечно угрюмый, — Коля не производил приятного впечатления и, по большей части, всегда оставался один среди своих товарищей по классу. И его не любили, и он сам сторонился их.

Так продолжалось до второго класса, когда Коля, совсем неожиданно для себя самого, вдруг подружился с Яшей Гейман.

Это был хроменький еврейский мальчик. Его тоже не любили в классе. Отчасти потому, что, по болезни оставшись в классе на второй год, он был еще для всех чужим, а отчасти потому, что был он единственным евреем в классе, и его характерное лицо вызывало недружелюбие товарищей. Из-за хромоты Яша не мог принимать участие в общих играх и забавах. Это очень сблизило Колю с Яшей. Яша любил сидеть дома. за своим излюбленным занятием — рисованием. Коля поддался его влиянию и стал разделять с ним его увлечение, по целым дням не выпуская из рук карандаша и красок.

Они часто стали встречаться друг с другом и обмениваться впечатлениями, наблюдениями, а также марками, которые оба с жаром собирали.

Семья Яши была бедная и многочисленная, но, приходя к ним в грязную, вонючую квартирку, Коля чувствовал себя легко и хорошо и очень неохотно уходил домой, в свою простую, но чистенькую комнату, где Анна тщательно сти-

рала пыль с каждой вещички и держала все в таком образцовом порядке, что глаза утомлялись однообразием, и Коля не чувствовал себя хозяином в своей комнате Если бы возможно было допустить в ней хоть небольшой беспорядок, может быть, Коля почувствовал бы себя лучше. Но нет, Анна хорошо знала свои обязанности, а Николай Петрович был хорошо знаком с гигиеной ... И поэтому эта лучшая комната во всей квартире, служившая раньше спальней самому Ключевскому, рождала странные чувства в Коле — комната без души, комната, которая не имела собственного лица.

И, захватив тетрадь с рисунками или какую-нибудь книгу, которая была трепещущим моментом дня, Коля бежал в жутко грязную квартиру Яши и просиживал там все положенные Николаем Петровичем часы.

Яша заслонил собою все. Даже церковь отошла на второй план. Коля стал забывать ходить ко всенощной, предпочитая забежать к немцу в писчебумажный магазин, и, купив там за три — четыре копейки одну из интреснейших марок, до самого закрытия магазина проторчать, голова к голове с Яшей, рассматривая альбом с редкими марками. Какая-нибудь треугольная марка мыса Доброй Надежды становилась смыслом всей жизни, и оба мальчика клялись и немцу и самим себе скопить, наконец, 20 копеек и в следующий раз обязательно включить в свою коллекцию эту редкость, без которой дальнейшее существование на свете было бы совершенно бессмысленным.

*

Дружба Коли с Яшей едва лишь успела пустить корни, как вдруг произошло несчастье: Яша простудился. У него в ушах образовались очень скверные нарывы, которые потом пошли внутрь черепа, и, прострадав несколько недель, Яша умер.

Это было для Коли ударом. Он опять остался один.

Николай Петрович, понимая колины переживания, всячески старался развлечь его и окружить новыми товарищами, но Коля опять ушел в себя, щелкнув замком своего сердца.

Прошло уже несколько недель после смерти Яши, а Коля все еще грустил о своем друге. Ученье не шло на ум, что, конечно, скверно стало отзываться на отметках.

Мечтательно сидя над учебником, Коля лишь бесцельно смотрел вдаль и целыми днями думал. Думал он о том,

почему нужно, чтобы умирали маленькие мальчики? Разве не справедливее было бы, чтобы все люди одинаково доживали до определенного возраста, — ну, хотя бы до 50 лет, а потом уж пускай умирали бы?

Во время подобных размышлений к нему в комнату однажды вошел Николай Петрович.

— Занимаешься? — спросил он, заглядывая в раскрытый учебник. — Что это? География? Ага . . .

Николай Петрович прошелся по комнате.

— Мне очень, очень жаль бедного Яшу, — сказал он, — хороший был мальчик . . . Но что ж делать? . . . Значит, так нужно было . . . А что тебе задано на завтра?

Коля молча раскрыл дневник.

— Ага! Немецкий! — с удовольствием отметил Николай Петрович. — Мне Адольф Иваныч опять жаловался на тебя. Сегодня я сам проверю твой урок. Мне весьма неприятно выказывать тебе что-то вроде недоверия, но так оставить этого я не могу: надо выправить, наконец, твою регулярную пару. Адольф Иваныч сказал, что, если ты не ответишь ему на четверку, он не сможет вывести в четверти трех. Значит, опять будет переэкзаменовка! Эту привычку к переэкзаменовкам надо оставить . . . В прошлом году было две переэкзаменовки, а в позапрошлом. . .

Николай Петрович с сурово сдвинутыми бровями повернулся к двери.

— Через полчаса приходи ко мне: я спрошу у тебя слова и перевод, — добавил он, уходя.

Колино сердце больно сжалось. Неужели и после смерти Яши жизнь может идти обычным порядком? Неужели ничего особенного не произойдет, и все останется по-старому: и гимназия и уроки? . . .

Коля стал бессмысленно перелистывать дневник, в котором мелькали однообразные красные двойки.

В доме было тихо-тихо. Лишь слышно было, как в столовой тикали большие стенные часы. Каждый сидел в своей комнате. Ключевский проверял ученические сочинения. Анна, наверно, сидела у себя в кухне на табуретке и штопала что-нибудь. Каждый был занят своим делом, ведя его размеренно, изо дня в день, и всегда вчера было похоже на сегодня. Коля никогда не слышал от Анны ни одного слова, не относящегося к делу. Говорила она только тогда, когда ее спрашивали, и отвечала ровно столько, сколько нужно было для ясного и точного ответа. Своего мнения она ни о чем не имела, а когда его у нее допытывались, она совсем

не отвечала на »глупый вопрос«. Не человек, а автомат!. Порядок и система страшно раздражали Колю. И вдруг ему безумно захотелось крикнуть, громко выругаться или разбить что-нибудь. Вообще, выкинуть такое, от чего произошел бы хороший скандал, чтобы весь дом встрепенулся бы, проснулся к жизни. Но Коля знал, что, конечно, он этого не сделает, что он, дикий, сумасбродный, — чужой в этом порядочном доме и что его, все равно, не поймут.

»Вот был Яша, и я был ему нужен, а теперь он умер и« ... Слезы подкатились к горлу. Было жалко и Яшу и самого себя. »Никому, никому я не нужен! И никто меня не любит« ...

В перелистываемом дневнике неожиданно мелькнула пятерка. Коля остановился. Отметка стояла против Закона Божия.

»Батюшка ...« — скользнула мысль по ласковому бородатому лицу законоучителя. Но сердце колино не откликнулось. За последнее время Коля как-то отошел от батюшки. Наивная влюбленность приготовишки прошла. Как родник в пустыне, освежило это чувство колину душу, но утолив ее жажду нежности, чувство это постепенно высохло. Но все же в его отношениях к батюшке оставалось что-то недосказанное. Батюшка всегда верил, что Коля урок знает и часто, даже не спрашивая, ставил ему 5. Это доверие обязывало и Колю относиться добросовестно к урокам Закона Божия. Так что, строго рассуждая, хорошая отметка была заслужена.

Коля со вздохом закрыл дневник.

»Нет, и батюшка — тоже нет« ... — решил он: »Никто меня не любит, никто ... А Николай Петрович просто из вежливости не выгоняет«, — вдруг почему-то решил он: »Просто потому, что ему было бы стыдно перед всей гимназией. Сгоряча взял меня, а теперь и раскаивается, да поздно« ... — растравлял Коля свое самое больное место: »И живу я у него из милости. Какой-то подкидыш ... сирота ... А заботится он только о том, чтобы я выучил немецкие слова, потому что ему очень важно, что будут говорить обо мне в гимназии. А если б, к примеру, я умер, вот как Яша, так он, может быть, даже и рад бы был: руки б развязал« ...

Коля упал головой на стол и заплакал.

»Надо умереть, как Яша«, — мелькнула у него мысль. Слезы разом высохли. Он выпрямился.

»Да, я умру! Пусть! Пусть »ему« и Адольфу Иванычу!«...

Мысль возбужденно заработала.

»Надо сегодня умереть. Сейчас же! И меня рядом с Яшей и похоронят.«

Коля так ясно себе представил, как его хоронят, что ему даже стало жалко самого себя, и он опять всхлипнул, но сейчас же вытер глаза.

»Как же умереть? Ага! Надо выбежать на улицу голым и простудиться. В одной сорочке, босиком. Наверняка умрешь! Да!«

Коля решил тотчас же привести блестящую идею в исполнение и бросился к двери, но его неуклюжие длинные ноги не успели за его порывистым телом: задев за ножку стула, Коля споткнулся.

»Стул почему-то мной недоволен«, — суеверно остановился он перед стулом: »Может быть, мне сначала надо выучить немецкие слова?«

Но стул, чуть откинув назад свою гордую спинку, глубокомысленно молчал.

— Хорошо. Я сначала выучу немецкий«, — покорился Коля молчаливому требованию, опять садясь за стол: »Пожалуй, действительно, лучше все хорошо выучить, а потом уж и умереть. И пусть потом Николай Петрович будет бегать по комнате и говорить: »Вот, ведь, какой был Коля: исполнил то, что я с него потребовал, а потом и умер.«

Коля так ясно представил себе, как Николай Петрович бегает по комнате, что даже с радостью раскрыл ненавистного Глейзера и Пецольда и начал читать заданный урок.

— jetzt — теперь, werden — становиться, zurück. . . . А интересно, будет ли Николай Петрович плакать у моего гроба? Пожалуй, потом будет говорить учителям: вот я не понимал Колю, а он был совсем особенный, не такой, как другие . . . А Адольфу Иваныч скажет: вот что ваши двойки наделали! Немецкие »jeʒt«, »werden« и прочие слова были последними колиными словами . . .

От жалости к самому себе Коля захлебнулся вздохом, но тотчас же с удвоенным усердием углубился в зубрежку: перед смертью нужно, ведь, как следует выучить урок.

Через полчаса он прилично знал все слова. Он пробовал закрывать справа русские слова и слева немецкие и только забывал одно коварное »zurück«.

— Цурюк, урюк, рюк, юк . . . цурюк . . .

»А сделать ли перед смертью и перевод? Пожалуй, достаточно и одних слов«, — лениво решил он. Порывисто

вскочив, он неловко схватил книгу за край, затрепетав листочками, она выпала из рук.

»Плохой признак«, — подумал Коля, подбирая книгу. Нежно похлопав ее по корке, он сказал:

— Не надо, не надо на меня сердиться ... Я больше не буду тебя ненавидеть. Перед смертью отношения между нами должны быть сглажены ...

Придав своему лицу холодное спокойствие, Коля вошел в кабинет Николая Петровича.

Низко наклонившись над столом, Николай Петрович красным карандашом сердито писал на полях ученической тетради: »Не думаете ли Вы, что выдавать слова Белинского за свои — несколько рискованно?« Покрутив на одном месте карандашом, он поставил злорадную, жирную, красную точку.

— Я выучил ... Вот ... — Коля протянул Пецольда.

— Ага! Который же сейчас час? — Николай Петрович взглянул на часы. — Ага! Ты даже скорей выучил, чем я ожидал, — удивился он.

Коля неопределенно дернул плечом.

— Ну, ну, давай!

Откинувшись поудобнее на спинку кожаного кресла, Ключевский начал:

»Как будет . . . мм . . . »осень«?

Сделав полный опрос всех слов и вдоль и поперек, Николай Петрович предложил Коле тут же вместе заняться и переводом. Пришлось согласиться: человек, идущий на смерть, может решиться даже и на это.

Оставшись вполне довольным Колей, Николай Петрович вдруг дружески похлопал его по плечу и сказал.

— Молодец, Николаша! А теперь пойдем попьем чаю прежде чем продолжать занятия.

После сладкого чаю с молоком как-то уж не так сильно хотелось умирать. Кроме того, нежное »Николаша« все еще продолжало звучать в ушах Коли.

Фактически Николай Петрович очень редко говорил Коле ласковые слова. Как правило, он не допускал нежных излияний. »Это не мужское дело«, — говаривал он. Поэтому сегодня Коля был смущен проявлением малюсенькой ласки. Это так тронуло его чуткое сердце. И надо же было случиться этому именно сейчас, можно сказать, прямо за минуту до смерти!

»А, может быть, я и не так уж ему неприятен?« — начал сомневаться Коля: »Может быть, он все-таки меня не-

множко и любит . . . Конечно, ведь он всегда занят: ему некогда, а вообще« . . .

Во всяком случае, желание умереть у Коли стало притупляться. И подумать только, что причиной этому было одно слово. Да, фактически, и не слово, а собственное же колино имя, но только произнесенное иначе: »Николаша«. Николай Петрович никогда раньше так не называл.

Коля закрыл глаза, чтобы острее прочувствовать приятное сочетание букв: »Ни-ко-ла-ша« . . . Ему стало представляться, как что-то бархатное ходит и слегка шуршит своими мягкими лапками. Вроде кошки, но не кошка, а лучше: мягче, нежнее . . . Это ходит »Николаша«. Ходит, шуршит, нежно касается щеки. Мягкое, как из бархата или фланели. Это — »Николаша« . . .

Коля открыл глаза. Нет, положительно умирать не хочется, пока существуют на свете такие хорошие ласковые слова!

Коля не пошел умирать. Коля остался жить.

* * *

Коля остался жить, но заболел вдруг сам Николай Петрович. Как будто и с пустяков все началось: немного чихал, немного покашливал. Несмотря на недомогание, он продолжал ходить на занятия. Весь в поту от напряжения и слабости возвращался он домой. Наконец, однажды он слег в постель.

Доктор нашел сильную простуду с осложнением на почки и прописал полное спокойствие.

Еще тише стало в квартире Ключевского. Тихо и жутко.

Придя из гимназии, Коля, чтобы не нарушить тишины, уходил к себе и через открытую дверь чутко прислушивался ко всему вокруг. Он. слышал, как тишина мягко ходила своей замаскированной поступью по комнатам. Как, стараясь быть незамеченной, она неслышно проникала в самые потаенные уголки и хоронилась там до того момента, когда приходил доктор или же какие-нибудь визитеры. Николая Петровича навещали учителя из гимназии, а один раз даже пришел и сам директор.

Коля, выглядывая из-за двери, рассматривал все эти такие знакомые и, вместе с тем, как будто и новые лица. Они были совсем не такими, как в классе. И с Колей разговаривали иначе. Как-то по-дружески — как будто и не учителями были.

— Старайся, учись хорошо, — говорил математик Федор Иванович Петелин, заядлый колин враг, потому что всегда ставил ему »пары«. — Вырастешь большим, будешь служить и Николаю Петровичу дашь отдохнуть: заработался он . . . Много он для тебя сделал, смотри, не забудь этого никогда!

А потом поворачивался к французу, который тоже приходил проведать больного, и совсем тихо о чем-то говорил с ним по французски. И как Коля не прислушивался, ничего не мог понять.

Тихий их разговор неприятно раздражал. Не садясь, подолгу зловеще шептались они у самых дверей, за которыми лежал больной Николай Петрович, многозначительно кивали головами и уходили домой.

Что они скрывали?

Коля ходил по тихим комнатам, заглядывал в глаза Анны, но все молчали: и комнаты и Анна. И вдруг Коля понял, что Николай Петрович очень серьезно болен.

Жутко стало ему от этого открытия. А вдруг Николай Петрович умрет? Так же, как и Яша, уйдет совсем и навсегда из жизни. Как страшно! А что тогда делать Коле? Неужели возвращаться к Корнелии? Или же с ней уже все навсегда кончено? Лучше бы уж Володька умирал вместо Николая Петровича! Володьку, вот, уж совсем, совсем не жалко, а наоборот . . .

Жуть прежней жизни придвинулась к сознанию. Коли. Нет, совсем невозможно, чтобы Николай Петрович умер! Он не должен умереть! Не должен!

Полузабытое, вернее, отошедшее за последнее время на второй план, чувство охватило Колю: он вспомнил о Боге. Бросившись на колени перед иконой и обливаясь слезами, он стал просить и умолять Божью Матерь с младенцем на рукак не допустить, чтобы Николай Петрович умер.

— Этого нельзя! Боженька-матерька! — умолял он, кривя губы от душивших его слез:—пусть он выздоровеет, пусть! Пожалуйста! Достойно есть яко воистину, блажити Тя, Богородицу . . . А я за это обещаю хорошо учиться, не оставаться на второй год и только иногда переэкзаменовочку . . . Пожалуйста! А когда я выросту, я все сделаю так, как говорил Петелин: буду служить, а Николай Петрович будет отдыхать . . .

Долго молился Коля, повторяя одну за другой все молитвы, какие только знал, и стараясь каждый раз при поклоне стукнуться лбом об пол. Ему казалось, что этот ри-

туал надо выполнять, как, своего рода, вежливость перед Всевышним. Он молился до тех пор, пока совсем не ослаб от охватившего его экстаза, пока перед глазами не запрыгало, не помутилось в голове . . . Вдруг мысль оборвалась. Камнем повалился он на пол, расплевывая пену и судорожно кривляясь всем телом перед иконой Божьей Матери.

Давно у него уже не было припадков. Николай Петрович даже как-то раз сказал: — Не думай о них совсем. Забудь, что они когда-либо у тебя были. — И вдруг . . .

Как бывало прежде, когда Коля еще жил с Корнелией и Володькой, он очнулся сам без всякой помощи. Никто не пришел и не уложил его в постель, не положил освежающего компресса на голову. Коля остро почувствовал в этот момент отсутствие заботливой руки Николая Петровича. Кое-как добравшись до кровати, он бухнулся на подушку и, измученный припадком, тотчас же погрузился в сон.

Проснулся, когда Анна вошла, чтобы зажечь лампу. Ее лицо улыбалось.

— Николаю Петровичу лучше, — сказала она: — доктор сейчас сказал, что теперь пойдет на поправку.

Сквозь тяжесть в голове Коля старался понять значение слов Анны, старался связать их с чем-то, барахтавшимся в сознании, но нить сознания была такой тонкой, что все время обрывалась и выскальзывала из ослабленного мозга. Крепче сомкнув тяжелые веки, он опять жадно заснул.

* * *

Когда Коля в первый раз после болезни Николая Петровича пошел с ним в гимназию, то от счастья даже подпрыгивал на ходу и дружески хлопал ладонью по всем встречным телеграфным столбам.

Осунувшееся желтое лицо Николая Петровича было ему таким дорогим и таким родным, что он чуть даже открыто не признался ему в этом, но, застыдившись, в конце-концов, ничего не сказал о своих чувствах: — Не мужское это дело, — вспомнил он слова Николая Петровича, и только еще радостнее улыбался, не спуская с Николая Петровича глаз. Коля чувствовал себя как бы воскресшим из мертвых. Как будто не Николай Петрович, а он сам был при смерти. Прежнее угнетенное состояние духа ушло, и Коля даже с увлечением отдался занятиям.

К этому его, отчасти, обязывало и обещание перед образом, данное в критический момент болезни Николая Петровича. (Кто же его знает: а вдруг Николай Петрович

выздоровел по его просьбе!) Во-вторых, ему хотелось, чтобы Николай Петрович был бы им доволен. И, кроме всего этого, Николай Петрович решил взять на себя их класс, и уроки по русскому языку стали гораздо интереснее. Николай Петрович любил свое дело, умел придать живую форму самым сухим темам. Даже скучнейшие правила из грамматики стало приятно учить, потому что он умел или составить из них какие-нибудь стишки или же припомнить по поводу них какой-нибудь смешной эпизод.

Николая Петровича любили в классе. Коля же прямо преисполнялся гордостью за него и иногда, в особенно удачные минуты, торжественно оглядывал весь класс, как бы говоря: — А что? Каков мой Николай Петрович?

Ключевский был приятно поражен рвением, с каким Коля принялся за уроки и, как всегда, чем-нибудь отмечая его хорошие поступки, подарил ему том Лермонтова.

Имея уже Гоголя, Коля не мог себе представить, чтобы какая-нибудь другая книга могла бы быть лучше. И вдруг скромная синяя с золотым обрезом книга через какие-нибудь несколько дней затмила собой все, до того им прочитанное, стала дороже всего на свете. Под влиянием прочитанных стихов, завороженный рифмой и музыкой слов, Коля опять стал витать в нездешнем мире. Короткая вспышка к зубрешке погасла. Уроки опять отошли на второй план, и, целиком отдавшись во власть Лермонтова, Коля не выпускал книги из рук. Он носил ее с собой всюду, брал в класс, не расставаясь с ней даже во время уроков. Много неприятностей пришлось претерпеть Коле из-за своего нового друга. Случалось, что он совсем забывал, что находится в классе. И лишь когда его называли по фамилии, он, встрепанный, с горящими глазами, вскакивал и дико смотрел на учителя, не понимая, чего от него хотят

После нескольких жалоб Николай Петрович запретил Коле брать Лермонтова с собой в класс.

— Я никак не предполагал, что этот мой подарок послужит причиной неприятностей, отразится на твоих занятиях, — говорил Николай Петрович. — Ты понимаешь, я очень не хотел бы этого...

Коля виновато молчал. Он сознавал свою вину, но его захлестнуло, и он уже не мог с собой справиться.

Николай же Петрович, чтобы смягчить свой запрет, часто стал по вечерам звать Колю к себе в кабинет и, усевшись с ним поудобнее на диване, начинал декламировать Лермонтова. Это был его любимый поэт, поэтому он вполне

разделял колин восторг. Весь преобразившийся и даже как будто помолодевший, Николай Петрович читал на память стихотворение за стихотворением. Он знал наизусть почти всего Лермонтова и мог часами читать его.

В дополнение к занятиям с Николаем Петровичем в классе эти вечера с декламацией открыли Коле нового Николая Петровича, Коля увидел в нем понимающего и разделяющего его чувства друга. Они сблизились. А Коля, сам того не замечая, стал во многом подражать Николаю Петровичу: старался так же говорить, как он, так же ходить, хмурить брови и даже почесывать за ухом карандашом в минуты раздумья.

Выразительная же декламация Николая Петровича заставила и самого Колю заучивать стихи и потом их декламировать перед Николаем Петровичем. Учить стихи было совсем не то, что зубрить какие-нибудь столбцы немецких слов, на которые Коля потратил столько безрадостных дней своей жизни. Стихи укладывались в его голове сами собой.

Сначала Коля просто упивался музыкой слов, часто не понимая их смысла. Но вдруг как-то раз открылся в нем какой-то клапан, что-то выплыло из-за созвучных строк, и он стал в чем-то разбираться. Коля почувствовал непреодолимое желание быть таким же, как Лермонтов, и так же красиво писать, как он.

Стихи ему не удавались: получалась или очень плохая рифма или же в точности то же, что и у Михаила Юрьевича. Но это Колю не смущало. Ему стало нравиться при посредстве бумаги беседовать с кем-то невидимым и чутким. И, главное, бумаге можно было доверить все, даже и то, в чем стыдно было признаться самому Николаю Петровичу.

Как всегда, боясь людей, Коля не открывал им всей своей души до дна. Самое сокровенное всегда оставалось при нем. И так же, как бывало, он любил раскрываться перед своим первым неодушевленным другом »Хромым«, а потом перед выращенными своими руками цветами, теперь он с таким же увлечением отдался беседам с бумагой.

Сердце его особенно сладко замирало, кагда он брал в руки карандаш. Писал он тайком, стыдясь своего порыва и прикрывая, на всякий случай, свои записки каким-нибудь учебником, чтобы в любой момент можно было замаскировать свои занятия.

То, что он писал — не всегда были стихи. Он писал обо всем, что приходило в голову, выхватывая, что попало, из

своего мира фантазии, который всегда им владел. Ему было приятно воображать себя то скитальцем, то всеми забытым, никому ненужным отшельником, совершенно отделенным от всего мира, от остальных людей.

А за последнее время он даже обнаружил в себе что-то демоническое. Открыв это, он перестал ходить по вечерам в кабинет Николая Петровича и слушать его декламацию: человеку с демонической душой невозможно было соприкасаться с обыкновенными людьми.

* * *

Как бы посторонним зрителем плохой комедии чувствовал он себя в течение целого дня.

Утром он вяло вставал, пил приготовленный Анной чай с молоком, машинально съедал разрезанного пополам »жулика« с маслом или сладкую плюшку и, взяв приготовленный с вечера ремешок с книгами, лениво шел в гимназию.

После общей молитвы в зале он так же вяло шел в класс в паре с круглолицым веселым Петей Чижовым, который в противоположность Коле не мог ни минуты оставаться спокойным и или дергал за рубашку идущего впереди мальчика или вел карандашом длинную черту по всем стенам и дверям, мимо которых шел в класс.

Едва Коля успевал сесть за парту, как какая-нибудь из его книг, благодаря проворству рук Чижова, летела в воздух.

— Брось! — боезразлично ронял Коля товарищу по классу.

— Вот я как раз это сделал — бросил! Ха-ха! — заливался Чижов, довольный своей остротой. И пока Коля ходил и бесстрастно подбирал разлетевшиеся листы учебника, Чижов успевал взвихрить волосы Соломейко, который сидел впереди и был виноват в том, что природа, наделила его чрезмерно густой шевелюрой, раздражавшей Чижова. Пока шла борьба между Чижовым и Соломейко, из-за возможности причесаться, приходил учитель истории и требовал тишины легким постукиванием своего перстня об кафедру.

Монотонный, несколько утрированно высокий голос историка не возбуждал колиного интереса, и, не слушая его, он заполнял время рисованием на парте разных головок, преимущественно грузин. Когда учитель кончал рассказывать урок, отметив заданное буквами »ДСП«, надо было держаться настороже, т. к. учитель в это время мог вы-

звать. Ожидание это, однако, не было томительным: учитель обычно вызывал лишь одного ученика, с которым и беседовал в течение всего урока. Таким образом, на уроке истории всегда можно было заниматься своими делами. Надо было только соблюдать тишину — большего историк не требовал. Требование было скромным, и ученики его выполняли с удовольствием.

Приятный звон колокольчика, который тряс в коридоре одноглазный сторож Степан, возвещал о перерыве, и на десять минут в классе опять воцарялся галдеж, как будто все мальчики боялись не успеть достаточно накричаться за этот короткий срок. Обычно голос Чижова покрывал все остальные. Широко расставив ноги и взяв в руки географическую указку, он любил встать на две парты сразу и, дирижируя всем классом, орать во всю глотку:

— Двадцать дюжин дураков дразнили древнего дракона! Ды! Ды! Ды!

Но вот входил классный наставник.

— Чижов, слезь с парты! — спокойно говорил он. — Кто сегодня дежурный?

— Маликов.

— Маликов, почему форточка не была открыта во время перемены?

И так далее, и так далее ... Класный наставник всегда находил что нибудь не в порядке. Он был также и учителем рисования и его не любили, считая несправедливым, ставящим отметки по настроению, как вздумается.

— Перец!

— Перец! Перец! ... — свистящим шопотом проносилось по классу прозвище, которым окрестили классного наставника. »Перец« не мог, конечно, не слышать этого шипенья и, побагровев, стараясь оставаться спокойным, выходил из класса.

Урок шел за уроком.

Коля, уже утомившийся, с затянутыми дымкой безразличия глазами, приходил домой и с трудом садился делать уроки. Учил механически и сейчас же все забывал. Кое-как дотянув до 10 часов, когда нужно было идти спать он с большой охотой бросал учебники и отправлялся в кровать.

И только лежа в постели, он давал полную свободу своей »демонической« натуре. Он весь менялся, делаясь хитрым, недобрым существом. Мысленно зло острил над своими учителями, осыпал колкими насмешками одно-

классников, которые в жизни так пренебрегали им. Его остроумию поражались, от его находчивасти и ума столбенели все его невидимые собеседники. В эти ночные часы Коля делался самоуверенным гордецом, а также и бесстрашным героем, совершавшим самые необыкновенные подвиги. Иногда, очень увлекшись, Коля начинал громко смеят.ся и прыгат. по постели.

Однажды странный ночной шум в комнате Коли привлек внимание Николая Петровича. Очень удивленный, он несколько минут прислушивался к дикому хохоту, а потом вошел в комнату.

Как по мановению волшебной палочки, все стихло, и было совершенно ясно, что в комнате, конечно, никого кроме Коли не было, и что Коля, конечно, как и полагалось, мирно спал. Было только странно. что лицо мальчика пылало огнем, а грудь высоко вздымалась.

— Что с тобой? — спросил Николай Петрович, подходя ближе и кладя ему руку на голову.

— А? Что? — делал Коля вид, что разбужен, но возбужденные веселые глаза выдавали его. Николай Петрович без дальнейших объяснений отсчитывал дозу валерьянки.

— Брось глупости и спи! Завтра же в гимназию идти, а ты что выдумал: ведь, уже далеко за полночь!

Коля не протестовал. Ему было немножко стыдно перед Николаем Петровичем, что открылись его »глупости«, отказаться от которых было трудно. Валерьянка, во всяком случае, действовала благоприятно, и обычно, повернувшись на »спячий, бок« (бок, на котором он обычно засыпал), Коля погружался в сон.

И видел он странные сны, которые не мог объяснить — было ли то сном или же продолжением его собственной фантазии.

Но утро со всеми его неприятными обязанностями, без всякого снисхождения, приходило в свое обычное время и грубо и безжалостно отрывало от интересной ночной жизни, и все начиналось сначала. . .

Николай Петрович видел, что порыв к занятиям у Коли прошел так же быстро, как и пришел, но боялся налечь на него, чтобы не перетянуть вожжей и не порвать хрупкой системы упряжи.

В этом с ним в корне не соглашался Петелин, который

настаивал, чтобы Николай Петрович убедил Колю относиться к занятиям посерьезнее.

— Я, ведь, не могу его пропустить в следующий класс с его знаниями, — говорил математик.

Николай Петрович всячески защищал Колю, стараясь доказать Петелину, как много Коля уже сделал за последнее время, пройдя длинный духовный путь.

— Нельзя слишком уж ломать его природу, не привыкшую к регулярным занятиям, — говорил он. — Он слишком привык к ничего-неделанию, чтобы сразу в корне измениться. К нему нужно подходить осторожно . . . Оставляйте его на второй год — что ж! Ему это даже будет полезно. Я увезу его на дачу, он окрепнет физически. Ну, конечно, и разовьется за лето умственно . . . Я заставлю его делать то, чего он раньше никогда не делал. Я заставлю его заниматься спортом. Да-с! Спортом! — отчеканил Николай Петрович, как будто только что придумал эту систему упражнения тела.

Федор Иваныч презрительно хмыкнул.

— Я считаю, что развитие мозгов важнее, — сказал он, — и думаю, что вы преувеличиваете: он очень посредственный ребенок. Помилуйте: у меня в классе все уже свободно задачи по алгебре решают, а он на-днях вдруг заявляет: — А к чему, все-таки, складывать буквы? — Это . . . это, знаете, ну . . . Я, конечно, посадил его на место и поставил единицу.

— Он философ, — горячо запротестовал Николай Петрович: — Поймите — философ! А вы ему единицу . . .

Часто спорили таким образом математик и словесник. Коля же даже и не подозревал, как тщательно изучал Николай Петрович каждую черточку его характера, как заботливо прослеживал его шаг за шагом. Конечно, Коля также не подозревал, что Николай Петрович все знает об его писаниях и о всех других его »выдумках«. Он продолжал держать свои записки в страшном секрете и лишь ждал когда потушат лампы, чтобы можно было начать свою интересную ночную жизнь.

А на утро, не выспавшись, разбитый, он опять кое-как тянул ту видимую жизнь, которою от него требовали.

Так шли дни за днями. И — однообразные — они незаметно сворачивались в недели и месяцы, образуя целый свиток разнообразных человеческих переживаний.

* *
*

В третьем классе Коля действительно остался на второй год. Как это случилось — он не мог отдать себе ясного отчета, но все же предполагал, что всему виной была коварная алгебра.

Николай же Петрович решительно мотал головой и говорил, что во всем был виноват господин Лермонтов.

Так они и не могли согласиться друг с другом. Во всяком случае, Николай Петрович нисколько не сердился на Колю, а даже, наоборот, как будто радовался, что все так вышло.

— Ничего, ничего! — говорил он, когда они шли домой после последнего неудачного экзамена: — Ничего, спешить тебе некуда. Иди себе потихонечку, полегонечку. Нельзя же все сразу, силенок не хватит! А с натуги, ведь, что сделалось с крыловской лягушкой? А? Лопнула, ведь?

— Лопнула, — мрачно подтверждал Коля. Но несмотря на добродушный тон Николая Петровича, чувствовал себя прескверно. Ведь, Николай Петрович не знал о той торжественной клятве, которую Коля дал перед иконой! Мистический страх охватил Колю: а вдруг . . .

От скверного этого чувства он не мог отделаться до самого отъезда на дачу, в которой Николай Петрович нуждался не меньше самого Коли.

На даче Коля начал учиться ездить верхом. Николай Петрович достал для него смирную, послушную лошадку у лесничего, который держал целую конюшню.

— По делу своей службы я держу разных лошадей, — говорил лесничий, — у меня есть и очень резвые, есть и совсем с нежным характером, как институтки. Вам для прогулок я рекомендую взять »Мару«, а мальчику лучше »Каурого« не найти.

Так и сделали.

И стал Коля ездить на »Кауром«. Это был очень славный конь, совсем бесхарактерный, но красивый, с черными породистыми ножками.

Они уезжали далеко в поле или же к озеру, которое называлось »Лебяжьим«, хотя ни одного лебедя никто никогда на нем не видел.

Однажды, катаясь, они встретили большую компанию детей в сопровождении дамы, которая, очевидно, была их гувернанткой. Из восьми человек детей только двое было

мальчиков, а остальные — девочки. Они весело бегали с сачками, с корзинками и лопатами.

Приосанившись, Коля гордо проехал мимо, стараясь держаться точь-в-точь, как удалой Казбич из »Героя нашего времени«. Хорошо, что ему привелось встретить так много народу теперь, а не две недели назад, когда он даже не знал, какую ногу нужно вставлять в стремя первой. Ему казалось, что теперь он держится, как настоящий джигит, и производит сильное впечатление своей посадкой.

Коля не ошибся. Он, действительно, произвел впечатление. И когда через два дня он сидел у себя за разбором альбомов с марками, на крыльце неожиданно раздались быстрые шаги, и Коля увидел на пороге незнакомую девочку лет тринадцати, одетую мальчиком и с хлыстом в руке.

— Здравствуйте! Меня зовут Лялей, — просто сказала она, — я видела вас позавчера на лошади, когда мы в лес ходили. Я тоже очень люблю кататься верхом. Поехали вместе! Мой »Огурец« стоит вон там.

Она неопределенно ткнула хлыстом за дверь.

Предложение было очень неожиданным, а главное, Колю озадачил »Огурец«. Забыв все правила гостеприимства, он, ничего не говоря, вышел из дома посмотреть, что означало в данном случае это слово.

У забора стоял красивый жеребец, нервно поддергивавший ушами и дико вращавший глазами.

— Почему »Огурец«? — удивился Коля.

— Так . . .

— Хорошо. Поехали! — сразу решил он: — Я только спрошу Николая Петровича.

Николай Петрович лежал в приятной тени в гамаке с книгой в руках и с любопытством посматривал на новое лицо, появившееся у них в саду.

— Николай Петрович! Там девочка . . . — неуверенно начал Коля.

— Кто эта девочка?

— Она сказала: Ляля. Она хочет кататься со мной.

— Хорошо. Сходи возьми у Семена Петровича »Каурого« и поезжай.

Так завязалось колино знакомство с Лялей Синицыной.

Она оказалась прекрасной наездницей. Смуглая, о острыми карими глазами, она больше походила на мальчика, чем на девочку. Сходство это было особенно разительным и потому, что она не носила шляп и любила ходить в штанах.

Коля никак не мог угнаться за ней на своем »Кауром«. Как он ни подгонял коня, тот ни за что не желал прибавлять шагу и шел своей обычной рысцой.

»Огурец« же был сумасшедшей лошадью. Как только Ляля оказывалась на его спине, в тот же миг он срывался с места и летел, не глядя ни на какие препятствия. вперед.

Как любил раньше Коля своего »Каурого« и как ненавидел он его теперь за его прекрасный уравновешенный характер, который рекомендовал лесничий! Как стыдно было Коле плестись где-то далеко позади и бояться не потерять из виду развевающийся впереди хвост сумасшедшего »Огурца« и дыбом торчащие волосы его не менее сумасшедшей хозяйки.

Ляля была очень остра на язык, и Коле с ней приходилось быть очень осторожным, а то, того и гляди, поймает на слове да еще такое прискажет, что и язык к гортани прилипнет! Конечно, в глубине души Коля был вполне уверен и в своей храбрости, и в своем уме, и во многих других качествах, но, вместе с тем, как только оказывался в обществе, то сразу терялся, забывал о всех своих достоинствах и делался просто застенчивым, страшно неловким и ненаходчивым мальчиком.

Придя же к Синицыным в дом, Коля совсем растерялся.

Ляля познакомила его со своими сестрами, Зиной и Попочкой и с братом Шурой.

Шуре было уже пятнадцать лет, и он важничал, держась несколько в стороне от остальных детей. Зина же и Попочка сразу завладели Колей.

Попочке было всего лет десять. Ее настоящее имя было Надежда, но она сама назвала себя »Попочка«, когда только что начала говорить, и с тех пор это имя так и осталось за ней. Попочка была сорванец-девчонка. Она идеально лазила по крышам, и отец в шутку называл ее: »казак девка«.

Зина была одних лет с Колей. Она была страшная птичница, прекрасно гоняла голубей и держала целый выводок разных птиц у себя под окном. Она очень хорошо бегала, и ни один мальчишка не мог за ней угнаться.

Но и Ляля дома была страшной задирой и чуть-что — сейчас же лезла в драку. Дралась же она превосходно: ловко, умно и даже »научно«, как выражался Шура, а именно: била противника кулаком прямо в лицо. Мальчики, даже постарше ее, приходившие к брату, и то побаивались ее. Не то, чтоб она была очень сильной, но настолько ловкой, что мальчики просто ничего не могли с ней сделать, и

если уж Ляля начинала бить по физиономии, так тут только успевай поворачиваться!

Такое лихое дамское общество очень смутило Колю в первый день его посещения Синицыных и, забравшись в дальний угол веранды, он лишь издали наблюдал шумевших девочек, их споры, подножки и мордобития.

Но ехидничая и подсмеиваясь над другими, Ляля не задевала Колю, а, наоборот, даже брала его под свою защиту, когда которая-нибудь из сестер выбирала его темой своего разговора.

Среди почти постоянных драк и всякого рода недоразумений Альма Карловна, гувернантка Синицыных, удивительно ловко умела лавировать и разбиралась в самой сложной ситуации. Она поспевала всюду. И, или разнимала мальчиков, или снимала с крыши Попочку или же оттаскивала темпераментную Лялю от очередной жертвы. Правда, от некоторой перегруженности обязанностей у нее нервно тряслась голова, но зато она никогда не выходила из себя. Всегда оставалась на высоте своего положения, подтянутая, аккуратная, со своей удивительно сложной и глубоко продуманной прической, где каждый локон знал свое место. К прическе Альмы Карловны все относились с подчеркнутым вниманием.

— Альма Карловна! К вашим волосам пристала белая ниточка, — говорил Шура, — вам это не идет. Разрешите мне ее снять?

Щупальцами вытянув два пальца, Шура старался деликатно ухватить нитку, позорящую стройность прически Альмочки.

— Спасибо, я сама, — краснела Альма Карловна и бежала к зеркалу.

— Не доверяет . . . — строил гримасу Шура, со вздохом запуская руки в карманы и меланхолично отходя в сторону, одновременно небрежно бросая что-нибудь молчаливому Коле.

— Какого класса? Вы выглядите старше своих лет. Девочки! Сыграем партию в городки? А?

Попочка, измерявшая своими шагами длину перил веранды, откликалась первая:

— Я забивалой!

И смахнув с высоты сажени на землю, стремительно бежала куда-то за дом.

— Попочка! — только успевала всплеснуть руками Альма Карловна.

— Идем! — тянула Колю Зина.

— Что это за игра? Я не знаю . . . я не умею . . . — бормотал Коля.

— Это интересная игра.

И Коля не успел опомниться, как был уже посередине двора, где Попочка ползала по земле, что-то размечая и расставляя ровненькие чурбашки. Ляля разом усмотрела какую-то неточность в ее измерениях.

— Ты хитрая! — набросилась она на сестру: — Ты нарочно выбрала покатое место, чтоб все »чушки« валились в одну сторону. Ты хлюзишь!

Попочка так и подскочила на месте.

— Ты сама хлюза, так думаешь, что и все другие тоже . . .

Попочка не успела договорить, как получила хороший удар в нос, и ее платье разом окрасилось кровью.

— Лялечка! . . .

Альма Карловна схватила за руки взбешенную Лялю, которая, тряся своими лохмами, уже готова была ударить сестру тяжелой палкой, предназначенной для игры.

— Я — нет! Это она! Я . . .

— Оставь свои научные приемы, — холодно процедил Шура, — ты так и изуродовать человека можешь.

Через минуту Попочка, с двумя кусочками ваты, торчащими из носа, уже беззаботно бегала по двору и наотмашь била тяжелым »свистом« по ровненько расставленным чурбашкам. Ссоры как не бывало, и все с большим азартом обсуждали вместе, выбита ли »чушка«.

Проиграв около двух часов, Коля уже разумел всю сложность игры и покидал Синицыных с разбитой коленкой и растянутой рукой.

— Не забудьте придти завтра! — кричала ему вслед Ляля: — Завтра на лодке поедем кататься. До свидания! »Рюха«!

— Ха-ха-ха! . . .

— Рюха! . . .

* *

Несмотря на полученное обидное прозвище, Коля не смог не придти к Синицыным на следующий день.

Кататься поехали на Лебяжье озеро, которое в этом году так сильно разлилось, что прибрежные камыши едва выглядывали из воды.

Шура сел за руль, а Зина с Лялей взялись за весла. Чистенький, с аккуратно зачесанными волосами, Коля сел пассажиром, рядом с Альмой Карловной, которая, сев в лодку, незаметно от всех перекрестилась. Со времени своего знакомства с Синицыными она привыкла и к бешеным лошадям и к промоченным туфлям, но до сих пор не могла привыкнуть к воде, которую очень боялась, но признаться в этом не смела и лишь нервно потряхивала головой.

— Поднажми-ка, Ляль, — говорил тем временем Шура, — а то Зина здорово навалилась на весла, а ты отстаешь, и лодку все время тянет влево.

— Не надо очень быстро, дети, осторожнее, — мягко заметила Альма Карловна, — здесь где-то были мостки, их сейчас не видно из-за высокой воды — как бы нам не налететь на них.

— Они должны быть налево, Альма Карловна, — сказала Попочка, — вон там, под теми деревьями. Я помню, в прошлом году с них прыгала.

— А нашу лодку как раз все время и тянет влево.

— Я и говорю Ляле: поднажми, — повторил Шура.

— Не »поднажми«, а надо рулить правильно, — обиженно заметила Ляля: — Для того ты и сидишь на руле, чтобы выправлять лодку.

— Для того или не для того, а надо ровно грести, — стал защищаться Шура, — если тебе трудно, то Зина должна ослабить весла.

— Я гребу, как полагается, — ответила вся красная от напряжения Зина.

— О, женщины! — деланно вздохнул Шура, как бы от утомления, закрывая глаза.

— Правей, правей, Шура! — испуганно крикнула Альма Карловна.

Но в следующий миг лодка, задев за что-то, легко и просто перевернулась вверх дном. Кто-то вскрикнул. Кажется, Шура. Коля, инстинктивно хватаясь за борт лодки, барахтался, набирая ртом взбаламученную грязную воду.

— Да вставайте же, господа, на ноги! — закричала Зина. — Ха-ха-ха! Все барахтаются, а встать на ноги боятся. Мы же на мостках находимся. Коля, что вы там выделываете руками? Плывите сюда!

Но Коля не знал, что делать, чтобы плыть, и, боясь отойти от лодки, скользил руками по ее илистому дну. Вдруг он почувствовал, как кто-то сильный толкнул его в бок, и он разом оказался на мостках. Из-под его панталон вынырнула

мокрая голова с обвисшими, прямыми волосами. Коля с трудом узнал Лялю, обычно, такую лохматую, с торчащими в разные стороны волосами.

— Испугался? — спросила она и, не дожидаясь ответа, поплыла к лодке, над которой уже усердно работала Попочка, стараясь повернуть ее в прежнее положение.

— А где Альмочка? — спросил кто-то.

— Альмы Карловны нет . . .

— Вон, вон она! Она тонет! — крикнула Зина: — Шура! Хватай ее за волосы!

С этими словами она нырнула в воду, плывя на помощь Альма Карловне.

Мокрый, напуганный Коля стоял на мостках наполовину в воде и смотрел, как другие дети, ловко ныряя, тащили к берегу бесчувственную гувернантку.

Но — Боже! Она ли это? Вместо обычной красивой прически, мокрый череп Альмочки ярко блестел свой гладкой, как бы полированной поверхностью.

Альму Карловну отнесли сохнуть к лесничему, но не столько для того, чтобы привести в чувство, сколько чтобы скрыть ее от неделикатных взоров.

Жестикулируя и волнуясь, дети возвращались к берегу.

— Я вижу, что она захлебнулась, и схватил ее за волосы-это лучший способ — хватать. А волосы-то у меня в руках и остались, — с жаром рассказывал Шура. — Я всегда знал, что у нее парик, — закончил он.

— Ничего ты не знал! Никто не знал, — заспорила Зина.

— Господи! Я говорю, что всегда подозревал это обстоятельство.

— Просто задаешься!

— Заткнись!

— Папочке можно сказать? Как вы думаете? — уже в третий раз допытывалась Попочка.

— Конечно, можно, но только под секретом. Но мы должны обязательно найти ее парик и незаметно его ей подсунуть.

Сняв ботинки и чулки, Попочка, не откладывая, бросилась в воду, чтобы первой найти потерянную драгоценность. Она так стремительно ныряла, что ее наивные розовые пятки становились почти совсем перпендикулярно воде. Но, несмотря на все ее старания, парик все же достал Шура. Дети долго рассматривали круглый, мохнатый предмет, пока не убедились, что это действительно был он.

Оставив парик в лодке, они долго еще ныряли, выволакивая со дна озера разные мелкие вещи, которые выпали из лодки.

Коля тоже заразился общим настроением и, крепко зажмурив глаза и заткнув уши, окунался в воду, стараясь почувствовать ощущение ныряния.

Никто не заметил, как к берегу подошел лесничий. Он решил помочь детям и отвезти их домой. Садясь в лодку, он увидел на дне ее что-то странное, волосатое.

— Какая гадость! Вероятно, со дна какая-нибудь водоросль, — решил он и, размахнувшись, выбросил в озеро с большими трудностями найденный парик.

* * *

До самого отъезда в город Коля больше не видел Альмы Карловны — она сказалась больной и не выходила из своей комнаты.

Но незадолго до отъезда Коля пришел к Синицыным вместе с Николаем Петровичем. К этому времени Павел Павлович Синицын, будучи членом управы, получил отпуск и приехал из города к своей семье. Потеряв жену, он был очень привязан к своим детям и целыми днями бегал с ними в »пятнашки« или отбивал мяч в лапту. Когда Николай Петрович вошел с Колей во двор к Синицыным, то все семейство дружно бегало в горелки. Сам Павел Павлович, полнолицый и румяный блондин, в насквозь пропотевшей чесунчевой рубахе »горел«.

— Раз, два, три — последняя пара, беги! — выкрикивал он высоким тенором и со всех ног бросался ловить несущуюся сзади пару.

— А-а-а . . . Здравствуйте, очень рад познакомиться! — прервав игру, проговорил он, увидев Николая Петровича.

— А мы в горелки бегаем. Не хотите ли принять участие? — весело предложил он, вытирая буйно струящийся со лба пот.

Николай Петрович отказался.

— Ребята! На веранду, чай пить! — скомандовал он.

За чаем Синицын много рассказывал о лошадях, так как был большим их любителем. Говорил он красно и здорово привирая. Ради красного словца, он даже не боялся выставить самого себя в непривлекательном виде, лишь бы не нарушить стройности рассказа или придать выпуклость сюжету.

— Вы знаете, меня »Псом« прозвали! — чуть ли не с первых слов радостно объявил он Ключевскому: — А за что? За самый смешной случай с одним моим приятелем, которого мне удалось ловко обжулить. Ха-ха! . . . У меня в городе, видите ли, своя конюшня, люблю я лошадок . . . Ну-с . . . И вот, один мой приятель, о котором сейчас идет речь, както раз попросил меня, как специалиста по лошадям, проехаться на его новой лошадке, чтоб, так сказать, испробовать ее. Ну, я поехал . . . И должен вам сказать, что поразил меня этот конь в самое сердце! Это, знаете ли, не конь, а чорт! Просто — чорт оказался! Влюбился я в коняку — вот до чего! Но я знаю, что не продаст он его, конечно, мне ни за что. Ну, и пустился я на хитрость. После пробной поездки привел я к нему лошадку и говорю: »Послушай ты меня — не езди, ради Бога, на этом чорте! Ведь, это же чорт, а не лошадь! Она тебя убьет как-нибудь, — я, говорю, хороший ездок, и то едва удержался«. Ну, приятель мой возьми и поверь мне. Стал ездить на своей »Выдре«, лошади, которая только и могла что шагом ходить. А »Чорт« у него долго стоял в конюшне, пока, наконец, не отдал он его мне просто так. Даром отдал! Ха-ха! Неправда ли, здорово я его обжулил? Потом, уже через несколько месяцев, узнал он от кого-то, что я его надул, нарочно наговорив про лошадь. Ну, так он злился, так злился! А взять дареное обратно нельзя! »Пес, — говорит, — этот Синицын, прямо пес!« Ну, так с тех пор прозвище это и укрепилось за мной. И все зовут меня »Псом«. Ей-Богу! Сам слышал. Ха-ха-ха! . . . А »Чорт« — то прелестнейшим конем оказался. Умный, послушный и скорый, как стрела. Он у меня и сейчас в конюшне стоит. Когда приедем в город, милости прошу тотчас же заглянуть.

* *
*

Приехав в город, Николай Петрович не смог »заглянуть« к Синицыным »тотчас же«, как настаивал »Пес«. Но Коля заглянул довольно скоро, но вышло это совсем случайно, как-то само собой. Шел однажды он по улице, и вдруг громкое и радостное »Рюха!« прорезало воздух. Не успел Коля осмотреться и выяснить, с какой стороны шло это восклицание, как через улицу, наперерез всем экипажам и расталкивая удивленных прохожих, прямо на него бежала Попочка Синицына.

Схватив оторопевшего Колю за руки, она решительно провозгласила:

— К нам идем!

Коля ничего не успел ответить, как она уже тащила его к себе.

Дома Попочка, бегая по всему дому и собирая сестер, громко кричала:

— Ляля, Зина! Идите — я »Рюху« привела!...

Это было правдой: он не пришел по своей воле, а был ею приведен. Радость девочек при виде Коли была искренной и настолько непосредственной, что ему стало с ними хорошо и приятно.

Осмотрев всех »Гнедых«, »Чертей«, »Шутов« и »Малышек«, Коля был в курсе всей конюшни. Узнав биографию каждой лошади, он познакомился и со всеми зиниными птицами, как заключенными в клетках, так и летавшими на воле по комнатам и оставлявшими свои следы и на вещах и на волосах, так как птички очень любили садиться на головы и старательно что-то там выклевывать.

Квартира Синицыных стала часто посещаться Колей, а девочки горячо принялись, каждая по-своему, его обрабатывать. Незаметно для самого себя, Коля вскоре перестал, как раньше, дичиться детей, а также и вообще стал свободнее в обращении, решительнее, разговорчивей и даже иногда пробовал проявлять в играх свою инициативу. Это оказалось настолько удачным, что Коля до некоторой степени стал даже цениться девочками и, хотя продолжал оставаться »Рюхой«, иногда бывал центральной фигурой в играх.

* *

Так незаметно подкатилась осень, а с ней и занятия в гимназии.

Когда Коля в первый раз пришел в класс, то сразу же остро почувствовал себя второгодником. И это ощущение не было таким приятным, как в приготовительном классе, когда пришедшие в класс малыши сами чувствовали себя неопытными новичками. Здесь было наоборот: хозяином класса был не Коля, а все остальные мальчики. Коля же был совсем чужим среди всех них, шумевших одной дружной семьей.

Привычная последняя парта оказалась занятой другими мальчиками, недружелюбно оглядевшими длинную, худую

фигуру Коли. Ему даже показалось, что за его спиной перешептывались, прохаживаясь по поводу его большого роста.

— Может быть, он по ошибке к нам в третий класс зашел? — раздавались голоса сомнения.

— Да нет, это второгодник!

Может быть, Коле только показалось, что это было сказано с иронией. Во всяком случае, он сразу почувствовал себя неловко и от неловкости неуклюже зашаркал по полу ногами и вдруг, зацепившись за парту, растянулся во весь рост. Класс как будто только этого и ждал и дружно разразился смехом.

Коля покраснел. Закусив губу и скрывая в опущенных глазах досаду на себя, он неловко встал у кафедры, не зная, что делать, с кем сесть, и решил подождать прихода классного наставника.

— Без обеда он, что ли, стоит? — фыркнул кто-то.

— Ребята! Глядите — ноги-то у него . . .

Коля сьежился. Ноги, действительно, были длинны да и руки . . . руки тоже, пожалуй, были не такими, как у всех . . . Коля смущался все более. Ему стало казаться, что никого и ничего, кроме него, вообще больше не существует. Что на всей громадной вселенной, с ее продуманной и сложной системой, имеющей свой потайной и глубокий смысл, в этот неприветливый осенний день не осталось ничего сколько-нибудь значительного, и Коля один только заслуживал всеобщее внимание. Под упорными бесцеремонными взглядами ему стало нестерпимо жарко в его серой суконной курточке, а по затылку у него побежали колючие мурашки, которые своими острыми, лабораторно- отточенными коготками раздражали кожу и, бегая по затылку, заставляли подниматься щепетильные волосы.

— Да он плюнь-кисляй! — крикнул кто-то сзади, что опять вызвало взрыв хохота.

— Молчать! — вдруг повелительно оборвал звонкий голос, и гневно сверкая глазами, с передней парты поднялся стройный, красивый мальчик. — Травить нового человека! Как вам не стыдно! Это неблагородно, — гордо тряхнул он светлокаштановыми волосами и двинулся к Коле.

— Как ваша фамилия? — несколько свысока спросил он.

— Ключевский, — пролепетал Коля, чувствуя, что от прилива крови к лицу из глаз его могут вот-вот брызнуть слезы.

— Я Волынский. Я сижу один. Садитесь со мной.

Как загипнотизированный, Коля пошел за Волынским, в то время как присмиревший, было, класс снова загоготал и даже засвистал по его адресу.

— Не обращайте на них внимания, — сказал новый товарищ Коли, небрежно кивая на класс, — они меня тоже не любят.

— Что Волынский распоряжается?

— Волынский воображаха! — тем временем сыпалось со всех сторон.

— Он думает, что первый ученик, а на самом деле Соколов первый.

— Нет, Соколов второй!

— Волынский, Волынский второй! . . .

— Никогда не помогает товарищам! Посмотрим, каково будет с ним второгоднику, у кого сдувать будет . . .

Коля сидел ни жив, ни мертв, стараясь разобраться в недружелюбных выкриках класса. А Волынский, этот красивый мальчик, который сейчас сидел рядом и насчет которого класс тоже откровенно прохаживался, казалось, совсем ничего не слышал, что говорилось вокруг, и спокойно перелистывал какой-то учебник. Его спокойствие заразило и Колю. Он тоже вынул книгу и тоже стал ее перелистывать.

Но, посадив Колю на свою парту, Волынский совсем не выражал намерения ближе с ним сойтись. Наоборот, он продолжал не замечать его так же, как не замечал и всего класса.

Волынский, хотя и сыграл в благородство, все же в глубине души был уверен, что не следует первому ученику быть в дружбе со второгодником, и не желая уронить себя, держался в стороне от Коли.

Когда ясно определилась подобная ситуация, Коля даже обрадовался, что этот гордый мальчик не замечал его, и что поэтому он может, не возбуждая его любопытства, заниматься своими делами.

Во время уроков по алгебре или геометрии, всегда вызывавших у Коли зевоту, в то время как какой-нибудь тупой ученик, стоя у доски, вылезал из себя, доказывая наложением никому не нужных отрезков различной длины какую-то сложную теорему, Коля осторожно вытягивал из-под парты какую-нибудь книгу и украдкой предавался чтению.

Класс отходил далеко-далеко, и Коля храбро дрался вместе с героями севастопольской обороны или же был всей душой вместе с бравым Портосом и умным Арамисом.

Иногда он вытаскивал черную клеенчатую тетрадь и заносил в нее свои впечатления о тускнеющем осеннем солнце, о сложных душевных переживаниях в связи с полученной тройкой с минусом, о несправедливости учителя рисования и о том, что весь мир стоит к нему спиной, и что хорошо, пожалуй, было бы все это бросить и уйти куда-нибудь на необитаемый остров или же, перебросив котомку через плечо, бродить одному по всему миру никому неведомым бродягой.

*

Однажды, во время перемены, Волынский неожиданно подошел к Коле вплотную и тихо спросил:

— Вы стихи пишете?

Коля нестерпимо покраснел. Он никак не думал, что его сосед по парте одним глазом все же посматривал на него. Покраснев же, Коля смутился и ничего не ответил. Волынский таинственно отвел Колю за угол и с живыми, заинтересованными глазами прошептал:

— Я тоже . . . Только я в классе не пишу, я дома . . . Я завтра принесу вам »их«.

На следующее утро Волынский и Коля при встрече обменялись многозначительными взглядами. »Есть! Принес!« — говорили живые карие глаза. »Боже! Как чудно!« — говорили восторженные серые.

Коля с трудом дожидался окончания урока и с удивлением наблюдал, как спокоен был Волынский, как внимательно следил он за латинистом, боясь что-нибудь пропустить из сказанного им. Нет, на его месте Коля не вытерпел бы и стал читать принесенные стихи тут же, вперемежку со спряжениями латинских глаголов, которые, кстати, звучат, как стихи. Если б только латинист знал, что он говорит стихами! Но он этого не подозревает и сухо останавливается на каких-то малозначущих окончаниях, нарушая ритм языка. Стихи Волынского было бы очень кстати прочесть именно сейчас, под музыку латинского. Но для Волынского слава первого ученика была дороже. Волынский не мог чего-нибудь не знать. В этом были уверены все учителя и все ученики. Последние, хотя и не долюбливали его за надменность, все же в сложных случаях жизни обращались к нему как к арбитру. И Волынский знал это и гордился своим авторитетом среди товарищей и уважением со стороны учителей. Он сгорел бы со стыда, если б вдруг

за внимание получил бы на минус меньше. И поэтому ловил каждое слово учителя, стараясь не пропустить вопросительного его взгляда и поднять в нужный момент руку.

Коля же, наоборот, совсем не мог сегодня сосредоточиться и, как ни напрягал внимания, латинские фразы не укладывались в голове. Губы его бессознательно повторяли штудируемый глагол, но мозг не повиновался, и Коля никак не мог решить, к какому же спряжению отнести »facere«.

— Facere . . .

И вдруг в передней радостно зазвенел колокольчик.

С облегчением Коля стряхнул с себя тяжесть неразрешенной проблемы и бросился вон из класса, таща за собой и Вольпского.

Забравшись на окно актового зала, Вольпский медленно развернул малиновую тетрадь. Подняв значительно брови, он начал, скандируя слова:

»В эти дни осенние
Так много треволнений,
Всех невзгод и всех мучений,
Передряг, всяких течений,
Разных бурных приключений,
Учителей на нас гонений,
Всех трагедий, разных драм —
Пережить далось все нам« . . .

Вольпский читал с большим увлечением.

Коля с восторгом смотрел в его выразительные глаза, на его красиво вырезанный рот, из которого сейчас исходили рифмы. Он казался ему недосягаемым гением. Но ни зависти, ни даже досады он не чувствовал, — наоборот, он проникся уважением к его таланту.

Прочитав еще два стихотворения, Вольпский закрыл свою изящную малиновую тетрадь и снисходительно обратился к Коле:

— Ну, а теперь вы прочите что-нибудь свое.

Коля смущенно замотал головой.

— Нет, нет . . . Не надо. Куда же мне после ваших! Нет, мои плохие . . .

— Ничего, ничего, прочтите, что вы находите лучшим.

— Нет, не сегодня . . . Завтра . . . Хорошо?

— Ну, хорошо — завтра, — спокойно согласился Вольпский, тем более, что и времени сгодня могло не хватить.

Но и завтра Коля ничего не прочел. Причиной тому оказалась классная письменная работа, которая, конечно, не могла настроить поэтически.

Так со дня на день, под различными предлогами, оттягивал Коля возможность ввести кого-нибудь в свое святая святых. Волынский не настаивал. Он уже признал Колю равным себе и часто теперь делился своими заветными мечтами и тщеславной надеждой стать настоящим большим поэтом. Таким, чтобы слава гремела бы на весь мир!

— Если этого не будет, я застрелюсь! — с горящими глазами признался однажды он Коле.

С уважением и страхом выслушал его Коля.

— Да, конечно, иначе не стоит жить, — согласился он, поникнув головой над партой.

— Давай поклянемся друг другу, что обязательно будем великими людьми, — предложил Вова, — а если не будем — умрем! Хочешь?

— Давай!

— Только надо придумать клятву.

— Надо произнести клятву над шпагой, которую потом сломать об колено.

— У меня нет шпаги . . .

— У меня тоже, но . . . надо придумать.

Всю ночь обе горячие головы думали, как лучше и торжественнее принести клятву, а на утро Коля принес в класс тщательно завернутый в бумагу длинный кухонный нож.

— Годится? — спросил он Вову, наполовину вытянув из-под парты тонкое лезвие ножа.

— На крайний случай . . . Что делать?

После уроков приятели отправились на бульвар, за три квартала от гимназии, и там совершили придуманную процедуру. Лезвие кухонного ножа было освобождено из деревянной ручки и сломано надвое, после чего каждый мальчик взял себе половину с обязательством хранить ее в течение двадцати лет. По истечении этого срока, если клятва не будет выполнена, нужно будет отыскать друг друга, в какой бы части света ни находились, и напомнить о смерти.

*

С того момента, как Коля получил во владение часть клинка, он почувствовал, что переступил через что-то очень важное. Почувствовал, что теперь он, связанный

клятвой, должен напрячь все силы, чтобы стать в жизни «кем-то«, иначе через двадцать лет придется сложить голову ... Двадцать лет! Такой большой срок, казалось бы, но для того, чтобы действительно сделаться великим человеком, надо было начинать подготовку теперь же, иначе можно было не успеть. Кусок железа с наполовину обломанной надписью, обозначавшей фамилию кустаря, который в каком-то маленьком неизвестном селе выделывал эти замечательные крепкие стальные ножи, непрестанно напоминал Коле о принесенной клятве, обязывая к деятельности. Но что же надо было делать? С чего начинать? А загадочное »лов и С-ья« наверху клинка и »влово« внизу стояло перед глазами и завораживало своей недосказанностью, намеком на что-то. Казалось, что-то мистическое было в этих оборванных именах.

С удвоенным напряжением стал Коля думать, что же именно нужно сделать, чтобы стать великим. По ночам ему снилось, как он разъезжает в карете, а кругом народ снимает перед ним шапки. Или же видел себя в стране карликов, которые бежали за ним, стараясь коснуться его одежды.

Сны эти истощали его. Тяжело было заставлять себя сидеть над уроками, когда голова была занята тем будущим, которое Коля так ясно видел через двадцать лет.

Однажды он поведал Вове, что его манит идея бродяжничества. Бродить по белу свету свободным и ни перед кем и ни чем не быть обяанным, не учить уроков, не думать об экзаменах ... Разве не счастье это?

Сначала эта идея привела Вову в восторг, но, подумав, он категорически отверг ее.

— Что ж »великого« в таком бродяжничестве? О тебе даже никто и знать не будет, — сказал он. — Нет, надо что-нибудь такое, чтобы, наоборот, о тебе все говорили, шли толпой за тобой и кричали: „*Vive, vive, Volinsky*“ ...

* * *

Дружба между этими, совсем противоположными, натурами крепла.

Коля уже все знал о своем друге. Знал, что отец его, советник губернского правления, умер пять лет тому назад, и что живет он с матерью и сестрой в собственном доме, на Соборной улице.

— Жаль, что у тебя нет матери, — сказал однажды Вова, — а то мы могли бы познакомить наших матерей, и ты

стал бы бывать у нас. Мамочка разрешает бывать у нас только тем детям, с родителями которых она лично знакома. Оне не любит незнакомых детей в доме. Они, по большей части, бывают плохо воспитаны, шумят, громко говорят, и у нее делается мигрень. Жаль, что у тебя нет матери, — повторил Вова.

Коле стало неловко Да, действительно, у него не только нет ни матери, ни отца, но он даже их никогда и не знал.

— А я думал, что Ключевский — твой настоящий отец.

— Нет, приемный . . .

— Ну, это совсем запутано, и мамочка никогда, наверно, не позволит мне бывать у тебя, — сокрушенно вздохнул Вова.

Однако это не мешало их дружбе в классе. Вова, несмотря на укрепившуюся за ним репутацию эгоиста, во многом помогал Коле в занятиях, в особенности в классных работах, выручая и подсказкой и шпаргалкой. Но, под влиянием Волынского, Коля и сам стал подтягиваться, так как боялся его презрительного взгляда: великие люди не могут быть двоечниками!

— А как же Пушкин — страшивал Коля, — он очень плохо учился по арифметике.

— Нет, нет! — решительно протестовал Вова, — мы должны быть лучше всех.

И Коля волей-неволей тянулся, вспоминая опять мистическое: »лов и С-ья« и »влово« . . .

*

Однажды, только лишь Коля успел придти из гимназии домой, у дверей раздался трезвон: звонок перестал звонить только, когда Анна открыла дверь. Коля выбежал в переднюю: он знал, что так звонят только Синицыны.

В передней, действительно, стояла румяная от мороза и как всегда, лохматая Ляля. Не глядя бросив на руки мрачной Анне свою шубу и шапочку, она быстро затараторила:

— Слушайте, »Рюха«, нам нужны артисты. мы пьесу ставим, идите к нам играть.

Пьеса? Артисты? Всегда это Ляля чем-нибудь озадачит!

— Я не умею . . . Я не знаю . . . — начал, было, Коля, но Ляля сейчас же его перебила:

— Это хорошо, что вы не умеете. Нам таких и нужно. Я — режиссер и буду вас учить. Мы ставим »Цыганы« Пушкина. Шура будет играть Алеко, я Земфиру, а вы старика. Вот примерьте бороду, я принесла.

С этими словами она из глубокого кармана под черным гимназическим фартуком вытащила длинную седую бороду.

— Это я из хвоста »Шута« сделала: его на прошлой неделе подстригали.

Коля нерешительно взял бывший лошадиный хвост. Подвесив его за тесемочки под подбородок, заглянул на себя в зеркало и невольно улыбнулся.

— Вы будете выглядеть настоящим цыганом, — почему-то решила Ляля, — мы вымажем вам лицо и руки жженой пробкой. Это будет замечательно!

С энтузиазмом начала Ляля высказывать свои дальнейшие соображения относительно костюмов, декораций и прочих подробностей постановки.

— Сделаем из палок треножник, повесим горшок, под него положим красной бумаги... Настоящий костер получится! Папочка обещал нам помочь и предлагает все свои костюмы... У Альмочки в комоде я нашла старрый парик, — понизила голос Ляля, — она и не знает. А даже когда и узнает, так постесняется сказать, что это ее. Но он ей, все равно, не нужен! Он старый, растрепанный. Я надену его и буду совсем, как цыганка.

Все это было страшно заманчиво. Коля поддался лялиному настроению. Фантазия уже рисовала шумный цыганский табор с бубнами, песнями. Представлялись безудержные, дикие цыгане с ножами за поясами. Неважно, что представление, в конце концов, не будет вполне соответствовать плану Пушкина, что придется надеть длинные, не по росту, брюки Синицына-отца, что, может быть, мечтательные глаза Коли будут не вполне на месте на вымазанном сажей лице, — разве эти мелочи имели большое значение? Во всей лялиной затее было что-то такое, что зажигало, и Коля с интересом открыл текст своей роли:

»Оставь нас, гордый человек!
Мы дики, нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним,
Не нужно крови нам и стонов,
Но жить с убийцей не хотим«

— Вы будете ходить с палкой, — продолжала соблазнять Ляля, — мы сделаем вас горбатым и повесим через плечо мешок из-под овса... Завтра после обеда репетиция. Роль нужно знать наизусть. Учите!

Ляля ушла, оставив взбудораженного Колю одного размышлять над бытом и нравами цыган.

* * *

На следующий день Коля, сейчас же после обеда, отправился к Синицыным.

Когда он выходил из дому, он обратил внимание на какую-то бедную женщину, которая стояла у самого крыльца и как будто ждала кого-то. Она быстро обернулась, когда Коля хлопнул входной дверью. Ему показалось, что она слишком пристально посмотрела на него, когда он спускался со ступенек. Пройдя несколько шагов, он обернулся и увидел, что женщина, держась на расстоянии, шла за ним. Коля еще несколько раз оборачивался, чтобы убедиться в этом. Какая-то бедно одетая женщина. Кто такая? Что ей нужно? — Может быть, следовало бы что-нибудь подать ей? — подумал Коля (у него в кармане было пятнадцать копеек). — Но ведь, она же не просила . . . — Вскоре, отвлекшись мыслями о предстоящей репетиции, Коля забыл о женщине.

У Синицыных была масса народу. Много девочек и мальчиков. Был один мальчик и из его гимназии, только старше классом.

Репетиция протекала бурно. Никто не хотел слушаться режиссера, все высказывали свои мнения, давали свои указания. В конце концов, Ляля набила физиономии двум особенно непокорным мальчикам, изображавшим табор и протестовавшим против хождения босиком.

Несмотря на все уговоры Альмы Карловны, Ляля ни за что не хотела перед ними извиниться.

— Я права, я — режиссер, они должны меня слушаться, — на всю квартиру орала Ляля и, убежав за ширму, изображавшую кулисы, в бешенстве начала вышвыривать оттуда с большим трудом собранную бутафорию. Когда визжащую и брыкающуюся ее, наконец, удалось унести в угловую комнату, все »артисты« поняли, что больше им здесь нечего делать, и разбрелись по домам.

* *

На следующий день, идя из гимназии домой, Коля уже издали увидел у крыльца вчерашнюю женщину. Он замедлил шаг стараясь всмотреться в ее лицо. Но женщина сама пошла ему навстречу. И вдруг Коля выронил ремень с книгами.

— Корнелия . . . — прошептал он.

Она быстро закивала головой и задрожавшими губами что-то неразборчиво проронила.

Боже, как она изменилась! Это была совершенно старая женщина, только глаза ее остались те же — особенные, миндалевидные.

Корнелия протянула Коле руку в рваной перчатке, как будто желая дотронуться до него, слегка коснуться. Но сердце Коли не шевельнулось навстречу ее жесту. Поборов в себе минутное удивление, он спокойно поднял оброненные книги и отступил назад.

— Ты . . . — наконец, произнесла Корнелия каким-то надтреснутым голосом. — Я долго не решалась . . . Я следила за тобой . . . Как в гимназию ходишь, как . . .

Она вдруг закашлялась.

— Я больна, — продолжала она, передохнув, — Я, может быть, скоро умру. Мне много нужно тебе сказать . . . Идем куда-нибудь.

— Я не могу,— сухо ответил Коля, — через полчаса придет Николай Петрович, я должен к обеду быть дома.

— Ну, тогда выходи после обеда на угол. Я буду тебя ждать. Хорошо?

Коля колебался. Корнелия опять протянула, было, к нему руку, но он брезгливо отстранился и быстро вбежал на крыльцо. Корнелия засуетилась, стараясь так зайти за дверь, чтобы случайно ее не увидели из квартиры.

— Я буду ждать тебя,— повторила она, дырявым пальцем указывая на противоположный угол улицы, — буду . .

Не дослушав, Коля вошел в квартиру.

— Говорить или не говорить Николаю Петровичу? — мучительно думал он, сидя за обеденным столом напротив своего приемного отца. — Может быть, лучше сказать? . . .

Было очень неприятно что-то от него скрывать, но Коля чувствовал какую-то неловкость за пестро и бедно одетую, с нарумяненными щеками, Корнелию, имеющую к нему какое-то отношение, и за которой — там, дальше — был и Володька . . . Что-то нехорошее и стыдное было за всем этим, что ушло было, и вот опять откуда-то выплывало.

— Нет, не надо! Стыдно! Потом скажу . . . — решил Коля и ушел к себе в комнату и бесцельно стал бродить от стола к окну, перекладывая с места на место книги. — Что ей нужно? — в сотый раз спрашивал он себя: — На самом деле она ждет сейчас меня на углу или . . .

Вдруг разом решив, объявил, что идет в писчебумажный магазин, и вышел из дому.

Корнелия уже стояла на углу, а может быть, она и не уходила оттуда и все эти два часа так и простояла там?

— Сюда, — показала она Коле налево и свернула в переулок.

Они долго молча шли по разным улицам, пока, наконец, она не остановилась у какого-то небольшого деревянного домика, у ворот которого была скамейка.

— Вот тут, — сказала она-, устало садясь.

Коля огляделся. Кажется, он никогда не бывал в этой грязной улице.

— Ты здесь живешь? — спросил он.

— Нет . . .

Некоторое время они помолчали. Она сидела, тяжело дыша и низко опустив голову в грязной шляпке с птичкой, которая едва держалась, будучи прикручена за одну лапку проволокой. Коля смотрел на ее совсем седые волосы, на желтое болезненное лицо, на котором единственным ярким пятном были наспех подкрашенные щеки. Зачем она опять входит в его жизнь? И вдруг Коле стало стыдно, что он, гимназист, сидит в этой сомнительной улице рядом с накрашенной женщиной. Он быстро поднялся со скамейки.

— Ты куда? Постой! — очнулась Корнелия.

— Я домой пойду, — глухо ответил Коля, глядя в землю, — нам по гимназическим правилам нельзя . . . До семи часов надо быть дома . . .

— Постой . . . Коля! — Корнелия протянула к нему обе руки. Глаза ее беспокойно забегали. Коля прочел в них мольбу и машинально опустился на скамейку.

— Я ничего плохого тебе не сделаю . . . Я хотела тебе сказать очень-очень важное . . . — Корнелия завертелась, нервно пряча озябшие руки за борт ветхого пальто. — Я, может быть, умру скоро . . . Я, Коля, твоя мать . . .

— Ты? — переспросил Коля удивленно, но сейчас же спокойно поправился: — Ну да, я так и думал, что ты врала тогда . . . Ну, и что же?

— да, да . . . Мать . . . — повторила Корнелия, грустно кивая головой, а птичка на ее шляпке поддакивала, трясясь в такт: Да, да . . . Из миндалевидных глаз Корнелии капнула слеза.

Мать! . . . Вот эта женщина с накрашенными щеками. . .

Коля широкими глазами посмотрел на Корнелию, но

удивление только на миг мелькнуло в его глазах. Только на самый короткий миг. Потом он глубже осел на скамейке, стал как будто ниже. Что же было удивительного в том, что говорила Корнелия? Он знал все это раньше. Во всяком случае, предполагал, и ничто не изменилось от ее признания, ничего нового в этом не было.

— Ты законнорожденный. Твой отец . . . — продолжала Корнелия, смахнув перчаткой слезы, — Лев Львович Ведрожицкий. Ты запомни эту фамилию, — может быть, когда-нибудь тебе это пригодится . . . Он жил в Гельсингфорсе, когда я его бросила. Он не может нас найти, если бы и хотел, потому что у меня вымышленная фамилия. Может быть, его уже и в живых нет . . . Не знаю . . .

Голос Корнелии из надтреснутого сделался совсем хриплым. Ей, повидимому, было тяжело говорить, она опять закашлялась.

— Он был хорошим, Коля, — отдышавшись после кашля, продолжала она свою исповедь, уставившись в какую-то точку на тротуаре, — честный, благородный . . . Дворянин . . . Богатый . . . Только я тогда глупа была, не знала цены всему этому. И вот теперь — несу свой крест . . .

— А Володька? — еле слышно спросил Коля, как бы боясь ответа.

— Он ничто для тебя. Холуй твоего отца. Вор! Мошенник! . . . Он избил меня . . . У меня все внутренности отбиты. Я умру . . . скоро умру . . . — устало закрыла глаза Корнелия.

— Раньше я боялась его, поэтому и не говорила всего этого. Теперь я его ненавижу, и мне все равно. Он негодяй, Коля, большой негодяй! Берегись его, не попадайся ему — у него нет ничего святого. Он ищет тебя . . . Ты ему ради денег нужен . . .

Она опять закашлялась.

Начинало темнеть. Где-то далеко зажглись фонари, но в этой глухой улице от тех далеких фонарей стало только темнее.

Коля совсем врос в скамейку и не имел сил сдвинуться.

— Что же это такое? — думал он, — что это . . . сон или правда?

. . . И зачем все это говорит ему эта жуткая женщина, которая . . . называет себя его матерью?

— Не надо, не надо! — хотелось ему крикнуть, — у меня есть Николай Петрович, и больше никого мне не надо, я не хочу! . . .

Но Корнелия продолжала:

— Во всем виновата я. И перед твоим отцом и перед тобой. Ты прости меня как-нибудь, Коля . . .

Какой-то мужчина в поддевке и меховой шапке прошел совсем близко от них. Коля вздрогнул. Надо идти домой. К Николаю Петровичу.

— Уходишь? — грустно проронила Корнелия, жадно глядя на него, — Какой ты большой стал! . . . Совсем как Лева, лицом, — улыбнулась она, и слезы опять выступили на ее миндалевидных глазах. — Высокий, стройный . . . Все это было, ведь, было . . . Правда, было! — истерично выкрикнула она: — Давно, но — было.

Она еще несколько раз повторила: — было . . .

Коля не знал, то ли идти, то ли остаться здесь, на этой скамейке, где он узнал так много, Идти было нужно, потому что уже темнело и, наверно, было уже близко к семи часам. Но как же уйти, когда Корнелия, такая странная, сидела вот тут и, все кивая головой, что-то бормотала себе под нос.

— Она, кажется, правда очень больна, — подумал Коля.

Ведрожицкий . . . какая странная фамилия . . .

— Он поляк? — спросил он вслух.

— Нет, русский.

— Николаю Петровичу сказать? — через минуту тягучего молчания опять спросил он, как бы сам про себя.

— Скажи . . . Тут нет ничего плохого. Я тебе только правду говорю. Лгать больше не могу . . . Нет, нет! Не буду лгать, Лева! Нет, Лева! . . .

Она опять заплакала.

— Ну, я пошел, — нерешительно проговорил Коля, бесцельно водя средним пальцем в теплой перчатке вокруг серебряных пуговиц своего форменного пальто. Но Корнелия ничего не ответила на этот полувопрос. Опять уставившись в притягивавшую ее глаза точку на тротуаре, она продолжала качать головой и что-то про себя бормотать, а птичка на ее шляпке, привязанная за одну ногу, продолжала нервно подпрыгивать.

— До свидания . . . — сказал Коля и быстро зашагал из темной улицы навстречу ярко светящимся впереди фонарям.

Корнелия его не слышала.

* * *

Когда Коля пришел домой, Анна подала ему листок клетчатой бумаги и сообщила, что прибегала Зина Синицына, но, не дождавшись, оставила записку.

Коля развернул неровный, наскоро вырванный из арифметической тетради, листок бумаги. Без всяких знаков препинания, широкими размашистыми буквами, уверенно занимавшими всю страницу, в записке было:

— У меня есть белая мышка она живет в окне между рамами приходите обязательно

Зина.

Коля рассеянно сложил записку. Мысли его были не здесь. — Ведрожицкий . . . Ведрожицкий . . . — И ему вдруг стало казаться, что и эта записка, и Зина, и Анна, и все-все — такое ему далекое, такое чужое . . . Как будто это было кусочком из чьей-то чужой жизни, нечаянно подклеенной к его, колиной, жизни. А настоящая-то осталась там, на той скамейке, с Корнелией, где был Володька и этот . . . Лев Львович . . .

А это . . . Все это было не то!

Часть вторая

О смерти Корнелии Ключевским пришла сообщить какая-то совершенно незнакомая женщина.

Она долго извинялась за беспокойство, причиненное своим приходом, извинялась за грязные следы на полу от ее промокших на дожде башмаков, извинялась за то, что не пришла к Ключевским раньше, тотчас же после смерти Корнелии. Женщина сказала, что умерла Корнелия уже больше месяца назад.

— Внезапно это случилось, — говорила она: — Ну, хотя давно она уже не была здоровой, а все же не думала я, что умрет так сразу. О смерти сама часто говорила. Все обещала сказать мне что-то очень важное перед тем, как умирать будет, да так и не успела. А адрес ваш она мне давно называла, также и фамилию Ключевского упоминала. Говорила, что виновата она перед вами в чем то. »Налгала, — говорит, — ему нехорошо, да уж семь бед — один ответ. А вот, — говорит, — как буду умирать, так пойду к нему прощения просить.« Да все откладывала и откладывала: боялась чего-то . . . Она всегда всего боялась. Потому и пришла я к вам, что знала ее заветное желание повидать перед смертью Николая Петровича Ключевского. Я так думала: раз знали ее такие хорошие господа, пойду-ка я сообщу им о ее смерти, — пусть помолятся за грешную душу.

Коля удивлялся, с каким безразличием он выслушивал все это. Его больше интересовала сама женщина, чем то, что она говорила.

»Кто она такая? — думал он: — Соседка Корнелии? Ее подруга?«

И рассматривая ее асимметричное, вероятно, перекосившееся от нервного шока, лицо, следя за ее очень подвижным правым глазом (левый был меньше размером и какой-

то вялый), Коля решительно не находил в себе какой-либо жалости к умершей матери.

Да, впрочем, разве можно было приложить к Корнелии это почетное звание — »мать«?

Коля искал в себе оправдывающих его безразличие причин, чувствуя перед Николаем Петровичем неловкость за свою холодность. Ведь, кроме честных внутренних законов, есть еще и чисто внешние, человеческие законы, гораздо менее честные, сдобренные фальшью. Подчиняясь этим общечеловеческим законам, Коля знал, что после ухода несимметричной женщины он должен сказать Николаю Петровичу несколько слов о Корнелии, а не говорить, например, о вчерашнем обеде, оставившем впечатление, благодаря особо вкусно приготовленному картофелю. Поэтому Коля заговорил о последнем свидании с Корнелией и о том, что она рассказывала ему об его отце, Льве Львовиче Ведрожицком.

— Может быть, и его уже в живых нет, — грустно заметил на это Николай Петрович.

»А если б и был жив, — подумал Коля, — разве может он быть мне близок? И что такое вообще »родственные отношения«? Коля никогда не знал их, никогда не испытывал родственного чувства.

»Разве чужой человек, как, например, Николай Петрович, не ближе мне, чем моя мать?«

Коля стал разбираться в своих чувствах к приемному отцу и вдруг с ужасом увидел, что и его он не любит так, как следовало, может быть, любить человека, так много для него сделавшего. Коля никогда не находил общих с ним нот. Николай Петрович всегда был в меру добр, но все же в его доброте было больше безукоризненной справедливости, чем ласковости. Он не потакал человеческим слабостям, с которыми Коля был дружен, и старался воспитать в Коле сильный характер. Но удавалось ли это ему? Корректность и справедливость страшно давили Колю. И как иногда хотелось, безумно, до скрежета зубовного хотелось чего-то совсем другого! А где же найти это »другое«? И чем оно должно быть? А ведь, есть же, в конце концов, счастливые люди!

»А может быть, причина всего кроется во мне самом? — спрашивал себя Коля: — Может быть, во мне есть какой-то недочет, какое-то нравственное уродство? . . . Или же, наоборот, это зависит от людей, которые меня окружают?«

Коля перебирал по одному всех, кто к нему так или иначе был близок, и окончательно пришел к заключению, что все ему или безразличны или неприятны. Он действительно чувствовал себя круглым сиротой и пасынком всего мира. Закрыв глаза, он мысленно стал ощупывать этот мир со всей человеческой массой, в нем обитающей. Он видел много-много людей. Они проходили мимо него, не замечая, все остро-чужие, непонимающие. Коля шел среди них с краю, отдельно, совсем обособленно. Как будто ему было с ними не по пути . . .

Ощущение одиночества охватило Колю. Стало грустно.

»Умереть было бы неплохо, — подумал он, — ведь, умирают же другие« . . .

Но вдруг вспомнил, что он вовсе не один, что он может делиться своими мыслями с бумагой. Ей он может рассказывать все, что чувствует. Вот его — и мать, и сестра, и любовница! Счастье разом наполнило его. Он радостно схватился за карандаш и, как был на краю кровати, в неудобной позе, стал писать, писать . . .

* * *

Анну отвезли в больницу.

Последние дни она уже едва передвигалась — так сильно распухли ноги, начал пухнуть также и живот.

Анну, тяжелую и ставшую очень большой, едва поместили на извозчике. Исключительно немногоречивая, а за время болезни ставшая и вовсе безмолвной, она, когда тронулся извозчик, вдруг тихо, как бы про себя, проговорила:

— Помирать поехала . . .

Через две недели ее пророческие слова сбылись, и Анну похоронили.

С похорон Николай Петрович и Коля возвращались молча, каждый занятый своими мыслями.

Под однообразную тряску плохой клячи в ушах Коли всплывали отдельные баритональные возгласы диакона и диссонирующие, не в тон, слабые отклики священника, а потом их общий дуэт, своей неспетостью и бедностью вызывавший чувство скорби, будивший какие-то, ни с чем не совместимые, стоящие отдельно от всего остального, странные чувства. В голове завертелась какая-то бессмыслица:

Радо ноно миси хо
Веда палу вуду ро.

Так бывало с Колей и в детстве, когда он соприкасался с музыкой, пением или просто чтением стихов. Ему тогда казалось, что он сочиняет стихи, хотя лишь бессмысленные фразы, такие же, как вот и сейчас, рождались в голове. Но их рифма, их звучание вызывало в Коле тогда неизъяснимо сладостное волнение, и слезы навертывались на глаза.

Сейчас же, уставившись в сутулую спину извозчика, он внимательно изучал глазами его армяк, а мыслями унесся в философские высоты.

»Вот странно, — думал он, — Анна, пожалуй, мне ближе, чем Корнелия« . . .

И сегодня, так же как в день объявления смерти Корнелии, Коля рылся в себе, старался отыскать чувство горечи, сожаления, но не мог найти ни того, ни другого. Внутри у него было пусто, и лишь все лезли в голову глупые, бессвязные рифмы, бессмысленные, но ритмические.

»Человек должен жить в ритме, — подумал Коля, — у каждого есть свой ритм. А если человек его теряет, то или сходит с ума, или кончает самоубийством. А смерти мы вообще придаем надуманный скорбный вид, хотя и уверены, что умирающий уходит в »лучший мир«. На самом же деле, процесс ухода человека из жизни менее значителен, чем, скажем, рождение. Рождение в мир нового человека! Еще один в нашу человеческую семью! Какое громадное событие для людей! Какое ликование, какое празднество должно бы быть по этому поводу! А вместо этого, мы довольно спокойно принимаем факт рождения. И лишь из простого любопытства (мальчик или девочка?) проявляем к нему интерес. Смерть же мы окружаем торжественной обстановкой, известным ритуалом и проч., хотя мертвые безвозвратно от нас отделяются и нам уже больше не принадлежат. Остаются лишь воспоминания о них, о их делах, и это единственное, что нас с ними еще некоторое время связывает, но потом и эту связь разрушает беспощадное время.

— Почти шестнадцать лет прослужила она мне верой и правдой, — говорил Николай Петрович, входя в квартиру.

»У живых всегда обостряется воспоминание о добрых качествах умершего, и образ его всегда получается празднично прикрашенным«, — хотел сказать Коля, но промолчал, боясь, что его слова в данный момент мугут расчувствовавшемуся Николаю Петровичу показаться циничными.

— Да ты не слышишь, Коля?

— А? Что?

— Да вот, говорю, давай поищем что-нибудь закусить. Хожу по своей квартире, как чужой — ничего не могу найти.

При напоминании о еде, Коля почувствовал, что тоже голоден. С похоронами и другими хлопотами сегодняшнего дня, не пришлось как следует подумать о себе.

За время болезни Анны не раз уже приходилось им проделывать экскурсию в кладовые. Коля направился в кухню.

— Вот, — торжественно обвел Николай Петрович рукой аккуратно висящие, каждая на своем гвозде, чистые, отполированные кастрюли: — Я всегда думал, что Анна мало выявляла себя как личность, но, оказывается, я ошибался — вот ее лицо! Оно пряталось за повседневностью, мы его не замечали.

— И конечно, нам всегда будет казаться, что мы недостатчно ценили покойного, — опять подумал Коля, — мы искренно скорбим о нем, наделяя его никогда ему не принадлежавшими качествами. А в общем, Анна, конечно, была неплохим человеком... А главное — с ней было удобно жить...

Неудобство жить без Анны еще больше чувствовал Николай Петрович и решил предпринять шаги к подысканию новой прислуги.

* * *

Ульяна ничем не напоминала тихой, серьезной и неразговорчивой Анны. Это была тридцатилетняя румяная женщина,проворная, ловкая и любившая передавать все, слышанное ею от соседей. От резких и быстрых ее движений ходуном ходило все ее полное, здоровое, ничем не стянутое тело.

Через месяц после того, как она поступила к Ключевским, в кухне появился первый таракан. Убедившись в безмятежном нраве хозяйки, не обращавшей на него никакого внимания, а также видя возможность хорошо прокормиться в теплой, гостеприимной кухне, где всегда валялись остатки от еды, этот таракан-разведчик пригласил вскоре и других своих одноплеменников, и вскоре они дружными

стадами, степенно пошевеливая усами, стали важно гулять по кухне.

Ульяна любила печь пироги, ватрушки, шанежки и прочее тесто. Коля с интересом изучал ее, новый для него, лексикон — много в нем было таких слов, которые он слышал в перый раз. А придя в гимназию, он любил дразнить своего товарища по парте, Вову Волынского, вставляя эти вновь приобретенные слова в разговор.

— Откуда это у тебя? Разве так говорят? Это не литературно, — говорил Вова.

— Это все от нашей »всячинки«.

— Что—о—о? . . .

— От нашей Ульяны. Она у нас »всячинка«, то есть прислуга за всё.

— Мне стыдно за тебя. Взрослый юноша, через год, может быть, студент, ведет себя, как приготовишка.

— Ну, хорошо, не буду балагурить, — успокаивал окончательно рассерженного товарища Коля, — тем более, что вон и »Почта« уже бежит.

»Почтой« ученики называли своего физика, который, сам того не подозревая, ежедневно в своих ботах носил записочки от гимназистов в женскую гимназию и обратно. Он был очень близорук и очень занятой человек. Ему и в голову не приходило осматривать свои боты, когда он из одной гимназии спешил на урок в другую. Еще вытирая запотевшее пенсне, он, не теряя ни минуты, уже приступал к уроку и совсем не замечал легкого волнения в классе в связи с собиранием записок девочкам.

Но сегодня, кроме обычных записок, Черепов, представительный гимназист и большой любитель театра, собирал в классе также и подписи желающих войти с ним в компанию на покупку билета в балет.

Все это очень удобно было проделывать именно на уроке физики, потому что близорукий учитель ничего, кроме доски и опрашиваемого ученика, не видел.

Коля не очень любил театр и отказался от предложения Черепова, тем более, что в это время его сзади подтолкнул Каравайко, сказав:

— Не забудь, что сегодня ко мне.

У Каравайко гимназисты часто собирались для товарищеских бесед. Была суббота, и Коля знал, что эта беседа,

как и предыдущие, опять кончится попойкой, но зато сколько вопросов, тревожащих юношеские головы, разрешат в этот вечер они, гимназисты восьмого класса!

Темой сегодняшнего вечера должен быть вопрос о существовании Бога.

Каравайко, грузный гимназист, но с прекрасным греческим профилем, был стопроцентным малороссом. Пока он молчал, его можно было принять за иностранца, но стоило лишь раскрыть ему рот, как его малорусское происхождение густо выпирало изо всех углов и разом разрушало иллюзии, навеянные прекрасным греческим профилем. Его отец был первоклассным слесарем, очень хорошо зарабатывавшим, мать же — простой и доброй женщиной, души не чаявшей в своем Гришеньке. Она всегда снабжала его всякими пирожками, ватрушками, которые он нередко делил со своими товарищами, что были победнее. Приученные Гришей, они уже сами присаживались к нему перед завтраком, в ожидании, что к ним что-то перепадет из обильного пакета Каравайко, и редко ошибались в своих расчетах.

Гимназисты любили собираться у Гриши Каравайко не только потому, что он был добр и хорошо угощал, но и потому, что в дни товарищеских собраний его старики, по требованию сына, куда-то исчезали, и мальчики чувствовали себя по-взрослому самостоятельно в предоставленной в их полное распоряжение квартире.

Когда Коля пришел к Каравайко в этот вечер, все уже были в сборе. В небольшой столовой был накрыт стол, заставленный пирогами и всякими домашними солениями и маринадами. Также красовалось несколько бутылок с вином, купленных гимназистами в складчину.

Но для начала, как всегда, все собрались в спальне Гриши. В маленькой комнате, к тому же очень тесно заставленной вещами, казалось еще теснее от присутствия восьми человек. Вазде, где только можно было, сидели гимназисты — и на кровати, и на сундучках, и даже на письменном столе.

— Хорошо. Вот ты, Дятлов, говоришь, что все большие умы отрицали Бога. Это неправда. Возьми Достоевского, возьми Толстого.

— Это исключения.

— А может быть, правило?

Коля сидел в сторонке. Ему не хотелось говорить. Как только начался спор, он сразу почувствовал, как от волнения у него по спине прошел электрический ток.

— Да, Бог, конечно . . . Но свою, свою-то сущность тоже надо определить, — рвались у него в голове ищущие разрешения мысли: — может быть, это даже важнее, чем вопрос о Боге . . . И нужно ли довольствоваться скудной жизнью нормального человека? Средние люди, обычно, считаются или дураками или, по меньшей мере, ничтожествами. Сверхчеловеком, конечно, нелегко быть, но уж лучше быть просто ненормальным, чем как все . . . Только свихнувшиеся могут надеяться быть чем-то . . .

— Ключевский, закурите.

К Коле подошел Красницкий, широкоплечий, скуластый гимназист, с неказистыми, мелкими глазами, которые как бы наспех были сунуты в небрежно, кое-как проковыренные дырочки очень малого размера. Кроме того, дырочки эти были проковырены неровно, косо и как будто даже не на обычном месте, предназначенном для глаз — чуть дальше от носа, чем следовало бы. Это создавало впечатление какой-то непропорциональности со всем общим размером лица и всей крупной фигурой их владельца. Красницкий, когда говорил, обычно, или опускал глаза, или же неестественно таращил их, быстро вращая этими несуразными глазными бусами (назвать их глазами, все-таки, было бы несправедливо), как будто ему самому было и неудобно смотреть через такие маленькие отверстия и, пожалуй, стыдновато перед собеседником.

Красницкий подошел к Коле с папиросой в зубах и с отрытым портсигаром, доверху наполненным папиросами. Он щеголял этим портсигаром, недавно подаренным ему отцом ко дню Ангела.

— Хотите папиросу, — повторил он, до предела напрягая глаза. Коля машинально взял папиросу, боясь потерять течение своих мыслей.

— Нужно ли стремиться стать сверхчеловеком или же лучше оставаться в рамках среднего человека — вот что важно, — задумчиво проговорил он вслух, как-то нечаянно, потому что предпочитал думать про себя.

— Сверхчеловек? . . .

— Вы говорите о сверхчеловеке? — разом откликнулось несколько голосов, подхватывая интересную тему.

— Да, вот у Ницше...

Разговор сразу стал общим.

— Жизнь — до самой смерти висящий вопрос, — заметил Красницкий. — Разрешить этот вопрос человек не в силах, тем не менее, думать над ним мучительно сладко.

— Пока есть у человека желание разрешать этот вопрос, до тех пор не остывает у него и интерес к жизни, — заметил Коля.

— Да, все это верно, но счастливее ли он от того, что думает над этим денно и нощно, или же наоборот — несчастнее?

— Чтоб быть счастливым, надо творить, а все остальное — нелепость, — вскинул на Красницкого загоревшиеся глаза Коля.

— Да, творить... Конечно, в творчестве — счастье, но до тех пор, пока у вас нет ничего в руках, а как вы уже чего-то достигли, приобрели, счастье выскальзывает, счастья тогда уже нет.

— Счастье — в любви, — уверенно вставил подошедший Дятлов. — Любовь сильная, искренняя наполняет человека настоящим счастьем.

— По собственному опыту судишь? — лукаво заметил Красницкий, совсем скосив глаза на сторону. Он знал об увлечении Дятлова, так как не раз собственноручно передавал ему записочки из бот физика.

— Да, по собственному...

— Хорошо, но если ты этой любовью с уверенностью владеешь, как собственностью, ты уже перестаешь осязать свое счастье, ты к нему привыкаешь, и это уже не счастье. Оно принимается, как что-то обязательное, всегда сопутствующее. Счастьем эта любовь может быть только до тех пор, пока ты ее не заполучил, пока она у тебя не в руках еще. Счастье — в стремлении получить что-то, но не в обладании.

— Нет, Красницкий пришел к абсурду, — заметил рассудительный и скупой на слова Махов, крупный блондин, сидевший верхом на стуле: — Что же? Значит, пока ты только стремился к достижению любви, ты — счастлив, как стал обладать — несчастен, а если у тебя отнимут твою любовь или же она уйдет сама, ты что же, опять делаешься счастливым?

— Да, только тогда, когда мы что-нибудь теряем, мы чувствуем цену потерянного, — упрямо стоял на своем

Красницкий, — а вновь получив его, мы лишь на короткий миг делаемся счастливы, а потом это ощущение, из-за привычки к нему, притупляется. Вы или же совсем не замечаете его, или же начинаете думать, что все это не то, ненастоящее . . . Вы чувствуете неудовлетворенность.

— Я согласен с Красницким, — заметил Каравайко, — что счастье кончается в тот миг, когда вы приобретаете то, к чему вы стремились. Но, господа! Идемте продолжать беседу в столовую, милости прошу к столу: там моя маман чего только не наготовила!

— Веди, веди, Хохландия! Знаем, что здорово!

— Посмотрим, посмотрим и . . . отведаем.

Не дожидаясь вторичного приглашения, гимназисты дружно двинулись в столовую и стали шумно занимать места.

Но в столовой продуманная беседа сошла с рельс и уже не была тем, что в спальне. После возвышенных тем здесь, в столовой, обычно, воцарялся первобытный порядок с неприкрытым желанием лишь ублаготворить чрево. Коле нравился этот контраст, который наступал после перехода из спальни Каравайко в столовую. Гимназисты быстро опустошали тарелки и опорожняли рюмки, делались шумными и даже разнузданными и циничными.

Коля выпил всего одну рюмку коньяку. Его не тянуло напиться. Он еще не мог решить: умаляет ли вино человеческий дух, или же, наоборот, обостряет его? А не разрешив этого вопроса, предпочитал оставаться трезвым. Но зато он любил, сохраняя трезвость, погружаться в переживания пьяного мира. Это было острее. Как будто бы без наркоза ложился на операционный стол. В этом, Коля знал, была не только смелость, но и какое-то нездоровое любопытство, может быть, даже извращение. Оставаясь трезвым среди хмелеющих и грубеющих товарищей, он испытывал странное раздражающее томление, подобное тому, когда в водолазном костюме опускаешься на дно и чувствуешь на себе давление нескольких атмосфер.

— Если пить с ними — потеряешь это сладостное ощущение, — думал он, машинально беря опять папиросу, и не затягиваясь, пускал только дым. Папироса помогала ему приобщиться к обстановке. Нужно было одеть во что-то внешнее свои чувства, которые, в противном случае, слишком обнажились бы, и все увидели бы тогда, что он здесь

только простой наблюдатель. Делая вид, что курит, Коля как будто был равноправным участником веселья, прожигателем жизни ... А самому было чуть-чуть скучновато.

— Что же это, — думал он, — выходит, что я — хуже них, потому что я фальшивлю, а они правдивы в своей грубости. Они сейчас все наружу ... Я же эксплоатирую их, вылавливая какие-то острые для себя ощущения. А ведь они, пожалуй, правы, потому что жизненны. А в жизни всегда, в общем, господствует низменное, и рано ли, поздно ли — надо пережить, надо познать эти ощущения. Хорошо бы совсем свихнуться, дойти до дна и потом уж, когда дыхание перехватит, выплыть на поверхность ...

— Знаешь, Ключевский, — обратился к нему опьяневший Каравайко, — я удивляюсь, что ты дружишь с Волынским, с этим бессодержательным чистюлей. В тебе есть что-то такое ... я бы сказал, своеобразное, а он — ничтожество и, к тому же, тебя презирает ... Поверь мне: презирает! Ты, ведь, ему не посмеешь сказать в понеделник, что был у меня сегодня? А? Не посмеешь?

— Он не поймет этой обстановки, — уклончиво ответил Коля.

— Не поймет да еще и сгримасничает. Аристократ! Нет, я бы на твоем месте бросил дружить с ним.

— Да, я не дружу, а просто сидим на одной парте с третьего класса, вот и все.

— Нет! Ты ... ты такой глубокий, ты ...

Каравайко уже потерял остроту мысли и говорил плоско. Коля перестал его слушать.

— Нет, ты почитай Смайльса, Петя, почитай Смайльса »Самодеятельность«, — убеждал Красницкого худенький с громадными глазами гимназист.

— Нет, нет, Гриша, маман твоя не подгадила и на этот раз, — беря последнюю порцию заливного, говорил тем временем Дятлов, — так ей и передай: не подгадила!

— Я поднимаю бокал за никогда нами не виданную, но всегда осязаемую гришину маман, маман с твердым знаком на конце. Ура ...

Голоса в столовой все более и более повышались но возбужденные лица уже тускнели. Столовая тоже начинала терять благообразный мещанский вид. На диване, уткнувшись побледневшим, еще совсем детским, лицом в вышитую руками матери Каравайко подушку, посапывал один из самых слабых. На полу валялись осколки стекла, небрежные куски хлеба. Сам Гриша под руку выводил на

крыльцо того самого худенького, с большими глазами гимназиста, который полчаса назад особенно настаивал на Смайльсе. Теперь он утратил философский взгляд на жизнь, и ему лишь безудержно хотелось, чтобы его вырвало.

Красницкий, сидя на ручке кресла и обняв за шею бледного, с испанским профилем, гимназиста, громко хохотал, показывая на простую круглую железную лампу под потолком:

— Луна! Я тебе говорю: луна! Дурак — не верит! Луна же! Вышла из облаков . . . Это не важно, что облака табачные, а луна железная. Важна идея! Понимаешь: идея!

Далеко за полночь выходил Коля от Каравайко.

Устало бредя домой, он думал о произведенном в квартире Гриши беспорядке. Вспомнил, что, ведь, у него есть и отец и мать, но куда запрятались, где были в этот сумбурный вечер без памяти любившие своего умницу-Гришу покорные родители?

Коля шел домой, как в тумане. Как будто от долгого присутствия среди пьяных, он опьянел и сам. Вся полутемная улица казалась ему заполненной толпой каких-то существ, которые выходили из-за углов, описывали вокруг него кривую и мягко уходили в небо. Они не столько были видны, сколько чувствовались. Коля провел рукой по глазам. На момент толпа этих молчаливых, бесшумных существ исчезла. Коля вздыхал с облегчением, хотя одновременно и сожалел, что переходил в обычное состояние.

— Может быть, я с ума схожу? — хитро, даже с удовольствием, подумал он: — А, ведь, это было бы интересно.

Он нарочно стал думать о привидениях, чтобы снова вызвать у себя сверхчувствительность к окружающему его невидимому, живому миру, и опять стал чувствовать, как »что-то« собирается за его спиной и начинает крутиться вокруг.

— Нет, — с сожалением вздохнул Коля: — Это просто мое воображение.

Но все же идти ночью по полутемной улице, в сопровождении каких-то теней от чего-то было интересно, и, отдавшись им во власть, Коля, не торопясь, так и брел в каком-то искусственном полусознании.

* * *

Ульяна уже была постели, когда вернулся Коля, и пошла отворять ему дверь босая, лишь наскоро накинув поверх

сорочки нижнюю юбку. Она предупредительно побежала, было, и в комнату Коли, чтобы зажечь для него лампу, но Коля запротестовал:

— Не беспокойтесь! Я сам . . . Идите спать!

Он видел, как от ее быстрых движений колыхалось под сорочкой ее рыхлое, сонное тело, и почувствовал легкое стеснение в груди.

— Ладно, — ответила Ульяна, громко зевая и со вкусом почесывая заспанный квадратный, мягкий живот. — Тутошний барчук, что через дом живет, приволокся чуть живой, а вы — тверезый . . .

— Идите, Ульяна, — глухо повторил Коля, чувствуя, что сильный женский запах ее давно немытого тела поднимает в нем новые, еще не испытанные, чувства и что колючие мурашки раздражающе побежали по ногам.

Через комнату раздались шаркающие шаги. Ульяна быстро вильнула своим подвижным задом и звонко зашлепав по полу босыми ногами, скрылась в кухню.

Николай Петрович в ночном халате и шлепанцах вошел к Коле.

— Только что пришел? — спросил он. — Ну, как: интересно было? О чем говорили сегодня?

— О Боге . . . А в общем, обо всем понемногу, — нехотя ответил Коля, принимаясь раздеваться.

— Так, так . . . — улыбаясь своим мыслям, промямлил Николай Петрович. — Что ж! . . . Так и надо . . . Так и надо . . . Да . . . Ну, ложись! Завтра, ведь, у тебя воскресенье!

— Наверно, и у вас тоже? — неизвестно от чего раздражаясь, грубо возразил Коля.

— Да, да, конечно. Я это так: значит, поспишь подольше. Ну, спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

— Совсем стариком стал! — подумал Коля, все еще чувствуя несправедливое раздражение против Николая Петровича, как будто он чему-то помешал: — Ходит както . . . шаркая, сгорбился. Да и желтый, худой стал . . .

Но мысль не надолго остановилась на действительно стареющем отчиме. Отперев один из ящиков письменного стола, Коля с волнением вынул толстую черную тетрадь.

Полураздетый, сев на кровати, он стал записывать:

— 27 октября.

Темные силы душать меня. Чувствую власть плоти, низменные страсти заливают с головой—трудно бороться . . Да и нужно ли? Что же такое »женщина«: мадонна ли на

пьедестале или же самка для удовлетворения желания мужчины? И зачем я должен себя мучить неведением? Почему же я боюсь, не могу приобщиться к мировому закону? . . .

Коля на минуту откинулся на подушку, побродил глазами по потолку и опять продолжал:

— Пьяный мир — искренний и честный. Дно липкое, зловонное тянет своим многообразием, и только страх быть затянутым тиной, останавливает меня опуститься: любопытно, но хватит ли сил выплыть наверх?

Коля отложил дневник. Не туша лампы, он упал на постель и, забросив за голову руки, замечтался. Голова была полна впечатлений.

— Я должен написать что-нибудь большое, хорошее. Про всех »них«. Несытых, жадных . . .

Вдруг он вскочил с кровати и с загоревшимися глазами возбужденно забегал руками по письменному столу. Он нервно перебирал и перекладывал листы бумаги, тетради, книги.

— Теперь же, сейчас же начну! И называться моя вещь будет »Несытые« . . . Где же бумага? На чем писать?

Его уже заливали образы, обхватывали картины (какие? откуда? Он ничего подобного никогда не видел!) Он как бы плавал в каком-то чужом мире, как будто ему удалось перенестись на какую-то другую часть земного шара, видеть чужие жизни, познавать чьи-то страдания, чьи-то радости. Коля захлебывался от этих переживаний. Ему вдруг захотелось навзрыд зарыдать от заполнивших его чужих эмоций. Он почувствовал, что если сейчас же, сию же минуту не отдаст все это бумаге, он задохнется. Спазмы уже душили его горло, сердце рвалось из груди.

— Боже! Нет ни одной чистой тетради, — простонал он. Нетерпеливо схватил опять свой дневник, дрожащими руками открыл его где попало, на первом чистом листе, и начал писать, быстро, не заканчивая слов, едва поспевая за льющимися через край мыслями.

* * *

В воскресенье Коля встал поздно. Николай Петрович уже ушел на свою обычную воскресную прогулку.

Бледный, но с еще не остывшими глазами, Коля вышел к чаю. В столовой на столе стояли оладьи, какие-то лепешки, простые на вид, но, вероятно, как и все, что делала Ульяна, очень вкусные.

Коля с молодым аппетитом жадно накинулся на еду.

— Встали! Слава-те, Господи! — не очень приветливо встретила его Ульяна, унося на кухню самовар, чтобы раздуть его.

Не доверяя себе, Коля искоса посмотрел на нее. Но сегодня она уже не манила его своей подчеркнутой женственностью, сегодня он был спокоен, его занимало другое: покончить скорей с чаем и пересмотреть записанное ночью.

Надо было реализовать тот сумбур чувств, который он ночью пытался передать письменными знаками. Некоторые места надо было в полном смысле расшифровывать, так как от спешки он не только писал полусловами, но и просто намеками.

Но Коля был доволен,как написалось. Он чувствовал себя выросшим за эту ночь, занявшим какое-то место во вселенной. Правда, никто еще, кроме него самого, не знал написанного, а сам автор мог быть и пристрастным, но, тем не менее, его ноги сами собой отбивали веселую дробь, а руки, с длинными тонкими пальцами, шаловливо колупали хлеб и разбрасывали по столу темноватые шарики — свидетелей юношеского задора и молодой энергии.

Насвистывая себе под нос что-то неопределенное, Коля пошел в свою комнату. Удобно примостившись на кушетке, он с удовольствием принялся за отделку рассказа.

»Показать Николаю Петровичу или же прямо отнести в редакцию »Верный Путь«?« — не мог решить Коля: »Или, может быть, лучше по почте отправить?« — заговорила в нем застенчивость. »А вдруг не примут? Или лучше уж прямо отдать в гимназический журнал?«

Мысли раскидывались. А так хотелось, чтобы и Николай Петрович и все другие увидели этот рассказ напечатанным! Хотелось насладиться удивлением в их глазах, но одновременно не хватало и уверенности в себе: а вдруг плохо написано!

В комнату вошла Ульяна. С шумом поставив ведро с водой, она звонко шлепнула об пол мокрой тряпкой и объявила:

— Пол мыть буду!

— Почему же вчера не мыли? Сегодня — воскресенье, — возразил Коля.

— Аппетиту у меня вчера к работе не было, — ответила она.

Коле так не хотелось отрываться от занятий, уходить с удобной кушетки куда-нибудь к столу, за которым можно

было лишь учить уроки, но не писать по вдохновению, и он недовольно спросил:

— Я не мешаю?

— Ноги подберете, так ладно: сидите... Работать я невсегда люблю, — лениво продолжала тем временем Ульяна, нисколько не считаясь с тем, что Коля всем своим видом давал понять, что не склонен к болтовне. — Да и то надо смотреть, что делать. А я, ведь, все умею . . . Э-э-э . . . — неожиданно прервала она саму себя: — Весь керосин за ночь сжег! С каких это доходов?

Коля невольно оторвался от тетради:

— У меня бессонница была вчера, — сдержанно ответил он.

— Бессонница! — презрительно хмыкнула Ульяна, забирая спереди верхнюю юбку и подтыкивая ее за пояс, чтобы она не мешала при мытье пола. — Все говорят: бессонница, бессонница! Что это за безобразие такое, в сам деле! А ты съешь на ночь черного хлеба, как следует, наешься его, — здорово хорошо апосля спится, никакой тебе бессонницы.

Ульяне трудно было молчать, и она, конечно, не понимала, как это можно, уткнувшись в книгу, сидеть молча.

— Вот намедни тож: вода из рукомойника стала теччи...

— Теччи? — переспросил Коля, откладывая тетрадь.

— Ну да: в кухне.

Не сгибая коленей, Ульяна широкими бросками водила тряпкой по полу. Ее полные, страшно белые, голые ноги от размашистых движений открывались до самых ляжек.

Что-то мутное поползло перед глазами Коли. Ему сразу стало жарко. С силой стиснув зубы, он раскусил пополам карандаш и с сердцем бросил огрызки в мотавшийся из стороны в сторону зад Ульяны.

— А мокрой тряпкой, — хочешь? — издали погрозилась она ему, лениво повернувшись боком.

Коля ничего не сказал и лишь тяжелым взглядом продолжал следить за мелькавшими перед ним белыми, мясистыми ногами. Содержание тетради, с мукой рожденное ночью, стало отдаляться. Жизнь в своих грубых конкретных формах стала ближе, желаннее. А когда Ульяне подошло мыть у кушетки, она грубо обратилась к нему:

— Ноги подберите!

Но Коля не двинулся. Ему казалось, что, если он пошевелится, последняя тоненькая нить, связывающая тело с рассудком, порвется и тогда. . .

Ульяна размашисто ударила тряпкой по его ногам. Коли-

ны штиблеты сразу стали мокрыми. Скрипнув зубами, он грубо зацепил своей ногой ее ногу, и Ульяна, сделав неловкое движние, упала на кушетку. Туман окончательно заволок ему глаза. Не отдавая себе отчета, Коля, задрожав вс. м телом от желания, со стоном безвольно упал вперед и жадно обхватил большое женское тело и, скрежеща, зубами, прильнул губами к ее потному, раскрасневшемуся лицу, отдавая весь свой юношеский пыл, весь свой первый восторг нечистоплотной примитивной женщине.

— Изверг, — тяжело и безвольно прошептала она.

Перед Колей разверзлась бездна.

Тетрадь с неотделанным рассказом давно уже лежала нетронутой в ящике письменного стола. Также не прикасался Коля и к дневнику: он боялся каких бы то ни было свидетелей своих переживаний. Да и быть искренним с самим собой он сейчас не мог. Рассудок и совесть говорили, что поступает он плохо, но где-то на дне души радость полноты жизни скакала на одной ножке. И так, с раздвоенной душой, Коля и жил. Ему только было неловко перед Николаем Петровичем. Его он просто стал бояться. Боялся, что проницательный, с большим жизненным опытом, Николай Петрович легко заметит по лицу своего воспитанника вновь перевернутую страницу и без труда прочтет самое скрытное, самое стыдное. Приподнять же ту заслонку, которой Коля плотно прикрыл от посторонних свой внутренний мир, было жутко. Коле казалось, что тогда он предстал бы пред Николаем Петровичем нагишом.

Коля стал избегать встреч с Николаем Петровичем, старался меньше быть дома, что было очень для него непривычно, так как вообще не любил ходить по товарищам, предпочитая всему свои тихие домашние занятия у себя в комнате. Бегая же то к Красницкому, то к Махову и просиживая у них вечера, Коля чувствовал себя вдвойне фальшиво.

Уже давно были изучены все справочники для поступления в университет и разработаны все планы переезда в другой город. Больше других городов манила Москва. Она манила не только именами известных профессоров, но и широкой жизнью.

И разговорами об университете, поднимавшими новые, неосознанные стремления юношеских мечтаний, Коля пытался обмануть себя, так сказать, замаскировать высокими

интересами тот животный пламень, что обхватил его и, осклабившись широкой пастью, дерзко выглядывал из каждого его нервного, порывистого движения.

Уже давно нужно было уходить от Красницкого. Это было видно и по часам и по той вялости, с какой шел разговор, но Коля нарочно задерживался, не будучи вполне уверен, что Николай Петрович уже в постели.

— Вы на историко-филологический? — спрашивал Красницкий.

— Да . . . Николай Петрович так советует.

— Может быть, и я с вами. Конечно, и механика — заманчивая вещь, но, пожалуй, я тоже остановлюсь на университете.

Наконец, Коля поднялся домой.

А дома, завидя под дверью кабинета Николая Петровича полоску света, Коля съеживался, по-воровски прошмыгивал в свою комнату и, не зажигая лампы, чтобы не привлечь к себе обличающих шаркающих шагов, скорее бросался в кровать.

Душа его расщепливалась. Он не был уверен, хочет или нет, чтобы пришла Ульяна. Он и боялся этого и одновременно ждал ее, чувствуя, как нетерпеливо ноет его тело и глухо отбивает удары сердце. Коля не любил себя в эти минуты, но, зажимая в себе протест своего лучшего, он подчинялся власти темных сил. Зажмурившись от сомнений, которые неуверенно скреблись где-то глубоко внутри, он выявлял то, что не требовало раздумья, что выливалось само собой.

И поэтому, когда дверь его комнаты тихо приоткрывалась, и рыхлая фигура в одной сорочке шквалом надвигалась на него, он знал, что так и должно быть, что иначе, пожалуй, он и не заснул бы, а только все ждал бы и ждал. . .

* * *

Однажды только Коле показалось, что Николай Петрович столкнулся с Ульяной, когда она вышла от него. Но, может быть, это ему только почудилось из-за его мнительности, потому что никто ничего не говорил, и все шло по-старому. Впрочем, Николай Петрович за последнее время стал несколько придирчив и стал часто высказывать недовольство Колей, его занятиями, больно подчеркивая его незнание и ошибки прямо перед всем классом. Несколько раз он без предупреждения, неожиданно, вызывал его, и, как на зло, как раз в те дни, когда Коля был слаб, и каж-

дый раз, без всякого снисхождения, Николай Петрович ставил ему плохую отметку. А когда дома Коля однажды высказал по этому поводу свое недовольство, Николай Петрович с горделивым удивлением воскликнул:

— Как? Если ты — мой воспитанник, так я и потакать тебе должен? Нет, это никак не согласуется с моими принципами. Терпеть я не могу всякого кумовства! Ты же должен иметь чувство ответственности за свои поступки. Хочешь идти на историко-филологический, подумай о том, что тебя ждет, если я буду к тебе слишком снисходительным. Что ты тогда вынесешь из гимназии? Справедливость всегда восторжествует. Подумай о своей будущей карьере. Возьми себя в руки? — строго закончил он.

А потом через некоторое время, стараясь смягчить свою строгость, мягко, по-стариковски, начинал жаловаться на свою печень, которая по ночам настолько стала его беспокоить, что иногда приходится вставать и приготавливать горячие бутылки.

— Стар я становлюсь, — грустно закончил он, — сердиться стал часто. . . Да и Ульяна меня злит, — между прочим добавил он.

Коля насторожился.

— Такая она нечистоплотная! В квартире везде грязь, от самой не продохнешь — противно, когда к столу подходит. .

Казалось, что кровь со всего колиного тела хлынула ему в лицо. Но Николай Петрович, не глядя на него и не замечая его смущения, как ни в чем не бывало, продолжал методично разбираться в недостатках Ульяны, детально останавливаясь на каждой ее заношенной юбке, на каждой пропахнувшей потом и кухней кофте, которые она имела привычку бессменно носить неделями.

— Противно все это, — брезгливо закончил Николай Петрович. — Всякого интеллигентного человека должна отталкивать подобная нечистоплотность и грязь.

И к самой Ульяне тоже стал придираться. Но, может быть, действительно причиной его раздражения была больная печень, и, может быть, он . . все же ничего не знал?

Так старался успокоить себя Коля. Но Николай Петрович, чем дальше, тем становился язвительнее и придирчивее. По несколько раз в день он, бывало, делал Ульяне замечания.

— Какая пыль у нас в квартире, Ульяна! Вы, кажется, сегодня не мели? Вчера я в своем кабинете убил двух пауков. . .

— А это не дело! — развязно отвечала Ульяна, — Пауков убивать нельзя: они мух ловят.

— Ну, я предпочту муху убить сам, чем для этого держать штат пауков, — не соглашался Николай Петрович.

Но и Ульяна не сдавалась и оставалась при своем мнении. И спор о пользе пауков и бесполезности и вреде пыли продолжался часами. Николай Петрович находил, что Ульяна, и раньше не отличавшаяся уменьем держаться с господами, теперь стала слишком грубой и излишне фамильярной в обращении.

И однажды, когда Коля надолго ушел из дому и пришел лишь поздно вечером, Николай Петрович сам открыл ему дверь.

— Я рассчитал Ульяну, — небрежно сказал он: — Она мне нагрубила, я поругался с ней окончательно и . . . выгнал! Надоело мне ее терпеть. Она стала на каждое слово отвечать два, да и вообще . . . она нам не подходит.

На миг радость залила Колю. Он почувствовал легкость освобождения от того шквала, который захватил и долго трепал его утлое тело. Было также радостно и сбросить с себя ту нечестность с самим собой, которая последнее время стала с Колей неразлучна и которая, в конце концов, страшно давила его.

Но вслух Коля спокойно произнес:

— Давно надо было это сделать.

Николай Петрович ничего не ответил. И поняв друг друга, они молча разошлись в разные стороны по своим комнатам.

* * *

По совету Николая Петровича под своим рассказом Коля подписался: »Николай Ведрожицкий«, той фамилией, которая, если Корнелия говорила правду, на самом деле принадлежала ему. Но так как никто этой фамилии не знал, то для Коли она была в данном случае псевдонимом.

Показать рассказ Николаю Петровичу Коля, в конце концов, решился потому только, что он мог дать бесстрастную и добросовестную критику и сказать, действительно ли годится это куда-нибудь или нет. Посоветовав послать рассказ по почте, а не ходить лично, Николай Петрович сказал:

— Если сам придешь, не поверят, что ты писал — слишком молод, а рассказ написан зрело.

И потом добавил:

— Пиши, пиши, Николенька! Из тебя может кое-что и получиться.

Коля от радости чуть не бросился его целовать за такие хорошие слова: тут тебе и редкое ласковое »Николенька«, которое Николай Петрович употреблял только в самых редких случаях (Коля тогда знал, что Николай Петрович им действительно доволен), да и брошенная надежда на что-то в будущем тоже была сладостна. В устах строгого и опытного словесника это не звучало простым комплиментом, и Коля сразу почувствовал себя увереннее.

А когда рассказ был напечатан в очередном номере »Верного Пути«, небольшого еженедельного местного журнала, Коля отчетливо почувствовал, что значит быть счастливым. Оказывается, это было очень приятное состояние. Коле даже захотелось смеяться, хотя раньше он, бывало, небрежно поговаривал, что не понимает, зачем люди смеются, и разве можно вообще найти что-нибудь смешное на нашей планете. Остро ощутив свою молодость, здоровье, он также был счастлив сознавать, что может истратить полученные деньги на что-нибудь несущественное. Поэтому, получив гонорар, Коля даже перестал мечтать о сумасшествии и бродяжничестве, как о самом сладостном на свете, а просто пошел и купил себе хороший портфель, несколько книг по литературе и сходил с Николаем Петровичем в театр.

С этих пор Коля почувствовал себя равным Николаю Петровичу. »Стыдная« страница его жизни стерлась сама собой, ее как будто и не было, и Коля даже не вспоминал о ней. Теперь ему не нужно было опускать перед ним глаз, наоборот, он возвысился в своих собственных, как-то выпрямился, походка его стала увереннее, он почувствовал себя птицей, которая, расправив крылья, вот вот снимется с места и устремится вперед, навстречу солнцу, синеве неба. . .

Это желание полета в беспредельность скоро определилось в совершенно конкретное желание ехать в Москву. Желание это настойчиво и цепко обхватило его, и освободиться от него было так же трудно, как и от объятий лобстера. Пореченск стал сразу и вдруг противен своим провинциализмом. Здесь и людей-то настоящих не было, не было и настоящих, зажигающих идей. Москва, только Москва могла дать полное счастье! Только там начнется настоящая жизнь, настоящее, серьезное творчество. Коля уже видел себя крупным писателем в ореоле славы. И, ко-

нечно, не здесь, в захолустном Пореченске, мог он достигнуть всего этого. Здесь можно было лишь кое-как влачить пустое, серенькое существование. Но лучше уж пустить себе пулю в лоб, чем сознательно идти к этому. И надо тоже было, в конце концов, выяснить свою личность. Это был вопрос принципиальный, и откладывать его было немыслимо. Поэтому надо было все бросать сейчас же и ехать теперь же, хотя бы сегодня, или, в крайнем случае, — завтра.

Когда Коля объявил об этом Николаю Петровичу, то последний, несмотря на всю свою выдержанность, даже потерял дар речи на несколько минут. А собравшись с мыслями, он, как можно спокойнее, спросил:

— А как же аттестат? Что ты без него будешь делать в университете?

— Неужели же человек может ставить себя в зависимость от какой-то бумажонки?—возмутился Коля:—Человек — властелин вселенной, и вдруг ограничивает себя такими условностями. Это — рабство! — горячился Коля. — Неужели аттестат много прибавит к моим знаниям? Я чувствую себя безобразно скверно от сознания, что должен дотягивать до конца года только для того, чтобы получить какое-то письменнное, за подписью нескольких свидетелей, заверение своим знаниям. Я уже взял от гимназии все, что она могла мне дать, и хочу порвать с ней именно до конца года, чтобы испытать себя, свои способности. С аттестатом и риска никакого нет, а я хочу доказать самому себе, что я — человек, а не ничтожная вошь!

Николай Петрович не прерывал Колю, пока тот сам не остановился, а потом, нервно пощипав усы, сказал:

— Я очень хорошо понимаю тебя и твои сложные переживания, но . . . мы живем среди людей и должны, к сожалению, подчиняться их законам. Это, конечно, не так легко, как жить в беззаконии, но. . . Видишь ли, людей тоже нельзя обвинять в том, что они себя ограничили всякими »условностями«, как ты говоришь, т. е. аттестатами, паспортами и проч. Они же, ведь, не могут знать по твоей физиономии, кто ты и что ты, и должны как-то себя обезопасить.

— Неужели же аттестат придаст мне какой-то благонадежный вид? — перебил Коля. . .

— Нет, не то . . . но он включит тебя в определенную категорию людей, которым открываются определенные возможности, даются определенные права. И это нисколько

не унижает человека. Встань на точку зрения ректора университета: он хоть приблизительно должен знать твой культурный уровень. Это естественно. Это освобождает от лишних испытаний. Да, наконец, это просто удобнее. тебя же это никак не должно унижать. Будь немножко снисходителен, снизойди к человеку, старайся понять его. Вот ты готовишься стать писателем, а сам человеческой психологии не знаешь! Кроме того, — другим тоном добавил Николай Петрович, — пока я жив, я хочу дать тебе все, что могу, и прошу тебя делать так, как я нахожу лучше. А в данном случае я считаю, что ты должен закончить гимназию. Ты извини: это мое определенное решение.

После этого философствовать о человеческом достоинстве уже было не к месту, и Коля замолчал.

Но гимназия вдруг стала сразу ему невыносима. С лицом, перекошенным от презрения, засовывал он по утрам за борт пальто учебники и шел в гимназию подавленный, мрачный. Согласившись на получение аттестата, Коля чувствовал, что пошел на какую-то сделку с совестью, и возненавидел и свою гимназическую форму и даже само здание, в которое ходил в течение 11 лет.

Всего лишь несколько дней прошло с тех пор, как он был беспредельно счастлив в связи с напечатанием своего рассказа, и вдруг все так изменилось! Теперь Коля был настолько же несчастен. Он даже не был в силах оставаться в классе с товарищами во время перемен: его давила и угнетала общая их жизнерадостность, а ему нужно было страдание... И как только кончался урок, он уходил в какой-нибудь пустой класс и там в одиночестве и тишине предавался своим размышлениям. Он думал, конечно, об университете, об этом храме науки, иначе Коля его себе и не представлял.

В эти дни Коля много писал, и купленный им на первый гонорар портфель значительно полнел от материала. Но писал он, главным образом, только о себе, о своих переживаниях. И все это до болезненности было настолько личного характера и настолько разбросанно, отрывочно, что совсем не годилось для печати. Коля сознавал это и чувствовал себя еще более несчастным.

Вперемежку с откровенной исповедью, он целые страницы исписывал заветным словом »студент«. Буквы расписывались всевозможными стилями и разрисовывались виньетками. В конце концов, каждая из этих букв стала Коле такой близкой, такой родной, что при одном лишь воспо-

минании об их сочетании он начинал испытывать сладчайшее чувство, как будто только что наелся варенья из лепестков роз.

Боясь расплескать в себе это ценное чувство, Коля ни с кем им не делился. С Красницким, который уже окончательно решил поступать в московский университет, Коля говорил о дорожных расходах, о найме комнаты и проч.

Но и обсуждение чисто практических вопросов, относящихся к Москве, сближало этих двух молодых людей. И чем ближе становился Коля к Красницкому, тем дальше он отходил от Вовы Волынского, который после гимназии собирался пойти в училище правоведения.

В свободные минуты Вова с увлечением рассказывал Коле о красоте формы правоведа и о преимуществах этого училища перед университетом.

— Зеленый, знаешь ли, мундир, шитый золотом, шпага. . Красивее ничего не может быть! Самая красивая форма! Кроме того, правоведы хранят свои многолетние традиции и имеют свои особые, только этому училищу присущие, правила. Все это, конечно, стоит денег, и всякая безденежная мелкота туда не суется, поэтому в этом училище обычно группируется исключительно привилегированное общество. . . А по окончании училища я предполагаю пойти по министерству иностранных дел, — говорил Вова, и его карие глаза, наполненные сознанием ответственности и перед семьей и перед родиной, делались еще красивее.

Наслышавшись всего этого, Коля начинал испытывать обиду за свой возлюбленный университет. Вместо дороги в бесконечное »Знание« с большой буквы, вместо широкого подхода к независимой и свободной профессии, он начинал ощущать узкий, тесный воротник мундира, его уже давили холодные каменные стены, строгий режим, формалистика, а затем чиновничье угодничество, чины, ордена, — все, перед чем так преклонялся Вова. От всего этого во рту ощущался вкус меди. Жизнь начинала казаться пресной говядиной. . .

Нервно вскочив в середине разговора, Коля чувствовал необходимость пробежаться по длинному гимназическому коридору. А пробежавшись, он снова ощущал вкус к жизни. К нему возвращалось прежнее боготворение к университету и снова хотелось ехать в Москву.

Вова очень скоро понял настроение Коли и перестал говорить и об университете и об училище правоведения. Он

с презрением, причислил Колю к категории »всех остальных« и . . . поставил точку.

Коля же с ущемленным самолюбием понял, что Вова хочет стоять в жизни особо, очертив вокруг себя круг, чтобы, Боже сохрани, не смешаться с толпой, пахнущей потом и ваксой. Не будучи и раньше особенно большими друзьями, они больше, чем когда-либо, почувствовали разность своих натур.

* * *

Был сторожкий зимний день.

Холод не очень чувствовался, и хотелось опустить воротник, оставить дома надоевший башлык. Но мороз как будто только и подстерегал таких доверчивых прохожих и, глядишь, ехидно подмораживал какому-нибудь такому простачку или нос или ухо. Но делал это мороз исподтишка, как-то несерьезно, потому что уже не был уверен в своей власти: до него уже дошли слухи, что где-то близко скрывается сама весна.

Не удивительно поэтому, что урок алгебры в восьмом классе проходил очень вяло. Это был последний урок, и ученики уже утомились, их внимание притупилось, как устают и тупятся жернова, без отдыха перемалывающие зерно. А тут еще, ко всему, и дыхание весны!

Юноши обмякли, их охватило бессознательное томление по нераскрывшимся почкам, по зеленой молодой травке, которую еще ревниво прятал под собой снег, тоже уже уставший за зиму и старчески потемневший.

От скуки мальчики начали озорничать и засовывать учителю в задний карман мундира шутливые экспромты. Математик имел привычку во время урока безостановочно ходить взад и вперед между партами, и мальчики получали большое удовольствие от риска тащить записочки из его кармана. Учитель же, сосредоточившись на опрашиваемом ученике, ничего не замечал и только не мог понять, почему у всех такие веселые лица.

Даже Вова Вольнский — и тот сегодня не был внимателен. Но у него для этого была еще и своя причина. Сегодня был день рождения его матери, и он сговорился с сестрой после уроков вместе поехать за тортом. Он то и дело поглядывал в окно: не стоит ли уже их экипаж.

Наконец, общее томление кончилось. Звонок в передней официально объявил об этом. Гимназисты восьмого класса

так же радуются этому сигналу, как и приготовишки. Как на пружинах вскочили все и, хватая уже заранее связанные ремешки с книгами, бросились в переднюю.

— Приехала! — радостно крикнул Волынский, подбегая к окну.

— Кто? Где?

Некоторые из любопытных подбежали к окну.

— А, это — его сестра. Я ее встречал, хотя и не знаком.

— А я даже с ней разговаривал! Красавица!

Коля вместе с другими тоже подошел к окну. Там в щегольском экипаже сидела очаровательная девушка в белом капоре и с белой муфтой. Водя пальчиком в белой перчатке, она отсчитывала одно окно за другим, чтобы отыскать класс брата, а отсчитав и увидев в окне не только брата, а и еще несколько молодых, задорных лиц, с любопытством ее рассматривающих, она улыбнулась.

Коля встретился с ее глазами, и ему показалось, что это она ему улыбнулась. От этой улыбки сразу стало светлее в комнате. Плотно стянутое облаками зимнее небо размякло от этой очаровательной улыбки, и притаившееся за ними солнце, воспользовавшись моментом, приоткрыло облачко и с любопытством взглянуло на чудную блондинку с громадными русалочьими глазами.

Слегка приоткрыв рот, девушка что-то сказала и закивала головкой. Коле опять показалось, что это она ему кивает, и, совсем прилипнув к окну, он тоже улыбнулся ей в ответ.

— Чудо, как хороша!

— Мне больше всего, нравятся ее длинные косы — красота! — говорили вокруг гимназисты.

Коля и раньше слышал о красоте сестры Волынского — об этом часто говорили гимназисты, но никогда его мысль не останавливалась на этом. Теперь же, увидев ее так близко, он, как прикованный, не мог отвести глаз и даже не заметил, как остался один в классе. Опомнившись, он стремительно бросился вниз, находу застегивая пальто. И когда выбежал на улицу, Вова только что успел сесть в экипаж рядом с сестрой и запахивал меховую полость.

Еле переводя дыхание, и от бега и от волнения, Коля остановился.

— А-а, Коля! Познакомься: моя сестра — Галина, — холодно сказал Вова: — мы ее дома зовем Гальшкой, как у Сенкевича.

Коля не помнил, как пожал руку девушки. Он только слышал ее голос, такой же неземной, как и вся она сама:

— Очень приятно, — банально проговорила она, но Коле показалось, что он услышал что-то совсем необычное. Может быть, ему так показалось потому, что она при этих словах, опять улыбнулась своими лучистыми, в длинных ресницах, глазами.

— В кондитерскую, — скомандовал Вова кучеру, но видя, что Коля не трогается с места, вежливо предложил: — Хочешь, довезем?

— Нет, нет! — даже испугался Коля возможности сесть рядом с этой чудесной девушкой и, быстро бросив: »до свидания«, заставил себя сдвинуться.

Лошадь разом взяла с места. Через минуту экипажа уже не было видно.

* * *

Как в тумане, возвращался Коля домой. Пред его глазами все стояла красавица — Гальшка Волынская. Белый капор, лучистые глаза, классический улыбающийся рот, белокурые косы — все это безостановочно плыло перед ним, как в испорченном волшебном фонаре, когда одна и та же пластинка показывается то справа, то слева — и так все время. Он видел, как Гальшка изящно машет ему ручкой в белой перчатке и кокетливо прикрывается муфтой. И от этого Коле делалось так радостно, что он начинал мелко, нервно смеяться. Но сейчас же, застыдясь своего неизъяснимого блаженства, он бросался на кровать и, зарывшись в подушку, старался заглушить ею свое счастье.

— Гальшка! Галина! Гуля! Гулинька! — шептал он умиленно: — какое имя! Боже! Прекрасное, звучное и в то же время легкое и нежное.

Потом подходил к окну и определял, в каком направлении она живет и что сейчас может делать.

»Вот сколько лет я уже знаю Вову и только сегодня, в первый раз увидел ее«, — думал Коля: »Как же дальше? Неужели я больше никогда ее не увижу!«

Колино сердце захолонуло от ужаса.

»Вова никогда не звал к себе, — продолжал думать Коля, — и никогда, наверно, и не позовет . . . А потом он уедет в Петербург, я в Москву« . . .

И в первый раз за все время планирования поездки в Москву Коля подумал об этом соблазнительном городе не

только без волнения, а, наоборот, с небольшой долей горечи.

»Я должен ее увидеть! Должен услышать ее чарующий голос! Хотя бы еще раз! Только раз« . . .

При воспоминаннии об ее голосе Коля опять тихо, про себя, засмеялся.

— Ч то ты делаешь в темноте? — раздалось в дверях. Коля и не слышал, как вошел Николай Петрович. — Зажги лампу!

— Ах, я забыл! Лампу? Да, да . . . сейчас . . . я . . . — виновато забормотал Коля, бросаясь, к лампе и зачем-то хватая первый попавшийся под руку учебник.

— Заниматься собираешься? — спросил Николай Петрович: — Что это у тебя? История? Да, ведь, завтра у тебя нет истории!

— Да, нет . . . это я так. Я . . .

— Ты вот что, молодчик: бери-ка геометрию да и посвяти ей сегодняшний вечер, она у тебя слабее всего.

— Я не понимаю этой дурацкой теоремы, которую объяснял вчера Федор Иванович, — раздраженно ответил Коля.

— Давай вместе постараемся в ней разобраться, — охотно предложил Николай Петрович, удобно располагаясь у стола.

Коля разом представил себе тусклый конец сегодняшнего, такого светлого, дня.

— Нет, нет! — невольно вырвалось у него. И вдруг с радостью блеснувшей идеи он воскликнул: — я лучше эватра попрошу Волынского: он мне поможет.

— Волынский? Он никогда тебе не помогал. Ты лучше бы обратился к Красницкому: он приличный математик.

— Нет, нет — Волынский, — стоял на своем Коля. — Я, может быть, даже схожу к нему на дом . . .

— К Волынскому? — снова удивился Николай Петрович: — Такая чопорная семья . . . Впрочем, как хочешь.

* * *

На следующий день Коля применил всю свою хитрость, чтобы достигнуть цели видеть Гальшку.

Прежде всего, он, в противовес всем другим гимназистам, видевшим вчера ее, ни словом не обмолвился о ней и только остро прислушивался, как все наперебой хвастались кто своим знакомством с Гальшкой, кто просто случайно брошенной ею фразой, улыбкой и т. д.

Вове Вольнскому все эти разговоры страшно надоели и, в конце концов, он с досадой воскликнул:

— Как вы все глупо себя ведете! Какие вы все дикари! Как будто никогда в жизни не видели хорошенькой блондинки.

Колю ножом резнуло презрительное »хорошенькая блондинка«. Это определение, так не подходило к Гальшке и так не вязалось со всем ее обликом. Ему даже стало больно за сестру Вовы: зачем он так вульгарно отозвался? Но внешне он никак не выказал своих чувств и, делая вид, что эта тема его ничуть не интересует, начал разговор о геометрии, этой противной, сухой материи, которая никак не дается.

Но начал он этот разговор тоже политично: перед самым последним уроком.

— Если б ты мне о твоем затруднении сказал раньше, я бы смог все объяснить в перемене, а теперь — когда же? — ответил Вова на колину жалобу.

— Ничего решительно не могу понять в этой чертовской теореме, — продолжал Коля. — И зачем все это учить? Помоему, математиков надо было бы просто убивать, потому что они все жизни приводят к уравнению и одному знаменателю . . . А завтра Федор Иваныч почти наверное меня вызовет, — печально закончил он.

— К сожалению . . . — начал, было, Вова, но Коля его перебил:

— Знаешь, я после обеда могу на полчасика зайти к тебе . . .

И сказав это, Коля даже похолодел от своего же нахальства. Вову это напрашивание в гости тоже, видимо, сначала удивило, он вскинул на Колю непонимающие глаза, но тотчас же решив, что от таких господ хорошего тона ожидать вообще нельзя, неожиданно мягко сказал:

— Что ж, пожалуй, зайди . . .

Коля почувствовал, как сильно забилось сердце от этих слов, но, стараясь не выдать волнения, он принял самый непринужденный вид и только под партой крепко обхватил руками дрожащие колени.

* * *

Через прихожую по широкой лестнице, покрытой красным ковром, горничная провела Колю на второй этаж. Поднимаясь по лестнице, Коля слышал наверху игру на рояли и пение. Высокий женский голос легко исполнял

какой-то незнакомый романс. Прислушиваясь к пению, Коля машинально дал горничной снять с себя пальто. Узнав, что Коля пришел к Вове, горничная сказала:

— Владимир Александрович скоро вернутся, — и любезно предложила пройти в гостиную.

В это время пение прекратилось.

»Она или не она пела?« — думал Коля, засматривая в открытую перед ним гостиную и одновременно останавливаясь мыслью на неожиданном для него официальном »Владимире Александровиче«.

»Как важно: Владимир Александрович! Хм« ...

Мельком освидетельствовав себя в зеркале, он вдруг увидел на подзеркальнике две белые перчатки. Те самые перчатки, которые махали ему вчера из экипажа. Сейчас они были безжизненны и небрежно лежали одна на другой ладошками кверху со смешно оттопыренными пальцами.

Коля взял одну из них и прижал к лицу. Мягкая, вязаная, она едва уловимо пахла чем-то девичьим. Коля стал жадно вдыхать этот тонкий запах, одновременно чувствуя себя провинившимся, потому что незаконно вторгался во что-то интимное, принадлежащее замечательной светлой девушке. У него закружилась голова, и он едва успел отдернуть от лица руки и сунуть перчатку в карман брюк, когда в дверях появилась Гальшка.

Она была еще милее сегодня в строгом гимназическом платье, с легкой рюшью вокруг высокого воротника и черным передником. Это была среднего роста стройная девушка. Хотя Коля и знал, что она на год младше брата, на вид ей можно было дать все 20 лет.

Остановившись своими чудными серо-зелеными глазами на Коле, она сказала:

— Вова через 10 минут придет. Хотите пройти в его комнату?

— Да, — хрипло прошептал Коля и, досадуя на свой незвучный голос, стал неловко откашливаться, идя за Гальшкой.

Теперь Коля видел ее пышные косы во всей их красоте. Чуть пепельного цвета, они тяжело опускались ниже тонкой талии, подчеркивая точенность фигурки.

Коля чувствовал себя страшно глупо с засунутой в карман перчаткой. От сознания, что »она«, беленькая, с безжизненно оттопыренными пальчиками, лежит у него тут, совсем близко, он потерял дар речи. Ему очень хотелось спросить Гальшку, не она ли это пела, но вместо этого толь-

ко все время поглядывал, не слишком ли оттопыривается карман. И когда Гальшка ввела его в комнату Вовы и предложила располагаться поудобнее до его прихода, то на все это он лишь смог выдавить из себя какие-то нечленораздельные междометия.

А когда остался один, то стал страшно досадовать:

»Ведь, я мог же, в конце концов, о чем-нибудь спросить ее, сказать хоть два слова, наконец . . . Что она обо мне подумала? Уж, конечно, что-нибудь не очень лестное.«

Но, нащупав в кармане мягонькую перчатку, он радостно улыбнулся.

»Надо будет при уходе незаметно положить ее обратно на подзеркальник«, — подумал он, рассматривая корешки книг в шкафу из красного дерева. Остальная мебель этой комнаты тоже вся была из красного дерева. Это была хорошо обставленная комната, причем в ней было все, что только желал бы иметь молодой человек. На столе Коля увидел всевозможные учебные пособия, о которых только слышал в гимназии.

»Не мудрено, что Вова всегда все знает, ведь, фактически, он учит больше, чем того с нас требуют«, — подумал Коля: — Но, может быть, так и нужно . . . Впрочем, нет: Вова, ведь, это делает не для знания, как такового, а только для того, чтобы выдвинуться в классе, быть первым, лучше всех« . . .

Действительно, не прошло и 10 минут, как пришел Вова.

— Я никак не предпогагал заставлять тебя ждать, — извинялся он: — Мы, ведь, условились, что ты придешь ровно в пять.

— Да, пожалуй, мои часы чуть-чуть впереди, — пробормотал Коля.

Вова оказался очень хорошим инструктором и толково все объяснял. Но, несмотря на это, Коля совсем ничего не мог усвоить. Все его внимание было сосредоточено на звуках за дверью. Он прислушивался к шагам и все ждал, не раздастся ли опять пение.

— Твоя сестра поет? — вдруг, совсем некстати, спросил он в тот самый момент, когда Вова почти уже приходил к доказательству теоремы.

— Да, поет. Ты рассеян, — недовольно заметил Вова. Коля покраснел и сделал над собой усилие, чтобы сосредоточиться на теореме.

Он, действительно, стал уже что-то понимать во всей этой сложной махинации, как вдруг дверь приоткрылась,

и Гальшка, просунув голову, вкрадчиво, как-то по-детски, прощебетала:

— Мамочка спрашивает, будете ли вы пить чай в столовой или велеть вам его сюда принести?

— Вели принести сюда, — распорядился Вова, а Коля прямо чуть не подпрыгнул от досады: с какой стати так неудобно пить чай здесь, среди книг, когда можно было бы . . .

Впрочем, Коля был вознагражден предложением Вовы как нибудь еще встретиться для совместных занятий.

— Если, конечно, ты этого захотел бы, — добавил Вова.

Коля, конечно, захотел:

— С одного раза немного постигнешь . . .

И стал прикидывать в уме, когда можно было бы придти — так, чтобы было бы и поскорее и, вместе с тем, было бы и вполне прилично.

Он был приятно удивлен, что Вове нравилась роль ментора. Роль свою он выполнял подчеркнуто важно, и этой его слабостью Коля решил воспользоваться для своих целей.

*

Коля так и пришел домой с Гальшкиной перчаткой в кармане. Вова провожал его до самой передней, и сунуть злосчастную перчатку обратно на место совершенно не было никакой возможности.

Так и осталась она жить с Колей. Коля был счастлив, ложась спать, класть ее себе под подушку. Он уже всю ее вынюхал и исцеловал, и она уже больше не носила первоначального нежного запаха. Но Коля так хорошо помнил его, что даже не замечал его исчезновения.

Он еще несколько раз ходил к Волынским, был представлен самой Евгении Павловне, тонной, красивой, пожилой даме, уже несколько раз пил чай в столовой, говорил с Гальшкой, слушал ее пение.

Гальшка все больше очаровывала его. Хотя Вова в шутку называл ее эмансипированной женщиной, но, на самом деле, в ней решительно ничего не было от »синего чулка«. Она была просто очень любознательной и стремилась знать все, что подпадало под ее внимание. Но эта нормальная для молодой девушки черта с необычайной грациозностью переплеталась с наивностью, естественной для девушки, жи-

вущей замкнуто в своем кругу. Гальшка часто говорила, что они живут слишком обособленно, а ей так хотелось бы вылезти из этого привилегированного круга, познакомиться с новыми людьми, узнать другую жизнь. Возможно, что по этой причине она с удовольствием проводила время с Колей: он был для нее »немножко не такой, как все«, был свежей струей в их застоявшемся, красиво отделанном, пруду.

Воспользовавшись случайным разговором, Коля как-то принес Гальшке »Крейцерову сонату«.

— У нас в доме таких книг нет, — таинственным шопотом проронила она, обволакивая Колю своим русалочьим взглядом.

— Почему же вы в библиотеке не возьмете?

В библиотеке ... Видите ли, может быть, вам это покажется смешным: у нас не принято брать книги из библиотек. Они для публики, а мы обычно покупаем книги, которые нас интересуют.

— Да, я видел у вас много хороших книг, но нет ничего современного. Вы стоите далеко от жизни.

— Пожалуйста, приносите мне книги по вашему усмотрению, — просила Гальшка.

И так у них завязались секретные передачи так называемых »запрещенных« книг. Коле удалось уговорить Гальшку сообщать о прочитанных книгах через боты физика. Хотя этот способ сначала и показался ей немножко неприличным, но его остроумность одержала верх, и она согласилась.

Конечно, экспансивность и живое воображение несли Колю впереди событий. Он придавал отношениям с Гальшкой гораздо больше значения, чем они того заслуживали, и в пылких мечтах строил планы на будущее которое он уже не разделял от Гальшки. Она была уже в последнем классе гимназии, и он мечтал, как они вместе поедут в Москву, он поступит в университет, она — в музыкальную школу. Он даже разработал подробности их поездки и жизни в Москве. Он писал обо всем этом длинные письма, которые из-за застенчивости никогда не отправлял. Все, что он когда-либо думал о Гальшке, все, что вообще приходило ему в голову, днем ли, ночью ли, — он тотчас же заносил на бумагу. Иногда какой-нибудь недоконченный разговор или просто случайно оброненная Гальшкой фраза потом оформлялись в кипу исписанных страниц.

Действительность и мечты так тесно переплелись у него, что иногда, случалось, в разговоре с Гальшкой он делал ошибки.

— Как вы все путаете, — поправляла его Гальшка, — я этого не говорила.

— Да, да, верно, — спохватывался Коля, — но вы, ведь, могли бы это сказать.

Гальшка смеялась.

— У вас оригинально скачут мысли. Вы не пишете фельетонов? По-моему, все фельетонисты — немного чудаки.

Вот тебе и раз! После этого Коля, конечно, не стал бы говорить, что вообще пишет и что даже один его рассказ был напечатан.

Застенчивость и неуменье раскрывать свой интимный мир делали Колю плохим собеседником. И только придя домой и оставшись один на один с самим с собой, он начинал испытывать необычайно сильное желание высказаться. Прилив мыслей был настолько сильный, что иногда он даже не успевал приготовить все на столе для писания, не успевал сесть, как под напором ярких мыслей начинал вслух разговаривать сам с собой.

Гальшка, конечно, и не подозревала, как вдохновляла его на литературную работу. Она лишь видела в Коле скромного, хотя немножко и хмурого, но не лишенного оригинальности, молодого человека — и была любезна с ним. Коля замечал, что она и с другими так же была мила, и видел, что ее внимание к нему было простой благовоспитанностью, уменьем быть светски приятной со всеми. И напрасно он искал в ее очаровательной улыбке следов какого-нибудь чувства.

»Она так же холодна, как и ее брат«, — с грустью замечал он: »Но у нее ее бесчувственная благовоспитанность при всей ее грации и изществе делает ее очень обаятельной« . . .

Прелесть ее обаяния еще увеличивалась тем, что она сама, казалось, даже и не знала об этом: она чаровала нечаянно, чем-то, что натурально излучалось из нее.

Коля чувствовал, как все сильнее и сильнее подпадал под это обаяние. И давно уже перестал скрывать от себя, что влюблен по уши. Но она! Она, ведь, ничего не знала об его чувстве. И однажды Коля решил, что должен ей признаться, раскрыть свою восторженную любовь. Отдаленно он наивно мечтал, что, несмотря на ее холодность, своим признанием он разбудит в ней дремлющий интерес к жиз-

ни. Но как подойти к этой девственной целине, не нарушив мечтаний ее особого мира?

* * *

Надвигались выпускные экзамены.

Гимназисты группами собирались для повторения пройденного курса и сообща готовились к большому событию в своей жизни.

Коля давно не был у Волынских. Вова видел в экзаменах священнодейство и прекратил всякое сношение с внешним миром. Он надеялся кончить с отличием, а для этого надо было потрудиться.

Гальшка тоже готовилась к экзаменам и, хотя занималась не так усердно, но из солидарности к брату тоже отказалась от приемов.

Коля давно уже не получал от нее записочек с извещением о прочитанной книге. Прекрасно налаженная, было, система передач этих записочек через »физические боты« неожиданно оборвалась как раз незадолго до экзаменов. Случилось это после того, как однажды физик, непринужденно подойдя к Дятлову и поговорив с ним на классные темы, вдруг перешел на совершенно личные и показал такие богатые познания из его интимной жизни, что молодой человек был до невозможности смущен. Было ясно, что физик в течение долгого времени регулярно читал корреспонденцию, так простодушно доверявшуюся его ботам. Вот и надейся после этого на близорукость!

Не получая от Гальшки записочек и не видя ее, Коля чувствовал, как обеднел мир, каким хмуро-повседневным и тусклым он стал. Его чувство к Гальшке уже было так огромно, что лилось через край, и он готов был на самый дикий и глупый поступок, чтобы только увидеть ее. Он уже исписал стопы бумаги. Он писал ей и о ней самой, и об ее будущей музыкальной карьере, и о том, как он, Коля, вырвет ее из затягивающей светской тины и выведет на светлую, широкую дорогу, дорогу к знанию и служению человечеству. Писал о Москве, о будущей совместной работе и . . . о любви, большой и замечательной, от которой жить светлее и которая дает смысл всей жизни. И хотя он знал, что это письмо, как и все предыдущие, поглотит кожаный портфель, уже изрядно разбухший от горячих любовных писем, но не писать не мог — письма давали выход его первому, юношескому чувству.

А бедная девушка, совсем не подозревая, что вызвала такое серьезное чувство, скромно сидела у себя дома и слегка почитывала что-нибудь из курса: у нее была прекрасная память, и она никогда ничего не зубрила. Потом откладывала учебник, подходила к роялю и пела; заглядывала в комнату Вовы — все сидит и сидит. А потом приходила портниха, и Гальшка примеряла платье к выпускному балу, обсуждая с мамочкой детали фасона. Вообще, жизнь текла мирно, монотонно и, пожалуй, пустовато. И конечно, ей в голову не приходило, что Коля в это время бегал по комнате и, заламывая руки, взывал к ней:

— Гальшка! Галя! Гулинька! Пойми, что больше нет сил, что люблю тебя без меры! Что же мне делать? Что? . . .

А потом бросался к столу и писал:

»Поймите, что счастие целиком в наших руках. Мы владеем величайшей в мире ценностью — настоящим! Сейчас я хочу, чтобы вы забыли обо всем, что я писал о нашем с вами будущем. Не будем так далеко заглядывать. Давайте поговорим о настоящем. Я решил, что на будущее не имею еще права, и хочу лишь использовать настоящее, которое приходится крепко держать в кулаке, иначе оно, верткое, порывистое, того и гляди, выскользнет. Настоящее страшно спешит ускользнуть в прошлое или убежать в будущее. Но оно лучше и честнее и того, и другого, — оно ничего не скрывает: что есть, то и есть, — оно все на ладони. И кроме того, преимущество настоящего в том, что оно в нашей власти. Если у вас есть уверенность в том, что путь, по которому вы идете, ложный, — взяли и свернули в сторону. Настоящее очень податливо. Прошедшее же всегда с подлинкой: все ошибки прошлого выявляются слишком поздно, когда уже исчезает всякая возможность что-либо исправить. Что бы вы ни делали в настоящем, вы всегда уверены в себе, а то, что это может быть ошибкой, вы узнаете лишь в будущем. Ваши отношения с настоящим, обычно, бывают просты и дружественны. Вы доверяете ему, потому что знаете, что в вашей власти использовать все его данные. И только когда оно ускользает в прошлое, вы узнаете свои промахи. Вы начинаете сожалеть о том, чего уже нельзя вернуть или исправить, и иногда вам делается стыдно за свое прошлое. Подлость есть какая-то у прошлого и неискренность у будущего! Настоящее одно лишь порядочно и честно.

Живите настоящим, Гальшка! Я хочу петь гимн »сегодню« и »сему часу«.

Где и когда я вас увижу? . . .

. . . Вы отравили меня. Но, вкушая этот сладостный, яд, я все же счастлив, так как от этого яда я получил прозрение, увидел новое в жизни. Я готов принимать еще этот яд из ваших изящных рук, и, отравляясь, я все буду воспевать вас, пока не упаду замертво к вашим милым ногам. Но только прежде, чем умереть, я все же хотел бы коснуться губами подола вашего платья . . .

Моя Королева! Божество мое!«

* * *

Николай Петрович зорко следил за занятиями: он все боялся со стороны Коли какой-нибудь выходки. Но Коля как-то обмяк за последнее время и просто отдался событиям. Он легко подчинялся всем требованиям, которые предъявлял Николай Петрович, ставший на время экзаменов просто его репетитором.

Дни уходили на занятия, а ночи, бессонные ночи, — целиком на думы о Гальшке. Коля похудел, потускнел, стал прямо неузнаваем.

— Экзамены кончатся, — говорил Николай Петрович, — тебе надо будет поехать отдохнуть на дачу.

— Никуда я не поеду! — отрезал Коля. Он уже решил, что сейчас же после экзаменов откроется Гальшке. Больше он был не в силах скрывать своего чувства.

Со значительной помощью Николая Петровича, Коля с трудом прошел экзамены.

Но экзамены кончились, начались поздравления, балы, товарищеские кутежи. Коля только раз был у Каравайко, в привычной прежней компании, после чего прослыл »Печальным Демоном«. Почувствовав легкую иронию в отношениях товарищей, он совсем перестал где-либо появляться.

Николай Петрович, пожалуй, угадывал причину настроения Коли, но только он еще не знал предмета его увлечения. Он сам плохо себя чувствовал. Печень становилась все хуже, и он тоже с нетерпением ждал конца занятий, чтобы начать серьезное лечение.

С эгоизмом молодости, Коля не замечал болезни Николая Петровича. Он высчитывал по календарю дни, когда можно будет сделать визит Волынским, когда наверняка уже не будет ни бала, ни другого какого-либо местного события. Но надо было также придумать и предлог для посещения. Без предлога Коля не считал удобным придти. Раньше он при-

ходил к Вове исключительно для занятий, на их же обычных приемах по четвергам он не был ни разу и боялся, что его могут не принять. В светских тонкостях он не очень хорошо разбирался.

Вдосталь намучившись всякими предположениями, Коля, в конце концов, увидел, что другого выхода нет, и что он должен решиться пойти к Волынским в один из их приемных дней. Выбрав дату, он вдруг узнал, что в этот самый день у Волынских предполагается довольно широкий прием. Это совсем меняло дело. Значит, нельзя было идти в домашней рубашке, студенческая же форма была еще не готова. Коля знал, что Вова уже давно заказал себе форму петербургского училища правоведения, куда заранее были посланы все бумаги. И хотя ответа получено еще не было, Вова уже считал себя принятым, — для этого, он был убежден, не было никаких препятствий. И конечно, он искал случая покрасоваться в новом сюртуке, давно уже выжидательно висевшем в шкафу.

Коле было страшно досадно, что он тоже не заказал формы заранее. А все Николай Петрович! Он только и думал об экзаменах и совсем не позаботился, в чем Коля пойдет к Гальшке Волынской объясняться в любви . . . Конечно, недели через две студенческая форма может быть готова, но отложить объяснение на такой длинный срок Коля был не в силах.

Если бы в гостиной Волынских оказался простодушный Каравайко, или философ Красницкий, или же рассудительный материалист Махов, то заботиться о своем костюме Коле не нужно было б: они не только не осудили б его за домашнюю рубашку, но, наверно, и сами пришли бы одетые так же. Но ни одного из этих товарищей Коля не мог встретить у Волынских: они там не бывали. Там, он знал, встретит франта-балетомана Черепова и еще, как он слышал, какого-то приезжего из столицы пажа. Поговаривали, что на этом приеме у Волынских будет также и сам инспектор гимназии. Все это значительно стесняло, потому что явиться, можно сказать, в первый раз и быть хуже других — не хотелось. Уж, действительно, не отложить ли визит? Но вдруг со страшной силой в Коле закипел протест: — А вот нарочно пойду в этот день и пойду ни в чем другом, как в синей рубашке! Если уж меня прозвали »Демоном«, так хоть было бы за что!

Но отправляясь в этот день к Волынским, Коля все же уделил достаточно внимания своей персоне. Против обык-

новения, он долго стоял у зеркала и рассматривал свое худое, длинное лицо с запавшими глазами и горьким ртом.

— Действительно, есть в моем лице что-то демоническое, — подумал он: — Это, в общем, неплохо, конечно, но можно ли такого любить? Могу ли я нравиться Гальшке?

Лишь с этой точки зрения интересовало сейчас его собственное лицо.

— Вот неожиданность! — холодно уронил Вова, встречая Колю среди других гостей. Он был очень красив в своем сюртуке правоведа. Но Коля не заметил ни сюртука, ни иронии. Когда он вошел в гостиную, в который было около двадцати человек гостей, мысль отыскать среди них Гальшку поглотила все его интересы. Он даже пропустил мимо ушей ядовитое замечание Черепова, когда тот знакомил его с какой-то барышней, шутливо ее предупредив:

— Не думайте, что он нигилист какой-нибудь, нет: он — просто славный парень.

Коля ничего не мог ему ответить, потому что в это время увидел Гальшку. Она была в нежно-голубом газовом платье. Косы ее сегодня были уложены в прическу, что очень было к лицу, хотя и делало ее несколько старше.

При виде ее, у Коли на момент перехватило дыхание — так была она хороша. Она была занята разговором с приезжим пажем, когда вошел Коля. Паж с увлечением рассказывал ей что-то, и Гальшка едва обменялась с Колей приветствием.

— Когда же мне с ней переговорить? — ревниво следил Коля за пажем, который, по всем данным, не торопился кончать своего с ней разговора: — А вдруг не удастся сегодня? — мучился Коля.

Но вот, наконец, она, вероятно, заметив, что Коля стоит особняком от всех, подошла к нему и, взяв под руку, подвела к группе барышень:

— *Mesdames,* — сказала она, — Николай Николаевич очень хорошо знаком с литературой, может быть, он смог бы разрешить ваш спор об »Антоне Горемыке«: является ли мужицкая беллетристика просто »гнусной действительностью«, или же к ней надо относиться с уважением и трепетом.

И слегка подтолкнув Колю, она ему шепнула:

— Перестаньте быть сфинксом: говорите!

От прикосновения гальшкиной руки Колю бросило в жар. Сразу вспотев, стоял он красный среди букета барышень, неуклюже переступал с ноги на ногу и выделывал что-то несуразное руками. Эти длинные хваталки, плетьми висевшие по бокам туловища, нарочно, казалось, были приделаны для того, чтобы привлекать общее внимание: Коля вдруг увидел, что все время должен заботиться о них. Также и ноги. Они то и дело неуклюже выставлялись вперед, занимая чуть ли не полкомнаты, или лезли под ковер, сталкивались с ножками кресел и диванов. Думая же, что он задел кого-нибудь из барышень, Коля извинялся и перед стулом и перед диваном.

Ловя глазами сдержанные улыбки, Коля думал о Гальшке:

— Какая милая! Какая чудесная! Ее даже моя домашняя рубашка не смутила. Как просто она подошла и взяла меня под руку. Недаром все же Вова прошутил ее »эмансипированной женщиной«. А может быть, она потому подошла, что хотела подбодрить? Значит, и тут опять лишь этикет? Да, конечно, только этикет, и больше ничего. Пусть так.

А барышни тем временем выжидательно смотрели на него. Нужно было что-то говорить, что-то делать. На момент Колю охватило дикое желание, как бывало в детстве, взять и залезть под диван, чтобы быть совсем-совсем одному, и чтобы никто не мог его видеть.

Но в ушах его отчетливо стояла брошенная Гальшкой фраза: — Не будьте сфинксом: говорите. — И вруг Коля почувствовал, что, ради прекрасной голубой феи, которая только сейчас держала его под руку, он готов встать на голову, сделать вообще что-нибудь страшно несуразное и даже умереть, если б этого она захотела. Но она вовсе не хотела его смерти, а всего лишь попросила говорить.

И в то время, как перед глазами его плыли бело-розовые пятна барышень, в груди заклокотало желание отличиться перед дамой своего сердца. В конце концов, ни к чему было стесняться всех этих незнакомых барышень. Все равно, их лица расплылись в одно пятно. Да вряд ли и вообще у них когда-либо и было лицо — просто одна общая милая девичья масса.

Коля нервно провел рукой по волосам. Он почувствовал приступ вдохновения. В груди закипел котел невысказанных чувств, и Коля знал, что сейчас он, забыв о приделанных к туловищу руках и ногах, может начать говорить.

Но, все же, точно он не помнил, с чего начал. Он как бы раздвоился, и в то время, как слова совершенно бесконтрольно вырывались из него, где-то в подсознании у него вертелся страх, что от теснивших его к Гальшке чувств он может начать говорить всей этой сидящей перед ним бело-розовой массе о своей огромной любви к замечательной, светлой девушке. Но, к счастью, он говорил совсем о другом.

Он говорил о поверхностном в наших душах налете добра, фальшиво выставляемого напоказ, и об истинности и глубине зла, с которым человек связан крепче и которое ему более сродни. Говорил, что добро, настоящее и большое, приходит лишь через зло, через страдания. Говорил о подонках общества, о том, что истина оседает на дно ... И чтобы познать ее, не надо сидеть в бельэтаже, а нужно спуститься в подвал, знакомиться с низами.

Он едва успевал оформлять свою мысль — слова неудержимо рвались из него. Он никогда не говорил так жарко, так красно: ни на товарищеских собраниях у Каравайко, ни даже, пожалуй, один на один с самим собой.

Барышни смотрели на него во все глаза. А через минуту к ним подошел и сам рыжий инспектор, с длинными, как у сома, усами, и стал в такт колиным словам одобрительно покачивать головой. И только Евгения Павловна брезгливо передернула плечами:

— Анархист какой-то! — и отвлеклась разговором со своим соседом.

Но Коля ничего не замечал: он слишком ушел в самого себя. И только, когда встретился глазами с чудесными русалочьими, весело смотревшими на него и как будто говорившими: — Ага! Вон каким вы можете быть! Это интересно. — Он вдруг выпустил вожжи. Мысли разом разбежались, и только одна осталась в его сразу опустевшей голове. Заметавшись и забившись в одиночестве, эта мысль стала навязчиво отбивать одно и то же, и Коля, в конце концов, ни о чем больше не мог думать, как только о той единственной цели, которая привела его сегодня в этот чужой дом.

Промлямлив что-то совсем бесцветное и малоубедительное, он неожиданно для всех замолчал и отошел к маленькому фаянсовому столику, покрытому стеклом, на котором лежали всевозможные игры и забавы. Чтобы как-нибудь задрапировать свое возбуждение, Коля развязно взял пач-

ку карточек »Шалости Амура« и небрежно стал их просматривать.

Вдруг он встрепенулся: среди изысканного языка цветов он нашел как раз то, что было ему нужно, то, что, должен был сказать сегодня Гальшке . . . Это была судьба! Ведь он, совсем не думая, взял в руки эти карточки.

С еще не остывшей смелостью подошел он к Гальшке и, подавая карточку, назвал цветок:

— Тюльпан.

И когда Гальшка, окинув его все еще смеющимися глазами, приняла карточку, Коля вдруг обомлел: ведь он вызывал ее на объяснение, — тюльпан определенно говорил: — Приходи, я жду тебя. Но отступать было уже поздно. Поймав взгляд Гальшки, Коля пошел по направлению к библиотеке, небольшой угловой комнате, примыкавшей к гостиной.

— Он очень оригинален.

— Кто он такой? Я не расслышала его фамилии.

— Воспитанник учителя словесности? Ну, тогда неудивительно.

— В нем есть что-то такое . . .особенное . . . — говорили за его спиной.

Коля же, всего минуту назад владевший вниманием всей гостиной, оказавшись в библиотеке, сразу струсил. Он даже похолодел, ясно представив себе, как сейчас войдет сюда голубая фея и недоуменно посмотрит на него. Что же он ей скажет? Он совершенно ясно себе представил, что не только ничего не сможет сказать о своей любви, но и вообще не произнесет ни слова.

Но что же делать? Позорно улизнуть, пока не поздно? Коля оглянулся. Другой двери из комнаты не было. Оставалось окно, но опять-таки . . . второй этаж . . . Но тут же, где-то в подсознании у него, выскочил гоголевский Подколесин и ехидно хихикнул.

— Нет! — решительно остановил себя Коля, — только не бежать . . .

На дне его души разбуженная надежда подняла голову, и в нем стала расти уверенность в успехе. Ведь, в конце концов, другого, более удачного, чем сегодня, дня трудно было б подыскать.Коля вспомнил, как одобрительно посматривала Гальшка на него, да и прикосновение ее оголенной руки еще не остыло.

— Сегодня или никогда! Именно сейчас я ей скажу все. Гимн сегодню! Гимн сему часу! — вспомнил он из

своего последнего письма к Гальшке: — Но скорей, скорей! Ведь, каждую минуту она может войти, а я не готов...

Холодный пот выступил на его лбу. Схватив со стола какой-то блокнот, он вырвал из него листок и быстро написал: — Я люблю вас, Гальшка.

И только успел свернуть записку трубочкой, как услышал легкие, волнующие шаги.

— Что случилось? — весело спросила Гальшка, — говорите скорей, а то там меня ждут, у нас сейчас начнутся *petits jeux*.

Коля молча протянул ей свернутую трубочкой бумажку. И пока она разворачивала ее, у него перед глазами пошли темные круги. Всеми силами напрягая мышцы, чтобы скрыть дрожание коленей, он стоял неестественно прямо, вытянувшись, как на смотру.

Быстро пробежав записку, Гальшка вскинула на него свои веселые глаза и вдруг звонко рассмеялась. Она, конечно, понимала, что все это только шутка. Так шутили с ней не раз и другие молодые люди. Они, ведь, все одинаковые, эти молодые люди: все подсовывают записочки, все говорят о любви. И разве можно серьезно принимать их слова?

Но Коля думал иначе. Гальшкин смех, искренний и кудрявый, больно оцарапал его. Он ожидал всего, но только не смеха. Смех оскорбил его.

Чувствуя, что еще немного, и он потеряет сознание, Коля страшно напряг волю и, рванувшись, быстро, не оглядываясь, прошел мимо Гальшки и, шатаясь, задевая за изящные столики и кресла, в самых неожиданных местах расставленные в гостиной, он почти выбежал в переднюю.

Скорей, скорей на улицу! Чтобы сбросить с себя этот, крепко за него зацепившийся кудрявый смех. Скорее на свежий воздух!

* * *

Только когда Коля пришел домой, он понял, что в библиотеке Волынских с ним произошло что-то совершенно непоправимое: любимая им девушка, на его робкое, с муками выношенное признание, ответила смехом.

В волнении, сам того не замечая, Коля безостановочно шагал взад и вперед по комнате. Он настолько был взбудоражен, что должен был находиться в движении.

Рука его еще ощущала прикосновение Гальшки, а в ушах звенел легкий, беззаботный смех, ее смех... Даже намеренно Гальшка не могла бы оскорбить его сильнее. Коля почувствавал, что у этой светской голубой феи, ради которой он готов был отдать сегодня свою жизнь, пожалуй, вовсе нет сердца.

»Светская барышня! А разве вежливо, разве прилично смеяться над чувством другого? Или же я, действительно, был смешон? Смешон тем, что захудалый, без рода и племени, юноша рассчитывал на благосклонность отмеченной и положением и красотой девушки? ... Да, конечно, это страшно смешно!« ...

Необычайная ярость овладела Колей. Он схватил стул и изо всей силы ударил им об пол. А потом, заскрежетав зубами, подскочил к отреноженному стулу и стал с бешенством топтать и ломать его, но, услышав торопливые, беспокойные шаги николая Петровича, бросился к двери и быстро запер ее на ключ. Это было, пожалуй, в первый раз в его жизни, что он решил запереться от Николая Петровича. Но сейчас он не мог, не должен был показаться кому бы то ни было в таком нечеловеческом образе.

На робкий стук Николая Петровича в дверь — что случилось? — Коля ничего не ответил. Он подошел к окну и прижался горячим лбом к стеклу. Это немного отрезвило его, и когда раздались повторные стуки в дверь, Коля уже мог открыть ее без риска напугать кого-нибудь своим видом. Лишь белое, как полотно, лицо его и чуть дрожавшая папироса в руке свидетельствовали о пережитом волнении.

— Коля! — с изумлением уставился Николай Петрович на обломки стула. Он больше ничего, повидимому, не мог сказать от изумления.

— Вот . . . стул сломался . . . — глухо проронил Коля, деланно небрежно садясь на кровать.

— Я сейчас пришлю убрать, — взял себя в руки Николай Петрович, но никуда не пошел, а, как будто ничего особенного не произошло, с эпическим спокойствием сел рядом с Колей на кровать.

— Вот, между прочим, — проговорил он, как будто что-то вспомнив, — из Москвы получил я сегодня письмо ... Многие студенты разъехались, конечно, на лето, но многие остались в городе, занимаются уроками. Можно было б для ознакомления с городом и вообще с обстановкой — и тебе, не дожидаясь осени, поехать сейчас туда ... Так ... поосмотреться вокруг, познакомиться с Первопрестольной ...

Но так как Коля молчал, то Николай Петрович продолжал:

— Н-да... Много есть интересного в Москве, есть что посмотреть. Совсем другой мир. Я был там, ведь, два раза.

Рассказывая о достопримечательностях Москвы, Николай Петрович как будто вспоминал все это для себя самого, потому что не был уверен, слушает ли его Коля. Уставившись прямо перед собой, Коля молча курил одну папиросу за другой, и ничто, казалось, не могло вызвать у него интереса: ни красоты Москвы, ни даже университет, бывший недавно еще таким возлюбленным.

Мир неожиданно сузился, очертив вокруг него круг, который делался почти заколдованным.

* *

Прошло несколько дней, и Коля из яростного тигра превратился в ягненка. Он уже перестал негодовать, уже не чувствавал себя оскорбленным, а наоборот, — просто во всем винил самого себя. Он понимал, что поторопился с объяснением, неумело подошел к такому серьезному моменту, да и Гальшка была совсем не подготовлена: никогда он ни словом, ни взглядом не намекнул ей о своем чувстве, и она просто не поняла его. И сейчас Коля не был уверен, как Гальшка на самом деле относится к нему. Ведь, если бы он не ушел тогда сразу же, может быть, она и не сказала бы »нет«. Ведь, смех можно толковать по-разному.

Слабая надежда стала приятно щекотать Колю. В конце концов, он пришел к убеждению, что, вместо того, чтобы заниматься анализом ее смеха, он должен опять повидать ее и получить простой и ясный ответ — да или нет. Так он пришел к необходимости повторного объяснения.

Но теперь Коля заранее обдумает каждую фразу, чтобы не оказаться в таком дурацком положении, как прошлый раз, когда он за минуту до появления Гальшки растерял все слова и просто онемел. Может быть, именно это и показалось Гальшке смешным? Конечно же, так оно и было! Как он раньше об этом не догадался? Конечно, все объяснение с внешней стороны было чрезвычайно смешным.

Коля вспомнил ее глаза, улыбку и видел в них расположение, ласку, хотя и приправленную светскостью, но все же ласку. А такая чистая, нетронутая девушка, как Гальшка, не могла без настоящего чувства смотреть так на мужчину.

* * *

Окрыленный надеждой входил Коля к Волынским в один из их приемных четвергов. Но на этот раз Коля выбрал для своего визита дневные часы, рассчитывая, что в это время легче будет переговорить с Гальшкой с глазу на глаз.

Дверь Коле открыла на этот раз не горничная, а дворник. Спросив: »Вы к кому?« — он показал рукой вперед, по направлению гостиной, и сказал:

— Так только они, Галина Александровна, и есть дома. Скоро все на дачу уезжают, так что официальные приемы у них сейчас закрыты.

Значит, фактически можно было придти в любой день, и напрасно Коля ждал четверга.

Он вошел в гостиную, которая выглядела на этот раз совсем по-новому: на мебель были надеты чехлы, зеркала и люстры оделись в кисею. От этого убора вся гостиная показалась Коле холодной, недружелюбной, как будто она хотела спрятать от него свое настоящее лицо.

Гальшка, в легком домашнем платье, впорхнула в гостиную почти одновременно с Колей. Простота ей шла так же, как и нарядная пышность. Но для Коли это опять было чем-то новым, и в первый момент он опять смешался от неожиданности видеть ее не такой, как рассчитывал.

Он невнятно пробормотал что-то нескладное в виде приветствия. Предложив сесть, Гальшка извинилась за разгром в квартире, хотя на самом деле никакого разгрома не было, и добавила, что завтра они уезжают на дачу. Говорила так просто и непринужденно, как будто ничего и не произошло.

— Как жаль, что Вовы нет дома? — добавила она, — он уехал с мамочкой. Вы, ведь, хотели его повидать?

— Нет . . . Я именно хотел видеть вас.

И оттого, что, вместо заранее подготовленных фраз, пришлось сразу приступить к цели своего посещения, у Коли перехватило горло, голос его сорвался, но, собравшись с силами, он продолжал:

— Я боялся, что вы меня не поняли тогда. . .

— Нет, нет! Конечно, поняла, — радостно перебила его Гальшка: — Я так и подумала, что вы просто пошутили. Бросьте об этом говорить, я уже даже и забыла обо всем.

— Нет, не то. . .

Кровь застучала в висках у Коли, клубок в горле перекатывался, и изменившимся голосом он проговорил:

— Я вас... действительно, люблю, Гальшка... очень... Бог знает, до чего сильно... Я потому и пришел сегодня, чтобы сказать вам это опять.. потому что тогда вы мне ничего не ответили...

Последние слова Коля произнес совсем шопотом, он едва выдавливал из себя слова.

— Нет, нет, не надо! Пожалуйста! — испуганно расширила глаза Гальшка и жалко протянула вперед руки, как бы защищаясь от нападения, — не надо!

— Я не могу... я не мог не сказать вам этого... я...

Коля бессильно соскользнул на пол к ногам Гальшки.

— Нет, нет! Пожалуйста!

— А вы? Могли бы ли вы мне ответить... хотя бы.. теплотой только? Гальшка! Гальшка!

Совсем сорвавшись с намеченной программы, Коля уже комкал в руках шелковый пояс ее платья. Слегка коснувшись его губами, он почувствовал, что дошел до крайнего напряжения, и, упав головой на гальшкины колени, вдруг затрясся от рыданий.

Гальшка с явным испугом вскочила с дивана. Неподдельный ужас изобразился в ее глазах.

— Я... я не верю в любовь! — в отчаянии воскликнула она: — Я никого не хочу любить! Пожалуйста, не надо! Боже мой! Разве я виновата? Я же не хочу!... Сейчас мамочка с Вовой могут вернуться. Мы на дачу завтра... Нет! Нет! Уходите! — крикнула она, убегая из гостиной.

Коля едва справился с рыданьями. Казалось, за всю свою жизнь он не плакал так тяжело. Слезы давили грудь, сжимали горло, их было так много, что если б их не выплакать, то, казалось, они вот-вот разорвут на части грудь. Но рассудок говорил, что, действительно, нужно как можно скорее уходить, пока Вова с Евгенией Павловной не застали его здесь.

Но неужели же просто вот так — встать и уйти? Ведь, это означало бы конец всем надеждам.

— Гальшка! Прощайте! — крикнул он куда-то во внутренние комнаты. Кругом было тихо. Не получив ответа, он постоял еще с минуту и потом повернул к выходу.

* * *

Замкнувшись в себя более, чем когда-либо, Коля добровольным узником засел в своей комнате. Он потерял всякий вкус к жизни. Решительно ничто теперь его не интересовало. Даже только что принесенная от портного новая сту-

денческая форма не радовала: какой смысл был теперь во всем этом, когда, может быть, завтра его уже не будет в живых! С болью в сердце вытаскивал Коля из стола припрятанную бутылку с уксусной эссенцией, ощупывал ее пупырчатую треугольную поверхность и опять прятал в ящик. Было трудно решиться влить в себя эту жидкость, которая в несколько часов безжалостно сожжет все внутренности.

Но все же завтра это должно будет случиться. Коля решил, что это будет именно завтра, когда Николай Петрович уйдет на прием к доктору.

Было безумно жаль себя, но некто жестокий в сером все ходил вокруг и злобно очерчивал круг все уже, уже... Грудь теснило, дышать было трудно. Выхода из этого круга не было, и завтра, действительно, наступит конец всему

Коля так измучился, и умереть хотелось хотя бы просто потому, чтобы прекратить страдания, чтобы перестать чувствовать.

Особенно мучительны были ночи. Длинная и напряженная тишина, пользуясь темнотой, подсылала недобрые, мрачные мысли, обостряла все ощущения, делая их более утонченными, выпуклыми. Гальшка яснее стояла во всей своей прелести и лучезарности. Ночью еще больнее ощущалась вся безнадежная любовь к ней.

Слезы были большим облегчением. Никогда Коля не думал, что способен так много плакать. Ему было стыдно, что не сдержался от рыданий перед самой Гальшкой тогда, в последнюю встречу, но по ночам, когда его никто не видел, он не думал о стыде, о мужском достоинстве и рыдал с облегчением.

В эту свою последнюю, как думал Коля, ночь особенно тяжело плакалось. Перевернув насквозь вымокшую подушку на другую сторону, он чувствовал, как немеют его руки и ноги и как мучительно ползают по спине нервные мурашки, царапают и неприятно напоминают о существовании слабого и безвольного тела.

Вдруг чья-то рука упала на его плечо. Стыдясь показать свое заплаканное лицо, он лишь крепче обхватил руками подушку.

Николай Петрович догадывался о неудачной колиной любви. Он видел, как тяжело это у него проходит, и, в конце концов, сердце старика не выдержало смотреть на страдания юноши.

— Никого не минует любовь, — как бы про себя прого-

ворил Николай Петрович, садясь на край колиной кровати: —Да, конечно, и я тоже любил... Никогда никому не говорил я о своей трагедии — просто похоронил в себе весь ее ужас.

Николай Петрович вздохнул. Провел рукой по глазам, как бы отгоняя набежавшие видения.

— А было это, действительно, ужасно, — продолжал он: —Мы горячо любили друг друга и решили венчаться. Мария должна была приехать ко мне в Москву. Я так ждал ее... У меня все уже было готово для будущей счастливой жизни. Она выехала поездом...

Николай Петрович сделал паузу: ему было тяжело продолжать. Он глубоко вздохнул. Зачем это он вдруг начал рассказывать обо всем этом? Ведь никогда раньше он никому решительно не доверял своей сердечной тайны, а тут вдруг.. Впрочем... Он посмотрел на примолкшего Колю, который как будто чутко прислушивался к каждому слову. »Да, Коля должен это знать«, — подумал Николай Петрович, и, как ни больно ему было бередить воспоминания, продолжал. Но только он несколько заторопился досказать конец рассказа, и он получился у него скомканным.

— Я не дождался ее, — сказал он: — Она была убита в крушении поезда.

Николай Петрович замолчал.

»И это все?« ... Коля приподнял голову. Слезы разом высохли. Какая ужасная трагедия! И это Николай Петрович не вымысел передавал, как бывало, когда Коля был мальчиком и слушал сказки из уст старого педагога. Нет, это была сама жизнь. Колино собственное горе сразу показалось мизерным в сравнении с тем, что только что он услышал.

— Я тогда и плакать, как вот плачешь ты сейчас, не мог, — прорезал молчание Николай Петрович: — От горя у меня все высохло внутри... Слез не было.

И опять замолчал.

Но молчание после такого жуткого признания было невыносимо. Коля завертелся на кровати.

»Нет, нет! Пусть он хоть что-нибудь, да говорит! Хоть что-нибудь, только не молчание« ...

— А потом... — начал Коля хриплым, еще не остывшим от слез голосом, — потом вы, ведь, любили еще? Были счастливы? Правда?

Николай Петрович отрицательно покачал головой.

— С ней я похоронил все. Я никого больше не мог полюбить. То была одна любовь на всю жизнь. Я навсегда от-

казался от семейного счастья. Навсегда уехал из Москвы в глухой Пореченск. Учительской деятельностью старался заполнить душевную пустоту. Этим и спасся. Всю жизнь мечтал иметь своих детей. Ну, а раз уж не удалась эта мечта... В гимназии я все же целый день среди ребятишек. Позднее только стал я чувствовать, как роль педагога держит в рамках настоящие чувства. Я привык сдерживать свои чувства, не высказывать их. И вот только сегодня, как и тогда ... когда в первый раз увидел тебя, захотелось дать выход скопившейся нежности... Потому я тогда и приютил оборвыша с улицы. Потянуло к тебе...

Николай Петрович положил руку на плечо Коли и нежно погладил его. Коля пылко схватил старчески полную руку и крепко и понимающе пожал ее своей горячей.

А Николай Петрович тихо, как бы про себя, продолжал:

— Вот, Николаша, два мы с тобой бобыля... Ты еще в лучшем положении, потому что молод, а я, ведь, стар становлюсь, чувствую себя совсем больным за последнее время. Хорошо, если б вот мы крепко всю жизнь держались друг за друга. Я буду тебе помогать, а ты мне.. Может быть, я, конечно, и поправлюсь к зиме и смогу ходить на занятия, — ну, а может быть, и не смогу... Пенсии я еще не выслужил... Одна надежда на тебя, что не бросишь старика.

Голос Николая Петровича дрогнул.

— Пока есть возможность, — продолжал он, — поезжай в университет, выходи в люди. Я еще могу сделать это для тебя. Но все же лелею, может быть, и глупую мечту, что мы потом опять вместе с тобой будем жить. Привязался я к тебе, люблю, как родного... А ты, если беда придет, или вообще ... может быть, выручишь и ты меня когда-нибудь? Пусть нами никто не интересуется, зато нужны мы друг другу. Вот, если б между нами соглашение такое заключить, — счастлив был бы я безмерно. А? Коля!

Николай Петрович говорил необычно для него тихо, как будто боялся спугнуть ночную тишину, и это особенно углубляло смысл каждого слова.

У Коли сильно билось сердце. Он никак не ожидал от Николая Петровича такого излияния. Никогда не думал он раньше, что вообще хоть сколько-нибудь может быть полезен кому-нибудь, что кто-то может ждать от него помощи, надеяться... И вдруг сам Николай Петрович, независимый и замкнутый Николай Петрович, раскрыв свое самое сокровенное, прямо, без обиняков, заговорил о помощи. Ко-

лина душа радостно встрепенулась. Оказанное ему доверие поразило его. Готовясь завтра умереть из-за полной своей ненужности и бесполезности, Коля вдруг краем души коснулся чего-то совсем нового. Он как бы сразу неожиданно прозрел, увидев так близко, совсем рядом, истинного и честного друга.

»Боже, как же я никогда раньше не думал о нем!« — с ужасом подумал он: »Сколько пережил человек! Нашел во мне отраду старости, а я и это хотел у него отнять. Господи! Как благодарить мне Тебя за то, что Ты спас меня от ложного шага! Самому-то умереть просто, а каково было бы ему?« . . .

Благословляя сегодняшний вечер, давший ему так много, Коля чувствовал, как наполняется удивительным ощущением. Душа его тоже стала доверчиво раскрываться, как цветок навстречу солнцу, и Коля, не колеблясь, впустил в нее Николая Петровича.

Коля крепко сжал его руку:

— Давайте! Да, да! Будем держаться друг за друга, — восторженно повторил он слова Николая Петровича: — И спасибо вам за ваше доверие. Никогда не забуду! Если б вы только знали, как много вы сделали для меня именно сегодня, вот в этот ночной час! И каким жестоким я хотел быть для вас! Простите! Мой единственный, мой верный друг!

И сжимая полную мягкую руку Николая Петровича, Коля слегка коснулся ее губами.

* * *

Отъезд в Москву был назначен на август. Николай Петрович должен был остаться в Пореченске, потому что начинал серьезный курс лечения. Доктор предупреждал, что лечиться надо упорно, да Николай Петрович и сам видел, что болезнь внедрилась. Обставившись всякими лекарствами, он стал аккуратно соблюдать предписанный режим. Колю же снабдил письмами к своим бывшим коллегам, надавал всяких советов.

До мельчайших подробностей выполнял теперь Коля все, что требовал от него Николай Петрович. Пережитое за последние месяцы заставило его значительно понизить мнение о самом себе. Роль Цезаря с первых же шагов както не удалась- и, повидимому, нужно было перейти на более скромное амплуа. Заносчивость и смелые вызовы судьбе Коля заменил покорностью, уступчивостью, старался не

ставить на первое место свое »я«, а больше изучать людей вокруг.

С юношеством все было покончено. Судьба без всякого предупреждения перекинула Колю в следующий разряд, и он сразу стал взрослым. Он принял это спокойно. Зная, что вся его жизнь всегда шла скачками и прыжками, он легко похоронил прежнего Николая Ключевского в ту самую ночь, когда Николай Петрович, усевшись на его кровать, раскрыл пред ним свою душу и своей исповедью перевернул его судьбу. С той ночи Коля преисполнился к Николаю Петровичу глубокого уважения и, отбросив беспокойство о своих личных переживаниях, решил действительно жить ради него, ради этого единственного близкого ему человека. Сознавая, что всегда был эгоистом, теперь он старался пополнить существовавший между ними пробел. Он, конечно, совсем не предполагал, что знаменателный ночной разговор был последним средством, на которое Николай Петрович решился, чтобы отвлечь Колю от него же самого. И не зная, что спасает самого себя, Коля, с присущей ему горячностью, отдался на служение Николаю Петровичу.

Но, поставив крест на своем коротком неудачном романе, Коля все же не мог совсем отделаться от неожиданно наскакивавших на него воспоминаний. И когда недоступная белокурая красавица - Гальшка опять четко представала пред глазами, Коля опять начинал испытывать прежнюю тяжесть в груди. Тяжесть, которую хотелось с выкриком сильно выдохнуть так, чтобы весь мир содрогнулся бы от этого крика. И только лишь мысль, что он больше не принадлежит себе, что у него есть серьезные обязанности по отношению к Николаю Петровичу, сдерживала его.

Он отчасти научился контролировать свои чувства, хотя совсем и не умел управлять своими мыслями, И, в конце концов, пришел к сознанию, что живет двумя жизнями: одна была для него самого, а другая — показная, для Николая Петровича.

Он совершенно отчетливо стал ощущать в себе присутствие другого человека. Человек этот, дерзкий, вспыльчивый, чувственный, совсем не считаясь с колиными решениями, нахально жил сам для себя, вопреки колиной логике и его убеждениям.

Это раздвоение очень мешало Коле идти по выбранному им доброму пути. Мешало, а иногда и раздражало.

Позднее, после более сосредоточенного самоуглубления, Коля, неожиданно для самого себя, обнаружил в себе не только раздвоение, но даже размножение личностей.

Коля с интересом стал изучать каждую из них. И, в конце концов, это ему даже стало нравиться. Наблюдая и возвеличивая каждую из своих личностей, он стал уверять себя, что подобное расщепление души совершенно нормально, что, наверно, это бывает не только с ним одним, но что другие, может быть, не так уж копаются в самих себе, а потому не всегда даже и подозревают о своем внутреннем состоянии.

»Люди духовно-ограниченные, — думал Коля, — возможно, и удовлетворяются одним »я«. Таких людей можно сразу отличить по внешнему виду. Они всегда неизменно одни и те же. Их одинокое оголенное »я« всегда наружу, всем напоказ. Они примитивны, всем понятны и не вызывают о себе двух мнений . . . Скучнейшая порода людей!« — заключил Коля: »Их часто просто не замечают. Зато они, обычно, бывают счастливы, потому что не ощущают в себе какой-либо борьбы, идут прямо по назначенному пути, не задумываясь, всегда довольны собой и не знают яда самокритики. Чем больше у людей разных »я«, тем больше они разбрасываются. Им хочется и того, и другого, и третьего . . . Каждое »я«, желая жить для себя, борется с другими за первенство.«

Смотря на себя со стороны (одно »я« наблюдает другое), Коля пришел к заключению, что может прислушиваться к голосу то одной, то другой своей личности.

»Человек с сильным характером из всех своих личностей может, по желанию, выбрать какую-нибудь одну Тогда будут вырабатываться и доминировать определенные, присущие этому »я« склонности. Все же остальные личности, подавленные этой господствующей, начнут глохнуть и лишь изредка, подстерегши слабый момент главного »я«, могут подать свой голос. В такие моменты неизбежно появляется чувство неудовлетворенности, недовольства собой. Поддавшись внутреннему возмущению, в такие минуты можно все бросить и пойти по совсем другой дороге, куда позвало неожиданно выскочившее настойчивое »я«.

Забыв о решении не отдавать своей персоне слишком много внимания, Коля опять ударился в самоанализ. Ему нравилось жить жизнью нескольких личностей, сидящих в нем. Нравилось потому, что хотя он и решил, забыв все старое, стать другим человеком, все же не мог отказать себе

в удовольствии побродить мыслями по квартире Волынских и, отыскав там Гальшку, смаковать каждую подробность прошлых с нею встреч, перебирать в уме все, сказанное ею. Но когда он доходил до последней роковой встречи, и в его уши бился испуганный ее выкрик: »Нет, нет! Уходите!« — Коля начинал тогда жалеть, что растравил себя. И нужно было напречь всю силу воли, чтобы оторваться от тяжелых воспоминаний. С трудом перевернув пластинку на другую сторону, он заставлял себя войти в плоскость других интересов. Зажмурившись и стиснув зубы, он призывал в помощь свои другие »я«.

И в такие моменты случалось так, что в то время, когда он передавал руководящую роль другому намеченному им »я«, кто-то третий выскакивал и перехватывал протянутую роль. И Коля тогда не мог объяснить, каким образом в его руке оказывался сломанный карандаш, или же почему на столе все бумаги оказывались скомканными, разбросанными, — как будто кто-то посторонний взял и сделал все это за него.

Также не мог он объяснить, откуда вдруг появлялось вдохновение к творчеству. Как от какого-то приказа изнутри, брал он вдруг карандаш и начинал писать о людях, которые никогда не существовали, описывать события и места, где он никогда не был и которых никогда не видел. Это приходило из неизвестности, из той сферы, где жило какое-то таинственное, еще мало изведанное им »я«. Эта личность появлялась, обычно, без всякого предупреждения и сразу наполняла его счастьем. Сердце радостно билось, глаза светились мыслью. С жадностью изголодавшегося заполнял Коля в такие минуты свою записную тетрадь.

К сожалению, он не научился еще хорошо владеть своим настроением, и оно так же неожиданно ускользало, как и появлялось. И тогда, как после хорошего массажа, оставалась лишь приятная легкость и снисходительность ко всему миру, со всеми его несовершенствами. Приятное чувство сытости наполняло его тогда, и опять Коля способен был с легкой ухмылочкой в душе посматривать на себя со стороны и здраво критиковать в себе то или иное.

Коля жалел, что не всегда был в состоянии крепко держать душевные ниточки своих »я« и, как марионетками, управлять ими.

»А при желании, ведь, можно так ловко припрятать свои подленькие »я« и выставить лишь доброкачественные, что никому и в голову не придет догадаться об их существова-

нии. Некоторым ловким людям это так хорошо удается, что они, »втерев очки«, создают о себе совсем неправильное представление. Уменье держать себя в руках, конечно, не означает ума, а просто говорит об искусстве играть душевными ниточками.«

Стараясь развить и в себе эту ловкость, Коля нарочно дергал свои ниточки. Это казалось очень занимательным. Он заигрывал с одним »я«, подтрунивал над другим, гордо нес третье. Закрыв глаза, нарочно вызывал искусственный интерес к чему-нибудь совсем постороннему.— »Передергивал«, — как говорил он сам про себя. Но это »шулерство« иногда бывало и просто необходимо, чтобы отвлечься, иначе опять прежняя тоска захватывала его в свои цепкие лапы, и опять тогда хотелось рычать, бросаться на людей, ломать мебель . . .

Таким образом, Коля попрежнему оставался сильно углублен в себя, в свои переживания, и посторонний мир попрежнему оставался для него чужой, неуютной квартирой.

* * *

Наконец, настал и день отъезда.

Коля ехал вместе с Красницким. Рассудительный и деловитый, Красницкий взял на себя все дорожные хлопоты. У него все было в порядке: и билеты, и багажные квитанции, и провизия.

Только когда, наконец, тронулся поезд, Красницкий с облегчением фукнул, обтирая платком свое скуластое лицо.

— Ну, вот и поехали! Ты как будто не очень в большом экстазе, Коля?

— Нет, что же . . . — вяло ответил Коля, — ехать, так ехать . . .

— Ха-ха-ха! — неистово завертел своими маленькими, невзрачными глазами Красницкий. — Нет, ты это брось: в Москву, ведь, едем, не куда-либо. А что из Пореченска уезжаем, так только слава Богу. Что в нем хорошего? Дыра и дыра!

Красницкий и не подозревал, что в Пореченске Коля оставлял самое дорогое. Перед отъездом он все же решился пройти мимо дома Вольнских и проститься со всем, что было с ним связано. Он знал, что Вольнские еще не вернулись с дачи, и поэтому был уверен, что не увидит никого из них. Но ему хотелось лишь издали взглянуть на те окна,

из которых »она« смотрела, на те двери, из которых »она« выходила.

Но теперь Коля досадовал, что допустил себя до подобной сентиментальности. Он так расстроился от одного лишь вида дома Волынских, что им опять овладело прежнее мрачное настроение.

»Неужели же все навсегда кончено?«

Сердце больно сжималось при этой мысли, а разум, по привычке, бросался в софистику: может ли несчастье когда-либо оказаться счастьем? И что вообще лучше: быть счастливым или несчастным?

»Конечно, для физического благополучия, — решил Коля, — быть счастливым неплохо, но много ли дает счастье для духовной жизни? Говорят, что счастливые люди более расположены проявлять себя. Нет, это неправда: счастье не имеет к творчеству никакого отношения. Это придумали люди, никогда на самом деле не испытавшие счастливого благополучия, от которого ум жиреет, делается ленивым и неспособным к творчеству. Творить может лишь тот, кто именно не удовлетворен, тот, кто еще не поставил точки, не достиг всего, чего хотел, и не почил на лаврах.«

Поезд летел вперед. Уже давно исчезли все окрестности Пореченска, и глазам открылись зеленые поля с пасущимся скотом. Кое-где попадались сторожки, совсем затерянные в пространстве. Поля были ровные, скот пасся спокойно, не спеша, с мировым спокойствием, с сознанием важности данного момента, когда в желудке приятно переваривается только что съеденная мягкая, сочная трава.

Однообразно мелькающие мирные картины примитивной жизни рождали в душе спокойствие, направляя мысль в сторону умиротворяющей философии.

»Вот, где хорошо жить! — подумал Коля, — подальше от прославленной цивилизации, а главное — подальше от людей, по большей части, глупых и ничтожных.«

Мысль уйти от мира показалась сладостной. Отрешиться от притянутой за волосы культуры и отдаться примитиву было его всегдашней мечтой. Но мечта эта, из-за цепких звеньев человеческих условностей, явно должна была быть занесена в реестр несуразных, странных фантазий и поэтому, конечно, не осуществима.

— Давай закусим, — прервал колино раздумье Красницкий, — пока мы одни, а то подсядут — не так уж будет комфортабельно.

И вытащил из плетеной корзины колбасу и булку.

»Жизнь — комплекс контрастов: от сложных, сумбурных — до самых примитивных, — подумал Коля, отрываясь от окна: а в общем, Красницкий подает неплохую идею: я есть никогда не прочь.«

— Только давай, пожалуйста, без церемоний, — обратился он к приятелю: – Мы в купэ одни, нам никто не мешает быть самими собой. Откинем хороший тон и будем есть колбасу от куска, а не резать ее на щепетильные ломтики, в которых и вкуса-то не почувствуешь.

— Согласен. Мы просто можем разделить эту небольшую колбаску (В ней и всего-то, кажется, фунта два) пополам. Как ты думаешь?

— Идет!

Держа в одной руке половину французской булки, а в другой добрую половину чайной колбасы, они принялись с молодым, здоровым аппетитом уписывать еду за обе щеки.

— Н-да . . . — с полным ртом промямлил Коля: — А помнишь, Гога, мы как-то у Каравайко обсуждали, что такое »счастье«.

— Да, — говорили вразброд и ни к чему не пришли.

— А ты сам знаешь, что такое »счастье«?

— Ну . . . Ведь, это очень непродолжительное и мелкое чувство. Ты понимаешь, что я хочу сказать словом »мелкое«? Вот, например, я сейчас вкусно ем, и я счастлив.

— Ну, зачем же так цинично? — возразил Коля: — Я бы тоже был, пожалуй, счастлив если бы сейчас оказался вон на тому лугу, в одинокой избушке, но, ведь, это будет не настоящее счастье, а какой-то его пасынок.

— Ты был бы счастлив сегодня, оказавшись на этом лугу, а завтра, когда тебе, чтобы себя прокормить, потребуется пахать, косить, доить корову и прочее, — ты навряд ли будешь уже счастливым. Вот так и всегда со счастьем: оно приятное, но короткое ощущение.

— Это грустно, если так, — сказал Коля: — И жизнь, хотя и довольно хитрая выдумка, но смысла большого не имеет. Тебе хотелось когда-нибудь умереть? — вдруг спросил он, но, не слушая ответа Красницкого, сам в это время думал:

»Нет, пожалуй, быть счастливым, в общем, довольно плоско: легко »обмещаниться«. Это означало бы придти к последней главе . . . О, нет!«

Коля с удовольствием почувствовал, что хочет движения вперед. Вот так, вместе с поездом, и лететь, лететь . . .

Чтобы никогда не видеть конца пути, никогда не доезжать до последней станции . . .

»Надо себя проявлять, а не одеваться в тогу самодовольства с сознанием, что все уже достигнуто. Иначе легко дойти и до духовного маразма. Да, несчастный человек заслуживает, конечно, большего уважения, чем счастливый. От счастливого пахнет пошлятиной, а несчастный несет с собой светоч благородства. Дуракам — счастье, говорит народная мудрость.«

И хотя быть счастливым, конечно, удобнее (сложи руки и наслаждайся), все же Коля решил, что с большим достоинством будет носить на своем лице печаль.

Выкрики носильщиков, высоких, хорошо сложенных, в белых передниках, беспокойно снующая взад и вперед толпа на вокзале, а дальше — вереница извозчиков, звонки конок — все это было поражающе ново и поражающе шумно: это была Москва.

Спускались сумерки, и город был уже в огнях. Они неровными точками были разбросаны до самого горизонта, насколько хватал глаз. Все это настолько с первого момента ошеломило Колю, что он растерялся, сразу позабыв весь так обстоятельно заготовленный в Пореченске план. Взглянув на Красницкого, Коля и на его лице прочел растерянность. Он увидел, что всю его рассудительность, как рукой сняло и что все его внимание теперь лишь направлено на то, чтобы не потеряться в бестолковой вокзальной толпе.

Густой реализм с головой окутал обоих юношей и разом выпотрошил из них всю философию, которой они до отказа начинили себя за дорогу. Лицом к лицу они встретились с жизнью. Теперь оба выглядели простенькими провинциалами. Это особенно давал им понять их носильщик. Толковый, опытный, он распоряжался и понукал молодыми людьми совершенно так же, как распоряжался и их чемоданами и корзинами: идите туда, стойте здесь, платите тут . . .

Коля несколько стал приходить в себя, лишь когда сел на извозчика.

Оглядываясь по сторонам, удивляясь необычайно большому количеству людей на улицах, их торопливости и какой-то особой суетной занятости, Коля чувствовал, что поглупел.

— А куда мы едем? - задал он несуразный вопрос.

— Как »куда«? К Матрене Филипповне, — ответил Красницкий с уже вернувшейся к нему деловитостью: — У меня ее адрес был записан еще в Пореченске.

— Ты ее знаешь?

— Ну, конечно, нет! Знаю только, что у нее дешевые меблирашки — и все!

Свободная дешевая комната оказалась на третьем этаже. Матрена Филипповна, дородная, медлительная женщина, с сознанием собственного достоинства, зажгла в комнате лампу и, пообещав самовар, степенно вышла.

— Ну, вот и приехали, — с удовлетворением воскликнул Красницкий: — Сейчас помыться да закусить ... А где же черный чемодан? — вдруг перебил он сам себя.

Коля, только что любовавшийся видом из окна комнаты, обернулся. Действительно, черного кожаного чемодана с бельем, туалетными и другими необходимыми принадлежностями — не было. Они оба бросились в коридор спросить хозяйку, посмотреть, не оставили ли они его у дверей — нет: чемодана нигде не было.

— Как корова языком слизнула, — вяло сострил Красницкий.

С глупыми лицами они вернулись в комнату.

Красницкий, недоуменно повращав глазами, вдруг разразился громким искренним смехом:

— Ха-ха! Облапошили нас, дураков! С чем и поздравляю! Так нам и надо для первого раза! Это, брат, Москва: не зевай!

— Его, наверно, украли еще на вокзале, — припоминал Коля: — На извозчике его, наверняка, уже не было.

— Так и надо, так и надо нам, лаптям! Вперед — наука!

Пришлось отказаться от возможности чисто, с мылом, помыться после дороги. Но настроение у молодых людей от этого не упало. Напившись вкусного чаю с сайкой, они решили тотчас же ложиться спать: утро вечера мудренее. Но кола заснуть не мог. Шум от конок был слишком непривычен. Да и сознавать себя в Москве тоже было настолько значительно, что нельзя было не поразмыслить над этим.

Он несколько раз вставал, подходил к окну и под сочный храп Гоги Красницкого смотрел на многообещающие огни большого города. Он чувствовал себя ничтожной песчинкой, затерявшейся в бурном море ... Рождалось сопоставление города с необъятной вселенной. И от этого срав-

нения несмотря на присвоенное человеком громкое звание »царя природы«, остро ощущалось его ничтожество.

Спать не хотелось.

* * *

Незаметно бежали первые дни знакомства с Москвой. Побывав в канцелярии университета и закончив необходимые хлопоты с получением официальной бумажки на право жительства, Гога с Колей ходили по городу, осматривали музеи, Кремль и другие достопримечательности города.

Пообвыкнув немного, они увидели, что можно устроиться гораздо дешевле и решили переехать от Матрены Филипповны поближе к университету.

Они сняли небольшую комнату в частной квартире. Комната не была такой комфортабельной, как у Матрены Филипповны, вход был со двора, единственное же окно не открывало многообещающего горизонта, а упиралось в стену соседнего серого дома.

Кроме этой комнаты, хозяйка сдавала еще одну, рядом с колиной, и жила в этой комнате высокая, смуглая медичка третьего курса — Вера Чувашина. Перегородка, разделяющая комнаты, была настолько тонка, что через нее и состоялось первое знакомство. А через несколько дней Вера, захватив с собой колбасу, запросто пришла к новоиспеченным студентам пить чай.

— Который из вас Гога, а который Николай? — деловито осведомилась она у порога и стала хозяйничать у стола.

Она много помогла молодым людям на первых порах. Указала дешевую студенческую столовку, дала характеристику профессоров. Со строго зачесанными за уши волосами и с постоянной папиросой в зубах, она не вызывала у Коли ни малейшего интереса, несмотря на то, что Вера как будто и задерживала на нем свой взгляд. Просто забывая о ее присутствии, он небрежно заваливался с книгой на кровать, предоставляя ей беседовать с корчившимся от застенчивости Гогой.

*

Постепенно первые впечатления от университета сгладились, и Коля уже не чувствовал себя так дико, как в первые дни, когда он казался самому себе деревенщиной и невеждой.

Аудитория уже перестала поражать своей громадностью, стало привычным рябое лицо сторожа, вежливо называвшего каждого студента по фамилии. Первое время Коля даже плохо понимал, что говорил профессор: внимание отвлекалось разными посторонними мыслями. Ему все казалось, что сидит он в театре на каком-то представлении. Да и язык профессора, обращение к слушателям и прочее — все было такое, к чему надо было привыкнуть.

Каким ничтожным чувствовал себя Коля в первые дни! И какими детскими казались ему все его прежние представления об университете! Вот он — этот действительный храм науки! С каким восторгом Коля поднимался по его лестнице, нутром ощущая подъем. Так и каждый проведенный им день в университете был одной новой ступенью в необъятное знание.

С неподдельным восторгом слушал Коля лекции своего однофамильца профессора Ключевского. Яркая образная речь профессора была художественным вкладом. Коля слушал его напряженно, боясь проронить хоть слово из лекции, полюбил его интонации, даже его легкое заикание и особую манеру в полоборота стоять на кафедре. От всей личности профессора Ключевского веяло особым обаянием, и Коле льстило носить одну с ним фамилию. Он любил объяснять любопытствующим, что хотя и является просто однофамильцем профессора, но, впрочем, возможность отдаленного родства не исключена.

Для ознакомления с другими профессорами Коля также заходил и в аудитории чужих, наиболее популярных профессоров. Так, слышал он Чупрова, Боголепова. Но несмотря на восторг, с которым отзывались об этих профессорах студенты-юристы, Коля не вынес от их лекций большого впечатления: лекции показались ему тусклыми и слишком методичными. Впрочем, он не был уверен, действительно ли были тусклы лекции, или же просто он не был достаточно к ним подготовлен. Во время этих лекций Коля был страшно рассеян, и, вместо их содержания, сильнее врезались в память огромные, во весь рост, царские портреты актового зала, в котором читал лекции Чупров: с одной стороны — Александр III., с другой — Елизавета. И очень запомнилась манера Чупрова часто хвататься за свои очки в золотой оправе.

Во всяком случае, когда прошел страх перед мудростью, охватившего Колю на первых порах, появилась способность критики. Постепенно стало наступать охлаждение. Коля

стал чувствовать некоторую неудовлетворенность. Профессора, по большей части, из года в год читая по одним и тем же запискам, естественно, читали без увлечения.

Когда же Коля уяснил, что не получает от лекций того, что ожидал, он сразу и категорично перестал ходить на них. И только продолжал посещать лекции Ключевского и еще семинарий Виноградова. Не оставалось смысла тратить время на то, что прекрасно можно было получить в печатном виде.

Вместо хождения на лекции, Коля все свободное время стал заполнять чтением, читая до самозабвения.

Также стал он много ходить по городу. Ему нравилось быть среди чужих незнакомых людей, которые им не интересовались и даже не замечали. Любил, ходя по городу, всматриваться в людей, изучать их, оставаясь для них только прохожим. Он никогда ни с кем не заговаривал, а только слушал и всматривался. Ходил в самые злачные места, получая странное, щекочущее чувство от общения с низами. Может быть, это общение бессознательно возвращало его в прошлое, в его детство, хотя и тяжелое, но, возможно, своей наверной невозвратностью все же приятное. Так, человек раз перенесший тяжелую болезнь, через много лет любит бередить себя воспоминаниями и хотя бы умственно опять пережить уже ушедшие в прошлое страдания.

Москва была ласкова, гостеприимна и богата как интересными людьми, так и интересными местами.

Как только открылся сезон, Коля побывал и в зале Дворянского Собрания и на выставке последних картин Врубеля. Волнующие сюжеты художника, полные внутреннего жара, говорили о повышенных запросах жизни, о надломленности. Подолгу стоял Коля перед врубелевским поверженным »Демоном«. Хотелось упасть на колени перед этой поражающей картиной и рыдать. Трагедия, пережитая художником при создании этой картины, так четко передавалась, что Коле начинало казаться, что то была его собственная трагедия и что это он сам написал этого »Демона«.

С выставки Коля шел зараженный талантом великого художника и с его же расстроенной, как тогда уже поговаривали, психикой.

Однажды, возвращаясь поздно домой, Коля натолкнулся в коридоре на Веру. . . .

— Не спится . . . — проговорила она, задерживаясь у дверей. Но не получив никакой реплики, она, не понижая

голоса, совсем просто, как будто говорила о сегодняшней лекции, добавила: — Коллега, зайдите ко мне.

— Сейчас, только сниму пальто, — так же просто ответил Коля.

Когда он вошел к ней в комнату, она уже лежала в кровати, докуривая папиросу.

— Задуйте лампу, когда разденетесь, — сказала она, туша папиросу об мужской сапог, который услужливо выставил неуклюжий мальчик, вделанный в чугунную пепельницу в форме раковины.

*

В университете Коля сошелся со студентом Барановым. Это был громадного роста человек, одинаково обладавший как большим весом, так и необычайной физической силой. Он был беден и содержал себя и свою больную мать уроками, причем »расстояниями не стеснялся«, разъезжая по урокам на велосипеде. Часто между лекциями заходил Баранов к Коле и Гоге выпить студенческого чаю с колбасой и починить свой велосипед, вечно ломавшийся под тяжестью его тела.

Через Баранова Коля получил один очень дешевый урок и стал ходить на час репетировать маленького лентяя.

Баранов же пригласил однажды Колю и на какое-то студенческое заседание.

До университета Коля далеко стоял от политики. В гимназии политические вопросы как-то были в стороне, вне круга интересов гимназистов. Может быть, это просходило из-за отдаленности Пореченска от центра. Так или иначе, из гимназии Колей были вынесены довольно смутные представления о политике.

Попав в университет, Коля сразу почувствовал приподнятое политическо настроение. Он знал и раньше, что студенты-»революционеры«, но также знал, что студенты борются за »возвышенные идеалы«. Поэтому, когда Баранов, предупредив Колю о нелегальности заседания, пригласил его пойти, Коля сразу согласился. Интриговала связанная с этим заседанием некоторая опасность, так как нужно было опасаться полиции, маскируя деловое заседание простой вечеринкой и держа при входе соглядатаев, которые должны были предупредить об опасности.

Собрание происходило на какой-то частной квартире

(Коля так и не узнал ее хозяина). В небольшой комнате было сильно накурено. Когда Коля вошел, один из студентов держал речь на животрепещущую политическую тему. Оратору оппонировали его товарищи прямо с места, не беря слова. Получалось страшно беспорядочно и шумно. Не успели обсудить одного вопроса, как вышел уже другой оратор и стал говорить совсем на другую тему, ничего общего с первой не имеющей. Говорили не только на политические темы, но и на экономические, философские и даже религиозные. Получалось впечатление, что молодежи просто хотелось говорить.

»Совсем, как у Каравайко«, — подумал Коля: »Только там мы собирались в спальне и сидели на сундуках, а здесь собрались в гостиной и сидим на стульях. В общем же — и тут и там одна и та же фразеология« . . .

Ни один из выступавших ораторов не произвел на Колю впечатления, и он ушел с заседания разочарованным, навсегда закрыв за собой дверь в политику.

* * *

Первое время Колю тяготила серая стена прямо перед окном. Он даже пробовал переставлять стол таким образом, чтоб сидеть к окну спиной и не видеть этой противной стены. Но посидев так с некоторое время, начинал чувствовать, что ему чего-то не хватает и что стена его гипнотизирует, заставляя обернуться. И он оборачивался на серую, уже как будто все сказавшую стену, в надежде, что, может быть, все же что-то еще осталось в ней недосказанного. Может быть, что-то она еще может раскрыть, и . . . она раскрывала.

Яснее, чем когда-либо, ему в эти минуты раскрывалась его неудачная любовь к Гальшке Волынской. Он в эти минуты отчетливо сознавал, насколько различны их дороги. Сидя перед серой холодной стеной, он ясно рисовал себе свое будущее, будущее одинокого, никому ненужного холостяка, — точь в точь, как у Николая Петровича. Знал, что так же, как и он, не сможет полюбить другую женщину, что Гальшка будет его единственной любовью на всю жизнь.

Часами не отрывался Коля от стены, пока не приходил с лекций Гога. Коля смотрел на стену и думал . . . Думал он над ее кажущимся однообразием, которое именно и рождало разнообразные чувства, способствовало движению мыслей. Это однообразие давало ему возможность сосре-

доточиться. Так, степи рождают идеи, а классическая красота природы поглощает их.

И постепенно Коля полюбил эту стену. Она его вдохновляла, настраивала, давала возможность углубиться и отыскивать в своих недрах нематериальные ценности.

Часто, походив по городу, потолкавшись в толпе и набравшись впечатлений, Коля спешил домой. Он знал, что придет к себе в комнату и, уставившись в стену, начнет проявлять на ней приобретенные впечатления.

Обычно после прогулок по городу он много писал. Он не знал, что это будет: повесть ли, рассказ, роман, — но писал, не задумываясь, писал для будущего.

* * *

Баранов опять позвал Колю на сходку.

— Приходите обязательно — сегодня будут чрезвычайной важности вопросы, — говорил он.

Но Коля не пошел. Вместо сходки он направился к профессору Виноградову на его вечерний семинарий. Коле эти семинарии давали очень много. Профессор Виноградов был живым примером творчества, и от него можно было учиться уменью отдавать свои знания, уменью использовать свои способности, выявить свою личность.

Так же, как и профессор Ключевский, профессор Виноградов имел большое влияние на Колю. Кроме богатых знаний Коля получал и эстетическое удовлетворение от занятий с ним.

А после занятий в семинарии Коля, заряженный талантом Виноградова, засел за свою работу. Ему хотелось закончить ее и попробовать завтра отнести в газету.

Но завтра оказалось совершенно особенным днем. И пока Коля ходил в газету, в университете произошли беспорядки.

Уже в течение некоторого времени состояние студентов было напряженным. Коля знал, что студенты несколько раз для чего-то собирались в аудитории университета в связи с концертом в пользу голодных крестьян. Коля слышал, что среди студентов по этому вопросу произошли какие-то разногласия и что высшее начальство отклонило решение студентов. В связи с этим и была устроена демонстрация на Моховой против университета.

Когда Коля подходил к университету в тот день, то и перед университетом и на прилегающих улицах стояли усиленные отряды городовых и разъезды конных жандармов.

Но все уже к этому времени было спокойно. Демонстрантов отвели в здание манежа и только отдельные студенты бродили вокруг, но городовые следили за ними и не разрешали останавливаться и группироваться.

Поэтому Коля не смог ничего толком узнать, в университет не пошел, а повернул домой.

Досадное чувство, что все эти беспорядки произошли без него, даже временно затмило чувство довольства от удачи в газете: его статью приняли. Хотя Коля и не сочувствовал »бунтовщикам«, как мысленно он называл демонстрантов, все же было жаль, что он сейчас не с ними, в здании манежа.

»Может быть, некоторые потом и в тюрьму угодят«, — с завистью думал он. В нем говорила молодость, юношеский пыл, желание новых, острых ощущений.

»Интереснейшие, ведь, типы есть среди них, — продолжал думать он, от волнения выкуривая уже третью папиросу подряд, — они готовы жизнь отдать за идею. Это звучит красиво, благородно! Я бы, пожалуй, пошел с ними, если б жизнь отдавать нужно было не за стремление к улучшению чисто-внешних сторон жизни, а за какую-нибудь более отвлеченную идею. А то, ведь, все эти сходки, все конспиративные собрания делаются с целью устройства совершенного материального мира. А разве это так уж важно? Разве у жизни нет более серьезных задач? Нет, нет! Это не то. Так легко, пожалуй, и в материализме погрязнуть« — (как огня, Коля боялся его).

И поднимаясь в свою комнату, Коля уже не жалел, что не оказался среди арестованных студентов. Он приятно ощутил свою свободу. Знал, что вот сейчас, если захочет, он завалится на кровать с книгой в руках, или же сядет за стол писать очередное письмо Николаю Петровичу в Пореченск, — никто не заставит его делать то, чего он не хотел бы.

Но только Коля стал располагаться с письменными принадлежностями, как в стенку, со стороны вериной комнаты, раздались три условных стука. Это означало, что она желала его видеть. Коля стукнул один раз кулаком, что означало отказ. Тогда она заговорила прямо, без всяких условных сигналов:

— Вы бы, Николай, сегодня не оставались ночевать дома. Ночью, наверно, будут аресты, а вы знаете, что ваш Гога сидит сейчас в манеже?

— Гога?!

Это было для Коли новостью. Он знал, что Гога совершенно ни в чем не повинен, что он даже ни разу не был ни на одном из тайных собраний, и вдруг — манеж!

— Да он по недоразумению, наверно, арестован, — высказала свои предположения Вера, — но все же, для безопасности, вам следовало бы хоть уйти куда-нибудь сегодня. Вы, ведь, и с Барановым тоже были хороши, а он серьезно замешан — наверно, будет выслан из Москвы.

Коля поблагодарил Веру за заботы, но решил, что никуда не пойдет прятаться. — »Что будет, то и будет!«

Но занятия, после сообщенных Верой новостей, не шли в голову, и, потушив лампу, Коля предался мечтам.

* * *

Гогу отпустили на другой день. Кроме бессонной ночи, он ничего неприятного не испытал, и сам не понимал, за что его арестовали, — жандармы просто хватали кого попало.

— А ну их всех к чорту! Спать хочу! — обрезал Гога.

— Почему же ты не спал? Что вы там делали?

— Да пели всю ночь напролет. Обстановка, все-таки, непривычная, ну, значит, для бодрости духа и пели. Тут и »Гаудеамус«, тут и »Галка« — Все перемешалось! Кстати, Баранова, говорят, вышлют, так студенты решили взять на себя заботы о его больной матери. Если хочешь принять в этом участие, твоя очередь начнется со следующей недели.

Сказав это, Гога со вкусом повернулся на бок, и почти тотчас же по комнате зажурчало его переливчатое похрапывание.

Пока Гога спал, Коля сел писать письмо Николаю Петровичу. Последнее письмо от отчима было не очень утешительным — он все продолжал хворать. Хождения в классы и домашняя работа не оставляли ему времени для забот о себе, и здоровье его не улучшалось.

Было бесполезно писать и уговаривать Николая Петровича отдавать побольше внимания самому себе. Николай Петрович так привык к труду, что не мыслил себя в бездействии. Тем более, что он знал, как нужен он гимназии. И отрывая от своей жизни день за днем, он отдавал их неблагодарным эгоистам, которые еще находили возможным подтрунивать над ставшим рассеянным и забывчивым старым педагогом.

* * *

— Выпей еще, — предложил Гога, — идти »туда« хотя бы без легкого опьянения скверно.

— Да я уже и так выпил порядочно, — ответил Коля, но тем не менее, налил еще и себе и Гоге, и оба залпом осушили стаканы.

— Пошли, что ли?

— Пошли . . .

Непривычка к питью сказалась сразу, и Коля почувствовал опьянение. Ему стало казаться, что на улице страшно жарко, и он расстегнул пальто.

— Простудишься, — услышал он откуда-то издалека — это, кажется, сказал Гога. Но Коля не обратил внимания на предостережение: как можно простудиться, когда так жарко! И в Москве ли он? В Москве, ведь, сейчас зима, холодно . . . Нет, конечно, это не Москва! Но какой же это город? Это, безусловно, город, в котором он когда-то раньше жил, но только то было так давно, что он почти и забыл. Но вот сейчас этот красивый город ясно всплыл в памяти. Коля отчетливо видел неровные плиты его тротуаров и чувствовал теплый воздух с запахом каких-то ночных цветов. В этом городе часто стоят такие душные ночи, а в небе мерцают огромные яркие звезды. Коля взглянул на небо.

»Да, вот именно такие огромные.«

Он даже почувствовал запах моря. До него донесся шум прибоя и шопот тяжелых влажных роз . . .

— Как жаль, что у нас немного с собой денег, и мы так мало выпили водки, — разогнал вдруг его мысли Гога, — пройдем еще два квартала, а потом возьмем извозчика, пешком неудобно, »туда« всегда приезжают.

— Да и хмель весь пройдет, если идти пешком, — добавил Коля.

— Эх, жаль, что мало выпили . Эй, извозчик, на Ямскую! — лихо крикнул Гога.

— Сколько? — растерянно пробормотал Коля.

— Чепуха! Едем! Хватит и еще на папиросы останется.

Они сели на извозчика и, подпрыгивая на ухабах и толкая друг друга плечами, скоро очутились на Ямской. Колю стало клонить ко сну.

— Здеся! — вдруг дискантом пропел возница, останавливаясь перед домом с ярко освещенным красным фонарем.

Сквозь закрытые ставни наружу доносились звуки рояля, женские голоса и смех.

Молодые люди вошли, и сейчас же, им навстречу, вышла полная, сравнительно, еще молодая женщина, с острыми

черными глазами, но с чуть распустившейся фигурой. Она была одета в яркокрасное атласное платье, отделанное черным кружевами.

— Раздевайтесь скорее! Фуражки оставьте здесь. Сейчас повеселимся, танцовать будем, — тормошила она молодых людей, говоря певучим, протяжным голосом.

— Девочки! — крикнула она в зал, — идите гостей встречать, студенты приехали!

Коля задержался в передней, отпуская извозчика, Гога же, тем временем, вошел в зал и, неудобно усевшись на стул, стал дико вращать по сторонам своими глазными бусинами.

У стен стояли стулья, на которых, в самых разнообразных позах, сидели женщины. Все они были не стары, но сильно напудренные лица говорили о частых бессонницах.

Коля вошел в зал, его окружили и стали просить папирос. Несколько поодаль, у стены, стояло пианино. За ним сидел еще молодой мужчина с усталыми, безразличными глазами. Было уже поздно, а он, видимо, не спал прошлую ночь, и теперь лицо его было серо и казалось смятым.

— Что же молчит молодежь? — вдруг раздался певучий голос хозяйки: — надо веселиться, а они только смотрят.

— Закажите музыку, — протянула какая-то из женщин

— Господин студент, — весело обратилась к Коле другая, — Аза очень сносно танцует, пригласите, она сделает с вами тур. Правда! Мы любим танцовать.

— Закажите вальс, — подавала инициативу хозяйка, сидевшая теперь за столиком у входа, с колодой карт в руках.

Коле и Гоге было как-то не по себе, и они сжались. Хмель начинал проходить, и Коля опять пожалел, что мало выпил. Он начинал чувствовать неловкость разыгрывать из себя хозяина в этом, чужом для него, доме, с чужими вокруг женскими лицами.

»В жизни живем мы только раз! В жизни живем мы только раз« . . . — начала, было, напевать какая-то из барышень. Но ни Коля, ни Гога не поддержали. Они не знали, о чем заговорить, и продолжали молчать, не выпуская изо рта папирос. Молчали и »барышни«, и чувствовалась страшная натянутость в их присутствии здесь, в этой большой, довольно хорошо обставленной комнате.

— Молодые люди . . . — опять запела »атласная дама« — да угостите же барышень чем-нибудь! Закажите музыку, наконец! . . .

А сама в это время пытливо вглядывалась в них, стара-

ясь по внешнему виду узнать содержимое их портмонэ

— Да оставьте вы их! — довольно резко прервала ее женщина в сером, слева от Коли:– Видите, сидят, как в воду опущенные!

Коля быстро взглянул на нее — до того он ее совсем не замечал. Это была худенькая, совсем молоденькая девушка с серьезным, почти строгим, лицом и красивыми грустными глазами.

— А я-то думала: отдохнут, а потом и музыку, — капризно вытянула губки другая барышня, — думала, потанцуем, закусим, а они уселись в кресла и, словно, уже умерли . . . Возьмут на »фук«, — тихо поделилась она своими предположениями с соседкой.

— Нет, видимо, надо погадать, — громко опять заговорила »атласная дама«, покрывая своим голосом все шопоты: — Я хорошо гадаю и сейчас узнаю, зачем приехали к нам студенты. Вот я сейчас и открою их секреты.

И она стала раскидывать карты, не переставая следить за каждым движением Гоги и Коли.

— Будет закуска, девочки! — вдрут вскрикнула она, хлопув мясистой ладонью по столу.

— Ну-у! — радостно вырвалось у девочек, но вдруг сконфузившись своей невольной искренности, они неловко задвигались на стульях и опять о чем-то зашушукались между собою.

— Будет, будет, девочки! — продолжала »атласная дама«, открывая все новые и новые карты: — И теперь я уж знаю, зачем пожаловали к нам господа студенты, — загадочно протянула она, — они у нас заночуют . . . Ха-ха! Вот видите, сынки, без нас, как видно, не обойтись. Старушки везде нужны. Одни-то вы и не сделаете ничего, — многозначительно прибавила она, вставая. — Теперь потанцуйте, а я пойду посмотрю, чтобы вам кроватки приготовили. А быть может, вы и сами пройдете посмотреть, как мы живем?

Гога и Коля неловко переглянулись, но затем Гога быстро встал и пошел вслед за хозяйкой. Коля медленно двинулся за ним.

— Меня зовут Марьей Никифоровной, — бросила через плечо хозяйка, идя впереди со свечой по коридору.

— Ну, каких же девочек-то вам нужно? — заговорила она шопотом, сверля молодых дюдей своими острыми глазами и перебирая на груди золотую цепочку от часов.

Сейчас они стояли в слабо освещенной, довольно бедной комнате.

— Ту, что в сером . . . — выдавил из себя Коля.

— В сером, говорите? Да кто же это такая, не упомню . . . В сером . . . Вы уж лучше покажите сами. Берем мы десять рублей, ну а с вас, со студентов-то . . ночь, почитай на исходе . . . Купите пивца, папирос, да музыканту дадите немного для почину — и все будет по-хорошему, — похлопала, она Колю по плечу. — Спите хоть до 12, никто вас не побеспокоит. Мы-то, ведь, поздно встаем. Чайку попьете с нами, а если что раньше нужно будет, так скажите — разбудим. Так я пошла . . . Вот только не знаю, какую вам-то, — опять обратилась она к Коле: — Слева, говорите, сидела? Ох, и не упомню! В сером платье? Да, наверно, это Тамара! Ну, хорошо! Вам все принесут в комнаты, вы располагайтесь, как хотите, а я сейчас и девочек кликну. Маруся! Тамарочка! — крикнула она в зал. — А вы пока пройдите сюда, по коридору вторая дверь. Направо — моя комната, как раз против комнаты Маруси, — обратилась она к Гоге: — Она, ведь, с вами сегодня будет . . . Да где же они? Отчего не идут? Да пойдите же вы сами!

Но в это время послышались шаги, и в комнату вошла Тамара. Это была именно та, которая так резко, на весь зал отозвалась о гостях. Она бросила на Колю строгий взгляд и молча стала зажигать лампу под синим бумажным абажуром. Вместо прежнего неуверенного мигающего света от свечки, комната озарилась устойчивым загадочным, полумертвым синим светом.

Когда Тамара тянулась к лампе, а потом трясла обгорелую спичку, Коля невольно обратил внимание на ее обнажившиеся до локтей руки, прелестные, детски-худые. . .

— Вы сядьте сюда, на мою постель, — заметив его пристальный взгляд, просто сказала она, — сейчас принесут нам, т. е. вам . . . папирос. — Она заметно волновалась.

Гога старался быть развязным. Он удобно уселся в кресло и посадил свою даму рядом.

В дверях снова показалась Марья Никифоровна.

— Устроились? Вот и хорошо! Что? — не расслышала она вопроса: — Семь с полтиной, — бросила она и закрыла за собой дверь.

— Давайте пить, господа, — с фальшивым оживлением воскликнула Тамара, — давайте, я разолью вино! Знаешь, Маня, — обратилась она к подруге, — мне показалось еще в зале . . . я почувствовала, что иначе и не могло быть . . .

Вы не пьете? Нет? Это же не хорошо! Вы должны пить! — быстро, как бы боясь паузы, говорила она: — А пива? Хотите пива? Я? Я никогда не пью! И ... и не пила. А курить — лучше. Так вот и курю! А не курила раньше ...

Коля неотрывно смотрел на нее. Он совсем отрезвел и теперь отчетливо видел свое глупое положение перед этой чужой, немного суровой девушкой.

— Я налью вам пива. Должны выпить! — тем временем отрывисто и нервно бросала Тамара: — Вы, словно, боитесь. Ну, пейте же! Пейте скорей! Какой вы ... Смотрите — и я пью. Я сама теперь пью ... буду пить! ...

Тамара выпрямилась, манерно взяла стакан, далеко отставив мизинец, и, пригубив, дала стакан Коле. Чтобы выйти из чувства неловкости перед собой, Коля решил, что лучше опять охмелеть, и взял стакан.

Гога все время пил вперемешку то вино, то пиво и, быстро хмелея, все ближе и ближе тянулся к своей соседке. Та нервно посмеивалась и смотрела каким-то покорным взглядом то на него, то на Тамару. Скоро Гога, опьянев совсем, качаясь, вышел из комнаты, уводя за собой Марусю.

Коля, прислонясь к стене, полулежал на кровати.

— Вам неудобно так? Я положу сзади подушку, — заботливо говорила Тамара: — Какие у вас глаза! Почему вы молчите и только смотрите? Я вас не понимаю! Не-по-ни-ма-ю! — с ударением сказала она. — Как вам сказать? Вы знаете сами ... Это ... —

И вдруг, заломив руки, она простонала:

— Я скоро с ума сойду! А сегодня я еще буду горько плакать!

Коля смотрел в ее грустные глаза, на ее худые, почти детские, заломленные руки и думал: улыбнется ли она хоть раз?

— Вы какой-то странный. Глаза ... — разбросанно говорила она, как будто только отвечала своим мыслям и совсем не заботилась об их стройности: — Чего же смотреть? Что вы хотите от меня? Что хотите?

Близко придвинувшись к Коле, она глубоко заглянула ему в глаза:

— Что вы хотите?

В ее голосе прозвучало что-то похожее на укор.

— Ну, я так и знала! Еще в зале, когда ...

Коля не мог оторваться от ее бледного лица. Комната, в которой он сидел вдвоем с этой девушкой, — с туалетом,

умывальником и картиной из охотничьего быта прямо перед ним на стене, — вдруг показалась такой знакомой. Словно, давно-давно все это он где-то уже видел.

»Что это со мной сегодня?« — подумал он: »Все новое кажется мне старым, уже бывшим« . . .

На него смотрела эта грустная девушка, тоже показавшаяся такой близкой, такой знакомой.

»Где же я тебя видел, моя знакомая незнакомка? Кто ты была для меня раньше? Сестра? Жена?«

Вдруг ее голубые глаза сделались лучистыми, она нагнулась, белокурые мягкие локоны коснулись колиного лица, а горячие, тонкие руки бережно охватили шею. Но, не встретив ответного объятья, она, как бы повинуясь какому-то голосу изнутри, быстро отшатнулась и пристально посмотрела на Колю далеким взглядом, от которого повеяло неприязненным холодком.

— Что вы хотите? — медленно проговорила она. И вдруг ее глаза как-то злобно блеснули. Не дожидаясь ответа, она приблизилась к Коле вплотную, прижалась всем телом, крепко сжав за его спиной свои руки и перекинув одну ногу через его колено.

— Нехорошо? И так нехорошо? Здесь все хорошо! — неожиданно, в первый раз за все время, засмеялась она. Глаза ее потеплели, и вся она сделалась совсем, совсем родной, как будто где-то давно-давно . . .

Светло.

Сквозь ставни окна пробивался рассвет. Рядом на кровати лежала проститутка и спала. Ее волосы растрепались, а лицо было бледно от толстого слоя вчерашней пудры.

Всю ночь она говорила о себе, говорила много и сбивчиво, и Коля устал ее слушать. Теперь он смотрел на эту чужую женщину, лежащую рядом с ним, и пытался восстановить запечатлевшийся в голове образ белокурой прекрасной девушки с голубыми грустными глазами, с ее детскими порывами то отчаяния, то ласки, какими-то минутными вспышками былого . . .

Этот образ был сродни Коле. Но память отказывалась служить ему, и он не мог воскресить образа. Коля настойчиво гнал от себя чужое, ненужное существо, которое сейчас так ярко обозначилось. Но его усилия были тщетны:

прекрасный образ исчез бесследно, а эта потрепанная женщина была ему даже чуть противна

За стеной кашляли и хлопали дверями. Очевидно, барышни расходились по своим комнатам. В коридоре кто-то запел сиплым, надорванным голосом:

»А кому какое де-ело,
Что из сердца кровь и-идет« ...

Этот обрывок трактирного романса настойчиво стучал Коле в виски и сверлил мозг.

Боясь разбудить спавшую женщину, он тихонько оделся и вышел.

* *

»Николай Петрович плох. Выезжайте немедленно«, — гласила телеграмма, полученная Колей из Пореченска и подписанная близким другом Николая Петровича — математиком Петелиным.

Коля понял, что положение Николая Петровича, действительно, должно быть серьезным, раз посылается такая телеграмма. Наскоро собравшись, он на другой же день выехал в Пореченск.

Но Коля опоздал: Николая Петровича он уже не застал в живых.

Пожелтевший, худой, как бы выросший, совсем неузнаваемый, лежал он в гробу. Даже его рыжеватые усы как-то выцвели и тоже были чужими, и Коля долго не мог заставить себя осознать, что это именно и есть самый дорогой ему человек, который 13 лет тому назад подобрал его на улице.

Сосредоточиться на этой мысли мешали живые люди. Они приставали к нему с разными вопросами, касающимися похорон, квартиры, оставшихся после Николая Петровича вещей. Коля сердился. Его раздражала как их бестактность, так и слова соболезнования, и делался сам груб и резок. В особенности было неприятно разбирать вопрос о вещах. Было неловко толковать о таких пустяках в то время, когда со смертью Николая Петровича Коля терял самое ценное, самое для него дорогое. Ему было стыдно мелких человеческих интересов, и он сердито от всего отмахивался:

— Ради Бога, делайте, что хотите, с вещами, только не оставляйте их мне!

Похороны Николая Петровича Ключевского, старого учителя словесности единственной классической гимназии в городе, были большим событием в Пореченске. Кроме гимназии, его гроб провожала и добрая половина всего города, главным образом, пореченская интеллигенция. Но, конечно, было также много и просто любопытных.

Над гробом было сказано много красивых речей. Говорили о больших заслугах Николая Петровича перед гимназией и о его достоинствах как человека вообще. Упоминали о том, что он не жалел себя и, как выяснилось после смерти, тратил все средства на то, чтобы из маленького, грязного оборвыша, подобранного на улице, сделать приятного, интеллигентного человека. И Колю, которого раньше както даже и не замечали, сейчас все особенно внимательно и ласково осматривали.

После того как Николая Петровича скрыли в сугробе непослушной полумерзлой земли, завалив его цветами и венками, на кладбище стало тише. Коля, устав от чрезмерного к нему внимания и многословия, лившегося через край, рад был остаться один. Отказавшись ехать со всеми остальными, он решил посидеть перед свежей могилой.

Он не мог простить себе, что опоздал и не слышал последних напутственных слов Николая Петровича, всегда таких бодрящих и трезвых. Теперь, оставленный всеми, Коля не знал, что делать, как жить дальше.

Он не помнил, долго ли так просидел, но когда встал идти домой, то не мог решиться войти в квартиру Николая Петровича (он не мог считать ее своей) и бесцельно побрел по городу.

Шел он долго и дошел до обрыва, за которым был небольшой лесок, сейчас голый и сквозящий прозрачной пустотой своих веток. Весна еще только слегка намекала о своем приходе.

Коля долго стоял у обрыва, перед открывшейся пропастью, предостерегающе оскалившейся каменистыми выступами. Она была темна и непонятна. И Коля, опустив голову, пошел дальше.

Мысли разбрасывались. Он шел и думал о том, что нужно ехать обратно в Москву, в университет, и о том, что вот так внезапно потерял единственного близкого человека, и что с этой потерей он теперь еще дальше отходит от Волынских. Теперь он уже не приемный сын учителя словесности, а просто какой-то неизвестный студент — Николай Ключевский.

Внезапно Коля остановился. В своих думах он зашел, Бог знает куда. Но странно: если вот сейчас повернуть налево, пройти два квартала и опять свернуть налево, то будет Косой переулок . . .

Дрожь прошла по телу Коли. Он усмехнулся:

»Зайти »домой«, что ли?«

Но постояв некоторое время в нерешительности, он не повернул налево, а пошел прямо.

* *

Дни шли за днями. Коля знал, что теряет время, что ему надо ехать в Москву, сдавать зачеты. Но зная это, он все же не ехал, а продолжал жить в Пореченске.

Он все не мог придти в себя после кончины Николая Петровича. Часто ходил на кладбище и подолгу безмолвно стоял над могилой.

»Зачем ты ушел из моей жизни?« — думал он: »Рука Провидения? . . . Испытание судьбы? . . . Но, ведь, это же жестоко! Это несправедливо!«

В молчаливом отчаянии стоял он, высокий, худой, меж кладбищенских крестов, и червь сомнения заползал в его душу и точил ее. Сухими, невидящими глазами смотрел Коля на голый бугор, под которым лежал Николай Петрович, и думал:

»Бога нет! Нет справедливости! Нет добра! Только одно зло на земле« . . .

Но потом более мягко вопрошал немую могилу:

»Или ты думаешь, что я уже должен сам суметь идти дальше? Думаешь, что ты сделал достаточно, потому и ушел? Нет, ты ошибаешься, я . . . Я не знаю, как дальше жить, что дальше с собой делать: я потерялся . . . Вот, если б ты был жив, ты своим благоразумием сейчас же дал бы мне правильный совет. Я знаю, ты сказал бы мне: поезжай сейчас же в Москву. А я . . . я не хочу оставить Пореченска. Как приехал сюда, неотвязная мысль зайти к Вольнским сверлит мой мозг. Я знаю, что, может быть, сделаю глупо, если пойду, но . . . потому и не уезжаю отсюда, что не могу решить . . . Зачем ты меня оставил, мой ценнейший спутник жизни!«

Коля опустился на колени и, прижавшись лбом к деревянному кресту, долго оставался в таком положении. Молился ли он? Может быть. Он так давно не обращался к Богу, что даже забыл, как это делается. Но каждый раз,

побывав на могиле Николая Петровича, он получал облегчение.

Он также полюбил ходить к обрыву и смотреть в мертвящую бездну. Стоя у самого края, он любил давить ногой землю и смотреть, как она осыпается. Вот он так сильно надавил, что большой полумерзлый кусок с шумом рухнул из-под его ноги. Коля быстро отступил назад. Было очень легко потерять равновесие и тогда ... Коле нравилось заигрывать с опасностью.

Однажды, долго простояв у обрыва, Коля шел домой, когда уже начало смеркаться. И опять дошел он до того угла, от которого, если повернуть налево, в двух кварталах был Косой переулок.

Как преступника, тянуло его посмотреть на двор, на дом, в котором он когда-то жил с Корнелией и Володькой.

И опять, как и в первый раз, он долго не решался повернуть налево, как будто что-то удерживало его от этого. Но теперь, постояв некоторое время на углу, он, усмехнувшись своей нерешительности, повернул налево.

Лихо заломив фуражку на затылок и небрежно что-то насвистывая сквозь зубы, он подошел к покривившимся воротам своего бывшего дома.

»А вот сейчас уж мне не залезть в подворотню, как, бывало, делал в детстве«, — опять усмехнулся он.

Тронул калитку. Жалобно заскрипев, она открыла колиному взору грязный квадратный двор.

»Какие маленькие и низенькие дома! Неужели они всегда были такими, или же ... вросли в землю? А, может быть, это я поднялся вверх?« ...

А вот и сарай, под которым он много раз прятался от злых володькиных рук ...

»Нет, нет! Скорее вон отсюда!«

Коля сделал движение идти.

— Молодой человек! — вдруг раздалось с соседнего крыльца: — Вы кого ищете?

Коля оглянулся. Облокотившись о перила, в ярком желтом капоте, с накинутым на плечи теплым платком, стояла женщина. Она была не старая. Подведенные глаза ее ласково смотрели на Колю.

— Зайдите чаю попить, — сказала она.

»У нее неплохая фигура, мягкие округлые линии«, — подумал Коля и ступил на крыльцо.

— Я здесь жил когда-то, — входя в переднюю, сказал Коля, чтобы как-нибудь начать разговор.

— Здесь? — удивилась женщина: — Где же вы жили?

— Вот в той квартире, что посередине, — показал рукой Коля. — Недолго жил . . . Комнату снимал, — невольно, из какой-то внутренней предосторожности, соврал он.

— Что-то не помню вас,— заметила женщина: — Конечно, и сама-то я живу здесь недавно. Сейчас в этой квартире живет слепой старик с дочерью, а до того там жил карточный шулер, из бывших чиновников. Он задушил свою жену.

— Как . . . задушил?

— А так и задушил! Прошло это ему. Так сделал, что и доказать нельзя, а соседи-то все и слышали. Стенки тонкие . . . Идемте, винца выпьем, — ласково обратилась она к Коле, беря его под руку и прижимаясь к нему телом.

Коля холодно освободился от нее.

— Нет . . . Я . . . я не могу . . . не хочу . . . я собственно не хотел к вам заходить, я . . . Извините за беспокойство.

Коля быстро пошел к выходу.

— Чем не угодила? Молокосос! — кинула она ему вслед.

Коля чувствовал пустоту, бессодержательность своего существования. Красницкий писал из Москвы о своих экзаменах, а Коля, переехав из бывшей квартиры Николая Петровича в комнату, заплатив вперед за месяц, взял два урока и как будто и не собирался никуда уезжать.

Брожение по улицам вошло у него в привычку. Он кипел энергией, которая, впрочем, хитро припряталась где-то и ничем себя не проявляла, и только хождение до устали спасало бесцельное его существование. Он ходил и все думал:

»Почему все же так вышло, что я ничего не смог сделать для Николая Петровича? Судьба нарочно так подстроила, чтобы я потом всю жизнь мучился угрызениями совести . . . Вова сейчас в Петербурге, а Гальшка здесь . . . Мать не пустила ее одну ехать. Осенью хотят всей семьей переехать в Петербург . . . Девять, десять, одиннадцать, двенадцать«...

Привычка считать во время хождения появилась у Коли недавно. Откуда пришла эта привычка? Считать ему было решительно нечего и совсем не нужно, и все же, чуть отвлекался он мыслью в сторону, как сейчас же замечал, что уже считает. Он только не мог установить, с какой цыфры начинает, но был уверен, что начинает не с единицы. Ловил себя он всегда уже на середине, и начало от него ускользало.

»А все же интересно было бы знать эту цыфру: может быть, она для меня сакраментальная?«

Однажды, когда Коля бесцельно брел по улицам, прямо перед ним вдруг предстал какой-то пьяный оборванец. Сорвав с головы фуражку, он шутовски низко поклонился:

— Зравия желаю, Ваше превосходительство! — сладчайше проговорил он.

Оторванный от своих дум неожиданной выходкой, Коля машинально остановился и встретился с глазами оборванца, который, продолжая выламываться, еще раз низко в ноги поклонился Коле:

— Мое нижайшее!

Наглые, красивые, глаза, испитое, сине-красное опухшее лицо, вихрастая голова . . .

Коля вздрогнул. Он почувствовал, как онемели у него колени, как отхлынула от лица кровь: пред ним стоял Володька. Обрюзгший, располневший и ободравшийся, он все же очень мало изменился, только постарел.

— Узнали, Ваша Светлость? — продолжал он: — Вижу по лицу, что узнали. Как поживать изволите? Слышал — наследство получили. На чаек с вашей милости, — просительно протянул он руку ладонью вверх.

— Гадина! — еле нашел в себе силы с омерзением выдавить из себя Коля и быстро пошел прочь.

— Ха-ха-ха! — раздался за его спиной демонический смех.

Прибавив шагу, Коля свернул за угол, но долго еще в его ушах звенел омерзительный смех.

»Откуда он взялся« — думал Коля, придя домой: »И как он узнал меня? Или же он все время следил за мной и только ждал случая? . . . О, припоминаю: я его видел на похоронах Николая Петровича, он у всех тогда вертелся под ногами. Теперь, когда Николая Петровича нет, у него нет больше и преграды ко мне« . . .

И опять Коля с болью подумал о скончавшемся приемном отце. В памяти также воскрес разговор с женщиной в Косом переулке.

»Корнелия! Корнелия! Несчастная ты женщина! Неужели он, действительно, задушил тебя, не дав спокойно и умереть!«

Долго Коля не мог успокоиться, пока не взял в руки томик стихов. Когда ему бывало не по себе, он всегда любил почитать стихи: это его успокаивало. На этот раз он открыл томик Майкова. Он читал одно стихотворение за другим.

Власть рифмы и размеренность стиха постепенно стали его захватывать, все будничное стало отходить, и Коля почувствовал себя лучше.

*

Время шло. Уже больше недели, как Вова Волынский приехал из Петербурга на летние вакации. Совершенно неожиданно для Коли в один прекрасный день Вова зашел к нему. Высказав сочувствие по поводу кончины Николая Петровича, он просил заходить к ним, добавив:

— Мамочка просила передать, что будет рада видеть тебя.

Коля долго переживал детали этого визита и долго не мог придти к решению: воспользоваться любезным приглашением или нет.

»Мамочка будет рада видеть . . . А Гальшка?«

Вова ничего не сказал о ней. В разговоре он лишь подтвердил ходившие по городу слухи, что осенью они всей семьей уезжают в Петербург.

— Сестре нужно общество, здесь ей не место жить, — сказал он.

»Да, конечно«, — сердито грыз карандаш Коля: »Ей нужно выезжать в свет, нужно сделать партию« . . .

Но, поблагодарив за приглашение, он обещал Вове зайти как-нибудь в свободное время.

— В свободное время? — удивился Вова: — Чем же ты так занят?

— Я пишу большую повесть . . . Кроме того, у меня завязались сношения с одной из московских газет . . . Я обещал им присылать . . .

— Не читал. Не слышал, — холодно, с оттенком недоверия, заметил Вова, — московские газеты я читаю иногда, но не встречал там твоей фамилии. Может быть, ты пишешь в какой-нибудь третьеразрядной газетке?

— Нет . . . не в третьеразрядной, но . . . но я пишу под другой фамилией.

Коля уже жалел, что начал об этом разговор.

»Как будто рекламирую хорошую сапожную ваксу, а мне не верят ее доброкачественности.«

Он совсем и не думал рассказывать о своих занятиях, это вышло нечаянно: после заявления Вовы об отъезде в Петербург Коля боялся молчать, чтобы не выдать своего вол-

нения, а начав говорить, невольно сказал то, чего бы в другое время никогда не поведал бы.

* * *

В ближайший же четверг Коля отправился к Волынским.

Но шел к ним на этот раз не сумасбродный, восторженный юноша, а вкусивший жизнь, сдержанный молодой человек. Решив идти, Коля много думал над собой, вырабатывал целый план действия, и, в конце концов, обратившись к одному из своих вспомогательных, довольно пассивных, »я«, он вызвал его к деятельности, постарался совсем воплотиться в него. Он решил принять вид вполне уравновешенного, спокойного и равнодушного ко всему человека, который немного устал от шумной московской жизни, пресытился ее красотами, и которого уже не может свалить с ног какая бы то ни была женская красота.

И когда Коля ступал по знакомой, покрытой красным ковром, лестнице, то это шел совершенно другой человек. Его сердце, правда, попрежнему билось сильно и горячо, когда он в передней Волынских положил фуражку на знакомый подзеркальник, напомнивший ему об украденной когда-то белой пуховой перчатке, но внешне он ничем не выдал своего волнения. Его удлиненное худощавое лицо оставалось холодным, серые глаза, окутанные печалью, равнодушно смотрели поверх голов немногих гостей, мягкие губы были безжалостно крепко сжаты, как бы даже и не допуская возможности существования улыбки. Это был максимально вобравшийся в себя, подтянутый, суховатый молодой человек, сразу лет на десять постаревший. Перемена была настолько разительна, что сразу бросалась в глаза.

— Как вы возмужали, — проговорила Евгения Павловна, — сразу видно, что вам пришлось много пережить.

— Я от души сочувствую вам в вашем горе, — проронила Гальшка, с легким недоверием поднимая на него свои лучистые глаза, но, не видя на его лице никаких признаков переживания, осмелела и добавила: — Вы изменились . . . к лучшему.

— Мальчишеская пора закончилась. Нянек за спиной больше нет, нет больше и распущенных нервов, — развязно проговорил Коля, но близость Гальшки оттянула его правильно размеченный бег, он немного соскочил с линии и

улыбнулся, но улыбка у него получилась кривая, неуверенная.

В течение всего вечера хмуро, с видом во всем разочаровавшегося человека, просидел Коля, не взглянув ни одного лишнего раза на очаровательную Гальшку, хотя и чувствовал ее всей душой. От него не ускользало ни одно ее слово, но они долетали до него не оформленные в смысл, а просто как звук, как интонация, которая резонировала в его тонкострунной мягкой душе и создавала неземную мелодию.

Коля не танцовал и сел у фаянсового столика, на котором к услугам усталого гостя был большой выбор салонных игр и забав. Ловя ухом мелодичный голос Гальшки, раздававшийся то здесь, то там, Коля делал вид, что страшно увлекся перекатыванием бусинок по смеющемуся красному лицу паяца под стеклом, пытаясь засадить эти бусинки ему в глаза, в рот и тем придать выражеине его плоскому лицу.

Гости тем временем танцовали. Во время миньона дамам и кавалерам раздавались какие-то особые ордена с именами классических героинь и героев. Кавалеры отыскивали своих дам с соответствующими именами и танцовали с ними. Были также и какие-то выступления. Кто-то пел, кто-то очень плохо, с дешевым пафосом, декламировал.

У Волынских всегда бывала какая-нибудь заранее намеченная программа. Все это знали и обычно готовились к ней. Сама Гальшка не пела, но зато очень ловко тасовала гостей и выводила то одного, то другого с каким-нибудь номером. Чувствовалась некоторая натянутость в этих выступлениях, и все, делая вид, что страшно веселятся, на самом деле скучали.

Вдруг к роялю села какая-то девица. Коля не встречал ее раньше у Волынских. Она смело взяла несколько аккордов и тяжелым драматическим сопрано не пропела, а выкрикнула:

— Стоит одна пустыня . . .

В гостиной все сразу притихли от этого окрика.

Сделав резкую паузу, девица опять взяла на рояли несколько таких же резких и неожиданных аккордов и потом с тоской выдавила из себя:

— Идет один верблюд . . .

После чего опять последовала тяжелая пауза, а рояль на двух высоких нотах жалобно взвизгнул. Гости насторожились. Судя по началу, надо было ждать чего-то весьма трагического от одинокого верблюда в жалкой пустыне.

А девица продолжала:

— Идет второй верблюд . . .

И опять рояль попрежнему взвизгнул на тех же »ми« и »си бемоль«.

— Идет третий верблюд . . .

Становилось скучно. Было очевидным, что по пустыне шел самый обыкновенный караван верблюдов. Единственной загадкой оставалась полная тоски музыка и потрясающий аккомпанимент.

— Идет четвертый верблюд . . .

В притихшей, было, гостиной, началось движение.

— Идет пятый верблюд . . .

Кругом послышалось легкое шипение, характерное для недовольной аудитории. Девица как будто только этого и ждала. Заслышав за своей спиной этот особый шелест лопающегося терпения, она с невероятной яростью набросилась на рояль, взяла невероятное фортиссимо какого-то невероятного аккорда и драматически закончила:

— Идет шестой верблюд, и он ногу себе сломал!

Чуть не расщепив рояля силой своего финального удара, она с торжествующим лицом обернулась к гостям, ожидая аплодисментов.

»Кто она такая?« — подумал Коля. В этой гостиной она казалась таким же диссонансом, как и ее музыкальный номер.

Вообще Коля заметил, что у Волынских сегодня были почти все новые лица. И хотя были двое приезжих из Петербурга, вылощенных и элегантных, блиставших золотом мундиров, молодых людей, все же общество на этот раз было проще и демократичнее обычного.

Евгения Павловна очень скоро ушла во внутренние комнаты. Это тоже говорило за то, что сегодняшний прием был не из значительных. Молодежь, предоставленная самой себе, разом почувствовала себя свободнее и рассеялась по гостиной. Некоторые перешли в кабинет Вовы. Интимность накрыла их своим крылом. Коля сгорал от ревности. Ему уже становилось невыносимым слышать бескорыстно-веселый смех Гальшки, который серебром вырывался из общего разговора. Этот смех бился Коле в уши, стучал в виски.

»Подойти бы к этому красивому правоведу, которого Вова безусловно привез специально для сестры, и швырнуть в него красным паяцом под стеклом (Коля не выпускал его из рук). А потом бросить ему в лицо оскорбительное »бело-

подкладочник«, перевернуть изящный столик со всеми салонными пустяками и, громко хлопнув дверью, уйти« ...

Коля знал, что может это сделать. Для этого нужно лишь было немного ослабить напряженные мышцы. Выходка манила своей соблазнительной эффектностью, и Коля уже чувствовал, как наполняется сладостью произведенного им скандала.

»Неужели я это сейчас сделаю?«

Сердце его гулко забилось. Он испугался сам себя и до боли стиснул зубы и сжал кулаки, так что ногти впились ему в мякоть ладони. Он почувствовал боль. Спокойно поднявшись, Коля стал прощаться. Его не задерживали. Он был скучен и неинтересен. Каждый предполагал, что молодой человек, вероятно, потому не в настроении, что все еще переживает недавнюю потерю близкого человека. Многие старались подчеркнуть ему свое внимание и высказывали сочувствие. Колю все эти неискренние фразы начинали злить. Ему страшно хотелось взять и дико расхохотаться в эти фальшивые лица или же, в ответ на все их жалостливые слова, громко крикнуть: »Гоп, мои гречаныки, гоп, мои бигы« и пуститься в присядку. Но он сделал над собой невероятное усилие и, смотря поверх голов, чтобы не видеть фальшивого блеска осматривающих его глаз, отыскал в себе достаточно силы, чтобы доиграть роль до конца и чинно и благовоспитанно выйти от Волынских.

Когда он шел домой, в ушах его все еще звенел милый, хотя и жестокий смех.

- Пятый верблюд, шестой верблюд, седьмой ... — машинально отсчитывал он, заглушая в себе возмущение против всех людей на свете, в жалких человеческих интересах кривляющихся друг перед другом.

* * *

Коля часто заходил к Вове, хотя теперь уже совершенно ясно определились их разные дороги. Коля мало говорил о себе. Свое будущее он плохо себе представлял. Единственно, в чем он был уверен, что поедет опять в Москву, будет учиться в университете. А дальше? Дальше ничего не было ...

У Вовы же вся жизнь представлялась решенной и ясной, как на ладони. Он завязал в Петербурге нужные знакомства, бывал на раутах, был принят в известных петербургских салонах.

Колю раздражало его точное расписание всего будущего,

возмущала вся предначертанная, чистая, ничем не замаранная карьера, и он нарочно говорил о студенческих беспорядках, арестах в университете и даже хвастливо прилгнул, что, когда вернется в Москву, обязательно запишется в землячество и будет работать в конспиративном кружке.

Вова при этих словах вспыхнул возмущением.

— Зачем это? Кому это нужно? Смутьянам? Чтобы в мутной воде рыбу половить!

— Какие смутьяны, — в свою очередь, загорячился Коля. По большей части, это все идеалисты, люди, отказывающиеся от личной жизни во благо родины.

— Я считаю, — не соглашался Вова, — что люди, склонные к левым идеям, просто ненормальны. Нормальный человек не может быть левым. Левизна — болезненное явление.

— Ты не хочешь считаться с вопросами времени. Ты ничего не знаешь о настроениях среди интеллигенции.

— Наша богатая страна, с прекрасной исторической основой и с большим будущим, не нуждается в подобной »интеллигенции«, — иронически подчеркнул Вова: — Им бы только разрушить все, а что они вместо этого могут предложить? Поперевешать бы десяток-другой этой публички в назидание другим, так весь их либерализм как рукой сняло бы. Россия от либералов, кроме вреда, ничего не получает.

Завязался спор. Коля, хотя и признавал, что не следует студентам вмешиваться в политику, сохраняя университеты лишь для науки, но все же отстаивал необходимость сближения с народом и необходимость некоторых преобразований в стране.

Отстаивая самые невинные мечты каждого русского интеллигента, Коля в пику Вове старался казаться страшным революционером. Мало вообще интересуясь политикой и экономикой, сейчас он исключительно ради протеста размазывал по своему лицу красные краски.

Уйдя от Волынского, он тотчас же и забывал все, что так горячо отстаивал. Не забыл этого только Волынский, накаливавший в себе ожесточение и неприязнь против Коли.

* *

В общем же к Коле в доме Волынских привыкли. Евгения Павловна считала, что делает доброе дело, давая ему возможность бывать у них: »Не так сильно чувствует он свое одиночество в нашем доме, *ce pauvre enfant!*«

Гальшка, вначале относившаяся к нему с осторожностью и даже подозрительностью, постепенно стала доверчивее. Она видела, что Коля как будто остыл после поездки в Москву и даже совсем перестал ею интересоваться.

»Видимо, все прошло«, — думала она. — А может быть, ничего серьезного и не было« . . . — с долей обиды заключила она. Ее, пожалуй, даже несколько раздражало колино невнимание. Для нее это было непривычно.

»А может быть, он просто тяжело переживает кончину Николая Петровича? И, может быть, ему, наоборот, следует оказывать больше внимания, чтобы облегчить его переживания?«

И думая так, она старалась быть добрее, ласковее с ним. Она даже сама заговаривала на прежние темы: о современных книгах, о лекциях, что устраиваются теперь кружком самообразования при библиотеке.

Коля с холодными глазами и мертвым замкнутым лицом давал ей нужные сведения и обычно всегда торопился домой, отговариваясь занятиями. Гальшка вздыхала и . . . немножко сердилась: давно ли он рыдал вот тут на коленях, а теперь едва смотрит.

* * *

Волынские в это лето никуда не выезжали из города. Они были страшно заняты подготовлениями к отъезду в Петербург: нужно было многое накупить, нашить, чтобы приехать в столицу готовыми принимать и выезжать.

Однажды Коля встретил Гальшку на улице. Она только что вышла из магазина.

— Перчатки покупала, — доверчиво призналась она.

Коля вспыхнул от неожиданной встречи и стоял перед ней прикованный ее летним очарованием, каким-то особым, легким и нежным, таким же нежным и легким, как и ее воздушное платье и белая, с большими полями, шляпа, покрытая волнами газа и со спускающейся на плечо черной бархаткой.

— А вы не к нам направились? — спросила она.

— Я?

Коля очнулся: нельзя же так долго смотреть, как длинные пушистые ресницы Гальшки ходят вверх и вниз.

— Я, собственно, к обрыву . . . Могу вас проводить, если разрешите . . .

»Ну и нахал!« — мысленно окрестил он себя.

— Хорошо, — неожиданно согласилась она. — Я только положу покупки в экипаж и отпущу кучера.

Коля никак не ожидал получить розрешение пройти с ней рядом несколько кварталов и сейчас чувствовал себя растерянно.

— Вы сегодня лучше выглядите, — сказала Гальшка.

Коля искоса взглянул на нее, увидел развевающуюся бархатку, иногда касающуюся его руки, и подумал:

»Да, ты застала меня врасплох, я не успел надеть на себя маску« ...

— Вы сказали, что шли к обрыву, — говорила тем временем Гальшка: — К какому обрыву?

— Хотите, пойдем туда? — предложил Коля. — Это, впрочем, довольно далеко.

— Ничего, пойдемте. Ха-ха-ха! Я сегодня в очень веселом настроении. Мечтаю о Петербурге ... Все так хорошо! Я счастлива, что еду туда.

Болтая, они подошли к обрыву. Коля привел Гальшку к тому самому месту, с которого открывался красивый вид на город, на лесок, стоящий вдалеке.

— Смотрите! Правда, красиво? — говорил он, забыв что либо разыгрывать из себя и просто любуясь природой. Грустные, скрытные глаза его наполнились нежностью, стали мягче светлее: из серых стали почти голубыми. Гальшка с любопытством рассматривала его в новом для нее освещении, таким, каким она его никогда еще не видела. Коля же, не обращая внимания на ее пристальный взгляд, весь ушел в созерцание природы.

— Смотрите, — говорил он, увлекаясь, — смотрите вон на те холмики вдали. Какие они бархатные! Так и бросился бы на них лицом вниз. В действительности это, конечно, окажется колючим кустарником. Действительность всегда бывает колючей ... На все нужно смотреть издали. Нельзя подходить к вещам близко: сейчас же пропадает иллюзия. Потому я и люблю дали... А посмотрите сюда, эти игрушечные домики. Как хороши они! Как будто кто-то сверху взял и небрежно разбросал их, рассыпал из мешка с игрушками ... Так они и попадали — кто куда ... В действительности же все это, наверно, домики бедных, грязных людей, которые живут здесь только потому, что в центре жить им не по карману. К этим домикам нет хорошей дороги, и чтобы пробраться к ним, надо долго карабкаться по грязным, неудобным закоулкам ... Так и все в жизни. обманчиво и неверно ...

— Мне нравится здесь, — серьезно сказала Гальшка. — может быть, я сама никогда и не обратила бы внимания на это местечко (я, по правде сказать, не помню, была ли когда-нибдь здесь), но вы так красиво говорите, что от ваших слов все делается крас ым.

Коля быстро вскинул на Гальшку глаза.

— А, может быть, нам лучше пойти отсюда? — предложил он.

— Как хотите...

— Я просто хотел вам показать это место... Место, которое я сам придумал, — заносчиво проговорил он.

Гальшка засмеялась.

— Почему вы смеетесь? Конечно, я придумал. Вы же сами сказали, что до того, как я вам его показал, вы и не знали, что эта красота существует. И неизвестно, знает ли о ней кто-либо еще. Красота, ведь, не есть что-то вещественное. Ее не всякий видит. Значит, эту красоту придумал я. Разве не так?

— А вы можете быть и веселым иногда? — не отвечая на вопрос, спросила Гальшка.

— Может быть, и могу. Только для этого редко бывает повод и подходящая обстановка.

— Давайте, будем веселыми! Я очень люблю смех. А сегодня мне особенно весело. Так весело, так, что... что я даже готова выкинуть что-нибудь неприличное.

— Даже неприличное? Тогда, знаете что? — предложил Коля: — Пойдемте со мной вдвоем завтра на лекцию — это будет страшно неприлично.

— Хорошо. А что за лекция будет?

— Литературная. Читает Понегин.

— О-о! Я с удовольствием его послушала бы. О нем так много говорят. Но сама я никогда не решилась бы пойти: не знаю, как, что... Вы, пожалуйста, не смейтесь, — остановилась Гальшка, заметив легкую ухмылку на лице Коли: — я, правда, никогда не бывала на лекциях. У нас это как-то не принято. Мамочка всегда говорит, что в таких местах обычно бывает накурено, наплевано... Одним словом, если я пойду, то это надо держать в секрете. Таиться от мамочки, конечно, не хорошо, но мне так хочется пойти. Что-то совсем новое. Мне очень надоела наша однотонная жизнь. Вот может быть, в Петербурге будет иначе.

— Не будет! — уверенно возразил Коля: — Чтобы найти живых людей, нет надобности ехать в столицу: их там даже труднее будет отыскать.

— Но я серьезно хочу заняться переустройством нашей, полной предрассудков, жизни.

— Это интересно. Жаль, что мне не удастся за этим понаблюдать, так как зимой мы разъедемся: вы в Петербург, я в Москву...

— Ну, так это не так уж будут далеко. Вы можете приезжать к нам на Рождество, на Пасху.

— Правда? Я об этом не думал... Как жаль, что мы уже дошли, — проронил он.

В мечтательном упоении возвращался Коля домой. Ему казалось, что он весь день парил среди душистых цветов, что его слух ласкали неземные эльфы.

— Здравствуйте, господин профессор!

Перед ним, опять паясничая, стоял Володька.

— Как ваше драгоценнейшее, господин профессор?

— Уйди! — резко отрезал Коля и пошел прочь.

— А, так ты вон как! Вонючка! — сразу изменил тон Володька. — А деньги? Забрал мои деньги и удирать! Эй, эй! Деньги мои отдай! Слышь, ты! Эй!

Прохожие оборачивались и с удивлением смотрели на убегающего студента.

»Боже, какой позор!« — думал Коля. »Вот, ведь, какой негодяй!«

Быстро свернув за первый угол, он побежал по незнакомой улице, держась за сердце, которое так сильно колотилось, что легко могло выпрыгнуть из раскрытой нараспашку студенческой тужурки.

* *

Побывав на лекции, Гальшка уговорилась пойти с Колей на дебат о поэзии Полонского.

Возвращаясь с дебата, Коля под впечатлением всю дорогу декламировал Полонского.

А Гальшка говорила:

— Я так довольна, что пошла послушать этот дебат, — я так мало знала о поэзии Полонского и стихов его почти не читала.

— А вот это вы знаете?

От праздной клеветы и злобы черни светской
В тот вечер, наконец, мы были далеко,
И смело ты могла с доверчивостью детской
Себя высказывать свободно и легко...

И мир иной мелькал передо мною,
Не тот прекрасный мир, в котором ты жила . . .
И жизнь казалась мне суровой глубиною
С поверхностью, которая светла . . .

Разве это не прекрасно? Правда, очень музыкальные стихи? И какие значительные слова!

— Да . . . — тихо проронила Гальшка, уже поднимаясь к себе домой. — Спасибо вам за сегодняшний вечер! И за дебат и . . . за декламацию . . . Но сейчас, — переменила она тон, — помните: ни гу-гу — Я была у Корешовых — и все.

Их встретил Вова.

— Где ты была? Ушла, ничего не сказала.

— Тсс . . . — прижала к губам палец Гальшка. — Это — секрет от мамочки. Я была на лекции.

— На лекции! — удивленно вскинул брови Вова. — Что за фантазия! И к тому же без маминого разрешения. Кто это тебя так совращает? — Он перевел глаза на Колю, который едва сдерживал насмешливую улыбку. — Мне это не нравится. Я после смерти папы являюсь ответственным за нашу семью, поэтому я тебе определенно заявляю, что ты начинаешь вести себя, как какая-нибудь Леля, Катя . . .

»Господи!« — думал Коля: — Какое, действительно, преступление: сходить на лекцию, послушать живое слово.«

Он хотел, было, вступить в спор, но сдержался: его отношения с Вовой и так начинали заметно портиться. Ради Гальшки Коля должен был промолчать.

* *

Когда Коля в этот вечер совсем уже подходил к своему дому, он опять встретил Володьку, который, повидимому, уже проследил колино местожительство и поджидал у самого входа.

— Что тебе надо от меня? — спросил его Коля. — Зачем ты меня преследуешь?

— Да ничего я тебя не преследую! Очень ты мне нужен! — небрежно ответил Володька. — А сейчас я поджидал тебя, потому что попал в затруднение, ну, и думал что ты, может быть, по старой дружбе, меня выручишь.

— В чем дело?

— Дай пятерку! Дай, и я уйду, и больше ты меня никогда не увидишь. Ей-Богу!

Слабая надежда отделаться от Володьки деньгами мелькнула в колином мозгу.

—Дай пятишну, ей же Богу, мне ничего больше не надо! продолжал божиться Володька. Около него было неприятно стоять. Когда он говорил, из его грязного, прокуренного рта шел препротивный запах.

— У меня нет столько денег, — ответил Коля, вытаскивая кошелек.

Володька хищно следил за колиными руками.

— Ну, сколько же есть: один, два . . . — отсчитывал он.

— Вот и все. Только мелочь и осталась, — ответил Коля.

— А ты и мелочь тоже давай, давай ее сюда!

Володька выхватил у Коли кошелек и высыпал из него все, что там было.

— Тебе денег-то сегодня не нужно — спать идешь, а завтра Господь Бог пошлет. Хи-хи! — мерзко захихикал он. — Премного благодарен! — низко поклонился он, опять впадая в дурацкий тон. — Спокойного сна! Видеть во сне козла. Перевернуть подушку, целовать лягушку. Честь имею кланяться! Хи-хи . . .

Коля даже не рассердился. Ему не было жаль денег, только было досадно, что такой хороший день, как сегодня, испорчен гнусным володькиным вмешательством. Коля так был наполнен Гальшкой, что не только видел ее перед собой, но и слышал и чувствовал ее, перебирая в уме все, что было ею сегодня сказано. Он неожиданно пришел к радостному заключению, что и она начинает привыкать к нему. Она сама как-то сказала, что когда он не приходит долго, то скучает. Конечно, это было только потому, что, благодаря Коле, она узнала так много интересных вещей. Он, конечно, оставлял какой-то след в ее жизни. Он положил начало ее окончательному решению перестроить жизнь на новый лад, дал толчок сделать эту жизнь более содержательной. Коля отрывал ее от материальной стороны жизни и уносил в надзвездные края.

И думая обо всем этом, Коля опять чувствовал, как сильно ее любит и с ужасом думал о разлуке зимой.

Но говорить об этом с Гальшкой не мог. С ней он говорил лишь на общие темы. Уже раз испытав поражение, он боялся спугнуть существующие между ними дружеские отношения. Коля сейчас был счастлив этими просто дружескими отношениями и боялся как бы не выдать себя со всеми теми дикими мыслями, которые приходили в голову по ночам, когда никто не мог подслушать его меч-

таний. Поэтому, до некоторой степени, он продолжал фальшивить, говорить и делать не то, что думалось, не то, что, хотелось. Но такая двойственность ему была привычна и не вызывала протеста.

* *

Но насколько у Коли хватало сдержанности для Гальшки, настолько же он терялся перед Володькой.

Конечно, несмотря на данное обещание, Володька продолжал надоедать. После того, как Коля отдал ему содержимое своего кошелька, Володька еще несколько раз ловил его на улице. И каждый раз требовал денег. Сначала требовал он на том основании, что Коля ему »не додал«. Потом он уже стал требовать денег без всяких оснований, а просто заявлял:

— Дай рублевку! Опохмелиться надо.

В конце концов, это стало простым вымотательством, и Коля решил, что с этим надо покончить, и стал отказывать.

— Ну, дай полтинник, — снижал тогда свои требования Володька.

— И полтинника не дам!

— Ну, гривенник! Что тебе стоит дать мне гривенник, — домогался Володька.

— Убирайся ко всем чертям! — отвечал Коля, уходя от него быстрым шагом.

— А, ты так! — бежал за ним Володька. — Смотри, пожалеешь, ублюдок ты эдакий! А к Волынским зачем ходишь? Знаю я! Смотри! Пожалеешь! — кричал он на всю улицу.

— В полицию отправлю! — тоже, в свою очередь, кричал ему Коля с другой стороны улицы, грозя кулаком. — Шантажист! Негодяй!

— Посмотрим, посмотрим! Попомнишь ты еще меня!

Подобные сцены, конечно, останавливали внимание прохожих, которым было любопытно послушать, как какой-то приличный с виду студент через всю улицу переругивается с оборванцем. Это было так безобразно и так заметно для небольшого провинциального города, что Коля начинал бояться, что скоро весь Пореченск будет на него пальцем показывать.

Он даже стал подумывать, что, если бы не Гальшка, он тотчас же уехал бы в Москву, — настолько ему мерзко было встречаться с Володькой. Но возможность провести

с Гальшкой еще месяца два удерживала его от приведения этой мысли в исполнение.

* *

Коля приучил Гальшку ходить в читальню и в библиотеку, выбирать для себя книги по каталогу и брать старые, иногда очень грязные, растрепанные книги на дом.

Она по-детски была счастлива этой возможностью. Всякая новизна радовала ее. Ей, баловнице семьи, скрепя сердце, прощали многие капризы и, несмотря на строгий домашний режим, она получила некоторую свободу действий. Так, например, ей разрешили не ездить в библиотеку в своем экипаже, а ходить пешком и иногда даже в сопровождении Коли. Евгения Павловна признала, что Ключевский, хотя и бедный, но в общем вполне приличный и серьезный молодой человек, и на несколько часов доверяла ему Гальшку. А Гальшка воображала себя чуть ли не суфражисткой, когда с книгой подмышкой пешком шла рядом с самым обыкновенным студентом-филологом, который хотя и не носил длинных до плеч волос, но все же был очень небогатый и любил говорить на возвышенные темы — почти так, как она читала о студентах во всех этих книжках, что брала из публичной библиотеки.

Однажды после очередного посещения библиотеки Коля, как обычно, провожал Гальшку домой, как вдруг откуда-то вынырнул Володька. Он не был вполне трезв, хотя пьяным его назвать тоже было нельзя. Он, пожалуй, просто плохо выспался после хорошей попойки. С заломленной на затылок потерявшей всякий вид фуражкой, в пиджаке прямо на грязную рубашку, которая спереди была не застегнута и открывала волосатую красную грудь, он браво предстал пред Гальшкой и гаркнул здоровенным сиповатым баритоном:

— Здравия желаю, ваше сиятельство!

— Ах! — от неожиданности вскрикнула Гальшка.

Вместе с Колей она унеслась мечтами в кругосветное путешествие, о котором тот ей только что с большим увлечением говорил.

Коля быстро взял Гальшку под руку и, прибавив шагу, перевел ее на другую сторону улицы. Но Володька совсем не предполагал ретироваться. Таким же быстрым шагом он догнал их и пошел рядом.

— Извините, барышня, я вовсе не хотел вас пугать, —

начал он, — я поздоровался с ним . . . с вашим кавалером, а моим старым приятелем . . . Хэ-хэ . . . С Колькой.

— Уйди! — весь побледнев, сквозь зубы прошипел Коля.

— Ну, вот, ты уж и уйди! Зачем же так обращаться с родственниками? Ключевского ты, небось, отчимом называл, а меня как? Я, ведь, тебе тоже вроде отчима прихожусь — крути, не крути. Хи-хи . . .

— Кто он такой? Попросите его не идти за нами, — шепнула Гальшка, испуганно взглянув на Колю своими прекрасными большими глазами.

Коля ничего не мог ответить, спазма перехватила ему горло, и он, умоляюще смотря на Гальшку, старался лишь поскорее увести ее в сторону и почти тащил ее.

— Мать-то твоя, потаскушка, женой мне приходилась . . . повествовал тем временем Володька.

— Возьмем извозчика, — чуть не в истерике, наконец, крикнул Коля. — Разрешите, Гальшка! Я не могу допустить, чтобы вы его слушали! . . . Я . . .

— Не надо извозчика! — сухо, но решительно ответила Гальшка, освобождая свою руку из колиной, и Коля почувствовал, как она вся съежилась, сразу стала холодной и чужой, как в миг исчезла вся ее дружественность, ушла теплота . . . — Как-нибудь уж дойдем три квартала, — добавила она и, подняв высоко голову, дала понять, что ее, Гальшку Волынскую, не может унизить какой-то уличный хулиган.

Под пьяное бормотание проходимца, молча. шли они. Коля едва поспевал за Гальшкой.

Дойдя до дому, она почти вбежала по лестнице, быстро бросила на руки горничной шляпку и со вздохом облегчения села в гостиной на диван.

— А мы вас ждем пить чай, — томно выплыла из столовой Евгения Павловна в сопровождении Вовы. Взглянув на лица Гальшки и Коли, она с острой наблюдательностью заметила: — Сегодня очень душный день, вы оба такие бледные.

День, действительно, был жаркий, и даже раскрытые настежь окна не давали облегчения.

— Эй, эй! Колька, сукин сын! — вдруг ворвалось в раскрытые окна снизу с улицы: — Отдай мои деньги!

Евгения Павловна расширила от ужаса глаза.

— Эй! — продолжал Володька, запуская трехэтажное ругательство.

— Что за безобразие!

Вова быстро подошел к окнам и одно за другим захлопнул их.

— Кто он такой? — прижав пальцы к вискам, простонала Евгения Павловна.

Коля белый, как полотно, стоял, облокотившись о трюмо и не мог сказать ни слова. Ноги его подкашивались, голова кружилась. Ему казалось — еще миг, и он потеряет связь с миром.

Закусив губы, Гальшка нервно трепала в руках бахрому диванной подушки.

— Что он за человек? Какое он имеет право? — загорелся негодованием Вова. — Почему все молчат? Мамочка, отдайте распоряжение дворнику увести этого человека от наших окон. Он называл Колю по имени, или мне это только послышалось? — вопросительно посмотрел он на Колю.

— Кто он такой? — повторила Евгения Павловна. — Да говорите же! — повысила она голос. — Я настоятельно требую ответа, Николай Николаевич.

Гальшка, метнув взор на Колю, совсем склонилась к подушке, внимательно рассматривая ее вышивку.

— Это . . . это . . . — хрипло начал Коля, чувствуя, как все предметы сливаются у него перед глазами и пол уходит из-под ног: — Это . . . Володь . . .

Та-та-та . . . та-та . . . та . . . та . . . та . . . .

— Держите его!

— Принесите нашатырного спирту!

Коля открыл глаза. Над ним висело испуганное лицо Гальшки.

— Вам дурно?

— Нет . . . Почему?

— Как »почему«? Ведь, вы же упали! Вы не ушиблись? Вы как раз плечом упали на трюмо. . .

— Нет, нет! Все хорошо . . . — говорил Коля, поднимаясь с пола.

— Понюхай спирту, — совал ему Вова какой-то флакон.

— Не надо. Пустяки! — отмахнулся Коля, почувстовав при этом движении небольшую боль в плече, — значит, он, действительно, ушибся.

— Ну, если ты себя чувствуешь вполне хорошо, пойдем ко мне, — сказал Вова.

Голова была тяжелая. Ноги ослабли, но, повинуясь приказу, Коля медленно пошел за Вовой в его кабинет.

— Я принужден сказать тебе нечто неприятное, — начал Вова: — Мамочка так расстроилась поведением твоего

родственника (это, ведь, так: он твой родственник?), что она просит тебя больше не бывать у нас.

Наступила пауза. Коля протянул руку к стоявшей на столе вазе с фруктами и, взяв яблоко, начал грызть его. Он не отдавал себе отчета, зачем взял это яблоко в то время, когда ему отказывали от дома.

— Мне очень неприятно говорить тебе об этом, — опять заговорил Вова: — Мы с тобой товарищи со школьной скамьи, но мамочка, ты знаешь ее взгляды, очень бережет честь семьи, в особенности нашей общей любимицы и баловницы — Гальшки. Мы и так на многое смотрели сквозь пальцы за последнее время — скоро все равно уезжаем отсюда, Гальшке же приходят иногда в голову дикие фантазии. Мамочка ничего не имеет против всего этого, если эти фантазии проходят безболезненно, но . . . но всему есть граница. Ты сам понимаешь, что то, что произошло сегодня, обойти молчанием невозможно. Так что . . .

— Да, конечно, — прервал его Коля, — я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Передай Евгении Павловне и Гальшке мое глубочайшее сожаление по поводу случившегося. Прощай!

— Прощай!

Закатившееся солнце бросало последние пурпурные блики на верхушки домов, на склонившиеся к горизонту легкие облака. Из городского сада доносилась музыка. В общем, повидимому, жизнь шла своим чередом, так же, как вчера и как будет идти завтра. И только для Коли завтрашний день будет совсем не похож на все предыдущие.

Он шел домой и постепенно пассивная покорность стала переходить в злобу, которая все ширилась и ширилась и, в конце концов, приняла такие размеры, что Коля не мог уже держать ее внутри себя неизлитой. Полный ярости, он решительно повернул в сторону от дома и пошел к обрыву. Он не знал, где жил Володька, но помнил, что, по большей части, он встречал его в том районе.

Дойдя до перекрестка, где дважды Володька ловил его, Коля решил ждать. Он нетерпеливо ходил взад и вперед квартала, заглядывал во внутренность молочной, что была как раз на углу, и курил, курил без конца.

Уже настолько стемнело, что предметы начали сливаться, а Коля все ждал. Он решил, что подождет еще с полчаса, а потом уйдет, как вдруг в конце квартала показалась знакомая расхлябанная фигура. Сердце Коли заколотилось

при виде этой взлохмаченной, неряшливой массы, неровно двигавшейся по улице.

»Может быть, с моей стороны глупо вступать в драку с этим пропойцей?« — вкрадчиво заползло в него сомнение: »Он сильнее меня . . . Нет, надо, наконец, проучить зазнавшегося, мерзавца!« — окончательно решил он и пошел навстречу Володьке.

— Эй, ты! — остановил он его, хватая за ворот его растегнутой рубахи: — Сволочь поганая! Иди вон туда, где потемнее: морду буду тебе бить.

Короткое удивление на лице Володьки сменилось явным довольством. Глаза его замаслились, рот растянулся улыбкой.

— Хи-хи! — довольно прохихикал он. — Идем, идем! Давно я тебя не бил.

Первый удар Коля удачно нанес Володьке как раз по переносице. Лицо Володьки разом окрасилось кровью, одновременно глаза его налились злобой и, несмотря на нетрезвость, он размеренно, спокойно и совершенно безмолвно стал наносить удары. Коля горячился, вертелся, как волчок, исступленно ругался, но, как ни изворачивался, все же получил несколько крепких ударов от тяжелой володькиной руки. С окровавленным лицом и вышибленным зубом, уже давно уставший, он продолжал драться, все чаще и чаще принимая от Володьки размеренные и точные удары. Как вдруг он заметил в конце улицы приближающегося городового.

— Довольно! — крикнул он и, подобрав с земли упавшую и растоптанную фуражку, быстро пошел прочь, в то время как за его спиной долго еще раскатывался наглый, хриплый смех Володьки.

* *
*

Выбитый зуб болезненно ныл, лицо Коли вспухло, постепенно покрываясь синяками. Но ни на один момент он не сожалел о происшедшей драке.

«И, ведь, ему тоже досталось«, — успокаивал он себя.

Странно, но драка оттянула его нравственные страдания, и, сидя сейчас на кровати с холодными компрессами на лице, Коля уже довольно спокойно обдумывал создавшееся положение. Отойти сейчас от Гальшки, колда в их отношениях уже начала просвечивать теплота, Коля не хотел и

думать. Он даже нервно встал с кровати при этой мысли, сбросил с лица мокрые полотенца.

»У нее есть искорка человеческая, мягкое, доброе сердечко. . . Она легко реагирует на все искреннее, сердечное, если подходить к ней постепенно . . . Нет, я не отступлю!«

Коля решительно подошел к письменному столу, взял почтовую бумагу и стал писать.

»Верите ли Вы в мою дружбу к Вам, Гальшка? — начал он: »Верите ли, что мы сейчас, во имя этого чистого, святого чувства, не должны расставаться!«

А потом писал о том, как редко вообще можно найти в мире созвучную душу, а если найдешь, то как хочется бережно и мягко ударять по ее струнам, прислушиваясь к отзвуку в своей собственной душе, и находить в этом отзвуке родственные нотки. Как хорошо бывает в такие моменты забыть весь мир и только слушать и слушать звучание этих струн! А мир велик, в нем так легко затеряться! И разве не счастье: в громадном, холодном мире чувствовать теплоту родственной души?

Коля умолял ценить эту созвучность. По восточному поверью душа человека, разрезанная при рождении пополам, может для счастья соединиться только со своей же половинкой, брошенной в мир. Вот они эти две половинки!

Коля исписал восемь страниц, несмотря на то, что большой палец болел и вспух. Он предлагал Гальшке свою чистую, бескорыстную, искреннюю дружбу, давая понять. что всякого рода препятствия являются лишь испытанием силы этой дружбы.

»Неужели Вы так легко поддадитесь первому испытанию?« и предлагал встретиться у обрыва через три дня (он высчитал, что синяки за этот срок сойдут).

Подписав письмо: »Ваш Рыцарь«, Коля решил немедленно бросить его в почтовый ящик парадной двери Волынских.

Когда Коля дошел до их дома, сомнение взяло его: нужно ли было вообще писать? Он долго стоял у дверей, примеряя письмо к скважине, сделанной в двери для писем, и все не решался опустить письмо.

»Если не послать этого письма«, — думал он, »значит, подчиниться судьбе, признав торжество дьявола в лице Володьки, а Гальшка. . . Гальшка навсегда уйдет от меня«. . .

Письмо само собой выскользнуло из его рук·

»А может быть, она опять рассмеется в ответ«, — мельнуло у него в голове, но было уже поздно: письмо лежало

по ту сторону двери в почтовом ящике. Мысленно махнув рукой на свою судьбу: будь, что будет, он повернул домой.

* * *

В назначенный день Гальшка пришла к обрыву.

Завидев ее еще издали, Коля сначала не поверил своим глазам: до последней минуты он был уверен, что она не придет; убедившись же, что это шла, действительно, Гальшка, он сделал движение броситься вперед, но, тотчас же сдержав себя, стал ждать, когда она приблизится, когда своей легкой, как бы летящей, походкой она не окажется на расстоянии нескольких саженей. Тогда Коля пошел ей навстречу.

Из-под большой соломенной шляпы выглядывало улыбающееся лицо, и черные бархатки тонкими змейками развевались по лицу, неискусно прикрывая легкое смущение.

— Это, ведь, не свидание? Правда? — наивно проговорила она, вероятно, желая оправдать свое поведение. — Я никогда не ходила на свидания и не буду ходить: это совершенно неприлично, но .. . это, просто дружеская встреча. Да? — искала она поддержки у Коли.

— Да, да, конечно, — не очень убедительно пробормотал Коля, еще не придя в себя от восторга встречи. — Давайте, сядем вот на это бревно. Я постелю свою тужурку, чтобы вам не запачкаться. Вам так удобно будет?

— Прекрасно! И как раз отсюда такой хороший вид! — говорила Гальшка, снимая шляпу и митенки.

»Боже, — думал Коля, — как она хороша! Какая чудесная, светлая девушка! И она пришла по моему зову и теперь сидит здесь рядом со мной! Да, ведь, я же счастливейший человек в мире!«

Он чуть не выкрикнул этого вслух, но мысленно сейчас же стал сам себя удерживать:

»Тише, тише, дурачок! Возьми себя в руки!«

— Я не знаю, как и благодарить вас за то, что вы пришли, — вслух сказал он. — Было бы страшно жалко прервать нашу дружбу. Вы верите, ведь, что я — баш друг?

— Да . . . — ответила Гальшка, задумчиво ковыряя зонтиком землю: — Иначе я не пришла бы, — логично заключила она, взметнув на Колю своим светлым лучистым взглядом.

Коля замер. Ему показалось, что в этом взгляде промелькнула нежность.

»Впрочем, это, наверно, просто ее доброта. Она, ведь, очень добрая«, — успокоил он себя, а вслух сказал:

— Я очень хочу, чтобы вы искренне считали меня другом. Мне так хочется доказать вам свою дружбу, хочется сделать что нибудь для вас необычное, чтобы вы поверили.

— А говорят, что между мужчиной и женщиной не бывает дружбы . . . Но мы возьмем и докажем противное, хорошо?

И опять наивность и доверчивость сплелись в ее взгляде при этих словах.

— Да, давайте! — с убеждением воскликнул Коля. В эту минуту ему, действительно, верилось, что он может быть настоящим другом этой милой девушки.

— И только другом? Да? — пристально посметрела на него Гальшка.

— Только . . . Давайте руку!

Они обменялись рукопожатием.

— Но только вам все же не придется пока бывать у нас, — заметила Гальшка. — Может быть, через некоторое время, но сейчас — нет . . .

— А вы сами на меня не сердитесь за . . . инцидент тогда . . . на улице? Простили?

— Нет, не сержусь. Вы, ведь, не виноваты, — просто сказала Гальшка:— Вы сами столько пережили в тот день... Но мамочка . . . Она очень рассердилась. Я, ведь, ничего не знала о нем . . . об этом . . . человеке . . . Мне потом Вова кое-что рассказал из вашей биографии. Мне стало жаль вас. Вы не виноваты. . .

— Спасибо!

— А почему вы не постараетесь отыскать своего настоящего отца?

— А где же его искать? На это надо много денег. И потом я не уверен, захотел ли бы он признать меня. Может быть, он станет от меня открещиваться . . . Да и жив ли он — тоже вопрос. А если и жив — ведь, фактически, он чужой мне человек. Да я уже и привык к своему сиротству. Конечно, если бы у меня, как и у всех других, был отец, это могло бы во многом улучшить мою жизнь. В частности, ваша семья, возможно, стала бы смотреть на меня другими глазами, но разве я сам от этого изменился бы?

Гальшка не ответила.

— Для вас, — повторил Коля, — имело бы это значение?

— Нет, — неуверенно покачала она головой, — я хочу заставить себя ценить в человеке его самого, — изрекла она прописную мудрость, но Коля не хотел замечать никакой искусственности и с восторгом опять повторил:

— Еще раз спасибо! Вот это — настоящий друг! Знаете что? Сегодняшний день — такой знаменательный. Мне хочется чем-нибудь отметить его. Давайте, перейдем на »ты«!

Гальшка сначала с изумлением вскинула на Колю глаза, но потом раскатилась серебристым смехом. Колина затея, очевидно, заражала ее своим озорством, и, весело засверкав глазами, она ответила:

— Это интересно. Пожалуй, давайте! Что же, на брудершафт, что ли, пить?

— Нет, это слишком шаблонно. У нас не должно быть ничего шаблонного. Мы без вина и поцелуев просто перейдем на дружеское »ты«. Ведь, можно же так?

— Конечно.

— Ну, давай руку в знак скрепления нашей дружбы!

— Ха-ха!

Гальшка охотно протянула Коле свою руку, но только долго не могла привыкнуть и все путала »вы« и »ты«: »давай-те, пойдем-те« ... И все удивлялась, как это Коля ни разу не ошибся.

— А я мысленно, ведь, уже давно с тобой на »ты«, — ответил Коля.

Гальшка недоверчиво покосилась на него. В ее памяти воскресла тяжелая сцена год тому назад, когда она убежала из гостиной, бросив рыдающего Колю одного. Ее взяло сомнение: »Прошло ли все это?«

Коля же в это время мысленно ругал своего выскочку »я«, которое из какого-то пустого хвастовства чуть не предало его. Но он видел, что Гальшка от его признания не загорелась негодованием, а осталась сидеть на бревне и сейчас, думая о чем-то своем, мечтательно смотрела вдаль, — значит, она делалась к нему снисходительнее.

— Мы будем встречаться. Правда, ведь? — говорил Коля на прощанье.

— Будем!

* * *

В эту ночь Коля не мог заснуть.

»Она меня любит!« — кричало у него внутри. »Как она

посмотрела на меня, когда я спросил ее, верит ли она в мою дружбу. Этот взгляд сказал так много. Боже! Боже мой! Какой я счастливый человек! Гулинька, милая, Гуленочка!«

Он вставал с постели, ходил по комнате. Ночь казалась чрезвычайно душной. В одном белье садился он на подоконник у открытого окна, но ночной летний воздух не освежал его опьяненной восторгом головы.

Он знал, что не может говорить с Гальшкой о любви, потому что между ними произошло лишь соглашение дружбы, иначе он совсем и навсегда может потерять ее.

»Может быть, когда-нибудь все это само собой как-нибудь объяснится?« — обнадеживал он себя. »Буду ждать, пока сама не скажет, что любит. От меня же она не услышит признания«, — решил он. И от жестокости принятого решения так больно сжималось сердце, что он опять вскакивал и опять начинал нервно бегать по комнате.

Вдруг он вспомнил о припрятанной, когда-то им украденной, гальшкиной перчатке. Вытащив ее из запертого ящика письменного стола, он начал безумно ее целовать. Закрыв глаза, он представлял себе, что целует саму Гальшку, и, покрывая замусоленную перчатку поцелуями, он чувствовал, как по его телу разливается счастье. С его губ срывались нежные, любовные слова. Их у него было много, они прямо лились через край его переполненного любовью сердца, и он стыдливо прятал их в податливую, мягкую вязаную перчатку.

А потом в его руке оказался карандаш, и он начал с такой же страстностью изливать свои чувства бумаге.

Сегодня Коля особенно легко писал. Писал он о своей любви, конечно. Но не о той неразделенной, которая была на самом деле, а о счастливой, взаимной, которая могла бы быть.

Он кончил писать, когда лампа уже начала мигать из-за недостатка керосина. Усталый, весь внутренне выжатый, он встал из-за стола.

»Уже светает . . . Как незаметно прошла ночь! Так легко писалось . . . Назову рассказ: »Весенняя сказка« . . . Завтра выправлю и отошлю в Москву. А сейчас спать, спать и спать« . . .

И, как мертвый, упал на кровать.

* *

Обрыв стал обычным местом их встреч.

Гальшка попрежнему была мила, приветлива, иногда даже ласкова. Коля же, сгорая от любви, злился. Спокойствие и ровность Гальшки раздражали его, и ему хотелось наговорить ей неприятностей, чтобы только как-нибудь вывести из равновесия.

— Мать у тебя гордячка, брат — сноб, — говорил он, — а у тебя хотя и есть что-то от них, все же взгляды несколько пошире. Поэтому мне очень и очень жаль тебя... Жаль, что выйдешь замуж за какого-нибудь хлыща, который прельстит тебя хорошо повязанным галстуком.

— Почему же так прозаично: галстуком? ... — широко раскрывала глаза Гальшка.

— Ну, если не галстуком, то хорошо начищенной шпагой. ... Каким-нибудь красивым словом, с пафосом сказанным.

— Красивых слов и ты мне говоришь достаточно.

— Ну, значит, не те говорю.

— Может быть, не те, а может быть, все же не в них дело ... Ты уж очень плохо обо мне думаешь.

»Конечно, она права, — мысленно соглашался Коля, — Я просто злюсь, безумно злюсь от своей бессильной любви, и мне хочется сделать ей больно«.

Он нервно скомкал листок только что прочитанных Гальшке стихов. А потом разжал кулак и полоумным взглядом уставился на скомканную бумагу. С напряженным лицом и какой-то болезненной мыслью он папиросой поджег бумагу и, держа ее на ладони, наблюдал, как она, вспыхнув, начала гореть.

— Что ты делаешь? — вскрикнула Гальшка.

— Ничего. Я нарочно. Мне приятно сейчас испытывать физическую боль. Мне надо это...

Бумага медленно догорала на его ладони. Лицо Коли чуть покривилось, он нервно сбросил пепел на землю.

Не находя слов, Гальшка изумленно смотрела на него.

— Хочешь еще какого-нибудь зрелища? — зло спросил он: — Хочешь, я себе палец порежу?

Он стал рыться в кармане, в поисках перочинного ножа.

— Нет, нет! — вскрикнула Гальшка, удерживая его руку.

— Да, ты хочешь! — исступленно вскрикнул Коля: — Хочешь! Да, да! Хочешь, я сейчас всего себя исцарапаю, разорву кожу на руке? Хочешь? Хочешь? ...

— Ты сумасшедший! — тоже вне себя крикнула Гальшка.

— Да, ты права. Я — сумасшедший. Прости меня.

Ему стало стыдно своей выходки.

»Конечно, это ненормальность. Зачем я это сделал? А вдруг она догадаеться, что это произошло от безумной любви к ней, вырвавшейся в таком безобразно-диком виде?« — думал Коля, в то время как Гальшка, вероятно, стараясь разобраться в его выходке, молчала.

Коля испугался ее молчания.

»О чем она думает? Она не должна знать, что я ее люблю. Не должна!«

И, подыскивая слова, стараясь казаться спокойным, он начал:

— Ты знаешь . . . это . . . Мы, ведь, пожалуй, все немножко сумасшедшенькие. Все ненормальные в том или ином смысле. Есть такая теория . . . — глубокомысленно закончил он.

Гальшка смеялась, запрокидывая назад голову и стараясь увидеть то смешное, закрученное »финтифлюшкой«, как сказал Коля, облачко.

— Где, где же оно?

И оттого, что она высоко запрокидывала голову, она чуть шаталась.

— Упаду. Держи меня!

Коля взял ее обеими руками за талию.

— Видишь финтифлюшку?

Гальшка шалила, как девочка, и не очень старалась увидеть замечательное по форме облако. Полураскрытый рот ее был влажным, мелкие зубки вызывающе белели из-под сочных, капризных губ, а выкатывавшийся мелкими катышками смех манил своей грациозностью.

Напряженно держа девичью талию, Коля не отрывался глазами от раскрасневшегося лица Гальшки. Он до боли кусал себе губы, но все же чувствовал, как все меньше и меньше остается у него сил к сопротивлению против соблазна.

»Ах, все равно!« — мутно прошло у него в голове, и он звучно и крепко поцеловал манящий рот Гальшки. Последний смешок выкатился как-то неуверенно и стыдливо, как

будто сознавал всю свою неуместность. Гальшка высвободилась от Коли и с серьезным лицом встала поодаль.

Коля, обессиленный поцелуем, опустился на бревно.

Оба молчали.

— Ты меня, кажется, поцеловал? — наконец, произнесла Гальшка, недовольно вытягивая губки.

— Разве? . . . Я . . . не заметил . . .

— Ну, да! Ха!

Опять молчание.

Коля встал и, подойдя к Гальшке, напряженно посмотрел на нее, а потом твердо сказал:

— Вот сейчас я, действительно, буду тебя целовать! . . .

— Нет . . . — слабо проронила Гальшка, но Коля уже впился в ее губы. Долго не отрывался, а оторвавшись, целовал еще и еще. Гальшка ослабела и склонилась к его плечу.

— Ну, посмотри мне в глаза, — шептал Коля.

— Нет, не могу . . . мне стыдно . . .

— Нет, посмотри!

Они встретились глазами. Коля долго смотрел своими полубезумными от счастья глазами в ее русалочьи, сейчас ставшие мягкими, влажными.

— Гальшка! Я что-то вижу в твоих глазах! Язык обманет, губы обманут, а глаза — нет . . . Ну, говори же, говори! А то я заговорю, потому что не в силах больше молчать . . . Галя, любишь? . . .

Гальшка спрятала лицо в колину тужурку:

— Немножечко . . .

— О-о-о . . . милая . . . чудесная . . . — шептал Коля между поцелуями.

— Но очень немножечко. Совсем-совсем немножечко . . . Вот столечко!

Гальшка прижала большой палец руки к самому кончику мизинца, отделяя от него мизерный кусочек своего чувства к Коле.

— Так мало? Ну, ничего, ничего! — сейчас же перебил он себя, пылая от восторга. Его просветлевшее лицо с тонкими, как бы пером написанными, чертами и наполненными счастьем глазами стало красивым, выразительным.

— Я заражу тебя своей любовью, и ты будешь любить меня больше. Ты знаешь, любовь очень заразительна. Тем более, такая, как моя: я, ведь, не немножечко, а сильно люблю тебя, Гальшка!

Он поднял руки, как бы стараясь обхватить всю вселенную.

— Больше жизни своей люблю, неимоверно больше! Я как бы плаваю в этом чувстве. Я — а кругом, как плазма, обволакивает меня любовь к тебе. И ничего, что ты меня мало любишь. Ничего! Только люби, Гулинька! Боже, я — любим! . . .

Он закрыл лицо рукой, губы его растянулись от улыбки. Он тихо, про себя, засмеялся.

Гальшка никогда не видела его смеющимся, и ей было странно слышать его тихий, бредовый смех.

А Коля, весь залитый счастьем, широко расставив руки, шатаясь, ходил по краю обрыва.

— Мне хочется кричать — так накопилось во мне молчание! Мне хочется выбросить его! Оно комом сидит вот здесь, в груди . . . А-аа-ай! . . . — дико, во всю глотку, выкрикнул он.

Гальшка испуганно остановила его:

— Ты с ума сошел — так громко! И откуда такой голосище, никак не думала . . .

Но Коля, бросившись перед Гальшкой на колени, стал упрашивать:

— Можно еще разок? Только разок? Хорошо? Еще один раз крикну, и тогда все пройдет Можно?

— Мне страшно . . .

Не дожидаясь разрешения, Коля встал, выпрямил грудь и опять заорал что было мочи:

— А-а-а-а-а-ай!

Гальшка зажала уши.

— Какой ты сразу большой делаешься да страшный!

— Больше не буду, голубка, прости. Я, ведь, скиф. Ты этого не знала? Ну, так знай — скиф!

И долго еще над обрывом раздавались молодые счастливые голоса, и изредка раскатывался мелкий, дразнящий девичий смех.

* * *

Они встречались два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Коле трудно было дождаться часа встречи. Он, обычно, приходил задолго до назначенного времени и, стоя на пригорке у обрыва, старался издали угадать Гальшку.

Но так же тяжело было и расставаться. Коля ненавидел эти часы разлуки на закате солнца.

— Так страшно с тобой расставаться, — говорил он, — как будто мы расстаемся навеки, а не на два дня.

Те дни, когда Коля не видел Гальшки, он проводил в обдумывании всего ею сказанного в последнее свидание, анализируя каждое слово, стараясь уловить прятавшуюся за ним невысказанную мысль.

Раз как-то Гальшка сказала:

— А вот Вова не верит в твой рассказ о твоих родителях. Он говорит, что ты большой фантазер и всю эту историю выдумал сам — уж очень неправдоподобна она. Говорит, что ты просто-напросто таинственностью решил прикрыть свое происхождение из низов.

— Как странно, — задумчиво проговорил Коля, — Вот сколько лет мы с Вовой вместе на одной парте сидели, казалось, были товарищами, а, в конце концов, ни он меня, ни я его не знаем.

Разговор на этом оборвался. А потом, дома, раздумавшись, Коля с ужасом обнаружил две вещи. Во-первых, он ничего не возразил Гальшке на ее обвинение во лжи, — она теперь может думать, что Вова прав и что он, Коля, действительно, сочинил все про себя. Единственный свидетель истины, Николай Петрович, унес в могилу все, что знал. Если же Вова когда-нибудь попытался бы допросить обо всем второго свидетеля — Володьку, то совсем запутался бы: Володька, безусловно, постарался бы нанизать чушь на чушь, и все, конечно, не в пользу Коли. Второе, что стало ясным Коле из оброненных Гальшкой слов, — это то, что она, повидимому, многим делилась с Вовой, во всяком сучае, у них бывали разговоры о Коле.

Это открытие поразило Колю. Он знал, что мог влиять на Гальшку, но сломать влияние ее домашних, в частности — Вовы, он был не в силах.

Как раз после этого разговора Гальшка не пришла в следующий условленный день. Коля мучительно просидел у обрыва несколько часов, до самых сумерек. До тех пор, пока внизу не заквакали лягушки, и не коснулась лица ночная свежесть, идущая от перелеска.

Обмякший и постаревший, шел Коля в этот вечер домой. А придя, мешком упал на кровать.

»Она меня не любит!«

Тяжелое сомнение билось в виски, ударяло в затылок. Вся голова болезненно заныла от мучительных мыслей, просто раскалывалась на куски.

Я скучен, тривиален! Ко мне она идет только за советом

или за справкой. Поцелуи — так, между прочим... Я — лишь справочное бюро! А я? Я, безумец, сгораю от любви в то время, когда она вместе со своим братом смеется за моей спиной!«

Коля вскочил с кровати, окунул голову в таз с холодной водой, схватил папиросы и выкурил их несколько штук подряд.

»Говорят, кокаин помогает в таких случаях, — подумал он, — где бы его достать? Жаль, что Красницкий остался в Москве — с ним хорошо было бы закатиться в какой-нибудь притончик«...

Коля пробовал писать, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, но у него ничего не клеилось, брался за книгу, но смысл строчек убегал из-под ресниц, он бросал книгу и начинал бесцельно ходить по комнате.

— Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать...

»Опять не заметил, с какого числа начал считать«, — ловил он себя и сейчас же забывал и опять начинал считать от неизвестного ему кабалистического числа.

* * *

На другой день он несколько раз обошел вокруг дома Волынских в надежде увидеть Гальшку, но совершенно безуспешно. Да и вполне понятно: она, ведь, никуда, кроме как на свидания с ним, не ходила одна.

Коля понял, что просто было глупо с его стороны болтаться около дома Волынских: его могли заметить, могли потом пойти разговоры.

Он каждый день ходил на обрыв, думая, что вдруг она возьмет и придет в неусловленный день. Но и этого не случилось.

И только через неделю, в обычный день встречи, Коля снова увиделся с ней у обрыва.

— Здравствуйте! — сказала она.

Коля, от счастья видеть Гальшку, не мог произнести ни слова. Безмолвный, приблизился он к ней. В глазах его было безумие. А потом он взял обеими руками ее голову и начал осыпать ее лицо мелкими, жадными поцелуями.

— Гуля! Гулинька! — наконец, проговорил он, прижимая ее к груди и пряча глаза, в которых стояли слезы. — Я не видел тебя целую неделю. Я, ведь, чуть с ума не сошел! Я так боюсь, когда ты не со мной. Мне страшно! На тебя

влияют против меня, и я не знаю, что ты обо мне думаешь, когда ты не со мной. Я боюсь . . .

— Не надо, не надо! — вставила Гальшка, но Коля соскочил с нарезки и несся, не останавливаясь:

— Мне страшно делается, когда я тебя долго не вижу. Я так боюсь за свое счастье! Конечно, это эгоистично, может быть, потому что, боясь за свое счастье, я боюсь за себя. Да! Но, ведь, жить хочется! После того, как счастье улыбнулось мне углом рта, желание жить стало таким сильным. А счастье мое такое хрупкое и, к тому же, с крылышками: глядишь — и улетит! Я, ведь, тогда голову себе размозжу вот об этот камень или об это дерево — обо что-нибудь.

— Не надо, не надо! . . . — опять стала просить Гальшка, и глаза ее наполнились девственным страхом. Она, конечно, никак не думала причинять кому-нибудь страданий.

— Голубка! — все еще полон страха перед потерей, шептал Коля: — Родимая! Ты меня не разлюбила за эту неделю, нет? Ты еще любишь меня?

Оказалось, что Гальшка просто не пришла потому, что к ним неожиданно зашел тот самый паж, которого Коля видел у Волынских в один из их приемов.

— Ну да, блондин такой, помнишь? — говорила Гальшка, и теперь настал ее черед рассказывать, как она провела время с этим милым Виктором Павловичем и другим, тоже товарищем Вовы и тоже очень милым. Она увлеклась рассказом и не заметила, как примолкший Коля весь даже позеленел и как-то осунулся от ее жизнерадостности.

— Что с тобой? — испуганно спросила она, вдруг обратив на него внимание: — У тебя такой ужасный вид!

— Нет, ничего . . . У меня просто разболелась голова. Надо идти домой.

— Еще рано. Впрочем, если хочешь, пойдем. Может быть, ты не хочешь идти меня провожать?

Коля злобно скрипнул зубами.

— Я потому спрашиваю, что раз ты так плохо себя чувствуешь, так тебе лучше бы . . .

— Ага! Тебя, верно, другой ждет? — прошипел Коля. — Ты, наверно, обещала этому своему Виктору.

— Я? — удивленно раскрыла свои и без того громадные глаза Гальшка, — я ничего никому не обещала.

— Тогда я пойду с тобой!

Коля сильно взял ее под руку:

— Идем!

Они долго шли молча. Гальшка изредка скашивала глаза

в сторону Коли, который, жестко смотря перед собой, двигался как-то автоматически.

— Как сомнамбула! — наконец, не выдержала Гальшка и рассмеялась. — Что же ты все молчишь?

— Я . . . Нет, я как раз хотел спросить тебя, почему ты сегодня при встрече сказала мне »здравствуйте«.

До его сознания только сейчас дошло ее холодное обращение к нему на »вы« . . .

— Я не знаю . . . — замялась Гальшка: — Это вышло как-то нечаянно. Я немного отвыкла от тебя за неделю. Сейчас мне опять естественно говорить тебе »ты«, а в первый раз, когда я тебя увидела, почему-то было неловко. . .

Они опять замолчали.

За три квартала до дома Гальшка остановилась.

— Давай простимся здесь, чтобы нас не увидели случайно вместе.

Мысль о том, что он сейчас опять расстанется с Гальшкой и не увидит ее, по крайней мере, два дня, встряхнула Колю. Он с ужасом осознал свое плохое поведение сегодня и, стараясь загладить шероховатости, сказал:

— Хорошо, давай простимся здесь, если хочешь, но . . . ты прости меня, Гальшка, если я был неразговорчив сегодня. Я, действительно, плохо себя чувствую.

— Да, я понимаю, — не чувствуя его настроения, сухо ответила Гальшка. — До свидания!

— Подожди! — остановил он ее: — Я что-то хотел тебе сказать . . .

— Ну, говори!

— Что-то очень важное, сейчас забыл . . .

— Как же можно забыть важное? — возразила Гальшка.

— Да, конечно . . .

Он нервно расстегивал и застегивал пуговицу кителя: — Какая ты логичная, благоразумная.

— Да, я головы еще не потеряла.

— Правда? — радостно вскинулся Коля: — И ты всегда останешься такой?

— Не знаю . . . Ты же сам говорил, что это скучно, неинтересно.

— Да . . . говорил . . .

— Так что же ты хотел сказать? Говори, а то я пойду.

— Я думал . . . Я просто хотел сказать, что, если тебе нужна будет помощь, я всегда протяну тебе свою дружескую руку.

— О какой помощи ты говоришь?

— Ну, вообще . . . Если . . .

Гальшка пожала плечами: вероятно, думая совсем о другом, она лишь старалась зонтиком закрыть свое лицо от прохожих.

— Я всегда останусь для тебя другом, — тем временем слово за слово тяжело выдавливал из себя Коля.

— Спасибо. Но я не понимаю, к чему ты это все говоришь. Мы не завтра еще уезжаем.

— Нет, я думаю о том, что тебя окружают злые люди. Я им не верю. Ты же можешь увлечься, попасть в беду. И вот тогда ты вспомни обо мне.

— Ах, вон что!

Гальшка бросила взгляд на его бледное измученное лицо, на его нервные руки и подумала: »Ревнует!«

— Я отойду в сторону, — продолжал Коля, — я не буду тебе мешать. И даже, если нужно, могу помочь тебе своим советом в выборе спутника жизни . . . Если ты сама стала бы затрудняться в выборе. Пока тебе не будет нужды во мне, я буду стоять в стороне, но всегда помни обо мне! И только кликни! Я буду неимоверно счастлив знать, что могу быть тебе по-дружески полезен. Я, Гальшка, искренно страшно горд быть твоим другом. И если даже нужно будет жизнь свою отдать за тебя, я к твоим услугам.

Он снял фуражку и поклонился.

— Если бы мы не были сейчас на улице, я опустился бы перед тобой на колени . . .

— Спасибо! Мой рыцарь! — чуть насмешливо проговорила Гальшка, протягивая ему на прощанье руку.

»Нет, любви с ее стороны нет. Только дружба« . . . — думал Коля по дороге домой. »А если это так, то и мне надо смотреть на наши отношения иначе. Я в своем полете фантазии залетел слишком далеко, вообразил, что она любит меня . . . Она сама, может быть, даже не разбирается в своих чувствах. Но с моей стороны просто сумасшествие так увлечься. Она остается холодной, я же готов лезть на стену.«

Придя домой, он сел писать ей письмо. Так много хотелось сказать сегодня, а в сущности, ничего не сказал.

Он писал о злых людях, которые, прикрываясь овечьей шкурой, полны злых намерений. Таких людей надо сторониться, потому что они думают только о себе, о том, чтобы выкрасть для себя наслаждения, а потом, запоганив чистый источник этих наслаждений, они отойдут, никогда и не вспомнив об утолившем их источнике.

Коля остро чувствовал ту невидимую, скрытую опасность, которая якобы угрожает Гальшке. Откуда она шла и кто был виновником этой беды, он не знал, но своим подсознательным слухом ясно слышал ее тяжелую поступь. Но Коля был счастлив сознавать, что в желании предостеречь Гальшку от этой беды у него совсем не было эгоистического чувства, что он, действительно, как и говорил сегодня, искренно желал ей счастья, даже если бы ему самому пришлось остаться в тени, если б лучи от ее счастья даже не согрели бы его самого.

Коля опять подписался инициалами Т. Р. (Твой Рыцарь). Да, он понимал свое рыцарство серьезно, а не так шутливо, как Гальшка.

Было уже два часа ночи, когда он кончил писать. Надев фуражку, он пошел опять собственноручно доставить письмо в почтовый ящик Волынских, чтобы Гальшка завтра же могла прочитать его. А то, ведь, если ждать регулярной почты, мог пройти лишний день. Целый день! Это было слишком долго.

* *
*

Володька явился к Коле прямо в комнату. Коля даже глаза вытаращил от неожиданности, когда увидел его антипатичную физиономию у себя в дверях.

— Как ты смел! — вскрикнул он.

— А что! Принимай гостей честь-честью. Чего окрысился? — нагло проговорил Володька, усаживаясь на стул и быстрым взглядом окидывая всю комнату.

— Зачем пришел? — строго обратился к нему Коля: — Я сейчас городового позову, и тебя в два счета вышвырнут отсюда.

— Полегче, полегче!

— Да, вышвырнут! И потом донесу полиции, что ты убийца! Что ты задушил Корнелию.

Сощурив глаза, Володька испытующе посмотрел на Колю.

— Да, задушил, — продолжал Коля, нервничая все более и более, — я, ведь, все знаю. Не говорил только потому, что не было надобности, а если ты будешь мне надоедать и пакости всякие строить, так донесу. Понял?

Не отрываясь от лица Коли, Володька медленно затрясся от смеха:

— Хэ-хэ-хэ! Сплетни это. Сама она умерла. Никто и не

видел, как она умирала.

— Соседи слышали. Я свидетелей приведу! Я докажу!

— Хэ-хэ-хэ! Соседи! Корнелия больная была и перед смертью бредила — вот и все! Что твои соседи знают! Хэ-хэ . . .

— Врешь! Ты это говори другим, а передо мной не ври. Я-то тебя знаю!

— Ну, и знай! А перед тобой я скажу вот что: грозилась она (тоже вот, как и ты сейчас) полиции на меня донести, грозилась раскрыть все, с начала и до конца. Ну, потому и . . . пришлось прикончить ее . . . Давай рубль — до зарезу нужно!

— Не дам. Уйди! Убийца! Шулер! Негодяй!

— Ой, как много сразу, — деланно поморщился Володька, — оставь что-нибудь и на следующий раз. Так как же, — дашь рубль или нет?

— Не дам!

Коля в бешенстве ходил по комнате. Он видел, что положение, в конце концов, было безвыходным. Конечно, он не будет звать городового, вывести же Володьку без скандала перед квартирной хозяйкой тоже было невозможно. Скандала же Коля не хотел. Он и так уже стал побаиваться, что слишком громко кричал и что его могли услышать.

— Ну, давай полтинник, вошь ты этакая! — тоже начал злиться Володька.

Коля бросил ему в лицо какую-то мелкую монету. Володька не сразу поймал ее, она покатилась под стол, и он, несмотря на свою грузность, ловко нырнул и жадно зажал монету в кулаке.

— Ну, вот и все, — примирительно сказал он, — если будешь себя хорошо вести со мной, так и все будет по-хорошему. Хэ-хэ-хэ . . .

— Проваливай! — полон брезгливости, сквозь зубы процедил Коля, на ключ запирая за Володькой дверь.

»Поздняя предосторожность«, — подумал он, с чувством омерзения отшвыривая ногой стул, на котором сидел Володька.

* *

— Гулинька! — радостно бросился Коля навстречу Гальшке, — я так рад, так рад тебя видеть! Сегодня особенно рад, потому что я получил хороший гонорар за свой рассказ.

Гальшка, наоборот, сегодня, против обыкновения, была грустна.

— Что с тобой? — спросил Коля, — ты в плохом настроении?

— Да . . . у меня дома неприятности . . . из-за тебя.

— Из-за меня? Каким образом?

— Вовка догадался. Он прямо мне сказал: »Ты ходишь на свидания по вторникам и пятницам·«

— Ну, а ты сразу и призналась?

— Нет, не сразу . . . Видишь ли, Вовка хитрый — он повел разговор, как самый настоящий следователь, а потом само собою как-то выяснилась, что предмет моих свиданий — ты.

Коля молчал, лишь нервно мял в руках фуражку.

— Потом он сказал, — продолжала Гальшка, — что если я не прекращу своих хождений, то он скажет обо всем мамочке, которая пока ничего еще не знает.

— Что же ты решила делать? — спросил Коля.

— Нам нельзя встречаться.

Коля резко встал и прошелся, потом подошел к дереву и нервно стал срывать листочки и мелко-мелко их рвать на куски.

Гальшка положила свою руку на его плечо:

— Перестань нервничать!

— Оставь! Хоть на чем-нибудь дай мне сорвать сердце. Ведь, тяжело так! Конечно, я должен был бы привыкнуть к издевкам судьбы — всегда я видел только ее спину, но все же каждый раз хотелось думать, что все повернется по-другому . . . придет счастье · . . А оно только улыбнется и скроется . . .

Он стоял прислонившись к дереву, закрыв лицо руками.

— Тяжело . . . — совсем тихо прошептал он.

Они оба долго молчали. Наконец, Гальшка сказала:

— Мне надо идти.

Коля встрепенулся.

— Как же, Гальшка? Что же, — мы сейчас вот так и расстанемся · . . навсегда?

— Я не хочу ссориться со своей семьей, — ответила Гальшка.

— Да, ты права. Иди, Гальшка . . . Если ты находишь, что так будет для тебя лучше.

— А ты? Как ты перенесешь разлуку?

Коля одеревенело посмотрел на нее и, только еще крепче зажав руки меж коленей, глухо сказал:

— Обо мне не думай. Делай так, как лучше тебе.

После опять минутного молчания Гальшка встала и неуверенно, как бы сконфуженно, повторила:

— Я пойду . . .

— Можно мне не идти тебя провожать? Я хочу остаться здесь. Посидеть . . . Я просто не могу сейчас встать. Мне тяжело подняться.

— Хорошо, сиди . . .

Гальшка стала спускаться с обрыва. С ужасом в глазах, Коля смотрел ей вслед.

»Неужели она так и уйдет? — думал он, — ведь, я даже не поцеловал ее на прощанье. Неужели не вернется? Неужели не вернется? Неужели . . .«

Гальшка, не оборачиваясь, шла вперед. Коля видел, как ее белый зонтик мелькнул в последний раз и исчез за пригорком.

Гальшка прошла еще немного, потом стала замедлять шаги. Перед ней стояли одеревенелые, почти безумные глаза Коли, и взгляд этих глаз давил ее. Она остановилась совсем и вдруг круто повернула назад.

»Если я приду, и он еще там, — значит, судьба. А если он уже ушел, то« . . .

Опустив голову на руки, Коля сидел все на том же месте. Заслышав шаги, он поднял лицо, стремительно встал и бросился вперед.

— Гальшка! — хрипом вырвалось у него.

Добежав до нее, он схватил ее, крепко прижал к груди и без слез зарыдал, вернее — завыл, потому что нельзя было назвать плачем тот вой, который исходил из его горла.

Гальшка откровенно плакала у него на плече.

— Мой кусочек души! Милая моя! Ненаглядная! Птичка моя! — целовал он ее мокрое от слез лицо: — Ведь, ты же моя единственная в целом свете! Разве может жизнь быть без тебя? Я тебе не сказал, когда ты уходила, но сейчас я скажу правду: я не стал бы без тебя жить. Разве я могу? Подумай только — разве это возможно? Ты вошла в мою жизнь, обогрела, дала тепло. В первый раз в жизни согрелась моя душа. И вдруг, дав все это, захотела сразу все отнять! Очень было тяжело! Я так много пережил, сидя сейчас здесь. Я, ведь, мысленно звал тебя, я молил вернуться . . . И ты пришла . . .

— Нет, нет, мы не можем быть разделены! — согласилась Гальшка.

— Никогда! Так редко бывает, что душа откликнется

душе. А ты, ведь, отклинулась мне и раскрылась. Разве может это разом и бесследно исчезнуть? Знаешь, я, ведь, теперь с осторожностью, как с ценной вещью, обращаюсь с самим собой, потому что касался тебя. Моя чистая, нежная! Мой восторг!

Коля опустился перед ней на колени.

— Гальшка! Ты, ведь, знаешь: я — засыпался.

— Как? Что это значит?

— Да, засыпался . . . — повторил он, задумчиво смотря на ее пальцы в своих руках. Потом тихо коснулся их губами, целовал нежно, чуть касаясь, каждый палец по очереди.

— Я так тебя люблю, Гальшка! Гулинька! Гуля! Полатыни »Galina« — значит »курица« . . . Я так люблю тебя, курочка, ты даже этого себе не представляешь! Я вот тут сидел, на этом бревне, и думал о тебе. А думаешь ли ты обо мне? Ты так мало меня любишь! Гуль, покажи на мизинчике, сколько ты меня любишь. Все столько же мало?

— Вот столько, — Гальшка отделила половину мизинца.

— О, гораздо больше, чем раньше! — радостно воскликнул Коля: — Это, ведь, половина мизинчика! Так много!

Он нежно поцеловал ее палец.

— Но все же, — продолжал он, — твое чувство такое мизерное, в сравнении с тем страшилищным, что я таю в себе. И мне стало страшно сегодня, когда я подумал об этом. Страшно за себя. Я, ведь, конченый человек. Я связан с тобой роком. Мне жутко стало, Гулинька . . . Я хотел тебе сказать, что я уже не отойду от тебя. Прости меня за такие слова. Еще месяц тому назад, когда я не знал твоих губ, я еще мог уйти, но сейчас — нет! Тем более, что ты сама вернулась ко мне. Я не уйду. Живым не уйду! И если бы ты захотела от меня отделаться, ты только можешь меня убить. Только через мой труп ты можешь освободиться от меня.

— Что ты говоришь!

— Да, я именно это хотел сказать: убей меня! Если сама не сможешь, — скажи, и я убью себя сам . . . Но живым я от тебя не отстану, я — конченый . . . погибший . . . Я совсем не могу владеть собой. Я . . . засыпался . . . совсем . . .

Он уронил голову ей на колени и лежал тихо в их теплых, круглых объятьях.

* * *

Они теперь, из предосторожности, стали встречаться только раз в неделю. Зато Коля стал часто писать Гальшке письма. Двух часов в неделю было слишком мало, чтобы

успеть пересказать решительно, все, что накапливалось за это время.

Коля писал, что он так много думает о Гальшке, что совершенно потерял сон.

»Я не сплю уже несколько ночей подряд, моя голубка, — все думаю о тебе, о нашем будущем· А я уверен, что оно у нас будет. Я люблю тебя все сильнее, все глубже. Раньше я думал, что сильней, чем я уже тебя люблю, любить невозможно. На самом же деле оказалось, что хотя я и заполнен весь, до отказу, любовью к тебе, все же чувство это может углубиться, стать ярче. Вот так . . . (хочу на минуту отбросить поэзию и порассуждать, хоть раз в жизни, научно обоснованно, хочу посмотреть на свою любовь с химической точки зрения) — предположим, что мое чувство к тебе было окрашено в чудный розовый цвет. Теперь этот цвет делается гуще, превращаясь в пурпуровый. По количеству, чувство осталось то же, но, по своему содержанию, стало интенсивнее.

Итак, я люблю тебя густой пурпуровой любовью! Такой густой, что она уже не льется из меня, а может лишь выпасть всей массой. Когда же выпадет, то окажется, что от меня ничего не осталось: я весь, без остатка, превращен в любовь к тебе.

Я так много думаю о тебе, моя любимая куколка, ясная зоренька, моя жемчужинка, что я просто болен. Я не иносказательно выражаюсь, а говорю прямо то, что есть: я так измучился от любви к тебе, что я просто физически болен. Дорогая моя мучительница!«

При встречах же с Гальшкой Коля в поцелуях забывал все свои мучения.

— Ты чем душишь свои волосы? — срашивал он, упиваясь их ароматом.

— Ничем . . .

— Они такие душистые . . . Ты и вся душистая!

Обесилев от поцелуев, он просто водил губами по ее лицу, крепко держа ее перси.

— А ты знаешь, что скоро будешь моей? — неожиданно сказал он.

— Что? — встрепенулась Гальшка.

Коля посмотрел ей в глаза твердо, даже несколько жестко.

— Да, ты будешь моей, — повторил он.

— Почему? . . . Что ты говоришь? — смешалась Гальшка, — еще так недавно ты говорил, что хочешь помочь мне

выбрать мужа и так далее, а теперь вдруг говоришь совсем другое.

— Да, теперь говорю другое, потому что убедился, что иначе не может быть. Понимаешь, я так люблю тебя, что никому не могу тебя отдать. Никакой благотворительности! Или же . . . если хочешь . . . я сброшу тебя вот с этого обрыва и потом сам за тобой спрыгну. Хочешь?

— Нет, — вяло проговорила Гальшка, — что-то не хочется . . . Я, пожалуй, поживу.

— Тогда будешь моей.

— Только не скоро, хорошо?

— Не знаю . . .

Он алчно провел руками по ее талии, бедрам. Гальшка встала:

— Уйди! . . .

Коля молча вынул портсигар и стал закуривать. Руки у него дрожали. Оправившись, он сказал:

— Знаешь, Гуля, я давно хотел тебе сказать, хотел тебя спросить . . . Давай поженимся!

— Ну, выдумал! — засмеялась Гальшка.

— Я теперь привык, что ты смеешься в самых неожиданных случаях, потому твой смех меня не обижает, но сейчас мне все же очень хотелось бы знать, что ты находишь смешного в моем предложении?

— Все смешно. Зачем нам жениться? Мы и так . . . хорошие с тобой друзья.

— Но мы не можем всегда оставаться только друзьями.

— А почему нет? — широко раскрыла глаза Гальшка.

— Ты не такая наивная, как иногда хочешь казаться, — возразил Коля, — хотя ты и довольно холодная натура, рассудительная, спокойная, но я не такой.

— Ага! Значит, опять-таки мы приходим к тому, что нам не надо встречаться. Или же, если уж ты так боишься за себя, то давай не будем целоваться.

Коля скрипнул зубами.

— А я думаю иначе, — сказал он, — значит, нам надо жениться.

— Нет . . .

— Заладила нет да нет! Почему нет? Ведь, ты меня любишь?

— Да, но все-таки . . .

— Что? Ну, говори!

— Коля! Мы люди разного круга.

— Я такой же интеллигентный человек, как и ты.

— Нет, я не это . . .

— Понимаю. Опять старая история: ты намекаешь на мое темное происхождение. Но ты сама согласилась, что я в этом не виноват. Я не совершил подлога, не сидел в тюрьме . . . Хотя бывают, конечно, и такие случаи, когда жены или невесты на каторгу идут за своими мужьями или женихами. Конечно, ты этого не сделала бы . . . я вообще говорю . . .

— Я не хочу ссориться со своей семьей. А мама после той истории (ты знаешь, о чем я говорю) ни за что не согласится. До того она к тебе хорошо относилась. Но потом этот твой родственник . . .

— Да просто — Володька, какой там »родственник«! — сердито перебил Коля.

— Ну, Володька, если хочешь. Породниться с таким человеком! Он так уронил тебя, что мамочка и слушать не станет.

— Я считал тебя за развитую девушку с широкими взглядами и думал, что вопрос о замужестве ты можешь решить сама, а ты мне вдруг начинаешь кивать на свою бонтонную семью. Разве ты не говорила, что хочешь освободиться от семейных пут?

— Да, это так, но здесь есть и другие »но«.

— Какие?

— Я привыкла к комфорту, к достатку. Ты ничего этого не сможешь дать мне. Ты мне дашь лишь »мещанское счастье«, от которого я всеми силами и отбрыкиваюсь.

— Твоя настоящая жизнь, все то, чем ты живешь сейчас, это и есть »мещанское счастье«. Я же, наоборот, хочу тебя вырвать из этой обстановки — для интеллигентной, разумной жизни. Другой круг знакомства, другие цели, — все будет полно духовного смысла. Ты оглянись вокруг — кто тебя окружает? Ты не можешь полюбить ни одного из этих мужчин, я в этом уверен. А если и выйдешь, все-таки, за кого-нибудь из них замуж, то только из-за положения в свете. Это ужасно, Гальшка! Тебе нужны совершенно другие принципы жизни. Я, Гальшка, получил недавно предложение постоянного сотрудничества в журнале »Русская мысль«. Это мне открывает дорогу. А когда я кончу университет, будут и деньги, то есть достаточно денег для средней интеллигентной семьи. А пока я буду учиться, несколько хороших уроков и литературная работа дадут возможность прилично существовать. Я все очень хорошо обдумал, Гальшка. У меня уже есть совершенно

готовый план на нашу совместную жизнь, и, уверяю тебя, неплохую жизнь! Конечно, не будет блеска приемов и другой мишуры, но не будет также и лицемерия и фальши. Я уверен, что ты думаешь так же, как и я, только твоя семья тебя задерживает.

Гальшка молчала.

— Итак, завтра, значит, венчаться. Правда? — Коля взял Гальшку за руку: — А сейчас вставай — пойдем кольца выбирать.

Гальшка захохотала. Но лицо Коли оставалось серьезным, и он продолжал тянуть ее, — было очевидно, что он не шутил, и Гальшка сказала:

— Ну, перестань дурачиться, Коля!

— Я не дурачусь, — возразил он, — я говорю совершенно серьезно. Все равно, ни мама твоя, ни брат не согласятся на наш брак, поэтому мы все это устроим сами, тихо, без шума. А потом придем к ним уже мужем и женой. Хотят — признают, хотят — нет. Разница будет только в том, что, вместо Петербурга, ты поедешь со мной в Москву. Там мы снимем квартирку и будем вместе жить — поживать да добра наживать. Правда, хорошо будет, Гуля!

Коля бросился ее целовать. Гальшка смеялась:

— Какая у тебя богатая фантазия!

— Это не фантазия. Я обо всем сколько бессонных ночей передумал, Гальшка! Я, ведь, люблю тебя! Я, ведь, уже не живу, а только люблю! Мне кажется, что ты не совсем отдаешь себе отчет, насколько сильна моя любовь. Я хочу, чтобы ты всегда, неотлучно была со мной. Понимаешь ли ты, моя девочка? Мы должны соединиться. Я не могу представить себе, что через месяц — другой мы расстанемся. Это немыслимо! Я хочу быть твоим супругом. Хочу, чтобы ты была совсем, совсем моя. Пойми меня, Гуленочка!
Коля приподнял ее лицо за подбородок.

— А ты . . . ты, ведь, тоже любишь меня?

— Да . . . —чуть слышно проговорила Гальшка, пряча свое лицо у него на плече.

— Милая . . . — тихо прошептал Коля, страстно целуя ее.

— Какая ты сладкая! От твоих губ трудно оторваться. Я готов их целовать без конца, — губы, что сказали мне »да«. И не только губы, а и глаза. Люблю глазки твои, которые на меня смотрят. И всю тебя люблю. И хочу обладать всем этим с полным правом. На всю жизнь! До самой смерти! Поэтому я и говорю: давай поженимся. Крохотка моя! Девуля! Кисанька! Гусинька!

— Ну, да, — рассмеялась Гальшка, — ты меня еще гусыней назови.

— Нет, зачем же — гусыня? Гусинька не от слова »гусыня« происходит. Подожди, почему я тебя назвал »Гусинькой«? Ах, да! Это от слова »Гулинька«. Гулинька—Гусинька, Гуся! Можно мне называть тебя »Гасей«?

— Нет, это некрасиво.

— Ну, сковородочка?

— Фу!

— Моя милая, маленькая кочерыжечка!

— Перестань глупить!

Коля деланно тяжело вздохнул, а потом серьезно продолжал:

— Ты холодная натура, и я понимаю, что ты не можешь меня любить так же горячо, как люблю я, но иногда мне начинает казаться, что я навязываю тебе свою любовь. Я не обвиняю тебя — у тебя такая уж натура. Так же, как я не оправдываю и себя за свою любовь, — ни к чему так безумствовать, только во вред себе. Это произошло потому, что тебе, конечно, многие говорили о своей любви. Слово »люблю« ты слышала на разные голоса и разные манеры. Ты к нему привыкла, и оно тебя не трогает. Я же . . . ты знаешь, Гуля, я ни от кого, кроме тебя, не слышал этого слова, только твои губы произнесли его для меня. Потому я так и ценю тебя.

— Немножко люблю, — поправила Гальшка, — я всегда говорила: »немножечко«.

— Ничего, пусть так . . . Для меня и это много. Ты меня любишь — и это так громадно, так значительно, что я уже никогда не смогу этого забыть. И я буду чаще повторять тебе, что я тебя люблю, чтобы ты это хорошо запомнила. Люблю тебя! Люблю за то, что ты такая женственная, ласковая . . . За ласку я отдам тебе все. Я самое невероятное могу сделать ради твоей ласки! И даже что-нибудь ужасное, если б ты меня о том попросила.

— Ужасного не надо, — возразила Гальшка, — пусть будет все только красивое, приятное.

— Когда я в первый раз увидел тебя, ты так ласково на меня посмотрела, улыбнулась и, кажется, попросила сесть и подождать Вову. Может быть, все это и очень простые вещи, но я сразу почувствовал всю ту, женственность, всю ту ласку, что таятся в тебе. Сразу, на всю жизнь! Ты — моя бархатная, выточенная статуэтка, кожаная розовая куколка!

— Ха-ха-ха! Ну, говори, говори еще, это интересно..

— А на губах у тебя такой избыток поцелуев, что, кажется, всю жизнь не сцелуешь. Тебя никто до меня не целовал?

— Нет... Так, как ты целуешь, — никто.

— Это хорошо. А скажи — за что ты меня любишь?

— За что? За то, что ты оригинален, не такой, как все. За то, что ты дикенький.

— Это что же такое?

— Так... дикенький... В овраг готов броситься... Зубами скрежещешь...

— Ага, понимаю... Ну-с, так как же, — когда наша свадьба? Послезавтра?

— Что ты так скоро?

— Ну, а когда же?

— Хотя бы недели две дал на размышление.

— Две недели много. Впрочем, если ты настаиваешь, хорошо, я согласен на две недели.

— Ну, и две недели мало. Я, ведь, так просто сказала. Я принципиально согласна, но срока не назначаю, — возражала Гальшка.

— Нет, это не годится. Тогда значит, жди год, два и больше. Принцип так и останется принципом. Нет, ты конкретно мне обещай — когда?

— Не знаю... Ты у меня выматываешь согласие.

— А ты просто издеваешься, играешь мной!

Коля встал и стал ходить взад и вперед по обрыву.

— Как хочешь, продолжал он через минуту, — а через две недели, в воскресенье шестнадцатого, я женюсь.

— Может быть, ты женишься без меня? — засмеялась Гальшка.

— Нет, на основании твоего согласия, женюсь именно на тебе.

— Давай лучше поговорим на другую тему, — предложила Гальшка: — Вот ты говорил о своей литературной работе. Я хотела бы что-нибудь почитать из твоих произведений. Я решительно ничего не знаю, что и как ты пишешь.

Коля помолчал, как бы опешив, внимательно смотря на Гальшку. Потом подошел, взял ее руку и почтительно поцеловал ее.

— Спасибо, Гальшка! Я очень тронут твоим вниманием. мне так приятно, что ты проявила интерес к моей персоне.

Он сел рядом и продолжал:

— Ты знаешь, мне особенно приятно поделиться с тобой

своим самым заветным, самым тайным. Я с удовольствием принесу тебе в следующий раз что-нибудь из своих произведений.

* * *

А придя домой, Коля, действительно, с наслаждением стал копаться в своих рукописях, стараясь выбрать для Гальшки самое лучшее. Он с любовью, чуть ли не в первый раз в своей жизни, рассортировывал все написанное им за несколько лет. Все было в страшном беспорядке. Он вдруг обнаружил очень ценные наброски, сделанные им под настроением.

В самый сокровенный момент за спиной Коли вдруг раздался хриплый пьяный голос Володьки:

— Извините, господин профессор, если я вам помешал.

Коля резко повернулся.

— Опять! Опять ты пришел!

— Пришел, ваше сиятельство. Не могу без вас жить, повидать захотелось. Два дня ничего не жрал, по нищете своей.

— А напиться — напился.

— Товарищи угостили.

— Пусть товарищи и обедом кормят.

— Не предлагают — с... А девчонка-то твоя не плоха, — вдруг переменил он тон, — губа у тебя не дура.

— Молчать! Не смей похабно говорить о ней!

— Это почему же? Невеста она тебе, что ли? А я вот даже в гости к ним собирался зайти. Конечно, приду с черного крыльца, с парадного не пустят...

Сдвинув брови, Коля напряженно его слушал.

— Думал: приду... — продолжал Володька, с удовольствием следя за эффектом своих слов, — представлюсь да и порасскажу кое-что из жизни их дочки... Может быть, заинтересуются.

— Врешь! Врешь! — вне себя закричал Коля, — ты этого не сделаешь! Ты просто меня мучить пришел!

— Очень мне нужно! — ухмыльнулся Володька, вытаскивая из бокового кармана мятую папиросу, — расскажу, как барышня время с тобой проводит у обрыва, как...

Схватив стул, Коля с силой ударил им Володьку, который все еще меланхолично возился с папиросой, расправляя ее неслушающимися пальцами. От неожиданного уда-

ра он не удержался на нетвердых ногах и свалился на пол. Коля, озверев, подбежал к нему и продолжал его бить.

— Эй! Эй! Стой! Спасите, убивают! — заголосил Володька.

Дверь колиной комнаты открылась как раз в тот момент, когда он уже отреноженным стулом дубасил Володьку по голове.

Просунувшаяся, было, голова хозяйки моментально отпрянула назад, и в оставленную щель лишь был виден ее длинный нос с очками, которые тряслись от негодования.

— Что за безобразие? Я не позволю ничего подобного у себя в квартире! Мы не какие-нибудь мещане ... Сейчас же прекратите безобразие!

Коля, сразу остыв от ее голоса, подчинился и безобразие прекратил.

— Вон! — тяжело дыша, простонал он.

С необычайной быстротой Володька вскочил на ноги и, выскочив за дверь, значительно погрозил Коле:

— Ты это попомни у меня!

— Вон! — в бешенстве повторил Коля, опять хватаясь за сломанный стул.

Избитый Володька послушно ретировался, даже забыв на полу свою потерявшую всякий вид и цвет фуражку. Коля злобно швырнул ее ему вслед.

— Попомни! — опять повторил Володька, скрываясь за входной дверью.

— Боже мой! Скорей бы в Москву! — держась за голову, в иступлении бегал Коля по комнате. — Только в отъезде мое спасение, здесь же я погибну. Боже мой, Боже! Погибну! Я ведь, его убить могу!

Испугавшись таких ужасных мыслей, он боязливо оглянулся: закрыта ли дверь и не подслушала ли хозяйка его преступных мыслей.

— Да, я могу его убить, — опять подумал он. Но при этом он не почувствовал ничего неприятного, а наоборот, сладостная волна прокатилась от живота вверх, к горлу. Такое чувство удовлетворения человек испытывает, когда убьет вошь. После этого надолго остается сладостное чувство насыщенности. Чувство, безусловно, атавистическое, имеющее происхождение от дикарей-предков, которым приятно было пролить кровь. Это чувство в наш век сгладилось лишь отчасти проявляется у любителей-охотников и других »шкурников«, которые, из любви к искусству, проливают кровь, с чувством удовольствия сдирают с животного

шкуру и с подернутыми счастьем глазами жадно передают подробности его убийства.

Залившись на минуту таким грубым счастьем от поганой мысли пролить кровь вши, Коля в следующую минуту, осознав, что этого не сделает, в отчаянии упал на стол и зарылся головой в разложенные на нем рукописи.

* *

Гальшка не пришла на свидание.

Отупело просидел Коля весь вечер на бревне у обрыва, держа подмышкой с любовью отобранные для прочтения лучшие свои произведения.

Небо хмурилось. На Колю даже упало несколкьо неуверенных капель дождя.

»Вот уж и лето прошло« . . . — подумал Коля.

Красницкий писал, что в университете уже начались. лекции, и так как Коля до сих пор не приехал в Москву, то он решил поселиться вместе с Барановым, который, будучи временно выслан из Москвы, теперь вернулся и опять полон новых планов переворота России.

Москва, Красницкий, Баранов . . .

Все это сейчас отодвинулось на задний план. Но все же, при мысли об университете, у Коли сжалось сердце.

»Поеду! Буду учиться, буду выбиваться на дорогу! Николай Петрович всегда так говорил. И, может быть, с дипломом и Волынских будет легче покорить« . . .

Но Коля знал, что Волынские пробудут здесь еще с месяц, а до их отъезда из Пореченска, — это он тоже хорошо знал, — у него не будет сил уехать. Кроме того, ведь, Гальшка может, в конце концов, и согласиться на венчание. Он был уверен в своем влиянии на нее; был уверен, что сможет склонить ее сделать так, как наметил, — только для этого нужно было время: она должна была постепенно привыкнуть к мысли стать его женой.

»Почему же, все-таки, она не пришла сегодня? . . . Побоялась дождя«, — решил Коля, уходя от обрыва.

Дома он сел писать ей письмо.

»Ты не пришла сегодня, но твой образ неотступно был со мной, — писал он: — Я даже вслух разговаривал с тобой. С т х пор, как я узнал, что ты интересуешься моими занятиями, я все время разговариваю с тобой, рассказываю о всех своих планах, о всем, что собираюсь писать.

Когда мы соединимся с тобой навеки, я буду делиться с тобой всем, всем. Ты будешь моим самым близким другом-

советником. Ты никогда и не подозревала, что и раньше всегда вдохновляла меня. Если я и не писал о тебе прямо, то всегда писал в связи с тобой или по поводу тебя. Моя чудная, милая крошка! Ты как-то сказала, что тебе не нравятся мои обтрепанные брюки. Я решил заказать себе тройку. Она мне, все равно, будет нужна для нашей свадьбы.

На-днях мне предлагали еще один урок. Весь заработок с этого урока я мог бы целиком откладывать для нашего будущего, но я отказался от урока, потому что мы, ведь, скоро уедем отсюда. Наш отъезд, ведь, — вопрос нескольких недель, не так ли, мое солнышко?

Мне трудно заняться сейчас чем-нибудь: ты заполнила все мои мысли. Я очень одинок, Галюня! И это одиночество я особенно остро чувствую теперь, после того, как ближе узнал тебя. Оно просто стало тяготить меня. Мечтаю, когда мы будем вместе... Когда это будет, моя радость?«

Через два дня Коля получил от Гальшки коротенькую записку. Это было первое и единственное от нее письмо. С радостным волнением распечатал он его.

Наискось, через всю страницу, торопливо было набросано:

»Ради Бога, ничего не пиши мне. Масса неприятностей. Все кончено. Забудь меня.«

Коля похолодел, когда прочитал эти крупные, косые строчки.

»Что же это такое?.. Что же случилось? Какие неприятности? Может быть, потому она и не пришла во вторник?«

И вдруг он вспомнил, что Володька грозился ему чем-то. Не донес ли он, действительно, об их встречах на обрыве? Эта мысль обожгла Колю.

»Вероятно, подлец, подсматривал, подслушивал и на самом деле кое-что знал... Что же это такое?«

Коля растерянно оглянул свою комнату, как бы прося у стен защиты против злодеяний Володьки. Бессильно опустился он на кровать и, в прострации, долго так сидел — без мыслей, без желаний.

Он не помнил, сколько дней и сколько ночей прошло: они бессмысленной массой вываливались откуда-то и такой

же безразличной, однообразной кучей куда-то исчезали во мраке ночи или же в тусклом дне, — после получения записки от Гальшки они потеряли для него всякий смысл. И было вполне вероятно, что то была одна сплошная, ужасная ночь.

Хозяйка, наверно, очень долго стучала, потому что, в конце концов, решилась приоткрыть дверь в колину комнату. Скандируя и отделяя каждое слово киванием носа, она значительно проговорила:

— К вам пришли.

Это было все, что она сказала. Но Коля сразу понял по ее тону, что ее слова заслуживают особенного внимания. Он это почувствовал нутром и, как на пружине, подскочил к двери, за которой должно было скрываться то значительное, о котором сказала хозяйка.

В темноте передней Коля увидел Вову и Гальшку.

— А! — стоном вырвалось у него из груди.

— Можно к тебе войти на несколько минут? — спросил Вова: — У нас есть дело.

В ответ Коля смог лишь отступить к стене и сделать рукой приглашающий жест.

Гальшка была под вуалью. Вероятно, она не хотела показать своего лица случайным встречным. А может быть, хотела скрыть следы переживаний.

Оглянувшись вокруг, Вова заметил, что в комнате было только одно кресло, и сказал:

— Мы не задержим тебя.

— Садитесь сюда, Галина Александровна, — официально обратился Коля к Гальшке, придвигая кресло, — а ты, Вова, можешь сесть на кровать, если не брезгаешь.

— Спасибо, я постою.

— Ах, извините, у меня костюм не в порядке, — схватился Коля за воротник, только сейчас заметив, что он без галстука.

— Мы не надолго, — повторил Вова, — разреши прямо приступить к делу. Гальшка просила меня выступить посредником между вами. Я знаю всю вашу любовную историю. Знаю, что ты сделал моей сестре предложение. Гальшка не может принять его. Она просила меня передать тебе ее отказ, потому что ей самой трудно об этом говорить. Конечно, она могла бы и написать тебе, но мы решили, что будет лучше, если мы не будем прибегать к письмам.

Коля стоял у письменного стола, неестественно выпрямившись. К концу монолога Вовы стало заметно дрожание

его рук, которыми он стал опираться об стол, как будто ему нужна была поддержка. Он не проронил ни слова и только побледнел, в упор смотря на Вову.

— Как мне передала Гальшка, — продолжал Вова, — ты питаешь к ней серьезное чувство, но ни ей и никому из нашей семьи этот брак не подходит. И она очень просит тебя не иметь на нее никаких притязаний и оставить в покое. Я кончил, — сказал Вова, так как последняя его фраза повисла в молчании.

— Все, что ты сказал, — наконец, проговорил Коля глухим голосом, — все это твои мысли, а сама Гальшка так не думает.

Он старался говорить жестко, чеканно, чтобы скрыть не большую дрожь в голосе. Глаза его, обращенные на бывшего товарища, потемнели от ненависти.

— Нет, ты ошибаешься, — тоже со злым огоньком в глазах ответил Вова, — я именно передаю то, что думает Гальшка. Мы предвидели твои доводы, поэтому и пришли вдвоем.

— Не верю, — уже едва сдерживая себя, выкрикнул Коля: — Вся твоя тирада сфабрикована тобой, без участия Гальшки.

Его голос не выдержал и со звоном выбросил истерическую нотку, а руки, опиравшиеся на стол, уже настолько тряслись, что слышно было дребезжание манжет.

— Нет, — твердо повторил Вова, — Гальшка сама так решила. Ты имеешь возможность спросить ее сам, если хочешь.

Оторвавшись от стола, Коля подошел к Гальшке, все время сидевшей с низко опущенной головой. За густой вуалью Коля не видел отчетливо выражения ее лица и лишь искал встретиться с ее глазами.

— Гальшка, — совсем тихо проговорил он. Забыв о присутствии третьего лица, он машинально обратился к ней на »ты«: — Это правда, ты так решила сама?

Не поднимая глаз, Гальшка слегка утвердительно кивнула головой. Этот кивок был такой нерешительный и вялый, что сразу окатил Коля радостным сомнением.

— Ты не сказала »да« . . . Ты не сказала? — хватаясь за ускользающую надежду, с мукой во взоре, допытывался он, опускаясь перед Гальшкой на колени и беря ее руку.

Гальшка, вместо ответа, опять молча несколько раз кивнула головой, а из ее глаз на руку Коли скатилась слеза. Он уронил голову ей на колени.

— Гальшка! Говоришь »да«, а сама плачешь. Гальшка! Почему же ты плачешь? Тебя вынуждают так поступить? Да? Да? — выпытывал Коля.

— Нет, — чуть всхлипнув, проронила Гальшка, — я решила, что так будет лучше.

— Лучше? Ты говоришь — лучше! — чуть не прокричал Коля, сжимая ее похолодевшие руки.

— Оставь ее, Николай, — вмешался Вова, — не мучь ее, она уже достаточно измучена. Слышишь?

Но Коля не обратил внимания на его вмешательство и продолжал:

— Ты говоришь — лучше. Для тебя лучше? Да? . . А я, я? . .

— Я знаю, что тебе будет тяжело.

— Тяжело! — истерично выкрикнул Коля, — мне это невыносимо! Пойми — невыносимо! Я не переживу этого, Гальшка. Ты об этом подумала?

— Да.

— Да? — дико забегав по ее лицу глазами, выкрикнул он, — да? . . . И все-таки, решила расстаться! Гуля! Как же ты можешь, после всего, что было, просто отпихнуть меня ногой, как собаку? Вспомни. . .

— Оставь! — решительно отстранил его Вова, беря Гальшку под руку, — мы сказали все, что было нужно. Идем, Гальшка. Эта мелодрама действует тебе на нервы.

— Это вы ее терзаете! — крикнул Коля, преграждая Вове дорогу, — вы! . . И в частности — ты. Ты злодей! Я тебя вызываю на дуэль. Я хочу драться с тобой! . . .

— Хм . . . хм . . . хм . . . — не раскрывая рта, Вова презрительным смехом потряс плечи и повел Гальшку к двери.

— Гальшка! Гальшка! — с укором повторял Коля, не находя больше слов. Но вдруг бросился к двери и, встав к ней спиной, дико закричал:

— Не пущу! Не могу! Нет! Нет!

На момент Вова остановился. Гальшка громко зарыдала. Услышав ее рыдания, Коля опустил на грудь голову, сразу ослабев. Вова воспользовался моментом.

— Дай нам пройти, — стальным голосом сказал он и, грубо оттолкнув Колю, открыл дверь.

Коля не сразу осознал их уход и продолжал неподвижно стоять, опираясь об стену. Казалось, у него не было сил сдвинуться. Он машинально слушал, как хлопнула парадная дверь, заглушая рыдания покидавшей его любимой де-

вушки Вот она садится в экипаж и меньше, чем через минуту, уедет. Уедет навсегда.

— Нет, нет! — в отчаянии повторил он и, собрав покидающие его силы, со всех ног бросился за уходящими.

Вова слегка подтолкнул плачущую навзрыд Гальшку:

— Садись скорей.

Коля подбежал к экипажу, вскочил на подножку.

— Гальшка! Галинька! Гуль - Гуль! Родная! — в безумии кричал он, ища гальшкины руки.

— Оставь! — тронул его за плечо Вова: — Разве ты не видишь разве не понимаешь, что все кончено?

Но Коля не слушал его.

— Гуленочка! Опомнись, что ты делаешь? Ты раздумала? Правда! Ведь, да? Да? Ты не уедешь?

Обойдя экипаж, Вова сел рядом с Гальшкой и, слегка коснувшись спины кучера, приказал:

— Трогай!

Одновременно он сильно толкнул Колю в грудь. Коляска рванулась вперед. Хватая руками воздух, Коля едва удержался на ногах. А удержавшись, с отчаянием бросился за удаляющимся экипажем.

— Гальшка! Галь! . . .

Коляска уже давно скрылась за поворотом улицы, а Коля все бежал, ничего перед собой не видя.

* *

Коля не помнил, как очутился у себя на кровати. Кажется, он спал. Или, может быть, долго был без сознания. Он едва поднялся — страшно ломило голову.

Он долго сидел на кровати, уставясь на кончики своих ботинок. Нечищенные и от долгой носки разбухшие, они стали немного смешными, как будто расплылись в беззубую старческую улыбку и беззвучно смеялись.

»Чему они смеются?« — подумал Коля. И вдруг сразу вспомнил все, как это было. Вспомнил, что с того зловещего дня, когда его посетили Гальшка и Вова, прошел еще один тоскливый день. Вспомнил, что вчера он ходил к Волынским, но его не приняли. Прислуга сказала, что никого нет дома, что все спешно уехали. Коля ей не поверил — она явно врала. Вспомнил, что вчера же он купил револьвер. Коля встал и, открыв верхний ящик письменного стола, долго рассматривал красивое, новенькое оружие.

»В голову или в сердце?«

Он приставил револьвер к виску. Неприятный холод передался его разгоряченной голове.

»Нет, не сегодня« . . .

Он осторожно положил револьвер обратно в ящик стола. И даже, из предосторожности, запер его на ключ. Потом, взяв фуражку, вышел на улицу.

Небрежно одетый, небритый, с нечесанными волосами, которые закручивались мягкими завитками, бесцельно шел он по улицам усталой, больной походкой и производил впечатление нетрезвого человека.

Долго толкался он в толпе на Большой улице, а потом пошел к обрыву. Там долго сидел на знакомом бревне, внимательно осматривал деревья вокруг. Вот у этой липы он в первый раз поцеловал Гальшку . . . Подошел к самому краю обрыва. Сквозь сухие камыши видно было устланное камнями дно.

»Недостаточно высоко!« — вздохнул он и пошел прочь.

Теперь он шел на кладбище. Бог знает, как давно не был он у могилы Николая Петровича. Небо потемнело, когда Коля пришел к знакомой могиле, теперь густо заросшей травой и дикими цветами.

»Пусть так и будет, — подумал Коля, — у него все должно быть естественно« . . .

Стал накрапывать дождь. Кладбище было пустынно, но вот вдали показалась женская фигура. Она остановилась у какой-то могилы и, вероятно, начала креститься и кланяться в землю, но издали казалось, что она трется головой об могильный крест. Было смешно. Уставясь глазами далеко вперед, в какую-то темнеющую на горизонте точку, Коля вдруг подумал, что, наверно, все, что люди ни делали бы, со стороны всегда будет казаться смешным. Для этого только нужно суметь стать зрителем этой многоактной несценичной пьесы анонимного автора.

»Да, вся человеческая жизнь смешна, жалки человеческие тревоги, заботы. Как ничтожно вообще все земное, человеческое! А, ведь, все, что мы делаем, — все это не то! Все должно быть не так. Мы должны жить как-то иначе. Самая-то суть жизни от нас и ускользает. А в чем же она? Где ее найти?«

Коля взял с могилы горсть земли и стал растирать ее руками. Слегка подмоченная дождем, земля пахла сильно — до пряности.

Коля встал. Зачем он здесь? Что он тут делает? Не то, ведь, все это! Надо жить совсем по-другому. Не в ежед-

невной бестолковой суете смысл жизни — о, нет! Это не нужно. Господи! Ведь, это совсем не нужно! . . .

Он быстро пошел с кладбища. Поднялся ветер, и дождь усилился. С головой уйдя в поднятый воротник студенческой тужурки, Коля стал как-то ниже ростом. Несмотря на дождь, он шел медленно, и когда встречал людей, куда-то спешащих или о чем-то спорящих, ему хотелось остановить их и громко крикнуть: »Безумцы! Опомнитесь! Зачем? Ведь, жизнь прекрасна, но только надо иначе жить.«

Ветер очистил воздух от дыма, угнал городскую пыль. Дождь освежил усталую, истоптанную деловыми человеческими ступнями, землю. Коля промок до нитки и остро почувствовал свежесть наступающей осени, уже с правом хозяйки располагающейся в городе. Коле стало весело от неизбывной радости бытия. Но не той радости, что бывает от красиво сервированного обеда или хорошо исполненной симфонии, — нет: радость была от ощущения сырости одежды, от очищенного дождем свежего, холодного воздуха.

»Да, теперь уже ясно, — подумал он, входя в свою комнату, — теперь я не умру. Бросить город. Уйти куда-нибудь далеко-далеко, главное, — подальше от людей и поближе к природе. Не надо ни Москвы, ни университета, ни литературной славы — ничего не надо. Одна лишь радость бытия, лишь запах свежей, пряной земли«.

Коля весь внутренно дрожал от счастья своего перерождения. Как бы прощаясь с городом, он подошел к окну. На другой стороне улицы стояли мужчина и жещина и о чем-то оживленно разговаривали. За закрытым окном слов не было слышно, а были лишь видны их жесты и мимика. Никогда Коля не думал, что это может быть так смешно. Вот женщина, почему-то держась за губу, часто — часто зашевелила губами, смотря в сторону от своего собеседника. Мужчина же, растопырив ноги, внимательно смотрел ей на руку, держащую губу (или, может быть, на кольцо на руке). Потом поставил ноги вместе и начал тыкать в женщину пальцем, тряся при этом головой — сначала вверх и вниз, а потом справа налево. Потом, очевидно, вытряхнув из себя все, что мог, он сразу стал неподвижным. Тогда начала крутить руками она. Можно было подумать, что у них происходило состязание, и она хотела доказать, что умеет крутить руками не хуже, чем он головой. Ее руки безостановочно вертелись, выделывая самые разнообразные штучки. То она отрицательно быстро трясла ими, то пово-

рачивала руку ладонью вверх, замирала на момент, как бы вопрошая, а потом начинала крутить ладонью и вверх, и вниз, и в стороны, как бы отрицая все на свете, а потом вдруг начинала как бы играть в мяч. Наигравшись, рука вернулась к своей хозяйке, схватила ее за борт пальто и застыла, а в это время заработали руки и ноги собеседника. Он то переминался с ноги на ногу, как бы ощупывая крепость почвы, то ставил их врозь, отодвигая одну, и, наклонив голову, критически осматривал ботинок со всех сторон, как бы отыскивая в нем нужные ему сентенции, а найдя, опять оживленно начинал бодать свою собеседницу головой.

Коля отошел от окна.

»Да, конечно, — опять подумал он, — все в жизни до одурения смешно. А вместе с тем, возможно, что эти два субъекта решают вопрос жизни и смерти... Вероятно, так же было смешно смотреть и на меня, когда я бежал тогда за экипажем« ...

В голову вдруг больно ударило молотом, вслед за которым не менее болезненно застучала целая кузница маленьких молоточков. Коля закрыл от боли глаза.

»Нет, нет, не надо!« ...

Он подошел к письменному столу.

»Что сделать со всеми рукописями? Сжечь? Нет, пусть останутся. Может быть, кому-нибудь пригодятся. Пусть все здесь останется так, как есть. Пусть все думают, что я умер. Я, ведь, действительно, умру для суетного мира«.

Он выложил на стал все деньги, какие были и которые он так глупо копил на будущее. Оказалось, что его будущее не требовало подобных условностей — котомка за плечами, кусок хлеба, щепотка соли...

»Нужно взять перочинный ножик, — подумал он. — Пойду прямо на лесок, а там — куда глаза глядят«.

Давно, — пожалуй, еще с детства, — взлелеянная мечта бродяжничества захватила его и приятной истомой разливалась в груди.

Он решил на прощанье написать письмо своему злейшему врагу — Вове Волынскому: поблагодарить его за то, что наставил на путь истины. Письмо он запечатал, решив завтра утром, когда отправится в путь, бросить в почтовый ящик.

Подумав, Коля решил написать также и Гальшке. Против обыкновения, письмо не клеилось. Он не знал, о чем

писать. Не о любви же, в самом деле! Не закончив письма, он разорвал его и бросил в корзину.

— Лишнее. В ее белокурой, гордой головке это не уложится. А ее голубая кровь в тонких, прозрачных жилках не загорится моей идеей отрешения от мира. Я, ведь, для нее »дикенький«, — усмехнулся он.

Коля подошел к зеркалу. Он хотел проститься и с самим собой, с тем Николаем Николаевчем Ключевским, которого все привыкли видеть и который рано на заре перестанет существовать.

»Вот ты какой!« — рассматривал он свое лицо, за последнее время осунувшееся, постаревшее, с образовавшимися горькими складками вокруг рта.

Я в двадцать два года уже старик! — грустно подумал он, — а через месяц обрасту бородой, волосы спустятся на плечи . . . Писатель! — иронически усмехнулся он, — думал звезды с неба хватать, а на поверку оказался всего-навсего бродягой« . . .

В дверь робко постучали, и сейчас же, вслед за стуком, хозяйка приоткрыла дверь и тревожно позвала:

— Николай Николаевич! Николай Николаевич! Вот вы просили не впускать его, но, ведь, он просто лезет . . .

Она не успела договорить, как от мощного кулака дверь рванулась, затрепетала и с силой ударилась об стену. Куски штукатурки посыпались с потолка и мелким градом покрыли путь в комнату.

— Ах, ты скот этакий! Ты еще приказы отдавать, чтоб меня не пускали! — заорал Володька, вваливаясь в комнату.

Коля был настолько спокоен, что даже не удивился володькину приходу.

»Оно так и должно быть. Конечно, он должен был придти«.

Коля только снисходительно махнул рукой хозяйке, чтобы снять с ее лица испуганное выражение, и закрыл за Володькой дверь.

В заплатанном, порыжелом польто и грязных сапогах (очевидно, кто-то снабдил его этими ношенными вещами), Володька бухнулся в кресло, которое под ним напряженно скрипнуло. Володька злился, вращая воспаленными глазами, и даже несколько раз стукнул по столу кулаком.

— Не впускать меня! Да ты знаешь, что я, если захочу, котлетку из тебя сделаю! Знаешь, что, если захочу, я и в Москву за тобой поеду, в университет пойду, заявлюсь

твоим родственником, которого ты отказываешься содержать. Я тебя еще и не так осрамлю, как перед Волынскими. Никуда ты от меня не уйдешь! Что мне с того, что меня дворник под руки выводил, а в гостиной у Волынских я все же был, на диване сидел и еще пойду, если захочу. Что ты мне можешь сделать?

»Вот как все это было! — подумал Коля, — теперь все и раскрывается« . . .

В груди у него, против воли, стал крутиться комок злобы против этого неисправимого пьяницы, нахально развалившегося сейчас в кресле. И смотря на его нечистоплотную, грузную фигуру, на все его подлое, когда-то красивое, лицо, Коля чувствовал, как злоба невольно накапливается и растет в его груди.

— Делай, что хочешь, — сквозь зубы сдержанно процедил он, — ты мне больше не страшен. Мне больше нечего терять. И напрасно ты о позоре говоришь — для меня и его больше нет.

— А что? — ехидно наклонил Володька голову, — разве все рассохлось со свадьбой? Хи-хи! . . . Видно, дороги-то у нас общие. Хи-хи!

Володька даже и не подозревал, насколько близко к истине он подошел этой своей фразой. У Коли же, от сознания этой отдаленной общности, внутри все закипело.

— Как я тебя ненавижу — горячо вырвалось у него. Он даже весь передернулся от отвращения.

— Да ну? Хи-хи . . . Вот как? А я думал, было, ты любишь меня . . . хи-хи . . .

— Перестань хихикать, гадина — выкрикнул Коля, уже плохо владея собой: — Довольно мне всего этого! Ты щедро, большими порциями, давал мне самое мерзкое, что имел. Ты отравлял мое существование, сколько было в твоих силах. Ты убивал во мне самое лучшее, возбуждая низкие чувства, — чувства злобы и ненависти. Я сыт всем этим по горло. Но больше ты меня не достанешь . . . — Медленно и значительно закончил Коля, в возбуждении приблизив к Володьке свое полное ненависти лицо. Володька не перебивал его, думая что-то свое, мерзкое, и вдруг легким движением губ смачно плюнул Коле в лицо. Как ягуар, отскочил Коля в сторону.

— Хи-хи-хи — . . . довольно захихикал Володька: — Отповедь мне решил дать! Профессор! . . .

Вдруг взгляд его упал на письменный стол. Он зорко

впился в небрежно брошенные деньги. Быстрым движением сцапал он их и так же быстро сунул под пальто.

— Это мне пригодится, — сказал он и хитро, снизу вверх, посмотрел на Колю, радуясь за новую пакость, которую так легко, без всякого труда со своей стороны, смог преподнести. Но Коля даже не двинулся с места. Скрестив на груди руки, он так крепко стиснул челюсти, что зубы его скрипнули. Вдруг он еще сильнее побледнел, руки его разжались.

— Постой, — хрипло проговорил он трясущимися губами, — ты не все взял у меня . . . Я тебе еще дам . . .

— Хи-хи . . . — мерзко хихикал Володька. Он еще не мог поверить, что хорошая пачка кредиток так легко ему досталась.

»А дурак не лезет в драку и не ругается. Может, фальшивые?« — мелькнуло у него в голове.

Коля кошачьей походкой подошел к письменному столу и вынул купленный им в минуту отчаяния револьвер. Стоя спиной к Володьке, он взвел курок.

— Хи-хи-хи . . . — все еще довольный своей пакостью, хихикал Володька.

— На! Получай! — крикнул Коля, быстро поворачиваясь к Володьке и нажимая собачку.

Гадливое хихикание резко оборвалось, грузное тело сразу обвисло в кресле.

— Врешь, подлец, притворяешься!, — с пеной у рта закричал Коля и, подбежав к Володьке, в упор выстрелил еще два раза.

— Нет, ты еще жив! Жив! — сквозь стиснутые зубы хрипом вырвалось у него: — Жив! . . .

И в исступлении, с совершенно озверелым лицом, он выпустил в труп еще две пули, совсем вплотную к порыжелому, заплатанному пальто, так что даже запахло горелым.

За дверью забегали. Послышались голоса:

— Нет, ты не войдешь, не войдешь! — говорила хозяйка.

— Нет, войду, — басил хозяин, — именно войду.

Холодный пот выступил на лбу у Коли. Тяжело дыша, он мутным взглядом обвел комнату, дверь, окошко, ища выхода. В эту минуту дверь комнаты трусливо, наполовину, приоткрылась, и в нее заглянуло испуганное лицо хозяина. за которым виднелся нос и очки хозяйки.

— Что у вас тут происходит? — спросил хозяин, округлившимися глазами взглянув на повисшего в кресле Володьку и на лужу крови под ним.

— Зовите скорей полицию, — отчетливым шопотом проговорил Коля.

Хозяин быстро прикрыл дверь, и было слышно, как он побежал исполнять колино приказание.

Коля быстро рванул свою студенческую тужурку, одна пуговица стремительно оторвалась, и, подпрыгнув два раза по полу, боязливо спряталась под кровать, у самой стенки.

— Скорей, скорей! ... Раз, два, три ... — отсчитывал Коля: — Под седьмое ребро ...

Прижав к груди дуло еще теплого револьвера, Коля спустил курок.

* *
*

Как сквозь туман, видел потом Коля городового, пристава и еще каких-то людей, которые шумно ходили и громко разговаривали. Каждый раз, когда Коля поднимал тяжелые веки, он видел перед собой мундиры с бляхами и наклонявшиеся над ним фуражки с кокардами. Все это блестело, переливалось, вызывая рвоту, и Коля опять тяжело закрывал глаза. Но, наконец, пришел врач, и служители в белом начали тормошить и переворачивать Колю, и от всего этого было нестерпимо больно в боку и в спине. А потом Коля услышал, как под быстрыми и решительными ножницами в чьих-то смелых руках покорно распалась на части его студенческая куртка. Коля с облегчением глубоко вздохнул и вдруг, захаркав кровью, потерял сознание.

А когда опять пришел в себя, то увидел новое лицо, которое наклонилось над ним и настойчиво повторяло все один и тот же вопрос, вероятно, страстно желая, чтобы этот вопрос дошел, наконец, до сознания Коли.

— Вы стреляли? Вы признаете себя виновным в том, что стреляли в мещанина Константинова? Вы признаете ...

Лицо судебного следователя расплывалось, уходило в стороны, и у Коли опять кружилась голова и поднималась рвота. Он устало закрывал глаза, но в его уши все настойчиво продолжало биться: »Вы признаете? ... Вы признаете?« — и Коля опять с усилием открывал глаза. Поймав, наконец, в желто-фиолетовом тумане лицо судебного следователя, Коля тихо, но очень внятно ответил:

— Да, я убил его ...

От усилия он закашлялся, и опять из его горла пошла кровь. Застонав от боли, Коля уже опять ничего перед собой не видел и только почувствовал, как несколько сильных рук перевернули его на живот. Много рук ... Значит,

много и людей было вокруг. Да, конечно: понятые, свидетели, протокол, — все это было нужно. Но Коля знал, что нужно было это им, этим собравшимся вокруг него людям, но не ему. Ему была совсем безразлична дальнейшая судьба. Коля знал, что после всего, что произошло, оставаться жить было уже нельзя — так уж вышло. И конец был близок. Коля уже слышал присутствие смерти у своего изголовья. Но зачем же они тогда так мучат?

* * *

Коля переселился в особый мир, прежде никогда для него не существовавший. Этот мир был наполнен красками и звуками. Все вокруг было или красное, или желтое, все вокруг звенело и стучало . . . И так много было шума в этом новом мире, что болела голова.

Но случалось, что все это сразу обрывалось. Все исчезало, и совсем ничего не было.

Но провалы были короткие, а потом опять жизнь выплескивала Колю на поверхность, и он опять опускался в шипящий, звенящий котел, где варились разноцветные краски. Пары их кругами плыли перед глазами, и от всего этого варева было нестерпимо жарко и душно.

Жизнь — с переменой дня и ночи, с восходом и заходом солнца — повернулась спиной: ничего этого для Коли сейчас не существовало. Отдаленным отблеском сознания Коля понимал, что его просто бросили в глубокую смрадную яму. Иногда ему слышалось какое-то свистенье и шипенье. Он знал, что то были гады, находящиеся в одной с ним яме. Он иногда даже чувствовал, как что-то горячее обхватывало его шею и душило, а потом холодным брюхом проползало по лицу. Было нестерпимо мерзко, но Коля знал, что связан, что не может противиться и покорно отдавался ласкам омерзительных гадов, и лишь иногда глухие хрипы протестом вырывались из его груди.

А в общем, лежать в яме было спокойно. Видно, никому уж не был он нужен, и, слава Богу, все оставили его на произвол судьбы.

Но однажды Коля был очень удивлен, увидев, что лежит в небольшой комнате, в которой, кроме его койки, было еще три. Стены комнаты были грязно-серые, а единственное окно высоко под потолком было зарешечено. Рядом кто-то под серым одеялом стонал, а некто другой, тоже в сером, с трудом управляя костылем, ковылял по комнате. Это было очень ново и непонятно. Что это была за комната? И зачем

вдруг решили показать Коле такую неприглядную картину? Он был уверен, что все это скоро уберут и покажут что-то новое.

И действительно, это было не надолго: скоро Коля снова опустился в яму и погрузился в свой обычный мир, — мир звуков и красок.

* *
*

— Вот, познакомьтесь: моя дочь, — говорила Евгения Павловна, когда в гостиную вошла Гальшка.

С кресла, опираясь на трость, поднялся высокий, представительный мужчина, лет шестидесяти, с копной пышных белых волос.

Принимая руку Гальшки, он произнес несколько маловначащих приятных слов, острыми глазами внимательно всматриваясь в ее лицо. Что-то знакомое скользнуло по Гальшке от этого взгляда серых глаз, но тотчас же и соскользнуло, и она не успела уловить, кого напомнил ей этот старик.

— Я рекомендую вам пойти лучше к кому-нибудь из местных студентов — они могут дать больше сведений, чем мы, — продолжала начатый разговор Евгения Павловна, — мы, ведь, совсем-совсем ничего не знаем. Я о Ключевском говорю, — пояснила Евгения Павловна, оборачиваясь к дочери. — Знаем, что он лежит сейчас в тюремной больнице после . . . после этой ужасной стрельбы. C'etait un cas affreux!

Кто он? — думала Гальшка, рассматривая красивого старика, с пытливым вниманием слушавшего Евгению Павловну: — Что ему нужно от Коли? На корреспондента не похож как будто . . . Может быть из судейских? . . .

— Наша семья, — тем временем томно тянула Евгения Павловна, — так далеко стоит от всего этого. Мы живем особняком. В этом ужасном городе нужно с большой осторожностью выбирать себе знакомства. Мы, к счастью, скоро уезжаем в Петербург . . . Вы говорили, что тоже приехали из столицы? — обратилась Евгения Павловна к посетителю.

— Нет, сюда я приехал из Москвы, — ответил старик, — постоянно же я живу в своем имении в Финляндии. Я приехал сюда исключительно из-за интересующего меня уголовного дела студента Николая Ключевского, который, как выяснилось, пишет в »Русской мысли« под фамилией Ведрожицкого. Меня это очень заинтересовало. Благодаря

тому, что об этом убийстве сейчас пишут во всех газетах, я и узнал об этом деле. Я недавно, по болезни, оставил свою многолетнюю должность товарища прокурора, но ... даже если бы я и не был причастен к суду, это убийство представляет для меня исключительный интерес ... Личный интерес ... Вернее, меня интересует сам молодой человек. и мне нужно собрать все возможные данные о его прошлом.

»Ничего не понимаю!« — мысленно недоумевала Гальшка. Незнакомый старик ей определенно импонировал· Когда он заговорил, он опять страшно напомнил ей кого-то, но кого именно — Гальшка опять не вспомнила. Ей было очень неприятно, что ее мать, боясь, вероятно, компрометации, открещивалась от Коли обеими руками. Ей же, наоборот, очень хотелось как-нибудь пойти навстречу этому почтенному седому господину с проницательными серыми глазами, но сделать это из-за принятой Евгенией Павловной политики было невозможно.

— Ничего, ничего не можем вам сказать, к большому сожалению, — продолжала отнекиваться Евгения Павловна.

Посетитель встал.

— Благодарю вас. Извините, что я, с интересом чисто личного характера, посмел вас беспокоить, но мне называли именно вашего сына как одного из самых близких друзей э ... э ... Ключевского. Честь имею кланяться!

Чуть волоча левую ногу, но все еще прямой и статный, старик вышел от Волынских, озабоченно полузакрыв орлиные серые глаза·

— Красивый старик, — проронила Гальшка матери, — кто он такой?

— А право, даже не помню, — недовольно поморщилась Евгения Павловна — она никогда не запоминала фамилий с первого раза. — Вон его визитная карточка, если интересуешься ... Зачем нас беспокоят по поводу этого несчастного Ключевского? Такое грязное дело! Еще в свидетели притянут. На-днях тоже Вове надоедали со всякими расспросами. Упирали на какое-то предсмертное письмо, ему адресованное ... Зачем вмешивают, зачем? ...

— Мама! — не своим голосом крикнула Гальшка, держа в руках оставленную посетителем визитную карточку: — Лев Львович Ведрожицкий! Да, ведь, это же его отец!

— Какой отец? Чей отец? О чем ты говоришь?

Гальшка бросилась к окну. Но Ведрожицкого уже не было. Его экипаж только что отъехал от крыльца.

— Наталья! Наталья! — вне себя закричала Гальшка, бросаясь в переднюю: — Скажите Василию! Скажите . Сейчас же, сию же минуту! Догнать, догнать его! . . .

— Галя! Галя! — с естественным ужасом в глазах поплыла за дочерью Евгения Павловна, с мольбой простирая вперед руки, но Гальшка уже сбежала по лестнице и была у входной двери.

— Без шляпы, без пальто . . . Гальшка! Но что же это? C'est la follie!

Волнение дочери было для Евгении Павловны совершенно непонятно. Она никогда ничего не слыхала прежде о каком-то Льве Львовиче с польской фамилией и, ничего не понимая во всем происшедшем, лишь чувствовала, что сейчас ей сделается дурно от всех этих неожиданностей. Тяжело опустившись на какой-то неудобный стул у самой передней, она, чтобы не упасть, судорожно схватилась за малиновую бархатную портьеру. Это было первый раз в ее жизни, что дочь пренебрегла ее словами.

* *
*

После того, как Колю бросили в яму и, казалось, забыли о нем, он медленно, но верно с каждым днем угасал. И вдруг чьей-то невидимой силой все изменилось. Колю стали ворочать, куда-то возить, осматривать, менять заскорузлые от крови и провонявшие бинты. Стали невыносимо больно копошиться под самым сердцем, биения которого Коля не прервал лишь из-за какого-то миллиметрового расстояния. А потом даже делали операцию, вызволив застрявшую в легком маленькую пульку.

Все это было невыносимо. Коля досадовал, что его оторвали от приятного бессознательного состояния, в котором он до тех пор находился. Ему было неприятно, что, по всей видимости, его мучители раздумали и решили всеми мерами вернуть к жизни.

— Зачем вы меня мучаете? Зачем возите то туда, то сюда? Почему не дадите спокойно умереть? — часто, с остановками дыша, с мукой протестовал он.

Но его не слушали, и однажды, открыв глаза, Коля увидел себя в очень хорошей, светлой комнате, где все было удивительно чисто, и где было большое окно совсем без сякой решетки, за которым помахивали голые ветки. И белье и постель — все тоже было бело и очень чисто. Кроме того, около него то и дело появлялся белый ангел, в лице

сестры милосердия. Она то поправляла одеяло, то взбивала подушки, чтобы Коле было легче кашлять, то кормила его, а то вливала ему в рот мерзкую микстуру.

— Где я? — недоуменно обвел Коля глазами комнату.

— В больнице Красного Креста, — услужливо ответила сестра милосердия, улыбнувшись мягкими белыми губами, в то время как все ее лицо тотчас же собралось в ласковые морщинки.

И от того, что »белый ангел« вблизи оказался старушкой, и от того, что микстура была противна, Коля стал капризничать.

— Не хочу лекарства! Оставьте меня, оставьте, ради Бога! Дайте спокойно умереть! Я жить не хочу! Умоляю — дайте умереть! И кто меня мучит? Лежал — никому дела не было, и — вдруг . . . Оставьте! . . .

— О вас какой-то приезжий господин заботится. Это все он. Добрый! — говорила белая старушка, придумывая, что бы еще сделать с Колей. — Вам не холодно? А то я добавочное одеяло принесу. Жарко? Ну, тогда я сниму с вас вот это и наброшу полегче. Вот так! — и сейчас же стала щупать, не пропотел ли он, не нужно ли сменить рубашку.

— О-о-о! — стонал Коля. — Уйдите! Оставьте! — и страшно жалел, что после произведенной операции он все время находился в сознании.

»Что за приезжий господин?« — думал Коля: »Не Гога же, в самом деле. Ему бы не выдали меня на поруки. Ведь, я же — убийца! Володьку-то я все же убил. Это я хорошо помню« . . .

И вдруг однажды, проснувшись, Коля увидел в своей комнате чужого человека. Опираясь на трость, он стоял у окна, спиной к Коле. Высокий, с копной белых волос на голове, он задумчиво смотрел на голое дерево перед самым окном, смотрел, как ветер легко развеивал с веток пушистый первый снег, выпавший прошлой ночью.

»Он?« — спросил себя Коля, всматриваясь в спину незнакомца, который, как бы почувствовав на себе взгляд, зашевелился и обернулся: на Колю взглянули серьезные серые глаза, разделенные очень прямым носом на длинном, худощавом лице.

»Но, ведь, я никогда даже и не видел его, ведь, я не знаю его!« — с удивлением подумал Коля: »Какое ему может быть до меня дело?«

Странный же старик, чуть волоча за собой ногу, подошел к колиной кровати и сел.

Теперь они оба внимательно рассматривали друг друга. Наконец, мягким, грудным голосом старик спросил:

— Как вы себя чувствуете?

Коля ничего не ответил. От пристального наблюдения он утомился и устало закрыл глаза. Голова его далеко ушла в подушки, и бледность лица совсем сливалась с белизной чистого, свежего белья.

Отдохнув, Коля, не открывая глаз, спросил:

— Это вы приставили ко мне женщину? Уберите ее, пожалуйста, она меня раздражает . . . Лежал я в тюремной больнице, никто меня не беспокоил, а тут только . . . мучат . . .

— Я хочу вас устроить получше, — просто сказал Ведрожицкий и, зачерпнув чайную ложечку ледяной воды из кружки, поднес ее к пересохшим губам Коли.

Коля жадно проглотил воду и открыл глаза.

— Этого вам там не давали, — говорил Ведрожицкий, черпая еще ледяной воды: — Вы увидите, что здесь вам будет лучше.

— Мне не надо лучшего, я хочу умереть.

Коля широко посмотрел на сидящего перед ним седого строгого старика, к которому даже как-то и не шла та заботливость, которую он проявлял.

— Вам-то что до меня? — грубо спросил Коля.

Но Ведрожицкий как будто и не почувствовал грубости и опять очень просто ответил:

— Хочу, чтобы вы поправились.

— Зачем вам это? Какое вам до меня дело?

Ведрожицкий помолчал с секунду, а потом загадочно проронил, опять нервно зачерпывая ледяной воды:

— А может быть, у меня и есть до вас дело . . .

— Кто вы? Адвокат? Заработать на мне хотите? Я вас не знаю.

— А я вас немного знаю . . .

— Не помню . . .

— Вполне естественно. В последний раз я вас видел, когда . . . вам было всего год с небольшим . . . Год и четыре месяца . . .

Говоря это, старик смотрел в окно палаты, опять на то голое дерево, которое зло трепал ветер.

Коля закрыл глаза, с трудом перевел дыхание, от которого захрипело в груди и кольнуло в бок. Ему было тяжело слушать, тяжело напрягать слух. Самый звук голоса раз-

дражал его. Также тяжело было и думать. Слова медленно доходили до его сознания.

Вдруг он широко открыл глаза и внимательно посмотрел на своего странного собеседника. »Что такое он сказал? Ах, да: год и четыре месяца« . . .

— Так вы . . — вслух проговорил он, — знали меня, когда... Вы знали моего отца?

— Да.

Они встретились глазами и пристально посмотрели друг на друга. Но Коля опять завертелся, гримаса прошла по его лицу.

— Вам больно? — спросил старик.

— Там . . . в спине . . .

Со стоном Коля сделал прерывистое дыхание и просительно посмотрел на торчавшую во льду кружку с водой.

— Хотите? — спросил Ведрожицкий и, не дожидаясь ответа, бережно и даже с лаской поднес питье к губам Коли. Коля машинально открывал рот, а сам, думая о чем-то другом, следил за каждым движением старика. В том, как тот черпал ложечкой воду, как тщательно постукивал ею о край кружки, чтобы ледяная капля как-нибудь не упала на открытую колину шею и грудь, была не простая аккуратность, а было что-то большее.

И вот это »что-то« безмолвно передалось Коле. И опять встретившись глазами, Коля опустил веки. Ему было страшно спросить самое главное, и он медлил, лишь нервно вертел головой по подушке, причиняя себе этим боль в боку, в спине . . .

— Он жив? — наконец, тихо спросил он.

— Да.

— Где? . . .

— Здесь . . .

И опять молчание.

Слова так медленно доходили до сознания, да и думать было трудно.

Вдруг Коля сделал большое над собой усилие и приподнялся на локте. Вперившись глазами в старика, он еле слышно, одними губами, произнес:

— Вы . . . Кто вы?

Старик взял его за руку и с увлажненными глазами погладил ее.

— Да . . . Это — я . . . Я! — И, проглотив слюну, он изменившимся голосом добавил: — Ты угадал: это я!

Закрыв лицо руками, Коля упал на подушки, а Лев Львович обнял его за плечи и коснулся губами его горячего лба:

— Мой бедный мальчик!

Сквозь крепко стиснутые пальцы Коля почувствовал, как что-то горячее капнуло ему на лицо. То плакал шестидесятилетний старик над своим умирающим сыном.

— Отец! Отец! — бормотал Коля и уже не знал, которые слезы были его, а которые отца — они смешались в первом объятьи за двадцать три года.

— Я спасу тебя!

— Не поздно ли, отец? Я, кажется, очень плох . . . Наверно, не буду жить.

— Будешь! Будешь! Я тебя вырву из лап смерти, будь уверен. Я выпишу лучшего врача, я сделаю все, что можно, только ты сам желай жить. Это сейчас самое главное. Имей желание жить, — с силой повторил Лев Львович, как бы приказывая, — и ты будешь жить, будешь! Ты должен жить! Сын мой! . . .

* * *

Находясь в больнице Красного Креста, Коля все время был под наблюдением врачей, которые должны были выяснить его психическое состояние. После шестинедельного наблюдения эксперты пришли к заключению, что у Коли замечаются некоторые психические особенности. Было обнаружено присутствие фибрилярных подергиваний и некоторые отклонения в ритме сердца. Принимая же во внимание несколько приступов плача с рыданиями, которые были у Коли в больнице, эксперты сделали заключение, что Коля страдает также и истерической формой неврастении.

Но постепенно в здоровье Коли наступало улучшение. В связи с этим, менялись и мнения врачей и увеличивались деловые визиты к нему. Каждый день являлись какие-нибудь официальные лица и делали всевозможные допросы — в связи с зверским убийством мещанина Владимира Петровича Константинова, который, как раскрыл Лев Львович, на самом деле оказался Владимиром Матвеевичем Духановым.

Вообще, благодаря опять же Льву Львовичу, многое в этом деле предстало совсем в ином свете, и постепенно выявилась вся преступная личность Володьки, который, кроме того, что жил по подложному паспорту, еще несколько раз ловко ускользал от правосудия: во-первых, когда служил

управляющим у Ведрожицкого, а, во-вторых, когда придушил свою сожительницу, а фактически — жену того же Ведрожицкого и мать подсудимого.

Симпатии и раньше были все на стороне Коли, но по мере того, как одна за другой развертывались володькины подлости, пореченское общество все сильнее и сильнее бурлило возмущением. Колю засыпали сочувственными письмами, и если бы не запрещение докторов и тюремного начальства, то ему не было бы отбою от посетителей, жаждавших высказать свое сочувствие.

Но, несмотря на то, что на стороне Коли было как будто и общество и печать, Лев Львович как бывший товарищ прокурора все же не очень базировался на этом. Он знал, что колино дело очень серьезное, что будет оно разбираться выездной сессией окружного суда, и принимал все меры к облегчению судебного приговора. Он надеялся не только на снисхождение, но и на полное оправдание своего сына. Для этого он выписал из Москвы знаменитого адвоката, в добавление к хорошему местному, и завел связи с судебным начальством.

Благодаря знанию дела, Лев Львович сумел значительно облегчить положение сына в больнице. Все его просьбы выполнялись. Колю, как находящегося на излечении, не стесняли особыми формальностями, и он не очень чувствовал свое положение подсудимого.

Всегда скрытный и застенчивый, теперь Коля в достаточной мере страдал уже от одного того, что вся его жизнь, до самых последних мелочей, была вытащена на обсуждение посторонних людей. Сколько раз спрашивал себя Коля, нужно ли было идти на все это. Не лучше ли было б просто сорвать с груди все бинты, высунуться голому в широкое, приветливое окно, за которым мягко пуржила зима, и тихо отправиться в небытие? Но когда он видел над собой склонившуюся седую голову своего так чудесно найденного отца, он умиротворялся. »Судьба недаром подбросила мне этот сюрприз именно теперь, когда я больше всего в нем нуждался«, — думал он и был уверен, что теперь, с уничтожением Володьки, наступит совершенно новая эра. Коля знал, что когда не стало этого человека, который всю жизнь лишь подставлял ему ножку и выявлял человеческие мерзости, все должно пойти иначе. Суд и все связанное с ним Коля считал последней мерзостью, которую Володька смог преподнести. И знал, что должен это претерпеть, пройти через это, последнее, испытание. Он только молил Бога,

чтоб приговор суда не был бы очень суров, чтоб не с седой головой выйти на свободу, для новой жизни. В этом, он надеялся, ему поможет его новый отец, этот фактически чужой и все же очень близкий человек. Эту близость Коля ясно чувствовал, когда оставался с ним вдвоем, — когда свет в палате притушивался, и в мягкой полутьме они молчали. И вот, в эти часы молчания, и начинала говорить кровь. Господи! какая непобедимая сила в ней! . . . Предаваясь этому красноречивому молчанию, Коля знал, что отец сломит горы, но вытащит его, Колю, опять на свет Божий. И опять будет он слушать пение птиц и вдыхать запах травы и свежей, такой могущественной, земли. Надежда на лучшее будущее сладостно сосала его простреленную грудь. Он знал, что теперь у его изголовья стоит добрый гений, а то, что он сейчас переживает, — это лишь зарницы прошлого.

Когда Коле давали передышку от наркотиков, и длинные часы медленно тянулись без сна, Коля, сам не замечая, вслух разговаривал с собой. Новые чувства, новые мысли встряхнули его впечатлительную, ослабленную страданиями, душу и действительно сделали из него какого-то неврастеника. Он потерял над собой контроль. Дежуривший же у его постели Лев Львович, против желания, многое узнавал из грустной жизни своего сына. Узнавал то, что Коля скрывал не только от него, но и от всех вообще. Льву Львовичу делалась ясной роль и отношение к Коле Волынских, делалось понятно, почему, уехав в Петербург, они наотрез отказались выступить в качестве свидетелей, несмотря на то, что их показания значительно могли бы помочь защите.

Правда, Вова через некоторое время (вероятно, исключительно из милосердия) прислал в суд свое короткое показание, дав необходимые, по его мнению, сведения о характере Коли. Он сообщал о колиной неуравновешенности, горячности, говорил о нем, как о человеке, в котором сходились крайности.

Когда же адвокаты, в присутствии Коли, поднимали вопрос о необходимости вызова этих важных свидетелей на суд, Коля начинал весь нервно трястись и, бьясь в истерике, умолял оставить этих людей в покое.

— Лучше на каторгу пойду! — исступленно кричал он: — Оставьте их!

Лев Львович скрыл от Коли свое свидание с Гальшкой, когда она сама пришла к нему в гостиницу и поведала все,

что знала о Коле с его же слов. Скрыл, что фактически только после этого знаменательного свидания он окончательно убедился, что Коля — его сын.

Лев Львович и Гальшка расстались друзьями. А уехав с семьей в Петербург, Гальшка написала Ведрожицкому письмо, выражая полную готовность помочь, чем может, в несчастьи, обрушившемся на голову ее »друга детства«, как она называла Колю. Но Лев Львович, после страстного отпора, данного Колей адвокатам, любезно поблагодарив Гальшку за отзывчивость, отказался воспользоваться ее помощью, прося лишь права и впредь рассчитывать на ее дружбу. Он угадал в ней отзывчивое, доброе сердце, она была ему очень симпатична, и он искренно расположился к ней, продолжая поддерживать с ней переписку.

Но беспокоить кого-либо из Волынских для судебного процесса он, выполняя желание Коли, не пытался.

*

Но вот настал и день суда.

Публика стала собираться к зданию суда задолго до начала, и очень скоро небольшая зала была набита до отказа. От нанесенного с улицы снега на полу стояли грязные лужи, в воздухе же стояли испарения.

Когда Колю подвезли к суду, у ворот стояла толпа любопытных. Коля не ожидал этого. Его бросило в жар. И вдруг, в первый раз за все время со дня убийства Володьки, в нем шевельнулось сомнение — не было ли это убийство действительно злодеянием?

»Ведь, о н и, — обобщал он всех судивших его, — считают Володьку не за тварь, а за человека.«

От этих мыслей уверенность в том, что Володька получил расправу по заслугам, разом соскочила с Коли, и ужасное сомнение, действительно ли не заслуживает он должного наказания за пресечение этой, хотя и мерзкой, но все же человеческой, жизни, стало подло заползать в Колю. И именно теперь, когда он только что подъехал к суду и грязным двором, под конвоем, шел ко входу, сопровождаемый любопытными взглядами толпы.

Странное, короткое, свистящее слово »убийца« больно хлестнуло его.

»Как легко до сих пор я смотрел на это!« — думал он.

А когда, при полном молчании сразу затихшей при его появлении публики, он переступил порог до отказа заполненной залы суда, он уже не сомневался в своей виновнос-

ти. Он это осознал по той электрической искре, которая пробежала по его телу. Ему стало душно в этой низкой, с плохой вентиляцией комнате, где должно было совершиться над ним правосудие. Чувствуя, что на него все смотрят, он, не поднимая глаз, тяжело опустился на скамью.

Хорошо сшитая новая студенческая форма не могла скрасить его чрезвычайно болезненного вида. Без кровинки в лице, до неузнаваемости похудевший и даже как-то ссутулившийся, Коля всем своим видом свидетельствовал, что ступил одной ногой по ту сторону мира и что даже теперь, чудом спасшись, он еще не успел сбросить с себя тех жутких следов, которые оставила на нем смерть, задевшая его своим страшным крылом.

Он машинально вставал, когда к нему обращались с чисто формальными вопросами, и машинально давал ответы, сосредоточивая все свое внимание на том, чтобы говорить громче, потому что его голос звучал очень слабо и его часто переспрашивали. Было неловко, в присутствии отца, сидевшего среди свидетелей, называть себя Николаем Николаевичем Ключевским. Он чувствовал себя фальшиво, как будто играл чужую роль в какой-то дурацкой пьесе. Это чувство особенно усиливалось театральной напыщенностью всей обстановки суда вообще. Ему на момент даже показалось, что и остальные в этой зале тоже играют, потому что все говорили не то, что думали на самом деле.

Вдруг, возвысив голос, как бы желая подчеркнуть особую значительность вопроса, председатель суда обратился к нему со стереотипной фразой, признает ли подсудимый себя виновным в совершенном преступлении.

Коля вздрогнул от этого, как ему показалось, окрика. Он быстро взглянул на председателя, но отсвечивающие на его носу очки не давали возможности увидеть выражение его глаз.

»А как вы сами думаете, — хотелось спросить Коле, — хорошо или нехорошо, что я убил Володьку?«

Во рту у него сразу пересохло. Воротник новой студенческой куртки сжимал горло.

»Конечно, я виновен«, — чуть не сорвалось у него с языка. Он обвел глазами первые ряды публики, увидел там всю пореченскую знать, рыжего инспектора, регента, молодого журналиста, что то внимательно заносившего в записную книжку. »Роман пишет«, — подумал Коля.

Не получая ответа, председатель снова, еще внятнее прежнего, повторил свой вопрос, и когда повторял, он

слегка поднял при этом голову, его очки на этот раз не отсвечивали, и Коля увидел явное недоумение на его лице. Его глаза как бы говорили: »Что же, сорвите все дело, мы его сейчас же прекратим, а вас очень просто отправим в Сибирь«.

— Я... Я... — начал Коля, сильно перегнувшись на левый бок, в сторону раны, и опираясь руками о барьер, — Я...

»Но, ведь, это все — театр!« — мелькнуло у него в голове.

— Нет... не виновен, — хрипом вырвалось у него.

И опускаясь на скамью, он почувствовал как его лоб, весь сразу, стал мокрым. И в то время, как он полез за платком и стал обтирать лицо, в зале прошло легкое гудение. Слов не было слышно, но чувствовалось, что публика недовольна — зачем напрасно мучат этого несчастного молодого человека?

Но процесс только начался. Один за другим, стали выступать свидетели, по большей части, говорившие о Коле много хорошего. Некоторые, как Федор Иванович Петелин, учитель математики в гимназии, где учился Коля, знавший его с детства, обрисовал Колю как человека очень впечатлительного, с сильной нервной возбудимостью, увлекающегося, мечущегося, с детства издерганного и физически и нравственно.

Другие говорили о Коле как о человеке мрачном, необщительном. По ошибке или недомыслию, эти свидетели, выступавшие на стороне Коли, говорили не в его пользу.

Коля удивлялся, как все эти люди претендовали на знание его личности, в то время как он никогда ни перед кем особенно не раскрывал себя.

Медицинская экспертиза тоже делала свое заключение. Упомянув об эпилептических припадках, которые были у Коли в детстве, эксперты особенно упирали на свидетельские показания о колиной несдержанности, неуравновешенности и выводили заключение об общей предрасположенности подсудимого к психическому расстройству.

Пять последовательных выстрелов, бессмысленно выпущенных в тело убитого, по их мнению, говорят о том, что в момент убийства подсудимый психическим шоком был выведен из равновесия и приведен в состояние умоисступления.

Врачи также подтвердили свои наблюдения над Колей в больнице, установив у него признаки травматического невроза.

»Слава Богу, что хоть сумасшедшим не называют«, — подумал Коля. И хотя знал, что все это говорится для его пользы, все же понуро выслушивал длинный перечень своих дефектов как физических, так и нравственных; слушал, как все эти самоуверенные люди, собравшиеся в этой неуютной зале, обнажали его душу, ковырялись в ней, претендуя на безошибочное знание своего дела.

Несмотря на все предосторожности адвокатов, фамилия Волынских все же несколько раз проскальзывала.

Во время всех этих показаний Коля время от времени обтирал свое покрывавшееся потом лицо и глухо кашлял в платок, стараясь не очень нарушать ту важную торжественность, которую создавали чиновники в отличных мундирах. Он знал, что вся эта сложная процедура нужна, что иначе всем этим чиновникам не за что будет получать их высокий гонорар. И с облегчением вздохнул, когда в качестве свидетеля выступил его отец.

Приятным, гибким голосом, с профессиональным красноречием, раскрывал он голые, но бьющие своей жестокостью, факты.

Волна радости перекатывалась в груди Коли, когда он слушал отца. Он снова стал чувствовать себя правым, что освободил общество от такого мерзкого гада, каким был Володька.

Но когда начал говорить прокурор, Коля опять упал духом.

Прокурор говорил спокойно, без особого воодушевления, останавливаясь на фактах, пропущенных другими. Он говорил, что подсудимый не является случайным убийцей, на что упирали защитники. В его характере и склонностях имеются данные, свидетельствующие о плохой наследственности. В тех же приготовлениях, которые были сделаны Колей перед самым убийством, он видел преступную преднамеренность.

Он не знал, конечно, что Коля готовился, не умирая, незаметно уйти, исчезнуть из мира. Для прокурора же было совершенно ясно, что разочарование в жизни, к которому подсудимый пришел в последние дни перед преступлением (доковырялись, ведь, до всего) привело его к решению покончить с собой. Но прежде, по мнению прокурора, подсудимый решил вывести в расход и того человека, который всю жизнь мрачной тенью неотступно следовал за ним.

— Отношения между убитым и убийцей были таковы, что другой развязки и быть не могло, — заключил про-

курор: — Но какие бы оправдывающие мотивы ни были у подсудимого для расправы, — убийство есть убийство. Мы не можем разбирать, кто из двух лиц лучше. Мы просто не имеем права оправдывать какое бы то ни было убийство вообще. А потому я требую для подсудимого примерного наказания.

После этой бесстрастной, но бьющей своей логичной построенностью речи, все сомнения Коли рассеялись. Он понял, что будет осужден, и что, вероятнее всего, ему даже не будет сделано снисхождения. Коля мертвенно побледнел после речи прокурора и все чаще стал вытирать свое потеющее лицо.

Но в низкой зале суда действительно становилось невыносимо душно. И все были страшно рады, когда, после обвинительной речи, был объявлен перерыв.

* * *

Во время перерыва Коля мучительно думал, сколько же лет могут ему дать. Он был уверен, что если его сошлют в Сибирь, то долго он там не проживет, со своим надорванным здоровьем.

»И тогда чудесное нахождение отца будет последней насмешкой моей злой судьбы, — грустно усмехнулся он, — а может быть, ограничатся тюремным заключением?« — строил он предположения, отдыхая в нетопленной боковой комнате при суде. Ему хотелось курить, но он знал, что этого делать нельзя, что он сильно закашляется, и может опять из горла пойти кровь, как уже было раз в больнице.

»Боже! — нервно сжал он руками голову, — как хорошо было жить здоровому« . . .

Лев Львович, правда, уверял, что как только кончится суд, они уедут в Швейцарию, и там, в лучшей во всем мире санатории, Коля совершенно обновится.

Заграница, путешествия манили своей новизной, чем-то неведомым, пышным . . . Коля нервно вскочил и стал ходить по комнате.

Нет, это все не для него! Лев Львович был уверен в вынесении оправдательного приговора. То же говорили и адвокаты. Но Коля, в глубине души, на это не надеялся. Он был уверен, что и отец и адвокаты говорят так лишь для его успокоения, — они иначе и не должны говорить. Нет, убить человека не так просто! Прокурор, ведь, был прав, когда говорил, что Коля — не »случайный« убийца. Ведь, если он и не готовился убить Володьку именно в тот вечер,

когда это произошло, так разве не было у него раньше этой подлой мысли? Конечно, была! И Коля даже сейчас еще помнил то сладостное ощущение, которое он пережил, когда у него мелькнула эта мысль впервые. Да, конечно, говоря по совести, убийство Володьки не было случайным. Мысль об этом даже не один раз гостила в голове Коли.

»Но вот что, действительно, мне непонятно, зачем я запустил в него пять пуль, когда уже первая была смертельной?« — спрашивал он себя. И тут же, в одиночестве прохладной судебной комнаты, один на один с самим собой, Коля дал отчетливый себе ответ и на это:

»Да от той же сладости убить его и запустил в него пять пуль! Потому, что не мог остановиться: так сладко было убивать его, мерзавца!«

»Ах, если бы взять да прямо вот все так и рассказать судьям! Что бы тогда было! Посмотреть бы на лица адвокатов. Любопытно! Не выкинуть ли, на самом деле, такую штуку?« — мелькнуло у Коли в голове. Но тут же пред ним встало строгое лицо отца, пытливо смотревшего на него глубокими серыми глазами.

»Моими глазами, — подумал Коля: — Глаза у него совсем, как мои. Такие ж грустные ... И судьбы наши одинаковые, невеселые« ...

Нет, ради него, придется отказаться от приятного скандала, при мысли о котором у Коли уже сладко защемило сердце.

»Уж очень душно там, в зале. От одной этой духоты можно взбеситься, потерять самоконтроль. Духота может довести человека Бог знает до чего. Можно, например, вскочить, обозвать весь суд неумным фарсовым действом, а судей — плохими комическими актерами, признаться, что и сам — подлый лгун, потому что за жизнь хватаешься из последних сил, а ее, все равно, осталось пустяки, так небольшой остаточек, на двугривенный ... А все-таки, и этого остаточка жалко! ... Вот и борешься и лжешь, выламываешься ... О-о-о!« ... — застонал Коля: »Как болит грудь! И как я устал! Но еще, ведь, всего только какой-нибудь час — два, а там ... все выяснится: либо пан, либо пропал; либо Швейцария, либо Сибирь« ... Коля подошел к единственному окну комнаты, выходящему куда-то во двор, и прижался головой к холодному стеклу.

Дверь комнаты, у которой стояла охрана, в это время открылась, и в нее вошел колин адвокат.

— Все хорошо, все хорошо! — весело подошел он к Коле,

похлопывая его по плечу и улыбаясь приятной широкой улыбкой на откормленном, выхоленном лице.

— Что ж хорошего? — удивился Коля.

— Все! — так же весело продолжал он, — все идет, как по писанному. Ничего для нас неожиданного нет. Обвинение было страшно бездарное. Все будет хорошо. Только будьте спокойны. Спокойствие — и больше ничего! Не волнуйтесь: победа за нами!

Сказав это,он опять мягко улыбнулся и, несмотря на свою комплекцию, легко и даже изящно повернулся и вышел.

»О чем он говорит?« — недоумевал Коля, но, тем не менее, пустые, как бы ничего и не значущие, обещания знаменитого столичного адвоката, против воли, придали Коле бодрости. Он почувствовал облегчение.

»Все-таки, он знает же, что говорит. Наверно, чувствует в себе уверенность«.

И идя снова в неуютную залу, Коля уже смело смотрел впереди себя. Ему опять стало казаться, что он еще не совсем погиб, что он еще не окончательно потерянный член общества и должен всеми силами бороться и отстаивать свои права на существование.

* * *

Ободренный адвокатом, Коля после перерыва вздохнул свободнее в проветренной, освеженной зале и довольно спокойно выслушал своего местного адвоката, одно за другим опровергшего все, так стройно построенные обвинения прокурора. Коля тут убедился, что обвинительная речь, поразившая его сначала, на самом деле, вовсе не была столь сильной.

Но когда вслед за местным адвокатом выступила многообещающая столичная знаменитость, Коля заволновался. С первых же его слов почувствовалось, что он владеет даром Божиим. Коля увидел, что этот человек, с приятной наружностью и особым ласкающим слух баритоном, может владеть и умами и сердцами слушателей. Коле сразу передалось то особое обаяние, которое он излучал, когда говорил, обаяние, которое нельзя передать словами, но которое своей внутренней силой, против воли, гипнотизирует.

Психологически тонко подошел он ко всем событиям, с такой неумолимой жестокостью следовавшим одно за другим и приведшим Колю на скамью подсудимых, этого, как

он сказал, восторженного юношу, стремящегося ко всему возвышенному, прекрасному и испытывающего естественное чувство гадливости к безнравственному, аморальному типу, каким был убитый.

Адвокат так очетливо видел, так ясно представлял себе последнюю роковую встречу этих двух ненавидящих друг друга людей. Он считал, что во время этой встречи испытываемое Колей чувство омерзения дошло до последней грани и на короткий момент привело нервного юношу в состояние безумия, которое и привело к преступлению.

Акт за актом, раскрывал этот маг слова колину тяжелую жизнь, в которой все время роковую роль играл Володька, этот преступный садист, чудом избегший каторги, но разбивший всю семью Ведрожицких.

Красивая, плавно льющаяся речь захватила всех. Чувствовалось, как все в зале поддались гипнозу красноречия. В торжественном молчании выслушивали все печальный рассказ о сошедшем с рельс молодом человеке. Рассказ, который как будто все и раньше знали, но который в устах искусного оратора приобретал новый смысл.

Раскрыв жуткую драму, он искусно подошел к несовершенству всей нашей жизни вообще и начал громить и безучастное общество, и плохую администрацию, и все порядки вообще. Порядки, из-за которых ловкий, врожденный преступник выскальзывает из рук правосудия, а талантливый юноша, искренний, честный, полезный член общества, оказывается подсудимым.

Коля почувствовал, как мурашки поползли у него по спине, когда адвокат стал взывать к справедливости, просить общественную совесть проснуться, а присяжных заседателей в данном деле быть особенно осторожными и не усугублять чьей-то жестокой ошибки.

Коля видел, что и все остальные в зале так же, как и он, находятся сейчас под влиянием яркой речи. В первый раз окинув присяжных заседателей, которые должны будут судить его, Коля обратил внимание, как сосредоточены были их лица. Коля встретился глазами с одним из них, и тот улыбнулся. Лицо его показалось Коле знакомым, но вспомнить, кто он, Коля не мог.

А тем временем адвокат, дойдя до экстаза, уже передавал последний акт драмы. Трогательно рассказывал он, как, после почти двадцатипятилетней разлуки, отец, наконец, находит своего потерянного сына, этого талантливого, подающего надежды, молодого писателя, но который фаталь-

ным стечением обстоятельств, волей злого рока, оказывается на скамье подсудимых.

Коля не выдержал в этом месте. Он почувствовал, как долго копившиеся слезы, наконец, вырвались наружу. Он закрыл лицо руками и не слышал, как адвокат, уже прямо обращаясь к присяжным заседателям, взывал к милосердию, просил их не лишать несчастного отца возможности соединить свою разбитую жизнь с жизнью измученного сына.

В зале послышались сдержанные всхлипывания, но златоуст еще не исчерпал всего своего красноречия и продолжал бить по чувствительным человеческим струнам.

— Помните, гг. присяжные заседатели, — говорил он, что пред вами не преступник, а незаурядно одаренная личность. Он, лишь будучи голоден, случайно вкусил отравленную пищу, преподнесенную ему больной средой, в которой он оказался, и часть вины за это лежит на всех нас. Его поэтическая душа всегда парила над землей, но семейные нити, связывающие с преступной личностью убитого, тянули вниз. Он порывался освободиться от них, порвать, но лишь хуже запутывался в тенетах. И ваша задача, гг. судьи, не губить его, а спасти. Спасая гибнущего, вы также спасете и свою совесть от непоправимого потрясения, которое может произойти от неправильно вынесенного приговора. Будьте же человечны и судите по законам высшей справедливости и Божеской милости!

Слова оратора были покрыты аплодисментами, которые были настолько продолжительны, что председатель суда даже взялся за колокольчик. Но звонил он как-то неуверенно, как бы по обязанности, и аплодисменты не смолкали.

Из первых рядов в это время стали выводить какую-то рыдающую даму. Видно было, что своей речью оратор потряс присутствующих, и никто не обращал внимания на председательский колокольчик, который уже звонил более настойчиво. Но, наконец, порядок, вняв колокольчику, вернулся, хотя еще чувствовалась некоторое время общая нервность. Было совершенно ясно, что большинство публики было на стороне подсудимого.

Это особенно ясно определилось, когда прокурор объявил, что он не настаивает на обвинении. По залу тотчас же пронесся вздох облегчения, и глаза всех устремились на Колю, которому было предложено сказать последнее слово.

Коля медленно, как в трансе, встал, нервно расстегнул тужурку, обвел залу измученным, больным взглядом, а по-

том протянул руку по направлению к присяжным заседателям и глухо проронил:

— Они . . . Пусть они решают . . . Я . . .

Силы оставляли его. Он хотел сказать что-то еще, но губы его лишь беззвучно двигались. Покачав головой, он почти упал на скамью, закрыв лицо руками.

Его увели из залы и опять привели лишь, когда присяжные, уже с готовым решением, рассаживались по своим местам.

В ожидании произнесения приговора в зале опять наступила напряженная тишина. Громко и бойко старшина, выйдя на середину, прочел ответы присяжных заседателей на вопросы, поставленные в опросном листе.

Коля машинально слушал. Он был так утомлен длинным процессом, что не мог заставить себя сосредоточиться на самом важном моменте. Его охватило полное безразличие к судьбе, и он, не отрываясь, лишь смотрел, как во время быстрого чтения, смешно дергались в стороны нафабренные красивые усы старшины, и как смешна была вся его подчеркнуто выпрямленная фигура в сознании принятой на себя ответственности. Заключительная фраза: »Нет, не виновен!« была произнесена старшиной особенно искусственно. С каким-то вызовом выбросил он ее из-под своих нафабренных усов. И от восторга он даже забыл закрыть рот, когда кончил чтение, от этого его усы так и остались высоко приподнятыми.

Колин мозг настолько ослабел, что, делая чисто внешние наблюдения, он не мог сразу воспринять всю значимость заключительной фразы, выкрикнутой старшиной. Мертвенно бледный, непонимающе-окаменело смотрел он на вдруг окружившую его толпу. Многие жали ему руки и радостно кричали:

— Ну, слава Богу, есть еще правосудие! Да здравствует защитник: спас молодого человека от гибели!

Только когда к Коле протиснулся его отец и с влажными глазами обнял его и при всех поцеловал, Коля осознал происшедшее. Впервые за все время он улыбнулся, а на ресницах его задрожали слезы.

Только теперь он решился сойти со скамьи и двинуться к выходу, куда вел его отец. А вслед Коле в это время, не прекращаясь, неслись ободряющие возгласы, поздравления, пожелания.

Всецело подчинившись отцу, Коля позволил ему надеть на себя пальто, фуражку, посадить на извозчика.

И только оказавшись в номере гостиницы, вдвоем с отцом, Коля окончательно пришел в себя, с него сошло, наконец, странное оцепенение. Оглянув хорошо обставленную комнату с мягким ковром, зеркальным шкафом и какой-то античной картиной в золотой раме на стене, Коля только в этот самый момент почувствовал окончательно, что оправдан, восстановлен в правах гражданина, и что теперь свободно может начать совсем новую жизнь по своему желанию, — ту жизнь, о которой, конечно, продолжал втайне мечтать, еще лежа на больничной койке. В голове мелькнули снежные вершины Швейцарии и где-то, в очень отдаленном уголке мозга, встала спавшая тяжелым сном Галышка...

Встретившись со счастливыми глазами отца, Коля вдруг почувстовал, как слабеет физически. Упав на диван, он, неожиданно для себя, зарыдал.

В этих рыданиях, казалось, выливалось все, накопившееся горе, все мучительные переживания последних дней.

Лев Львович принялся успокаивать его и налил из графина стакан воды. Но Коля так же неожиданно, как и начал, вдруг оборвал рыдания. Подняв голову, помутнелыми глазами посмотрел он на Льва Львовича, все еще стоящего перед ним со стаканом воды. И вдруг с силой отбросил в сторону стакан, выпрямился и с жестким лицом процедил сквозь зло сжатые зубы:

— А Володьку-то я все же убил любовно! Любовно! Ха-ха!

Он стал весь трястись от охватившего его смеха и смеялся так тяжело, что, обессилев, опять упал на диван. Казалось, смех прямо душил его.

Но через секунду он опять так же неожиданно оборвал смех и, заслонясь рукой, как бы защищаясь от кого-то, хрипло пробормотал-

— Здесь он . . . Отец! Он здесь! А-а-а-а! — дико заорал он, бросаясь ко Льву Львовичу!

— Что ты! Что ты, Коля! — говорил Лев Львович, обняв сына: — Что ты!

— Он здесь! Он хочет мстить мне. Вон, вон он! Видишь?

И вырвавшись от отца, Коля схватил стул и запустил им в зеркальный шкаф, а потом с бешенством начал хватать все, что было под рукой, и бросать в окна, в картины на стене. . . .

Стиснув зубы, он, с откуда-то взявшейся громадной силой, в несколько минут наполнил комнату обломками.

Когда Лев Львович вызвал служащих, помогших ему связать и положить Колю на кровать, Коля, закинув голову, с пеной у рта, тяжело дышал. Он, казалось, сам не мог понять, в какой странный и новый мир на момент окунулся, — мир, о котором, будучи гимназистом, так наивно мечтал, говоря, что лучше сойти с ума, чем остаться заурядным средним человеком. Теперь этот мир ему был так близок, он шагнул в его жуткую сферу, на момент познав его ощущения.

Через неделю, в комфортабельном вагоне, Колю везли за границу, в лучшую в мире санаторию.

Скорый поезд так спешил, что пропускал не только станции и полустанки, но даже и маленькие города. Мимо окон торопливо уходили русские пейзажи и сменялись бежавшими навстречу однообразными немецкими деревнями. Дорога пестрела новизной, но Коля, так любивший ездить в поезде, на этот раз ни на что не обращал внимания. Покачиваясь в такт поезда, с закрытыми глазами лежал он в полной апатии и не знал, что с каждой минутой приближается к желанной Швейцарии.

Часть третья

Николай Львович Ведрожицкий сидел в своем кабинете в Петербурге на Сергиевской. Перед ним лежали рукописи, вырезки из газет, но бездумно вертя в руках тонко отточенный карандаш, он был далек от той статьи, которую ему нужно было сдать завтра в журнал.

В этот вечер, больше чем когда-либо, он был недоволен собой, недоволен сложившейся жизнью вообще и результатами своих литературных занятий. Юношеские мечты о жертвенном служении обществу не сбылись, и теперь, к тридцати годам, он убедился, что до сих пор еще не определился, не отыскал смысла существования и не определил своей сущности.

Сколько раз Николай Львович думал бросить работу в журнале, освободиться от этого рабства и уехать в имение под Гельсингфорсом, оставленное в наследство отцом Там можно было бы всецело отдаться желанному творчеству, писать, что хочешь и когда хочешь, и служить истине, а не подлаживаться под направление журнала. Сколько раз он ссорился с редактором, который в писателе видел ремесленника, от которого лишь требовалось в определенный срок определенное количество строк. Так хотелось все это бросить и быть свободным творцом! В письменном столе лежали конспекты намеченных работ. Но всякий раз. когда у него появлялись подобные мысли, он сейчас же отбрасывал их, как нечто совершенно неосуществимое. Он прекрасно понимал, что не может перейти на такое независимое положение, что, несмотря на доход с имения, ему нужен был добавочный заработок для той широкой светской жизни, которую вела его жена. Эта жизнь держала его в своих когтях.

Вот и сейчас через плотно закрытые двери кабинета из залы до него доносилась музыка, отрывки пения, докатывались взрывы смеха. Галина Александровна часто устраивала у себя в доме литературно-музыкальные вечера. Она очень любила музыку, пела и сама недурно и потому постоянно вращалась в музыкальных кругах. Благодаря же мужу, она также была знакома и с литературными слоями Петербурга. Всегда радушная, с весьма привлекательной внешностью, она гостеприимно раскрывала двери своего дома всем, сколько-нибудь выдающимся, людям столицы. И у нее иногда бывали, действительно, интересные люди. Но, несмотря на это, Николай Львович, по большей части, предпочитал в дни подобных сборищ уединяться в своем кабинете.

Он не понимал, как можно все время быть на людях, все время говорить и делать не то, что хочешь. Ведь, когда-нибудь надо же побыть и наедине с самим собой, отдать отчет в своих наблюдениях, суммировать накопленные впечатления.

Он привык делиться всем своим сокровенным только с самим собой. С женой у него, к сожалениню, не бывало дружеских излияний: она была слишком занята приемами.

Иногда он высказывал ей свое недовольство тем, что живет не так, как хотелось бы. Но каждый раз подобные разговоры лишь вносили охлаждение в их отношения, подчеркивали непонимание друг друга.

Николай Львович с грустью убеждался, что и семейная его жизнь тоже не удалась. Его жена, горячо любимая и желанная, не хотела пойти навстречу и устроить жизнь иначе, согласно его склонностям. А когда поднимался разговор об отъезде из Петербурга в тихое имение под Гельсингфорсом, то просто определенный ужас отражался в прекрасных ее глазах.

— Ты хочешь меня упечь в какую-то глушь! — со слезами в голосе говорила она и горько добавляла: — Тебе нужно было б жениться на какой-нибудь швейке, у которой никаких интересов, кроме домашних, нет.

И такой тяжелой враждебностью веяло от этих слов, что Николаю Львовичу делалось страшно. За два года супружеской жизни его любовь к жене нисколько не уменьшилась. Он все так же сильно любил ее, как и в те безумные дни, когда был уверен, что или сойдет с ума, или покончит с собой, если не добьется ее взаимности.

И теперь, в минуты супружеских размолвок, перед глазами разом вставали картины недавнего прошлого, из которого он вылез просто чудом. Чудесное вмешательство отца фактически только и спасло положение.

Николай Львович уже не в первый раз жалел о слишком коротком знакомстве со своим отцом, который оставил значительный след в его жизни. След этот обозначился не только на внешней стороне ее, значительно улучшив ее и дав ему весь необходимый комфорт, о котором он раньше мог лишь мечтать. Но отец также помог ему вырасти и духовно, отчасти очиститься от с детства впитавшейся в него грязи. Все лучшие его свойства, бессознательно пребывавшие в нем, но затоптанные и засоренные общением с Володькой и Корнелией, благодаря отцу, всплыли на поверхность и дали возможность испытать благостное чувство признания своих прав на часть добра, разлитого по вселенной. Николай Львович понял, что ошибочно воспевал все гнусное, злое, умышленно заглушая в себе добрые зачатки, сознательно отстраняясь, таким образом, от всего отцовского и теснее прижимаясь к корнелинскому началу: власти похоти, цинизма, себялюбия. После сближения с отцом он почувствовал, как всколыхнулись в нем лучшие человеческие свойства, и прежняя жизнь, под знаком Корнелии, стала отходить, оставшись на затемненной стороне пути.

Иногда ему казалось странным, что именно отец вызвал в нем это солнечное ощущение, в то время как и до него он, ведь, общался с хорошими людьми. Хорошим человеком, был и Николай Петрович, но его порядочность и рассудительность так резко из него выпирали, что не встречали в безалаберном и эмоциональном мальчике — Коле отклика, а, наоборот, лишь вызывали раздражение. В противовес доброте и справедливости Николая Петровича, хотелось, наоборот, еще отчетливее, еще выпуклей выставить свою грубость, свое невежество.

С отцом этого не было. Очевидно, его душевные вибрации были как раз нужного размаха и потому и вызывали ответную вибрацию. Родственная близость с человеком, которого Николай Петрович фактически очень недолго знал, была настолько сильна, что чувствовалась даже и теперь, после его смерти. И каждый раз, когда он вспоминал его, его сердце обливалось тоской. Было жаль, что его уже нет, что внесенная им светлая полоса жизни была вкраплена на ко-

роткое время. Но Николай Львович искренне мечтал сохранить разбуженные силы, удержать в памяти короткую светлую полоску.

После суда Николай Львович, по настоянию отца, отбыл курс лечения в швейцарской санатории и вернулся в Россию вполне оправившимся после перенесенного им потрясения.

Поддерживаемая отцом переписка с Гальшкой дала возможность по возвращении возобновить знакомство с семьей Волынских. Удачно закончившийся судебный процесс сделал Николая Львовича в их глазах »интересным« человеком. Как только Николай Ключевский превратился в Николая Львовича Ведрожицкого, семья Волынских стала явно проявлять интерес к его личности. А то обстоятельство, что, несмотря на оправдание суда, его руки оставались в крови, сейчас уже не смущало Волынских, а, наоборот, придавало герою особую пикантность, вызывало любопытство, такое же пустое, какое вызывает и неведомое острое блюдо какой-нибудь диковинной Бразилии.

После Швейцарии Николай Львович Ведрожицкий, поздоровевший, безукоризненно выглядевший с внешней стороны, именно так и был встречен Волынскими: приветливо-любопытно. Даже надменный Вова Волынский сделал вид, что не помнит неприятных событий последних лет, и, как ни в чем не бывало, дружески протянул руку:

— Ну, как живешь, старик? Рад тебя видеть.

В первый момент такая перемена отношения передернула Николая Львовоича: в нем еще была жива горечь последней встречи с Волынским. Но тотчас же он осознал, что это — хороший признак, означавший, что с Н. Л. Ведрожицким считаются, что его хотят принять в общество как равного. Сознание этого факта дало ему приятное удовлетворение, и, замяв в себе поднявшееся, было, возмущение, он пожал протянутую ему руку.

Благодаря отцу, сравнявшись с Волынскими и в общественном и в материальном отношении, он почувствовал себя уверенно и снова сделал Гальшке предложение. Она приняла его и легко стала его женой, не скрыв, впрочем, что выходит замуж не за прежнего Колю, а за переродившегося, нового Николая Львовича. Это установление не показалось Николаю Львовичу обидным. Он лишь стал с этих пор стараться ничем не напоминать себя в прошлом. А когда в нем, в новом, все же случайно проскакивал прежний

Коля, и в любимых русалочьих глазах он улавливал недовольство, то поцелуями бросался замять неприятное напоминание и в каскаде ласковых слов спрятать охватывавший его страх потерять расположение своей возлюбленной Гальшки.

Этот страх жил с ним неразрывно, и все время он чувствовал себя рабом своего чувства к жене. Ради этого же чувства, он после семейных ссор на некоторое время совершенно забрасывал литературную работу и, в угоду жене, появлялся в свете, бывая и на званых обедах и на полуофициальных чашках чаю; снова, и снова жал руку неприятному Вове Волынскому, бывшему душой всех начинаний Галины Александровны; развлекал ненужных людей пустыми разговорами, заглушая в себе порывы к лучшей, более содержательной жизни.

И только наедине с самим собой его начинала грызть невыносимая тоска по другой жизни, которой можно было бы жить там, в тихом отцовском имении, вдали от людей, но ближе к любимой жене и книгам.

Когда тоска эта переходила границу и когда он также видел, что и жена устает от его необузданной любви, он бросался в другую крайность: заставив себя забыть, что он — женатый человек, с горящими глазами, с увлечением отдавался литературе. Запершись в кабинете, он совершенно отделялся от остального мира и растворялся в самом себе.

В эти периоды отхождения от семейной жизни его вполне удовлетворяло общество самого себя. Его не тянуло к общению с другими людьми и, интенсивно работая, он в такие периоды создавал свои лучшие вещи.

Он писал и о раздвоенности своей натуры и о том, что не может довольствоваться жизнью среднего человека, потому что уже вкусил нечто сокровенное, струящееся сверху. Он любил касаться возвышенных тем, парить в надзвездных пространствах, но потом вдруг неожиданно корнелинское начало в нем с силой выпрыгивало, он соскакивал с нарезки, падал вниз и начинал с наслаждением копаться в низменных чувствах, анализируя и растравляя язвы трущоб и возвеличивая все самое низкое, которое, по его мнению, доминировало в мире и им управляло.

Его произведения не носили поэтому определенного характера, они были неровны и или были высоко поэтичны или же откровенно циничны. И часто, когда душа его пари-

ла над землей, что-то, вросшее в него с детских лет, тянуло к трущобам. Как будто два человека участвовало в его творчестве. Это раздвоение в себе он всегда и раньше чувствовал, но раньше он не мог найти ему объяснения. Сейчас же знал, что это борются в нем Корнелия и отец, и знал, что не может поэтому быть всегда ровным, всегда одним и тем же. Да, пожалуй, это ему и нравилось. Его взлеты и падения давали возможность видеть верх и низ жизни.

Но в общем же, его душа всегда кричала от окружающей несправедливости, от гнета жизни (он всегда был несчастен), поэтому его произведения отличались некоторой истеричностью.

Главным же мотивом его произведений была непонятая любовь. Он доходил в этом до болезненности и молил о любви, выражал тоску своего одиночества, кричал о неразделенной страсти.

По его произведениям было ясно видно, что он не нашел в семейной жизни удовлетворения, несмотря на то, что женился по страстной любви, первой и единственной в его жизни. Никогда не расставаясь со страхом потерять эту любовь, его впечатлительная натура по всякому пустяку рождала сомнение. Вдруг он вообразит, что уже больше не любим, что его, необузданного, дикого, вообще невозможно любить. Ужас тогда охватывал его. Он запирал тогда все свои рукописи в ящик письменного стола и на некоторое время опять делался внимательным и неотступным спутником своей жены во всех ее светских предприятиях и, как он сам выражался, »старательно кривлялся« перед выхоленными гостями.

Так он и метался между любовью к жене и любовью к литературе.

Сейчас он сидел в своем кабинете в период полного отвращения к людям, когда ему было противно не только видеть их, но даже и слышать: его передергивало от заглушенного несколькими дверями человеческого смеха, казавшегося похабным, низменным.

Сейчас Николай Львович был настроен возвышенно.

Он вспоминал свое пребывание в санатории и ту тоску, которая в то время съедала его. Необычайная тишина и покой, царившие в санатории, удивительно успокаивали нервы, но вместе с тем вызывали и безотчетное томление по шумной, сумбурной жизни, что была за стенами санатории.

Вот она, эта шумная жизнь! Он ее получил. Тут, за дверью, рассыпается она каскадным смехом по небольшой шестиугольной зале, где его горячо любимая жена щедро расточает кокетство многочисленным своим поклонникам. Если бы тогда, в санатории, он знал, что из себя представляет эта шумная жизнь, он не томился бы так страстно по ней.

А теперь, бесцельно смотря в окно прямо перед собой и улавливая ухом сдержанные аплодисменты из залы, вероятно, по адресу какого-нибудь только что выступавшего певца или музыканта, Николай Львович видел тот снег, белый, нетронутый, который толстым слоем лежал на Альпах перед окном санатории, расположенной на крутом склоне гор. Он живо представил себя в ее длинном, скучном коридоре, вспомнил то странное ощущение, которое получил, подойдя впервые к одному из окон: сада не было видно с высоты 5000 футов, но если вплотную прижаться к окну лицом, виднелись верхушки каких-то деревьев. Неспокойные, всегда в волнении, эти верхушки как будто существовали сами по себе, не прикрепленные к стволу и свободно болтавшиеся между правой и левой стороной окна. По этим верхушкам воображение рисовало большой парк, который весной там, в долине, наверно, расстилается зеленью и цветами.

Для воображения в санатории было много времени, и Николай Львович часами простаивал бы у окна, если б его не отрывали измерением температуры и другой больничной рутиной.

Пережив за последний год столько, сколько другой не переживет и за всю жизнь, Николай Львович чувствовал, что его голова и сердце опустошены. Его душу в бытность санатории не бередили ни новые идеи, ни старые волнения. Под влиянием больничного режима все это куда-то исчезло. Утратив себя самого, он просто подчинился воле докторов, превратившись в удобную для них кривую, по которой они изучали ход его болезни.

И только позднее стал в нем просыпаться интерес к жизни, ощущаться какое-то томление.

И вот тогда-то проснувшееся воображение стало искать какой-нибудь, хотя бы едва заметный, выступ, за который можно было б зацепиться на ровной, гладкой стене его жизни. И вдруг на ее серый неприглядный холст ярким пятном пролилась улыбка.

Этой улыбкой была та молодая девушка, что жила в окне далекого и такого же скучного коридора своей женской половины санатории, построенной в виде буквы »П«. Аккуратно, всегда после завтрака, появлялась »она« у своего окна и грустными глазами, тоже, как и Николай Львович, смотрела на снег и горы вокруг. Николай Львович никогда не обменялся с ней и словом, но он так хорошо знал ее. Знал ее большие черные глаза на бледном, худом личике, ее гладкие черные волосы; хорошо знал ее, как бы настороженный, поворот тоненькой шейки на хрупких узких плечах. Больше ничего не было видно, но он прекрасно знал, что и вся ее фигурка тоже такая же хрупкая и воздушная, как и головка. И, наверно, у нее был тихий грудной голос. Николаю Львовичу казалось, что иногда он слышал ее сухой, резкий кашель, несколько небрежный, надоевший.

И вот почему-то вспомнилась ему теперь эта девушка, теперь, когда он, оставленный всеми и такой же забытый, как и тогда в санатории, сидел в своем кабинете, а за несколько комнат от него веселились духовно-чужие ему люди.

Та незнакомая девушка на женской стороне санатории была ему ближе и понятнее, чем все эти люди в его доме. Он знал, что она разделяла его одиночество и его тоску по другой жизни, которая была по ту сторону гор, покрытых снегом. По тому, как грустно смотрела она ему в ответ, он видел, что она хорошо понимала его чувства. Ей так же, как и ему, хотелось скорей освободиться и от недуга, и от санатории, и зажить общей жизнью со здоровыми.

Николай Львович хорошо помнил свой испуг, когда однажды, подойдя в обычное время к окну, не увидел »ее«.

В то утро с женской половины все время неслось церковное пение, легко разносившееся в необычайно чистом воздухе. Было так тихо, что казалось — все люди вымерли, и пели то ангелы, спустившиеся с белых гор. Под влиянием церковного пения начинало казаться, что там, на женской половине, не все благополучно, и что это пение было надгробным молением над какой-нибудь ушедшей из бренного мира душой.

Николай Львович очень отчетливо снова переживал сейчас ту тоску, которая охватила его тогда при мысли, что это могли отпевать »ее«, хрупкую, чахоточную девушку с большими черными глазами и тоненькой шейкой, ту девушку, которая и была тем легким, едва заметным, высту-

пом, за который, спасаясь от размеренного однообразия, ухватилось его воображение и который, может быть, и спас его от тоски по оставленной в России любимой девушке.

И когда Николай Львович не увидел »ее« в то утро в окне, определенный страх охватил его. Мысль, что навсегда закрылись чудесные вопрошающие глаза, не давала покою. И в то время, когда в ушах еще стояли монотонные напевы грустных католических молитв и сердце было наполнено страхом, в окне на женской половине с большим опозданием вдруг появилась »она«. Николай Львович не мог скрыть тогда радости и любовался ее, тоже возбужденным, нервным, почти детским, личиком. Он смотрел на нее, а она на него, оба полные одной мечтой, одними желаниями. Незнакомые, никогда не перекинувшиеся даже словом и разделенные ста футами холодного пространства, они так сроднились, так хорошо понимали друг друга.

А имя? О, это было неважно: он мысленно называл ее »хрусталинкой«.

И где была сейчас эта близкая, родная душа? Может быть, она умерла вскоре. Ничего неизвестно.

И именно сейчас, в своем неразделенном одиночестве в кабинете на Сергиевской, Николай Львович вспомнил об этой хрупкой девушке, и ему стало еще грустнее, еще сильнее почувствовал он свое тоскливое одиночество.

* * *

Из редакции Николай Львович решил пройти бульваром. Надоело сидеть, упершись локтями в стол, а глазами в печатные листы перед собой. Захотелось посмотреть вдаль. Хорошо было б сейчас оказаться где-нибудь в Пореченске, на краю обрыва, с которого был виден почти весь город, как на ладони.

Бульвар в этот час дня был запружен няньками и детьми, которые с мячами и кольцами бегали по дорожкам, шумно выражая свою радость бытия.

Николай Львович замедлил шаги, стал прислушиваться к детскому гаму, любоваться веселыми личиками. Заботы дня, мелкие повседневные тревоги стали незаметно уплывать, и он почувствовал, как спокойствие разливается в нем, как он сам наполняется той заразительной беззабот-

ностью, которой пылали детские личики вокруг. Обычная угрюмость и нахмуренность сошли с его лица, и глаза зажглись ласковостью.

Каким-то образом он оказался в самой гуще шумной детворы. Он стоял среди них, прислушивался к их бестолковому гомону и глупо улыбался, пока кто-то из детей в разгаре игры нечаянно не толкнул его. Тогда медленным шагом пошел он к выходу. Странное чувство охватило его. Ему определенно стало казаться, что, если б сейчас на руках у него оказался его собственный сын, вот такой же, как один из этих карапузов, то он был бы страшно счастлив. И оттого, что он не мог сейчас страстно прижать его к своей груди, жалость к самому себе наполнила его. В груди защемило, и он поспешил покинуть бульвар.

И только, отойдя несколько шагов, он пожалел, что не взял на руки одного из тех малышей. Это, наверно, дало бы некоторое удовлетворение. При этой мысли он даже остановился: не повернуть ли назад? Еще, ведь, не поздно. Он еще мог бы это сделать. Только пройти несколько шагов. Но тотчас же Николай Львович почувствовал неловкость приставать к чужим детям. Опустив голову, он продолжал путь.

»Во мне просто заговорила кровь«, — стал он себя успокаивать: »А это, ведь, пожалуй, и нехорошо. Ведь, отцовство и материнство — в корне-чувства примитивные и довольно низкого порядка. И воспевается материнство только теми, кто серьезно не задумывался над анализом этого чувства. А, впрочем, вполне натурально, что иногда земля тянет к себе. Бывает, что так хочется самых простых переживаний, примитивных земных удовольствий, самого обыкновенного, невзрачного человеческого счастья! Но опускаться на землю нужно лишь только тогда, когда сильно почувствуешь в себе земное тяготение, иначе неудовлетворенность земным примитивом сгрызет тебя. Начнешь это смотреть на все критически и тотчас же, конечно, увидишь все недочеты плохо устроенной жизни. Все покажется таким непривлекательным, бедным и некрасивым, что тогда просто отходи в сторону. Тогда лучше всего подняться вверх. Принято в таких случаях говорить »парить в облаках« . . . Непонятно, почему дан такой определенный адрес для мечтаний? Но факт, что, посетив этот особый мир, начинаешь понимать всю мизерность земного существования, делаешься снисходительным к человеческим сла-

бостям и вообще прибретаешь философский взгляд на жизнь. С этим взглядом легко шагать по гнусной, порочной земле и даже можно и самому окунуться в ее пороки, которые будут только скользить по тебе, как по отполированной поверхности, не задевая своей грязью, и подлость тогда тоже теряет свою остроту, вызывая лишь простое любопытство, как нечто забавное« . . .

»Так что же, в конце концов, — прервал свои мысли Николай Львович, — хочется мне сейчас земного или небесного?«

И сейчас же ответил сам себе:

— Страстно хочу самого простого, самого человеческого, самого земного!

В таком приподнятом настроении он пришел домой и был рад, что сейчас увидит свою жену, которую в течение нескольких недель встречал лишь мельком.

Гальшка всегда сближала, роднила его, пасынка, с матерью землей. Сейчас же Николай Львович особенно остро ощущал свою любовь к ней, был страшно счастлив этим сознанием и поэтому весело и легко вбежал в дом·

Но тут его ждало разочарование: Иван Николаевич доложил, что Галины Александровны нет дома.

Николай Львович никак не мог заставить себя видеть в Иване Николаевиче лакея. Высокий, худощавый, с сильно втянутыми щеками, Иван Николаевич стал служить Николаю Львовичу лишь после смерти отца. Он был старым слугой в доме Ведрожицких, и при нем разыгралась их семейная драма, когда Корнелия Мариановна неожиданно оставила мужа, скрывшись неизвестно куда. И то, что Иван Николаевич был в курсе всех сложных семейных событий, и то, что он знал Николая Львовича еще маленьким Колей, вызывало чувство уважения. Хотелось считать его другом или, по крайней мере, двоюродным дядюшкой. Но строгая сдержанность этого почтенного и корректного человека не допускали какой-либо фамильярности. Поэтому Николай Львович всегда чувствовал, что в их отношениях нет простой человеческой справедливости, и всегда испытывал перед ним неловкость.

Когда Иван Николаевич сдержанно сообщил, что Галина Александровна ушла, Николаю Львовичу хотелось продолжать разговор. Ему казалось, что этот умный слуга мог бы рассказать поподробнее не только, куда ушла его жена, но

также и вообще, как она проводит свое время, — как раз все то, что самому Николаю Львовичу никак не удавалось знать. Но Иван Николаевич всем своим видом предостерегал от какой бы то ни было интимности, и Николай Львович, не делая дальнейших расспросов, молча принял от него почту.

Из груды деловых канцелярских конвертов выпал маленький, узкий конверт. Такие конверты обычно употребляют женщины. Он сразу привлек внимание Николая Львовича. Он внимательно прочел адрес, не будучи уверен, что письмо адресовано ему. Но на конверте отчетливо стояло его имя и фамилия и правильный адрес, написанный крупным, незнакомым почерком, совершенно не женским и совсем не гармонировавшим с маленьким женственным конвертом.

Конверт этот настолько заинтересовал Николая Львовича, что он отложил остальные письма и вскрыл его.

»Четверг, 7 часов вечера«, — прочел Николай Львович. Больше на маленьком листе бумаги ничего не было.

»Что за чушь!« — подумал он и с досадой бросил письмо в корзину под столом. Но в следующую же секунду он вытащил письмо обратно и еще раз перечел единственную его строчку:

»Четверг, 7 часов вечера«.

Теперь эта строчка показалась ему не бессмысленной, как сначала, а таинственной.

»Что бы это могло означать?«

Никакой подписи, почерк незнакомый. И оттого, что эти загадочные слова нельзя было расшифровать, Николаю Львовичу стало досадно, и, разорвав письмо, он окончательно бросил его в корзину.

* *

Жизнь неспокойная, безалаберная шла своим чередом, оставляя на душе осадок неудовлетворенности, постоянной торопливости и вообще чего-то незаконченного.

Николай Львович редко видел жену, мало делился с ней своими мыслями, планами: она была перегружена общественными обязанностями — сегодна благотворительний бал, завтра музыкальный вечер у знакомых, а послезавтра —

файф о клок у нее дома. И несмотря на то, что у Николая Львовича наступил период отхождения от его литературных занятий, он не мог попасть в орбиту интересов жены. Ему даже показалось, что сделать это ему на этот раз почему-то труднее, чем бывало раньше, во времена его прошлых отхождений и включений в семейную жизнь. Он почувствовал, что потерял темп и раздражающей диссонирующей нотой плетется не в такт, не умея подхватить общей, вероятно, все-таки стройной, мелодии.

И вдруг опять такое же письмо! Совершенно такой же конверт: узкий, женственный и написанный тем же крупным мужским почерком, с той же таинственной фразой на маленьком белом листе:

»Четверг, 7 часов вечера«.

Николай Львович даже рассердился. Но на этот раз он не так быстро бросил письмо в корзину.

— Четверг, 7 часов вечера . . . Да, ведь, сегодня — четверг! — воскликнул он и вдруг отчетливо вспомнил, что неделю тому назад это письмо пришло тоже в четверг. Тогда он не обратил на это внимания.

— Что за глупость! — с досадой воскликнул он:-Какой-то анонимный дурак или дура хочет что-то сказать ничего незначущей для меня фразой. Как плоска вся эта мистификация! — решил он.

Но тем не менее, несколько раз в течение дня мысленно возвращался к письму. Казалось, в нем была некая гипнотическая сила, притягивающая мысль все к одному и тому же: четверг, 7 часов вечера . . .

Может быть, из-за этого дурацкого письма Николай Львович и не мог работать в этот день и также не пошел в клуб писателей, собиравшихся обычно раз в неделю.

Был уже вечер, когда Николай Львович снова вспомнил о таинственном письме.

»Вот сейчас уже после семи часов вечера«, — сказал он сам себе: »Ну, и что же, мой анонимный корреспондент, случилось? Я сижу, как и вчера, в своем кабинете, крыша надо мной не провалилась, никто на меня не сделал покушения . . . О чем же ты, дурак, предупреждаешь?«

И вдруг, как молнией, его обожгла мысль, что Гальшки, ведь, нет дома, что она ушла. А вдруг это касается ее? Вдруг это с ней должно что-то случиться сегодня, сейчас? . . . Куда она ушла? Когда? А вдруг она вышла именно в семь часов?

И тут же Николай Львович опять отчетливо вспомнил, что в прошлый четверг она в это время тоже не была дома.

»Так что« . . .

Дальше страшно было развивать мысль. Кровь бросилась в голову. Сразу стало невыносимо жарко. Он встал и нервно прошелся по кабинету.

Подозрение было настолько чудовищно, что он боялся даже думать в этом направлении.

»Какая гадость все эти анонимные письма!«

Наконец, он заставил себя снова сесть к столу и даже взять в руки перо, но бумага перед ним так и осталась чистой. И, в конце концов, сердито отбросив от себя перо, он начал ерошить волосы на голове — это слегка успокоило, прояснило мысль, и он позвонил.

Иван Николаевич, как всегда подтянутый и строгий, сразу явился на звонок.

»До чего же он джентльмен, чорт его задави!« — мысленно выругался Николай Львович: »Такого разве можно прямо расспрашивать? А вместе с тем, если что и есть, так только он и знает: прислуга всегда все знает про своих господ«...

— Вот, Иван Николаевич, — неуверенно начал Николай Львович:-Я хотел вас спросить . . . Жаль, что Галины Александровны нет дома . . . Кстати, вы не знаете, куда она ушла?

— Нет.

»Определенно знает«, — подумал Николай Львович, ловя скользящий взгляд слуги: »Он не посмотрел мне в глаза«.

— Да, кажется, она . . . вообще по четвергам уходит? А?

— Да, кажется, — бесстрастно ответил Иван Николаевич, но было заметно, как крепко сжал он губы после своего, казалось, простого ответа.

— И вы совершенно не знаете . . . Э . . . куда она пошла? — повторил Николай Львович.

Иван Николаевич промолчал. Николай Львович быстро вскинул на него глаза и торопливо повторил:

— Не знаете?

— Нет, нет! — так же быстро ответил Иван Николаевич, отбивая при этом легкую дробь по столу.

»Нервничает. Да, он определенно знает«, — решил Николай Львович. И ему вдруг захотелось броситься к старику, схватить его за борт сюртука и умолять рассказать все о жене. Но сейчас же он подумал:

»Нет, он слишком джентельмен — этот лакей« . . .

И вслух сказал:

— Извините, Иван Николаевич, что я вас побеспокоил. Я потому . . . потому вас спросил, что я не видел сегодня Галины Александровны.

Иван Николаевич не сразу ушел. Вероятно, его задела явная растерянность барина. Он потоптался у дверей, а потом сказал:

— Да, у вас и у Галины Александровны так много всяких обязанностей, что вы оба совсем не имеете возможности жить друг для друга.

— Да, да! — радостно подхватил Николай Львович, обрадовавшись живой, не стереотипной фразе: -Именно так — не успеваем.

Но Иван Николаевич уже взялся за ручку двери, и Николай Львович не видел его лица. Ему хотелось крикнуть: »Подождите! Не уходите!« Но неловкость, которую он всегда ощущал перед этим слугой, опять связала его, он ничего не крикнул, и Иван Николаевич вышел.

»Какой глупый разговор!« — воскликнул Николай Львович, оставшись один: »И что он подумал? Догадался, конечно. Ему бы не лакеем, а министром иностранных дел быть! А может быть, он-то и написал анонимку?« — пришла ему неожиданная мысль. »А в общем, все это — чушь, и Гальшка, наверно, просто ходит по своим многочисленным знакомым. А злые языки Бог знает, что распускают. Нельзя же, в самом деле, часто принимая у себя, никуда не выходить самой. Но почему же именно »четверги«?

И опять подозрение больно засверлило мозг. Николай Львович всячески старался себя успокоить, убедить, что если бы Гальшка уходила на свидание, то, вероятно, из предосторожности, наоборот, устраивала бы их в разные дни: так было бы благоразумнее.

»Разве вот только то, что иногда я ухожу сам по четвергам на эти литературные сборища Григорьева . . . Но, ведь, все-таки у меня решительно нет никаких данных для ее обвинения. Я ничего не знаю о ее образе жизни и не имею даже права подозревать ее в чем-либо нечестном«, — решил он. Он хорошо помнил только прошлый четверг, все же остальные перед этим четверги были для него самыми обыкновенными днями недели и не дразнили своим грубо звучащим, как бы о чем-то предостерегающим, созвучием.

Николай Львович совсем не мог работать. Он то и дело вставал из-за стола, ходил по кабинету, ходил по всей квартире, большой, хорошо обставленной, но холодной своим неуютом.

»Зачем вдвоем жить в такой большой квартире?« — пожимал он плечами, ежась от холода одиночества. Ему никогда не нравилась их квартира, он не любил роскоши, которая всегда была ему чужда, и предпочел бы, где-нибудь на Васильевском Острове, маленькую, но уютную квартирку, по которой весело топотали бы ножками его дети . . . Но жена привыкла к широкой жизни, большому свету. О детях она даже и думать не могла: у нее на это совсем не хватало времени.

»Вся моя жизнь фальшива, кем-то невидимым выворачивается наизнанку, — думал он: »Живу так, как хотят другие. Делаю не то, что хочу, и даже думаю против своего желания, как сейчас . . . Я не хочу плохо думать о Гальшке, но это проклятое письмо дает определенное гнусное направление моим мыслям, заставляет предполагать какую-то подлость с ее стороны. Ах, если бы Гальшка сейчас была дома!«

Наконец, Николай Львович окончательно изнемог и прилег на кушетку у себя в кабинете.

Его разбудил звонок.

Он слышал, как пришла, Гальшка и как сразу же она прошла к себе и долго оставалась там.

Николай Львович горел нетерпением увидеть ее. Он вставал и даже совсем уже подходил, было, к закрытой двери будуара, но не решался ее открыть и опять возвращался в кабинет. А через несколько минут снова шел к будуару и даже ловил себя на желании приложиться глазом к замочной скважине, посмотреть, что она там делает. Но тут же сердился на свое мальчишество и, раздраженный сам на себя, опять уходил и ложился на кушетку, чтобы через минуту снова вскочить.

Но, наконец, он услышал ее приближающиеся легкие шаги. Быстро подбежав к столу, он схватил в руки перо и лист бумаги и сделал вид, что очень занят. Сердце сильно билось, руки тряслись, и он уронил большую кляксу на чистый лист бумаги, когда вошла Гальшка.

— Все работаешь? — сказала она, не замечая, что Николай Львович старательно промокал кляксу: — А я пришла сказать тебе »спокойной ночи«. Ты, наверно, опять будешь сидеть до утра.

— Нет . . . — с пересохшим горлом глухо ответил Николай Львович, прикрывая неначатый лист бумаги клякс-папье: — Я как раз вот кончил . . .

Гальшка была уже в пеньюаре, с распущенными на ночь

косами. Как любил он ее волосы! Нет, разве можно говорить лишь о ее волосах, когда он бесконечно любил ее всю! Всю!

»Глаза блестят . . . Сама немножко бледнее обыкновенного . . . Нет, она еще моя! Я ничего еще не знаю! Не хочу знать! Она — моя!« — закричало у него внутри, и полный желания, он протянул к ней руки:

— Гулинька!

И со злой, скрежещущей страстью, с правом собственника, заключил ее в объятья.

Но напрасно Николай Львович пытался заглушить в себе чувство ревности. Спокойствие покинуло его. Он потерял всякую способность к занятиям и весь день только и делал, что следил за женой. Но хотя подозрение и больно скребло сердце, он все же должен был признаться, что ничего особенного в ее поведении не замечает.

И, в конце концов, со вздохом облегчения решил, что никакой измены тут нет и что анонимный корреспондент своей загадочной фразой или имел в виду что-то совсем другое, или просто хотел внести смуту в их семейную жизнь.

Не может же, в самом деле, изменяющая женщина остаться с мужем неизменной! Что-то должно же ее выдать! Ведь, неиспорченная, чистая женщина проходит через колоссальную борьбу в самой себе, прежде чем решиться на такой шаг. И эта борьба в чем-нибудь да должна проявиться: в жесте, слове, невольно скользнуть по лицу. Гальшка, нетронутая и чистая натура, не может так ловко играть роль коварной изменницы — он был в этом совершенно уверен.

Но все же, против воли, с нетерпением ждал четверга. А когда этот день настал, он едва дождался почты и прежде всего бросился среди остальных писем искать маленький, узенький конверт, который за последнее время неотступно стоял перед его глазами и так мучил его.

Он нервно разбросал по столу остальные письма в поисках новых мучений, новых огорчений и, наконец, нашел его. Вот он! Конечно, конвертик был здесь и сегодня. Такой знакомый, такой томящий! Николай Львович не сразу распечатал его, а стал внимательно изучать штемпель, чернила и даже сорт бумаги. А когда распечатал, то, конечно, снова

увидел уже хорошо знакомую фразу: »Четверг, 7 часов вечера«.

Николай Львович тихо, как безумный, про себя засмеялся.

— Нет, больше я не могу! — вырвалось у него:-Не могу! Я должен все выяснить. Так продолжаться это не может. Но как же это сделать? С чего начать? Ведь, может же быть, что этот мерзавец просто шантажирует меня. Ах, как бы узнать, кто это пишет!

Весь день Николай Львович с головной болью бесцельно пролежал на кушетке у себя в кабинете, все время, однако, чутко прислушиваясь к тому, что делалось в доме.

Сначала как будто не было ничего особенного и все шло обычным порядком. И только с шести часов вечера Гальшка ушла к себе. Может быть, она просто отдыхала, но Николай Львович усматривал что-то предостерегающее в наступившей вдруг тишине. И чем ближе приближалась стрелка часов к семи, тем тишина в квартире делалась более жуткой и тем сильнее и сильнее билась кровь в висках Николая Львовича. Он не знал, что именно сделает через минуту, но как только услышал по коридору легкие волнующие шаги жены, он, как ошпаренный, вскочил и, не заботясь о том, что может подумать прислуга, бросился вслед за женой.

Он видел, как она, пройдя два квартала, взяла извозчика. Держась за грудь, чтобы как-нибудь унять сильно бьющееся сердце, он, прячась за выступы домов, добежал до первого извозчика и приказал ему ехать за дамой впереди, той самой дамой, что была в элегантной синей шубке, отделанной белкой, и в широкой шляпе с развевающимися страусовыми перьями.

Гальшка остановилась у небольшого особняка, который с виду казался нежилым. Шторы на окнах были спущены, Света нигде не было видно.

Расплатившись с извозчиком, она вошла в подъезд. Николай Львович, отпуская своего извозчика, не видел, отперла ли она дверь своим ключом, или же ей кто-нибудь ее открыл. Во всяком случае, когда он подошел к подъезду, Гальшка уже скрылась за дверью, за чужой дверью, на которой белела визитная карточка. Николай Львович, как в трансе, прочел: Анатолий Петрович, барон Анненгоф.

Сначала он ничего не понял: какой такой »Анненгоф«? Почему »барон«? Но потом вдруг вспомнил: кажется, это тот самый красивый хлыщ, что ухаживал за Гальшкой,

когда она еще была девушкой, и как-то один раз Николай Львович даже видел его у себя. Только один раз ... Впрочем, он не каждый раз, ведь, выходил к гостям — может быть, этот барон приходил к ним и чаще. А может быть, они благоразумно встречались где нибудь в другом месте. У какой-нибудь приятельницы, расположенной к ним обоим ... Отсюда и сплетни и анонимные письма. И, может быть, об этом знает уже весь Петербург?

Николай Львович оглянулся вокруг. Оглянулся на тот Петербург, который сразу стал неприятным и враждебным. Мягкий зимний вечер сгущал краски. Темнота наступала с какой-то заговорческой торопливостью, как будто хотела скорее прикрыть любовников, прятавшихся в сером особняке с закрытыми шторами, без признаков жизни.

Да, как-то сразу жутко темно стало на улице. Или это просто потемнело в глазах у Николая Львовича? Его потянуло к тошноте. Он отошел от дубовой двери, скрывшей его жену, и бесцельно перешел улицу. Став за выступом каменного дома, он прижался к нему лбом. Он знал, что выступ этот скрывал его со стороны квартиры Анненгофа, и его не могли видеть оттуда. Да и смотрели ли они сейчас в окна, они, погруженные в любовь?

Николай Львович не знал только, зачем решил он остаться стоять здесь? И как долго он будет ждать? Ждать? Чего? В квартире через дорогу его горячо любимая жена проводила сладостные минуты с любовником, а он, обманутый, презираемый, так глупо стоит за углом и чего-то ждет. (Не подумали бы прохожие, что он — вор, выслеживающий свою жертву!)

Подмораживало, и от неподвижного стояния на одном месте и нервного ожидания Николая Львовича начало знобить. Он затрясся мелкой дрожью и почувствовал, что у него холодеет также и сердце, замораживаются мозги. Нет, так бесцельно тут стоять — глупо! Надо пойти к этому мерзавцу и дать ему пощечину.

»Если не откроют двери, разбить окна ... Впрочем, я рассуждаю, как мальчишка«, — остановил он сам себя, но все же медленно двинулся с места и пошел по направлению к квартире Анненгофа.

Ноги были непослушны. Он с трудом ими передвигал. Да и во всем теле была страшная слабость, и несколько раз он даже споткнулся, когда, нервно лязгая зубами, опять ступил на подъезд квартиры, на двери которой белела карточка: Анатолий Петрович, барон Анненгоф. И вдруг

Николай Львович ясно осознал, что не только не сможет ударить своего соперника, но что даже не сможет и произнести слова, что он просто будет смешон. Его тело онемело, и ему безумно захотелось просто лечь и уснуть. Он медленно сошел на тротуар и, согнувшись, старческой походкой пошел прочь.

Он шел, кружил по затуманившемуся, ставшему серым, Петербургу, пока памятник серым же рельефом не преградил ему пути. Николай Львович остановился. С набережной дул ветер, было совсем холодно. Он свернул всторону, но скоро опять остановился. Сейчас он стоял перед пивной. Он долго смотрел на яркозеленую с желтым вывеску, а потом вошел.

Заказав пива, Николай Львович оглянулся.

Вокруг, в табачном дыму, расплывались красные, возбужденные лица. Беззаботно смеющиеся, грустно нахмуренные ... Их было много, но, хотя они были разные, они имели одно общее лицо.

»У меня сейчас тоже должно быть общее с ними лицо«, — решил он и залпом осушил стакан.

»Пиво мало поднимает дух«, — сожалел он: »Вот если б что-нибудь покрепче« ...

Но, тем не менее, после второй бутылки безразличие стало отходить от него, и стало закипать возмущение против изменницы и злоба к сопернику. Чувствуя, что загорается ненавистью, он вышел из пивной и взял извозчика.

»Скорей, скорей домой! Когда она вернется, я хочу видеть ее глаза ... Смотреть, как они будут мне лгать. Хочу слышать ее голос, который ... На-днях вечером она пела »Нет, только тот, кто знал« ... Пела хорошо. У нее чарующий, грудной голос. Обманный голос« ...

* *

Конечно, она пришла поздно.

И как обычно, перед тем, как идти спать, зашла в кабинет Николая Львовича.

Он сидел за столом, уронив на руки голову. Посиневший, с провалившимися глазами, он поднял голову и встретился с глазами жены, насыщенными счастьем глазами, и от этой насыщенности ее глаза делались сознательно красивыми.

Николай Львович отвернулся. Красота жены сейчас резнула сердце болью.

Гальшка непринужденно села на ручку его кресла и положила руку на его плечо. Хотя рука жены огнем обожгла

его, Николай Львович не пошевельнулся. Он чувствовал, как в нем поднимается возмущение против нее. И это возмущение все больше и больше наполняло его и вот-вот могло вырваться наружу и стремительным потоком залить не только всего его самого, но и эту красивую женщину, сидевшую рядом с ним и пышащую еще не отстывшим любовным наслаждением. Напрягая все мышцы, Николай Львович боялся пошевелиться.

Гальшка почувствовала напряженность мужа и сняла руку.

— Где была? — боясь себя выдать, глухо спросил он.

— У Нины...

»Вот начинается!« — пронеслось у него в голове: »Ложь колючая, с шершавыми топорными краями, вонзается в сердце и колет и сверлит... Почему бы прямо и честно не сказать: я была у Анатолия, я полюбила его и потому изменила тебе?«

— А еще у кого была? — опять спросил он, обливаясь жаром и еле выдавливая из себя слова.

— Больше ни у кого.

Кровь застучала в виски. Близость жены, ставшей сразу чужой и незнакомой, делалась невыносимой. До сих пор он знал ее только как милую Гальшку-голубку, Гальшку-птичку щебетунью, подчас шалунью и вздорную, но чистую, светлую. Теперь же рядом с ним сидела лживая, фальшивая женщина, которая ловко заметала следы преступления.

— Ты меня больше не любишь, — тихо проронил Николай Львович, сосредоточивая все внимание на равнение сложенного листа почтовой бумаги. Не глядя на жену, он лишь инстинктивно почувствовал ее ответное волнение, от которого стала высоко подниматься ее грудь под легким батистовым пенюаром.

— Почему-у? — кокетливо протянула она, не успев еще убедиться в подозрительности мужа.

И это ненужное и неуместное кокетство передернуло Николая Львовича. Длинное »почему« было последней каплей наполняющей его злобы. Грубо оттолкнув жену, он вскочил с кресла и крикнул:

— Я все знаю, Гальшка! Зачем подличаешь? Зачем лжешь? Боже! Я едва выношу твое присутствие!

Гальшка побледнела, а глаза ее округлились, потемнели. Николай Львович быстро подошел к двери и прежде, чем она догадалась, запер ее и ключ положил к себе в карман.

Подойдя опять к столу, он вынул из ящика браунинг.

— Я сейчас убью тебя! — жестко сказал он шипящим, незнакомым голосом.

Гальшка выпрямилась. Она видела, как у мужа дрожала рука, держащая браунинг, — белая, узкая рука, с длинными, тонкими пальцами, которыми она часто любовалась, когда он обнимал ее.

— Коля . . . — проронили ее полные, красиво очерченные губы, которые у Николая Львовича сейчас лишь усиливали чувство ненависти, и, скрипнув зубами, он повторил:

— Да, я убью тебя. Я слишком любил тебя и не прощу той подлости, с которой ты мне изменила. Ты любишь его? Говори! — властно требовал он, направляя на нее браунинг.

— Ради Бога, Коля! Дай ключ и выпусти меня. Поговорим обо всем завтра.

— Если полюбила другого, зачем не сказала прямо, зачем доходить до подлости? — не слушая, продолжал Николай Львович.

»Убьет? — промелькнуло в голове у Гальшки. Она никогда не видела мужа таким. Что-то звериное было в его лице. »Он в такой ярости, что не отдает себе отчета. Наверно, с таким же лицом он убивал Володьку« . . .

— Нет, нет, — залепетала она вслух, инстинктивно прячась за стул: — Я не люблю его и никогда не любила. Так . . . Я не знаю. Какая-то глупость . . . Не знаю, как это вышло. Может быть, он . . . ну, увлек, что ли . . .

— Ха-ха-ха! — дико захохотал Николай Львович, бросая браунинг на стол: — Увлек! Только и всего!

Подскочив к ней, он ударил ее по лицу.

Гальшка вскрикнула, от удара упала на колени и зарыдала.

— Да, я тебя ударил по лицу и ударю еще. Я буду тебя бить! Вот что! — обрадованно прошипел Николай Львович, не спуская озверевших глаз с сидевшей на полу рыдающей жены: — Я, может быть, действительно, тебя не убью, в конце концов, если .. если вместо этого ты сама не предпочтешь, чтобы я тебя просто избил, как самую последнюю, ничтожную женщину. Хочешь? Ты можешь выбрать.

Все хорошо, было, припрятанные темные силы почувствовали сейчас освобождение и, торопливо ощупывая выход, злобно выкатывались и все более и более заливали его.

— Разве тебе станет легче от того, что ты меня изобьешь? — сквозь слезы проговорила Гальшка.

— Да, гораздо легче. О, я буду бить тебя с наслаждением! Во мне сейчас злобы столько же, сколько было раньше любви. Сейчас я страшно ненавижу тебя. Изменила от нечего делать! Шутки ради! Может быть, попробовать захотела, что из этого выйдет? А? Так вот на, получай! — брызжа слюной, прошипел он, опять ударяя ее. — Вот что из этого вышло. О, я изобью тебя до крови.

Он ударил ее еще и еще. Гальшка с мольбой протянула вперед руки, но он схватил их обе в одну свою и, крепко завладев своей жертвой, бил и бил ее. Бил не только по ее красивому, матовому лицу, но по пухлым алым губам и по выточенной высокой груди. Видно было, что он уже не помнил себя, что окончательно потерял контроль над собой. Сейчас в нем во весь рост поднялся прежний человек, воспитанный в духе Косого переулка, под влиянием грубых, низменных людей, и лишь какие-то бессвязные слова вырывались из его крепко стиснутого рта.

Гальшка сначала кричала, но потом, обессилев, только хрипло стонала. Ее красивый пеньюар с тонкими заграничными кружевами давно уже был изодран в клочья. Заплетенные на ночь косы растрепались и в беспорядке, как тенета, обвили ее стройное тело

Вдруг стон вырвался из груди Николая Львовича, как будто кто-то с болью вырвал из него взбесившегося зверя. Он остановился.

— Боже! — прохрипел он и, шатаясь, не обращая внимания на лежащую на полу жену, бросился вон из комнаты.

— Иван Николаевич! Иван Николаевич! — кричал он, бегая по квартире.

Старика не пришлось долго звать. Он как будто знал, что будет нужен, и стоял где-то тут поблизости.

Николай Львович бросился к нему, схватил за борты сюртука.

— Иван Николаевич! — побелевшими губами проговорил он: — Там . . там случилось что-то ужасное. Я . . . Идите к ней, ради Бога! Я, кажется, убил ее. Спасите ее! Иван Николаевич!

В глазах у него потемнело. Какие-то кривляющиеся, расплывающиеся фигуры запрыгали пред ним. Фигуры выламывались, паясничали, хихикали . . . Серые, однотонные. но все одинаково мерзкие и одинаково наглые, они страшно напоминали Володьку. Многоликий Володька, убитый, но всегда живой в проявлении мерзости.

— Боже, что я наделал!

Он упал, схватил диванную бархатную подушку и, впившись в нее зубами, застонал.

Когда через некоторое время Иван Николаевич вернулся к нему, он увидел его жалким, скорчившимся на диване и плачущим тихими, облегчающими слезами.

— Отец, отец! Я забыл тебя. Зачем ты допустил меня до этого? Зачем дал восторжествовать дьяволу? Зачем ... — как в бреду, повторял он.

— Вам нужно отдохнуть, — сказал Иван Николаевич, принимаясь расстегивать его тужурку: — Ложитесь здесь, пока я постелю вам в кабинете.

— Я потерял ее. Потерял навсегда. Боже мой, Боже! Отец, верни мне ее! Что я наделал! — Говорил Николай Львович, позволяя своему слуге, как ребенка, раздевать себя. — Иван Николаевич, скажите: я не убил ее? Скажите, ради Бога!

— Да, нет ... Всего несколько синяков — вот и все. Я ее отнес в спальню.

— Она мне этого не простит, никогда, никогда! Я сейчас пойду к ней, буду на коленях умолять ... Я, ведь, не хотел этого ...

Николай Львович поднялся идти, но Иван Николаевич твердо взял его, ослабевшего, мягкого, и повелительно сказал:

— Не ходите. Не теряйте же, наконец, мужского достоинства, Николай Львович. Да что это вы!

— Достоинство? — как в трансе, повторил Николай Львович, подчиняясь Ивану Николаевичу и опять садясь на диван: — Достоинство, говорите ...

— Ну, конечно. Выпейте вот чаю — я вам принес.

Николай Львович машинально взял стакан и, пораженный брошенной фразой Ивана Николаевича, задумчиво сказал:

— А что важнее сохранить: достоинство или любовь? Вы, наверно, никогда не любили?

— Я-то? — усмехнулся Иван Николаевич, не замечая, что нарушил свой обычный тон с барином и перешел на интимный: — Потому и не женат, что из-за одной женщины потерял веру во всех них. Знаю я их хорошо! Все они ... Вот ваши папиросы, — прервал он сам себя и вышел.

* *
*

Николай Львович ужасно нравственно страдал. Он возмущался собой и досадовал, что хоть на момент дал выход своим низменным чувствам.

— Что бы сказал сейчас отец? Конечно, он возмутился бы моим поступком. Вероятно, ростки отца во мне слишком слабы и хрупки и потому легко согнулись под давлением зла. Но когда, в какой момент я выпустил вожжи? Избить Гальшку! Да, ведь, я люблю ее! Боже! каким чудовищем я предстал пред ней!

И несмотря на измену жены и на напоминание Ивана Николаевича о прописном мужском достоинстве, он готов был броситься в спальню жены, упасть перед ней на колени и умолять о прощении.

Несколько раз порывался он пройти к Гальшке, но каждый раз пред ним вырастала сухопарая высокая фигура Ивана Николаевича. Обычное чувство уважения пред стариком охватывало Николая Львовича, и, не смея пойти наперекор его наставлению, он останавливал свой порыв и возвращался к себе в кабинет. Оказываемое стариком внимание также было очень трогательным, но его заботы последних дней камнем ложились на совести Николая Львовича. Его воображение с каждым днем все ярче рисовало темную, задрапированную комнату, где на кровати, синяя и распухшая от побоев, без единого слова участия, лежала провинившаяся Гальшка. И однажды, улучив момент, когда Иван Николаевич вышел из дому, Николай Львович, как безнадзорный школьник, побежал к спальне.

Гальшка лежала на кровати, обложенная всякими примочками и компрессами. Вспухшими чужими глазами взглянула она на вошедшего мужа, который, прикрыв за собой дверь, не решался приблизиться. Во всей его фигуре была неуверенность и боязнь: ведь, сейчас должна будет решиться его судьба.

Наконец, он сделал шаг по направлению к кровати. Присмотревшись в полутемной от спущенных штор спальне, он увидел сквозь мазь иссине-черные подтеки на лице и груди жены. »Его« подтеки . . . Сердце сжалось. Он опустился на колени перед кроватью. С новой силой на него нахлынули тяжелые события последних дней. Тяжелы были и переживания у запертой двери полузнакомого барона, и переживания охватившей его вдруг животной ревности, когда он чуть не убил жену. Под тяжестью всего пережитого, он еще ниже опустил голову. Но как ни тяжело все это было, сейчас ему казалось, что он мог бы

простить Гальшке все, если б только сама она простила бы ему его грубость.

За последние дни так много дум перебывало в его голове все по одному и тому же вопросу, что он больше уже не мог думать и всецело лишь отдал себя чувствам. И тут-то он убедился, что, несмотря ни на что, продолжает безумно любить свою неверную жену. Правда, к этой любви примешалась горечь. Его любовь от этого стала тяжелее, но потерять Гальшку совсем, навсегда, было бы немыслимо. Он знал это сейчас совершенно отчетливо.

И вдруг он услышал легкие всхлипы. Он поднял голову. Из заплывших посиневших глаз жены текли слезы.

Николай Львович взял ее за руку.

— Гальшка! Прости ..

Сказал и с трепетом ждал ответа.

— А ты меня прощаешь? — вдруг услышал он.

Николай Львович молча кивнул головой и спрятал лицо в одеяло. Ему было неловко смотреть на изуродованное им же самим лицо жены и слышать ее голос, немного сдавленный и с присвистом — вероятно, у нее был вышиблен зуб.

Не отрывая лица от одеяла, Николай Львович спросил:

— Хочешь все забыть и начать новую жизнь?

Гальшка ничего не ответила, тогда Николай Львович продолжал:

— Вот мои условия: уедем из Петербурга и... роди ребенка... Маленького, белокурого мальчугана...

Николай Львович замолчал.

В полутемной спальне стало тихо, тихо. Потом Гальшка своим новым свистящим голосом, наконец, сказала:

— Хорошо, Коля. Давай начнем жить по-новому! Я согласна на твои условия.

Николай Львович взял ее исцарапанную, в ссадинах руку и коснулся ее губами.

* * *

Вот уже второй раз Николай Львович посещал Финляндию и все никак не мог привыкнуть к ее особенной, чистой и холодной красоте. Она завораживала и обостряла воображение, делала его таким же скалистым, острым, как и шхеры вокруг берегов этой дивной страны, эти тысячи суровых гранитных островков, или совершенно оголенных, или слегка покрытых редким сосновым лесом. Лабиринты

проходов между этими островками давали извилины воображению, настраивали поэтически. Были там и очень узкие проходы, через которые даже рыбачья шлюпка не могла пройти, но были также, и широкие, гостеприимно раскрывающие дорогу океанским пароходам. Такова и мысль человеческая: или съуженная, ограниченная рамками условностей, или широкая, просторная, вмещающая в себя все, что доступно человеческому восприятию.

В первый раз Николай Львович был на берегах Финляндии вместе со своим отцом, который очень любил прогулки и, несмотря на парализованную ногу, далеко водил сына по берегу и показывал самые интересные очертания его.

Лев Львович любил камень, понимал его красоту и его величие.

Николай Львович, стоя сейчас на краю обрывистого, скалистого берега и обдуваемый крепким ветром, вспоминал, как отец говорил, что в дни молодости любил перепрыгивать с одной скалы на другую. Николай Львович с возбуждением чувствовал остроту этой опасной забавы. Вот, например, так соблазнительно прыгнуть сейчас вон с той скалы на эту, кажущуюся совсем черной от насевших на нее бакланов, которые подставив ветру свои гордые головки, наслаждались мелкими брызгами разбивающейся волны.

Опять и опять Николай Львович со вздохом пожалел о свой короткой дружбе с отцом. Он ворвался в орбиту его жизни в самый решающий момент, выхватил его, замученного, исковерканного, из цепких лап кровожадного дьявола, опрыснув освежающим, придающим новые жизненные силы бальзамом и тихо ушел в бесконечность. Как будто только для того и выплыл на поверхность, чтобы выправить согнувшуюся под тяжестью событий линию жизни своего взрослого сына.

А как хотелось бы, чтобы отец был сейчас здесь! Николай Львович поделился бы тогда с ним своей радостью скоро стать отцом. Радость эта была сильная, упоительная. Он был уверен, что отцовство даст ему то удовлетворение, которого у него все время не хватало.

Ведь, может быть, отцовство, как и материнство — конечные цели человеческого существования? Инстиктивное стремление к бессмертию? Раньше ему казалось, что творчество, литературная работа дадут ему удовлетворение, но вышло не так: из него не получился большой писатель, и теперь вся надежда была на ребенка.

Творчество и отцовство, он ставил рядом, считая, что оба

эти понятия шли одной дорогой. В определенном возрасте у людей обязательно появляется необъяснимое желание выявить себя. У людей одаренных это чувство выливается в духовное творчество, у других же — в простое материнство или отцовство. Человеку необходимо как-то себя запечатлеть на фильме жизни, оставить по себе память, передать что-то потомкам. Это инстинктивое стремление к бессмертию, конечно, проще всего выявить в детях. В них можно видеть кусочек себя, отражение своего »я«, и это дает человеку ощущение бессмертия.

Николай Львович считал, что раз он не сумел выявить себя духовно, не отыскал своего правильного творческого пути, предназначенного лишь немногим, теперь ничего не остается больше, как пойти общей дорогой, дорогой, открытой для массы.

С щемящим сердцем он пришел к такому выводу. Он не любил общих дорог, дорог прямых, проторенных и всем известных. Он предпочитал отыскивать мало обхоженные тропинки, по которым можно было бы придти к совершенно неизвестным берегам, отыскать что-то новое, неизведанное, открыть новые места, найти новых лиц, неизбитые слова. . . .

Но как часто ошибаешься, идя окольными путями! Встречаешь что-то яркое, светлое, жадными руками хватаешься, думая, что золото, а на деле это оказывается лишь хорошо начищенной медью.

Обманно счастье. Оно, как невинная девушка, прикрывается, защищаясь всеми способами от грязных, наглых рук, и раскрывает себя лишь очень упорным, настойчивым, смелым. И многие гибнут от тщетных усилий, выживают только сильные. Сила в природе — все. Ей подчиняется и дух и материя. Когда большая сила сосредоточивается в материи, то материальное одерживает верх и над духом. Осанна сильным духом! Их не много, но они творят высшее в жизни.

Николай Львович не был из их числа. Он оказался слабее, чем думал.

»Я просто духовно-больной человек«, — решил он, задумчиво глядя на пенистые волны, со злым шипением разбивающиеся о скалы: »Я заражен талантом, но недостаточно им отравлен. Ведь, как микробы болезней повреждают слабые, болезненные организмы, так и микробы таланта отыскивают предрасположенные для всходов индивидуумы. Я хоть и подходщий для этого тип, но, вероятно, не

совсем. Я недостаточно »духовно-болезнен«. Люди практические, со здравым, трезвым взглядом на жизнь, совсем не могут быть истинно-талантливы, а тем более, гениальны. Талантливость — конечно, нездоровое состояние человека, некоторое болезненное восприятие мира. Талантливые люди — люди с особой психикой, не доступной пониманию здорового человека. У них часто бывают даже просто странности. У одних талантливая болезненность выражается ярче, у других она — в скрытой форме и проявляется лишь в общении с другими, часто проявляется в неприятной форме, говоря обывательским языком: выражается плохим характером. На самом же деле их характерные черты кажутся отталкивающими потому, что люди эти особенные, и у них свое, особенное восприятие мира вообще. Они нам малопонятны и потому раздражают нас, а мы, не задумываясь, просто называем их людьми со скверным характером. Они не подходят к общей мерке и всегда остаются одинокими и несчастными«.

Но как быстро переменилась погода! Николай Львович даже и не заметил, как все небо, еще недавно бывшее таким ясноголубым, покрылось белыми, пухлыми, как вата, облаками, от которых и все море стало белым, белым. Совсем не было видно глубины воды, и море казалось плоским, а пароходы, стоявшие вдали на якоре, казались игрушками, поставленными на стол, покрытый белой скатерью или бумагой, — так бела и так невозмутима казалась вода в море перед собирающимся пролиться серьезным дождем.

Николай Львович, вероятно, долго стоял у моря, что не заметил всей этой перемены. Ох, эта осень! Непостоянная, переменчивая, как настроение поэта!

До дождя надо было скорее вернуться домой.

* *

Ожидание появления на свет младенца было для Николая Львовича томительно.

Суета в доме была его суетой, страдания жены были его страданиями. Но, в конце концов, его беспокойство надоело всем в доме, занятым приготовлениями к торжественному моменту. Он так всем мешал, что его попросили пойти часа на два прогуляться.

Николай Львович слышал, как акушерка, с сознанием своего женского преимущества в данный момент, пустила ему вдогонку:

— Женщина является центром внимания в такой ответственный час. Не знаю, зачем мужья лезут на глаза? Какая от них польза?

Николай Львович пошел опять к морю, которое всегда покорно выслушивало все его жалобы. Сейчас, в такой исключительный в его жизни момент, ему было обидно быть в доме на последнем месте.

Только что прошел хороший дождь, и небо, очистившись, было синее,синее. От яркого цвета неба море тоже посинело и было глубокого синего оттенка. Вдали черным силуэтом стоял пароход, казавшийся написанным пером в четком чистом воздухе. Чистые асфальтные улицы, идущие от моря к городу, еще не согретые солнцем и влажные от дождя, тоже отсвечивали небом и казались ровными синими коридорами, аккуратно заставленными вокруг домами. Дальняя часть города была еще во тьме, солнце еще не дошло туда, и тяжелые белые тучи нависли сверху и придавали этой части города белесо-серый цвет. Две части города, без каких-либо смягчающих, переходящих тонов. были настолько контрастны, что поражали глаз: одна светлая, ярко освещенная солнцем, другая — темная, хмурая. Николаю Львовичу пришла мысль, что если б ему показали такую картину, одна часть которой была бы белесой, а другая иссине-черной, то, может быть, он усумнился бы наблюдательности художника и подумал бы о преувеличении красок, — настолько наблюдаемая им природа казалась ненатуральной, Ах, Финляндия! Как ты приятна для глаз и сколько мыслей рождаешь ты своей небанальной красотой!

»Вот сюда я буду приводить своего сына«, — решил Николай Львович и тут же подумал о страданиях, которые сейчас переносит его незабвенная Гальшка.

»Боже мой, с какой радостью я сам бы родил моего маленького! И был бы счастлив через мучения дать жизнь своему младенцу. Как несправедлива, в конце концов, к нам, мужчинам, природа! Она нас обездолила, отняв возможность испытывать муки родов. Поэтому-то женщины и пользуются перед нами громадным преимуществом в жизни. За это мы перед ними и преклоняемся, многое прощаем и даже даем право властвовать над нами — все только потому, что природа не дала нам права наравне с ними в муках рожать наших возлюбленных детей и переживать великое чувство: через страдание родить любовь ... Ну, ничего! Хорошо, что матерью моего младенца будет именно

Гальшка, бесконечно любимая жена моя. За то, что она даст мне сына, я все прощаю ей: все ее ошибки в прошлом и все ее вольные и невольные обиды.

С моря сегодня, как, впрочем, и всегда, дул ветер. Высоко подняв воротник пальто, Николай Львович уселся на удобный седой камень и предался мечтам о будущем.

Сейчас все его мечтанья витали, конечно, вокруг нарождающегося в этот час сына. Он уже видел его белокурую кудрявую головку с маленьким беззубым ротиком и большими, как у жены, глазами. Он представлял себе его первый лепет, его первые шаги, и все это до боли в сердце умиляло его. Он был уверен, что у него будет именно сынишка. Славный крепыш такой! Будущий товарищ в прогулках и также внимательный ученик сложной жизни.

»Я научу его правильно жить, оберегу от тех ошибок, которых не удалось мне самому избежать. О, мы с ним будем настоящие друзья!« — заключил он, после двухчасового отсутствия возвращаясь домой.

И первое, что он, придя домой, услышал, было поздравление от акушерки с новорожденной дочерью.

— Дочь? — как огорошенный, переспросил Николай Львович: — Почему же »дочь«?

Сердце у него упало. И тут судьба подставила ножку, не дав того, на чем строились его планы последних дней. Сына, который совсем заново перестраивал его жизнь, придавая ей новый, почти утерянный смысл, — не было . . .

— Красавица - дочка! Хотите посмотреть? — тем временем говорила акушерка.

— Нет, — упавшим голосом проронил Николай Львович, но, подумав, решил, что, в конце концов, ребенок, ведь, не виноват в своем происхождении, и согласился пройти в детскую.

Там, запеленутую, обмотанную атласом и кружевами, ему показали красную морщинистую обезьянку, изо всех своих маленьких сил старавшуюся выдавить из себя что-то человеческое, но получалось что-то пискливо-смешное и неприятное.

Николай Львович, подавляя в себе брезгливость, отошел.

»Неужели это — моя дочь?«

И, ничего не ответив нянькам, льстиво восхвалявшим его наследницу, он грустно вышел из детской, из комнаты, которая в ненастный осенний день разбила его мечты, еще раз заставив сжаться болезненно-впечатлительное сердце.

* * *

В последующие дни Николай Львович внимательно наблюдал за женой и видел, что она как будто счастлива иметь в доме слабую, хрупкую обезьянку, и удивлялся, как могла она с лаской касаться губами этого червеобразного существа. Когда ему предлагали взять на руки малютку, он с ужасом возражал:

— Нет, нет! Я боюсь, я . . . ее сломаю.

А сам думал:

»Нет, все-таки природа матери другая, чем отца. Материнство более неразборчиво.«

И с тяжелым сердцем уходил к себе в кабинет.

И еще чаще стал уходить к морю и жаловаться ему на свою злую судьбу.

»Почему, ну, почему все складывается против меня? Ведь, мой сын, мой милый белокурый мальчуган был моей последней надеждой в этом недружелюбном мне мире. Почему же, за что была отнята у меня эта последняя надежда? Я, ведь, чуть-чуть держусь на поверхности воды. Плыву, едва держась за щепку, плавающую в необъятном океане. Цепко держусь за нее, ухватившись обеими руками и широко открытым ртом жадно хватаю воздух, стараясь удержаться на поверхности хоть еще не надолго. Хоть только бы увидеть зарю, уже слегка алеющую на востоке. Поэтому я так крепко, до боли, и вцепился в эту маленькую, жалкую щепку, что плывет в большом, глазами не объять, океане жизни. Из ногтей моих уже сочится кровь, но я все с прежним напряжением держусь за подвернувшуюся мне опору. Лишь стоит мне чуть ослабить напряжение, как она выскользнет из-под судорожно вцепившихся пальцев, и я соскользну с поверхности и пойду вниз. Никем не поддерживаемый, я буду падать все ниже и ниже и, может быть, в конце концов, даже осяду на дно . . . За что, за что же я должен погибнуть?«

И так прошло несколько месяцев.

Николай Львович скрывал от всех свою тоску, свое разочарование. Он почти не видел дочери, не хотел замечать, что она растет, отходя от общего лица грудных младенцев и обнаруживая уже что-то свое, индивидуальное.

И вот однажды, когда жены не было дома, он почему-то решил пройти в детскую, в эту светлую солнечную комнату, которая невольно всякого охватывала радостью, кто входил в нее.

В розовой кроватке, украшенной лентами и кружевами, лежала белокурая девочка с ровным прямым носиком и большими голубыми глазами, и весело играла своими собственными ножками.

»Да, ведь, она прелестна!« — воскликнул Николай Львович, залюбовавшись дочуркой.

— Зоя! — позвал он ее.

Девочка быстро вскинула на отца свои большущие глазки и улыбнулась. И с этой улыбкой в солнечной комнате запрыгали веселые зайчики и мягкими лапками неуверенно похлопали по лицу нахмуренного большого человека, робко наклонившегося над кроваткой.

— Да, ведь, ты — зайчик, деточка моя! — ответно улыбнулся Николай Львович своей радостно улыбавшейся дочке, которая уже протягивала ему ручки.

Николай Львович неумело взял ее.

— Заинька! — ласково повторял он и прижимал к груди податливое теплое детское тельце: — Да, ведь, ты — очарованье!

Девочка обвила руками его шею и прижалась мокрым ртом к его щеке. Николай Львович мягко засмеялся.

— Ты и целуешься-то как-то по-заячьи, — растроганно бормотал он, чувствуя, как от этого первого поцелуя дочери по его сердцу разлилась теплота. — Любишь меня? Да? За что же так вдруг полюбила? А? — разговаривал он с ней, отвечая на ее бессвязный детский лепет: — А знаешь, что и я, ведь, тоже вот так сразу, сегодня полюбил тебя? Люблю тебя, моя милая Заинька! Ты, ведь, — зайчик, правда? Пушистый, мягкий зайчик.

Так состоялось первое объяснение отца с новорожденной дочерью. С этого времени Николай Львович сразу изменился. Стал жизнерадостным, домоседом, полюбил заходить в детскую и наблюдать за купанием и кормлением своей дочки, которая теперь иначе и не называлась, как Зайка. Он часами просиживал у ее постельки, как бы стараясь восполнить все то потерянное драгоценное время, которое прошло вне общения с нею. Он знал, что был несправедлив к своей дочери с самого ее рождения, понял, что и она может дать ему столько же счастья, сколько и воображаемый сын, насчет которого так много было составлено всяких проэктов там, на голых камнях у моря.

Первый, мокрый поцелуй Зайки, запечатленный на щеке Николая Львовича, проник в его сердце и согрел его. А маленькое несуразное тельце до такой степени было напол-

нено лаской, что обещало нескончаемое множество этих нежных поцелуев, своей наивностью просто вызывавших слезы на глаза. И Николай Львович не отходил от кроватки своей милой дочурки. Здесь он, наконец, нашел себя, нашел поле деятельности для своего большого, неиспользованного сердца.

И в то время как Гальшка начинала понемногу уставать от ребенка, стала скучать по прежней, привычной и веселой жизни в Петербурге, Николай Львович все крепче привязывался к маленькому, беспокойному существу в детской, которое уже так привыкло к нему, что даже начинало требовать его присутствия во все важные моменты своей жизни.

А Гальшка все чаще и чаще стала поговаривать, что пора бы вернуться в Петербург. Скрывая желание снова окунуться в светский водоворот, она настаивала лишь на том, что необходимо показать девочку Евгении Павловне и Вове, которые, судя по письмам, горят нетерпением ее видеть.

Переживания, связанные с Петербургом, были уже изжиты и не трогали сердечных глубин Николая Львовича, но все же возвращаться в столицу не хотелось. Вот если бы поехать в Москву! . . . Новые места, новые встречи . . . Хотелось познакомиться с гремевшим там Дорошевичем. Газетная полемика, грызня журналов на расстоянии както смягчались и уже не казались столь нудными и ничтожными. Спокойная же жизнь в Финляндии, действительно, немножко прискучила, хотелось новых вспышек, новых встрепок.

— Поедем в Москву, — предложил он однажды жене на ее повторный вздох о скуке, — если Евгения Павловна захочет тебя повидать, она всегда может приехать — недалеко. Жить же и в Москве можно не хуже, чем в Питере. Я никогда не любил этого города, с его однообразными туманами и разлагающей сыростью. Москва — другое дело . . . Там сейчас гремит какой-то Шаляпин, отмеченный Богом талант, — закончил Николай Львович, бессознательно нажимая на музыкальное любопытство жены.

* * *

Прощай, маленькие, приветливые и услужливые человечки, голубоглазые девушки в вязаных курточках и остроконечных шапочках! В последний раз перед окном вагона мелькнули бодрые и веселые финны, и стала раскрываться снежная панорама с березами, елями и высо-

кими соснами, засыпанными снегом, среди которого неожиданно вдруг выскакивали простые деревенские домики, тоже наполовину укутанные снежным одеялом.

Из вагона трудно было провести границу между финским и русским ландшафтом: как будто, по виду, была Финляндия, но путеводитель уже выбрасывал русские станции, русские города.

Так незаметно въехал поезд в пределы России.

* * *

Москва охватила Николая Львовича юными воспоминаниями чего- то величественного, громоздкого. Он хорошо помнил эти ощущения — первого посещения Москвы сразу же после провинциального Пореченска. Но, живо встав в памяти, ощущения эти так и остались в голове лишь красивым архитектруным строением. Душой же Николай Львович не воспринял этих воспоминаний юности. Москва сейчас казалась ему мягкой, ласковой, приятно располагала к уюту, к семейственности — и только.

Было особенно приятно приехать сюда с маленькой дочуркой, водить ее за руку по московским улицам, любоваться детским удивлением в ее чудесных серых глазках.

Николай Львович все сильнее привязывался к дочери, с каждым днем отыскивая в ней новые прелести. В своей любви он не сразу распознал эгоизм. И только когда Гальшка опять отделилась от него своими светскими интересами, он понял, что напрасно целиком завладел любовью ребенка, который мог бы удержать мать интересами семьи.

Москва легко затягивала своей ласковой гостеприимностью, и Николай Львович очень скоро с грустью констатировал, что и в Москве можно жить такой же широкой светской жизнью, как и в Петербурге. Помня прежние ошибки, он старался не отставать от жены и всегда сопровождал ее всюду, принимая живое участие во всех ее бестолковых поездках по городу и начиняя себя ее неспокойной бессодержательностью. И хотя ему страшно хотелось оборвать связавшие его светские нити и с головой уйти в детскую, с ее радостным смехом, беззаботностью и жизнерадостностью, он с тяжелым вздохом продолжал тянуться за интересами жены, потому что, хотя Зайка и во многом дополняла его жизнь, все же это было не все — Николай Львович временами просто страшился потерять свою несуразную и нелогичную любовь к жене, — любовь мучительную и, вместе с тем, такую, сладостную.

Но теперь Николай Львович уже не был столь доверчив, как раньше. Зорко следил он за женой, за ее неспокойной, бурлящей, пустой и бесконечно скучной в своем безудержном веселье, жизнью. Жизнью, которая, однако, для Николая Львовича не была полем интересных наблюдений, размышления или глубокого созерцания, как хотелось бы, а лишь ненужным фиглярством, ложью, пустословием и безрассудной суетой.

И заставляя себя идти в ногу с этой жизнью, он входил во все ее детали и чувствовал, как и сам мельчает и опошляется. Он ненавидел себя, когда допрашивал жену, куда она уходит, зачем идет и когда вернется, а иногда даже спрашивал адреса тех дам, которых он мог помнить лишь только по особым приметам.

И когда она все же уходила куда-нибудь без него, Николай Львович чувствовал, что день этот для него испорчен. Он не мог спокойно заниматься и только все отсчитывал минуты, когда должна была Гальшка вернуться.

А потом сам выходил в переднюю и встречал ее, свежую, раскрасневшуюся от мороза. Сам снимал ее шубку, боярскую шапочку, так особенно шедшую к ней, и, держа обеими руками ее прохладное личико, целовал и говорил:

— Идем ко мне, моя роднуленька! Расскажи, моя птичка, где ты была, что делала.

Он вел ее в кабинет, садился в кресло, усаживая ее к себе на колени.

— Милая моя чирикулька! — полный любви, ласково говорил он, — ну, пощебечи... Расскажи о впечатлениях дня.

— Была у Адели...

— Ну?

— Ну, ничего...

— Еще кто был? — выпытывал Николай Львович.

— Варвара Павловна, Таня, Кусков...

Говоря так, она пусто смотрела куда-то в окно, положив руки на плечи мужа.

Он любовался ее лицом, смотрел, как ее полные, красиво очерченные губы двигались, выговаривая слова.

— Губки шлепают, шлепают, а всего еще не дошлепали...

— Ах, да! Был еще этот, доцент Антонов, — вдруг, как бы случайно, вспомнила Гальшка.

— Ну, вот видишь — самое-то главное и забыла.

— Почему »главное«? — встрепенулась она.

— А разве нет?

Гальшка быстро окинула мужа проверяющим взглядом и тотчас же отвела глаза.

Николай Львович теперь уже не обманывал себя видимой женской наивностью. Теперь он знал многие женские хитрости, которыми заметались преступные следы. Он насторожился и острым наблюдательным оком изучал и интонацию голоса и все малейшие изменения в лице жены. И сейчас, поймав ее быстрый взгляд, он почувствовал, как сердце облилось ревностью.

Стараясь оставаться спокойным, он, не меняя тона, мягко повторил:

— А разве не главное то, что там был Антонов? А, Гулинька?

— Ну, почему? — смущенно пролепетала она.

— А потому, что в глазках что-то скрывается...

Николай Львович говорил наобум. На самом деле, он ни в чем не подозревал доцента Антонова. Но только вот сейчас вдруг выплыло подозрение. И как знать, — может быть, именно сегодня там, у этой Адели, произошло что-то значительное между Антоновым и Гальшкой... Ах, любовь! Она всплывает в одно мгновение ока, когда ее меньше всего ожидаешь. Не знаешь ни дня, ни часа, когда она может зажечься.

О, нет! Нужно выпытать все до конца. Выпытать даже и то, что таится лишь подсознательно.

— Ну, что же этот доцент, — продолжал Николай Львович свой допрос, — говорил комплименты, объяснялся в любви?

— Ну, уж и объяснялся! — неожиданно рассмеялась Гальшка, — это Антонов-то? Ну, нет, от него этого не дождешься. Он так же, как и все ... говорил комплименты ...

Гальшка положила голову на плечо мужа, чтобы скрыть сразу вдруг вспыхнувшее лицо.

— Ну, хорошо, не будем говорить об этом, — сказал Николай Львович, — кто же тебя домой привез?

— Они оба — Кусков и ... и этот Антонов.

— А зачем ты врешь? — совсем тихо шепнул ей на ухо Николай Львович.

— Почему ты думаешь, что я вру? — не поднимая головы, тоже тихо прошептала Гальшка.

— А потому, что тебя провожал один ...

— Ну, да ... один ... — поправилась она. — Я сначала

сказала »оба«, потому что думала, что тебе, может быть, будет неприятно, если я скажу, что один . . .

— Виктор Павлович? Да?

— Да . . . Но почему ты узнал? — вдруг встрепенулась Гальшка.

— Так . . . Я сказал наугад, Гулинька, и тебя поймал. Видишь ли, просто потому, что я видел, что ты в чем-то чувствуешь себя передо мной виноватой. Виновата? Да?

Он поднял ее лицо и в упор посмотрел ей в глаза.

— Коля! Ну, правда же, нет . . . — горячо заговорила она.

— Тогда зачем же солгала? Разве у тебя есть что скрывать от меня?

— Нет, но . . . За последнее время ты стал таким ревнивым. Все время в чем-то подозреваешь.

Николай Львович крепко стиснул ее в объятьях.

— Гулинька! Ведь, я люблю тебя! — вскрикнул он страстно. — Гуля! А ты . . . ты больше меня не любишь? Не любишь, ведь? А? Надоел? Надоел? Больше не любишь? — повторял он, с ужасом чувствуя, как брошенное наобум подозрение выливается во что-то, действительно, жуткое.

— Да ну, Коля!

— Нет, ты скажи честно, не мучь меня: надоел? Да? Опять хочешь другого?

— Да нет же, нет! — испуганно лепетала Гальшка и, обняв его, стала мелко целовать его безумием сверкавшие газа. — Коля! Что ты! Перестань сам себя мучить. Ведь, ничего же нет, что ты!

— О, Боже! Говоришь хорошо, но что у тебя скрывается под твоими ласковыми словами, — не знаю. Боже! Я так устал тебя выслеживать! Я не перенесу второй измены. Не перенесу, Гулинька! Ты лучше мне сейчас скажи: любишь его или нет?

— Да что ты! Что ты!

И напуганная испугом мужа, она стала чаще покрывать его лицо поцелуями.

— Так, значит, это — просто флирт? — начал искать выхода Николай Львович.

— Ну да, флирт. Конечно, флирт! — радостно вскрикнула Гальшка:-И даже меньше — просто он немного ухаживает за мной, вот и все.

— Ну да, как вообще ухаживают за интересными молодыми женщинами. Правда?

— Ну, конечно!

— А ты . . . Ну, а тебя это просто немножко забавляет, — подсказывал измученный подозрениями Николай Ллвович: Да? Правда?

— Ну да, забавляет, — весело смеялась Гальшка, окончательно радуясь благополучному исходу тяжелого разговора.

— Зачем же ты тогда пыталась скрыть от меня весь этот пустяк? Зачем?

— Ну, довольно! Опять все сначала. Брось! — устало запрокинула голову Гальшка.

— А меня ты еще любишь? Еще не разлюбила? — привлек ее к себе Николай Львович.

— Нет, не разлюбила, — безразлично, как бы устало, проговорила она.

- Нет, так нельзя. Такой ответ ничего не стоит. А ты скажи: люблю.

— Ну, люблю.

— Правда? Честное слово?

— Ну, честное слово.

— Гулинька! Птичка моя! Гуленочка! Почему, когда я думаю о тебе, о том, как я тебя люблю, у меня больно сжимается сердце? Почему я не могу любить, как другие? Почему мне всегда достается боль?

Гальшка ничего не ответила.

* *

Ревность — тяжелая, гнетущая — опять разъедала сердце Николая Львовича, бороздила морщины на лице, больно давила на виски. Иногда он чувствовал, как, при мысли о жене, его сердце будто переставало биться, по телу разливался жар, и его всего вдруг сразу охватывала слабость. Тогда он весь наполнялся непонятным страхом, пожалуй, то был страх разрыва с жизнью, уже раз им испытанного. Но уже в следующий же момент сердце вновь продолжало биться попрежнему, он опять чувствовал его нервные взлеты в груди, страх проходил, и жизнь вновь раскрывала пред ним свои манящие ландшафты.

Стараясь убежать от себя, от своих ревнивых подозрений, Николай Львович задерживался в детской, крепче прижимался к ласковому тельцу своей дочурки, часами слушал ее успокаивающий нервы лепет.

Зайка вырастала в хорошенькую ласковую девочку, для которой »папка« был центром существования. Она уже знала многие его привычки и часто к его приходу домой

пряталась в его кабинете, чтобы потом неожиданно вылезти откуда-нибудь, из-под дивана или из-под кресла, и вызвать радостную улыбку на измученном ревностью лице отца.

Так было и сегодня.

Как только Николай Львович пришел к себе в кабинет, он тотчас же измученно упал в кресло и, уронив на руки голову, задумался.

Всего несколько минут назад он видел на улице Гальшку вдвоем с Антоновым, с этим красивым зажигательным брюнетом. Они не видели его и, о чем-то смеясь и радостно болтая, садились в экипаж. Куда они поехали вдвоем? Может быть, развозить пригласительые билеты на ближайший благотворительный бал? Но, ведь, она сказала, что поедет с Ниной Александровной, у которой и назначена была встреча всех дам-патронесс. Тотчас же Николай Львович заехал к Нине Александровне, но не только не застал там жены, но и вообще никаких дам. Сама же Нина Александровна как будто даже была несколько удивлена слышать о продаже билетов. Дамы на этой неделе вовсе не предполагали собираться. Конечно, Николай Львович не сказал ей, что ищет у нее свою жену. Пришлось солгать, сдобрить ложь комплиментом, пустым смехом и чем-то еще, что по уходе оставило у очаровательной светской львицы уверенность, что этот скрытный философ, пожалуй, немного в нее влюблен. Иначе зачем же было приходить в такое неурочное время и вести себя так возбужденно-нервно?

Николаю Львовичу было все равно, что думала она, лишь бы не догадалась об истинной причине его прихода.

А сейчас, придя к себе, он понял, что его семейной жизни пришел конец. Изменила ли опять Гальшка или же только собиралась изменить — фактически не делало разницы. Главное было то, что она больше не любила его. А может быть, и никогда не любила? . . . Так, было минутное увлечение чем-то оригинальным, было любопытство к чему-то из ряда вон выходящему, чего нельзя было встретить каждый день. То же любопытство, которое привело ее потом к барону Анненгофу, а теперь к доценту Антонову.

Неужели же так и продолжать? Всю жизнь делиться своей женой с другими? Нет, это немыслимо! Это значило бы окончательно вытравить из себя все понятия о нравственности и плотно слиться с пороком. Разбуженные отцом лучшие свойства души, сейчас всячески восставали

против этого. Он не стал бы сознательно разлагать свою душу ядом, чтобы совсем, навсегда умертвить ее.

И вот сегодня Гальшка вернется домой, зажженная новым восторгом жизни и, как всегда, манящая и разжигающая страсть своей преступной красотой. Николая Львовича охватила жуть. Жутко стало не от нахлынувшей ревности к счастливому сопернику, а жутко стало за самого себя, из-за своей громадной и бестолковой любви к этой женщине. Он почувствовал, что, когда она придет сегодня, он будет все же счастлив коснуться ее, счастлив целовать ее ноги, упиваться любовным нектаром, которым эта волшебница умеет опьянять.

— Нет, нет! Этого не должно быть! — крикнул он, но подсознательно знал, что лжет перед самим собой и что, хоть со страданием, со скрежетом зубовным, но все же примет ее, еще не остывшую от чужих объятий. Неизбежность нравственного падения мучительно забилась в груди. Вот оно, это падение, о котором он, воспевая на все лады, так много философствовал в своих книгах. Нет, сейчас, когда оно так близко подошло к нему, Николай Львович почувствовал брезгливость к себе. Нет, он не сможет сознательно растлить себя. Какое-то одно из его »я« вдруг со страшной силой стало протестовать, из последних сил борясь за те крупинки чистоты, что были брошены в него доброй рукой И Николай Львович содрогнулся при мысли обладания изменяющей ему женой.

Нужно было решить, что делать — ведь, она могла придти с минуты на минуту. Как убежать от самого себя? Стиснув руками голову, он глухо простонал от сознания своей слабости перед физическим тяготением к Гальшке.

— Бу-бу-у . . . — вдруг раздалось откуда-то из-под кресла, и белокурая головка, с большим розовым бантом на темечке, вылезла из-под его ног.

— Заинька! — приглушенно прошептал он, беря дочку на руки. Грудь еще давил свинец брошенности, но ласковое тельце ребенка, прижимавшееся к нему, уже бросало луч надежды на более осмысленное существование. Ради вот этой маленькой крошки, которая, крепко обхватив его шею, радостно терлась сейчас об его щеки, можно было решиться на что-либо определенное.

— Ты меня не видел. Я тут спряталась, — смеялась тем временем Зайка и теребила его за усы.

— Заинька моя! Давай уедем с тобой отсюда! — вырва-

лось у него:-Уедем и будем жить вдвоем так, как хотим. А? Хорошо, Зайчик? Хочешь поехать в Швейцарию?

— Когда? Завтра?

— Нет, детка... Ну, может быть, через неделю... Хочешь?

— Хочу. Поехали! А может быть, можно сегодня? Или завтра?

— Нет, деточка, нельзя ни сегодня, ни завтра. Нужно устроить дела. Но через неделю мы уж наверное уедем. Уедем, вот и все! Правда, дочурка?

— Правда! Вот и все!

— А сейчас ты иди спать, малышка. Спокойной ночи, моя дорогая, моя бесценная Заинька! А через неделю...

*

Внезапная идея уехать от Гальшки окрылила Николая Львовича. Он как будто, наконец, нашел то, что многие годы бессознательно искал. Пред ним неожиданно открылся затерянный, было, путь жизни. Путь этот, заросший терниями будней, открывал возможность для светлой цели, годами выношенной в сердце. В эти дни он особенно много думал об отце, стараясь решить, как поступил бы он на его месте. И приходил к заключению, что отец, при сложившихся обстоятельствах, безусловно, тоже уехал бы. Это заключение бодрило Николая Львовича, и он стал энергично хлопотать о своем назначении в Швейцарию иностранным корреспондентом.

Чувствуя за собой духовную поддержку отца, он легко сообщил жене о своем решении.

— Я только что сейчас от доктора. Я опять начал кашлять, — лгал он:-Доктор требует моего немедленного отъезда из Москвы. И я решил ехать в Швейцарию. Поселиться в каком-нибудь маленьком городишке... Думаю, что пробуду там месяц-два... Тебе, конечно, не зачем нарушать своей налаженной жизни, и будет лучше, если ты останешься на это время здесь. Зайку же я думаю взять с собой: ей тоже будет полезно пожить в новом климате. Ведь, всего на каких-нибудь два месяца...

О, он тоже хорошо научился за последнее время лгать! Но даже если б он это и не делал так складно, то и тогда, пожалуй, не получил бы от жены отказа. Николай Львович понял это по вдруг блеснувшим ее глазам. Может быть, то была скрытая радость остаться хотя бы на два месяца на полной свободе? Сердце его сжалось от ревности.

Гальшка так была занята своим новым увлечением, что не только не замечала переживаний мужа, но даже не протестовала против отъезда Зайки — видно, она не хотела придираться к таким мелочам, зная, насколько тяжело будет мужу прожить без дочери хотя бы и два месяца.

С ущемленным сердцем заканчивал Николай Львович свои сборы к отъезду. При виде сложенных чемоданов у него несколько раз прорывались слезы. Ему казалось, что с каждой уложенной вещью он складывает в багаж свои лучшие чувства к жене, рожденные в горячие дни юности.

Сборы в дорогу были немудренные: ведь, он должен был делать вид, что едет на самое короткое время. Он даже отказался от завтрака, который в честь него хотели по случаю отъезда устроить его коллеги-сотрудники.

Решено было взять с собой Ивана Николаевича, который на первых порах мог заменить няню для Зайки. Гальшка была согласна и на это. Она соглашалась со всем, что предлагал Николай Львович.

* *

На вокзале Гальшка была совершенно спокойна. Она, кажется, на самом деле верила во временный отъезд мужа. Его здоровье, действительно, пошатнулось за последнее время: открывалась старая рана, и Гальшка знала, что ему нужен был отдых, нужна была более спокойная жизнь.

В томительном ожидании отхода поезда, Николай Львович прохаживался взад и вперед по перрону, искоса наблюдая за женой.

»Случилась уже измена или нет?« — мучился он неуверенностью. И нервно бросая папиросу за папиросой, он с горечью заключил, что Гальшка за последнее время настолько изолгалась, что все труднее делается раскрыть правду, несмотря на весь его опыт к психоанализу. Но тут опять чувство горечи перемешивалось с боязнью физического с ней сближения. Притягивающая ее красота поднимала сейчас в нем злобу против самого себя. И тут, на перроне Николаевского вокзала, он понял окончательно, что бежит от любви к ней, не будучи в силах распутать те сложные душевные переживания, которые могут привести его или к самоунижению, или же к страшной трагедии. Он не хотел ни того, ни другого и потому просто бежал от своей страстно любимой жены.

Но вот, наконец, колокол пробил два раза.

— Зайка, попрощайся с мамой, — сказал Николай Льво-

вич, беря на руки девочку. И держа ее, он почувствовал, как задрожали его руки.

»Может быть, нужно остаться?« — охватила его мгновенная неуверенность: »Может быть, все же следовало сначала объясниться? А вдруг я своим отъездом как раз и толкаю ее на измену?«

Но секунды для нерешительности быстро ускользнули в вечность, раздумывать было некогда. Боясь самого себя, Николай Львович, не отпуская с рук Зайки, как бы заслоняясь ею, официально поцеловал на прощанье руку жены. Она на момент сделала движение вперед, как бы порываясь поцеловать его в лоб, но, вероятно, тотчас же поняла его заслоняющийся маневр и осталась неподвижной. На момент сильно охваченная удивлением, она даже ничего не ответила на вежливый поклон Ивана Николаевича. Ее губы не проронили ни одного слова, и лишь глаза широко раскрылись, как будто только в этот момент для нее что-то стало понятным.

Николай Львович, с ребенком на руках, внешне спокойный, вошел в вагон. И когда поезд тронулся, он, бледный с плотно сжатыми губами и сухими глазами, приподнял шляпу и вежливо помахал ею в воздухе. Гальшка в ответ слабо махнула рукой в тугой лайковой перчатке. На лице ее так и застыло какое-то вопрошающее удивление.

»Поняла, — заключил Николай Львович, — значит, изменила, иначе что же ей было понимать?«

И упав вглубь вагона, он закрыл глаза, стараясь запечатлеть образ изящной, пленительной, неверной женщины, которая осталась на перроне и которая, он был уверен, теперь навсегда была для него потеряна.

* * *

Разлука была болезненней, чем Николай Львович предполагал. Сознание, что Гальшка сейчас беспрепятственно принадлежит другому, было мучительно. И как он ни старался убедить себя, что эта женщина уже больше не может быть его женой, ему все же было тяжело бороться с налетавшими воспоминаньями о коротких счастливых днях его супружеской жизни. Теперь все это нужно было зачеркнуть. Нужно было начинать новую жизнь. И Николай Львович начал ее.

Он много и плодотворно работал, главным образом, над переводами, так как свои идеи, в том подавленном состоянии, в котором он находился, не приходили в голову. Ходил

с Зайкой гулять по городскому парку, но также много ходил и один — ему нужно было уединение.

Часто, выйдя далеко за пределы маленького городишки, где он поселился, он доходил до небольшого леска, забирался на опушку и оттуда смотрел на ледники с Юры, которая, длинной белой цепью, обрисовывалась на ясном синем небе. От чистого воздуха горы казались особенно черными и выглядели как будто только что заново перепаханными.

Он вспоминал печальные месяцы, проведенные им в санатории по ту сторону Юры, вспоминал всю свою сложную любовь к Гальшке. Бродя по редкому лесочку чужой страны, он не боялся, что его кто-нибудь услышит, и громко разговаривал со своей оставленной в России женой. Он то упрекал ее, то умолял приехать и вновь полюбить его . . .

— Как, помнишь, Галюня, в наши первые месяцы супружества, когда еще был жив отец, и когда мы втроем ездили в Финляндию . . . Ты любила меня тогда, Гулинька! Помнишь, однажды я кормил тебя супом с ложечки? Ты капризничала, в шутку называла меня деспотом, а потом, забывшись, поцеловала меня при отце и страшно смутилась. А отец, наблюдая за нами, тихо смеялся и говорил: »Какие вы еще дети! И, Боже, как вы счастливы!« Да, мы были счастливы тогда, Гулинька! Ведь, правда, да?

Так, вспоминая свое самое счастливое время жизни, свой медовый месяц, Николай Львович однажды зашел очень далеко в лес. И вдруг остановился, чуть не подавившись радостью — перед ним был обрыв.

Обрыв был суровый, с камнями и где-то далеко внизу журчащей водой.

— Как чудесно! — сдавленно прошептал он, подходя к самому краю, и, как бывало в Пореченске, стал ногой отдавливать большие комья земли.

»Почему меня так тянет к пропасти? В ней, конечно, есть что-то волнующее, притягивающее . . . Стоять вот так, на самом краю ее, бросать вызов жизни и чувствовать всю свою мощь и все свое ничтожество. Да разве я всю свою жизнь не стою над пропастью? И, наверно, я когда нибудь брошусь в нее вниз головой!« — решил он.

Он отошел назад. На душе было тяжело — давил грудь гнет невысказанных чувств, и, по дороге домой, он зашел в магазин и купил бутылку коньяку. Эта золотистая жидкость сможет разогнать мрачные мысли. Всего несколько глотков, и он будет бодр.

И он не обманулся в своих чаяниях: отпив немного, он

стал понимать, что его положение не такое уж безнадежное, а что просто за последнее время он ударился в пессимизм. А отпив еще, он понял окончательно, что жизнь вовсе не величественное мрачное сооружение, а скорее просто бесцветная, затасканная тряпка. Что же красивого можно было смастерить из отребьев? Стало смешно.

»Я вообразил себя трагиком. Разве это не комично?«

И держа в руке стакан с коньяком, он тихо смеялся над самим собой в полутьме затихшей, с уходом Зайки, квартиры, приютившейся где-то в сердце тяжелых швейцарских гор.

— И вот, идет-идет девочка. Вдруг видит: лежит на земле что-то круглое, яркое. Она его — цап! Счастье! — оказалось это счастьем.

Николай Львович сидит в маленькой уютной квартирке под Берном, вдвоем со своей любопытной и неспокойной дочкой, и развивает перед ней свою фантазию.

— А почему счастье круглое? — заинтересованно спрашивает Зайка.

— Одинаковое со всех сторон, без углов, без зазубринок, чистое, ровное, ясное и блестящее счастье, — говорит он, закуривая новую папиросу.

— Ну, вот ... смотрит девочка на счастье, налюбоваться не может — так уж хорошо оно· Взяла она его, положила в карман и пошла дальше.

— Папик, а как же она могла его в карман, — значит, оно маленькое.

— Нет, счастье большое было, но только такое уж оно податливое, что его можно и в карман положить, можно и в кулак зажать. Большое оно и ясное. Светлое-светлое и блестит, переливается. А вместе с тем, — положила в карман, и не видно ничего.

Зайка поудобнее забирается на колени отца и, ухватившись за борт его располагающей к интимности мягкой бархатной куртки, уже больше не прерывает его, а смотрит прямо в рот, из которого во время пауз выходят клубы табачного дыма.

— Ну, идет-идет она, счастливая такая, прыгает, поет от счастья, что у нее в кармане. Навстречу ей попадаются всякие зверьки, гномы, феи, и, почуяв в ней счастье, все сейчас же за ней бегут. А она так счастлива, так счастлива, что

захотелось ей и других всех сделать счастливыми. Вынула она свое счастье, держит его обеими руками — блестящее, как солнце! Стала она отламывать от него по кусочку и разбрасывать направо и налево. Счастливые блестки так и летят по сторонам. А вокруг от них все так и сверкает, так и сверкает! Народу всякого набежало — Боже мой! Все толпятся вокруг девочки, стараются захватить кусочек счастья. Хватают, дерутся ... А девочка все поет, все пляшет да и разбрасывает, разбрасывает свое счастье. Сама не заметила, как ничего у нее в руках и не осталось. Грустно ей стало. Смотрит: вокруг нее все такие счастливые стали, а ей уж теперь ни плясать, ни петь не хочется. Зато все вокруг радостно запели, запрыгали. И стоит девочка без счастья, потускневшая, печальная. Стоит в сторонке тихо-тихо и смотрит на всех счастливых вокруг себя. И вдруг что-то в ней произошло. »Что ж, — подумала она, — вот было у меня счастье, большое, яркое. Носила я его в кармане и была счастлива им только я одна. а тут вон скольких я сделала счастливыми. Целая толпа! И все счастливы, благодаря мне. Разве это не большее счастье?« И так вдруг сделалось ей хорошо от этой мысли, так хорошо, что она опять почувствовала себя счастливой, хотя никакого счастья у нее уже не осталось ни крошечки. Подскочила это она ко всем ею осчастливленным и повела с ними хоровод. Тут и зайчики, и медвежата, и лисички, и гномы, и пастухи, и какие-то старички со старушками, — много всех И все счастливы, и всем хорошо! И так все были благодарны девочке за то, что сделала она их счастливыми, что решили они ее больше от себя не отпускать. Построили замок да и поселились все вместе. Как царица, жила среди них девочка. Все ее любили, все для нее делали, помня, как осчастливила она их. Так и стали все они жить одной большой счастливой семьей. Стали жить-поживать да добра наживать.

Николай Львович старался заполнить весь свой день Зайкой. Рассказывал сказки, придумывал игры, водил ее гулять в парк.

»Неужели я так и буду доживать свой век? — спрашивал он себя:—А ведь, я еще не старик, хотелось бы пожить и для себя«.

Литературная работа не клеилась. Наступило какое-то охлаждение. Николай Львович не видел в ней больше смысла. Иногда ему начинало казаться, что он просто отупел, а его способности уплыли, как утекает драгоценная жидкость из небрежно закрытого сосуда. Николай Львович

видел, что становится самым обыкновенным, сереньким обывателем, интересы которого сузились провинциальной обстановкой и отшельнической жизнью без общения с ценными людьми, которые будили бы мысль, обостряли чувства.

Из Москвы приходили редкие письма. Гальшка писала на общие темы и ничего о себе. В России говорили о войне с Японией. Настроение у всех было подавленное, хотя никто и не придавал серьезного значения этой войне.

Николай Львович отвечал Гальшке еще реже и то лишь короткими открытками. Извещал, что Зайка здорова, что взял ей в няни пожилую француженку и что вообще все благополучно.

Уже давно прошли два месяца его отпуска, но ни один из них не писал о возвращении в Москву. Как будто само собой было понятно, что Николай Львович туда не поедет. Хотя он заранее знал, что так и будет, но все же страдал от того, что разрыв с женой проходит так безболезненно для нее.

»Как легко Гальшка обменяла меня на другого! Меня, жертвовавшего для нее всем, даже своей жизнью« . .

Было совершенно ясно, что, несмотря на всю огромную любовь к ней, он все же не зажег настоящего чувства в ее холодном, недоступном сердце. Чья то была вина?

И когда он уставал думать над этим щемящим вопросом, он подходил к буфету и наливал себе стаканчик волшебной золотистой жидкости, к которой все больше и больше пристращался. Когда жидкость эта разливалась по его желудку, острые углы одинокой жизни сглаживались, легким туманом подергивались жгучие вопросы, а душа обволакивалась вуалью беззаботности. И в конце концов, стукнув кулаком по столу с рукописями, напоминавшими о каких-то сложных душевных переживаниях, Николаю Львовичу хотелось как можно грубее крикнуть на весь мир: »А ну вас всех к чорту!« — и завалиться спать.

*

— Папа! Папик! — кричала Зайка, схватив отца за руку и пытаясь стащить его со скамейки, где он, уткнувшись в блокнот, не замечал ничего, что делалось в парке; — Папик, идем! Я познакомилась с руской дамой. Она художница. Она нарисовала мой портрет. Идем, я покажу.

Николай Львович нехотя встал — ему не хотелось заводить какие-то знакомства.

Зайка подвела его к даме, у которой в руках была тетрадь. Быстрым движением руки она заштриховывала только что написанный портрет.

— Вот это мой папа, — сказала Зайка.

— Разрешите представиться. Моя дочка очень обрадовалась встретить здесь кого-нибудь из русских. Она у меня страшная русачка. И няню свою не любит потому, что та — француженка.

Дама ласково протянула Николаю Львовичу руку. Из-под круглой шапочки на него глянули добрые серые глаза. Ее простое лицо, с неправильным носом, очень украшалось этими глазами. А темные брови и каштановые волосы, просто, без претензий, зачесанные под скромную шапочку, подчеркивали домашность и ласковость лица.

— Анастасия Николаевна, — отрекомендовалась она: Ваша дочка прелесть! Смотрите — разве нет?

И она протянула тетрадь, которую держала в руках.

С белого листа на Николая Львовича глянули удивленные, жаждущие все знать, зайкины глазки. А чуть раскрытый ротик как будто уже готов был предложить один из ее многочисленных вопросов, а может быть, только что сказал »папик« и так и замер.

Николай Львович улыбнулся.

— Вы талантливы. Так верно схватили сходство, — сказал он.

— Ну, какой там талант! Я просто очень люблю рисовать, — скромно ответила Анастасия Николаевна: — Оставьте этот портрет себе на память. Я вижу, он вам нравится. Вы, наверно, очень любите свою дочку.

— О, да!

— Еще бы! Она такая милая. И так чудесно зовут ее — Зайка.

— Ее имя Зоя, а это я ее так зову.

— Да, я знаю. Она все это уже мне рассказала. У меня у самой была такая же девочка. Немного постарше ... Ей было шесть лет, когда она умерла от крупа.

— Это очень тяжело, — посочувствовал Николай Львович.

— Да, тяжело терять детей. А для меня это было особенно большим горем, потому что моя девочка была для меня всем в жизни. С ее смертью, я потеряла все. И теперь я

лишь довольствуюсь тем, что любуюсь чужими детьми, — грустно закончила она.

Николая Львовича задела грусть этой молодой женщины, и он, стараясь смягчить горечь ее слов. сказал:

— Ну, зачем же так мрачно смотреть на жизнь! Вы еще можете иметь детей — у вас вся жизнь впереди.

— О, нет! Я вдова и второй раз не собираюсь выходить замуж. Для меня личная жизнь кончена.

— Ах, какой пессимизм! — воскликнул Николай Львович.

— Я была очень несчастлива в браке. Найти человека по душе так трудно.

— Да, это бывает только один человек в жизни, — согласился он. не замечая, как втягивается в разговор с этой располагающей к откровенности женщиной.

— Только один — это верно, — говорила Анастасия Николаевна, — но, ведь. и его-то не всегда встретишь. А без любви нет счастья в браке.

— Бывает, что и от любви брак несчастен. Тяжело разочаровываться в любимом человеке.

— Я этого не испытала. У меня не было любви. Вышла замуж просто так ... Но я понимаю вас. Возможно, что это то же, что и терять любимого ребенка.

Она говорила быстро, как бы торопясь. Это особенно подчеркивалось ее манерой придыхать во время разговора.

Она еще долго говорила, как будто обрадовавшись возможности поговорить за границей с соотечественником. Николай Львович узнал, что она живет в Швейцарии почти безвыездно. Материально обеспеченная покойным мужем, она выбрала своим постоянным местожительством этот уголок Швейцарии как один из самых живописных.

Николай Львович возвращался в этот день домой, облегченный простотой и искренностью своей новой знакомой. В этом городе, с его иностранной речью. чужой психикой и чужим мировоззрением, он более, чем когда-либо, с ехидным удовольствием отмечал свою заброшенность. Как будто во всем мире для него не нашлось места, и был он нарочно небрежно брошен в этот первый попавшийся затерянный угол на свете. Но он так свыкся со своим бесцветным бытом, что вовсе не хотел, чтобы кто-нибудь вторгался в него и нарушил его дурную налаженность. Но он видел, что и Анастасия Николаевна не ищет более тесного с ним сближения, с этим непостоянным, разбросанным человеком, у которого, к тому же, где-то в России осталась

жена. И потому, не боясь расстаться со своей отчужденностью от мира, Николай Львович стал встречаться с Анастасией Николаевной в парке.

Но, как ни странно, он чувствовал некоторое облегчение, когда смотрел в ее добрые серые глаза, охватывал глазом всю ее непритязательную внешность. Как будто своей простотой она освобождала его от тяжести его собственных мыслей. Она, действительно, умела отыскивать крепко спрятанное добро и ласковость. Она находила доброе даже в самых явно-злых явлениях. Двумя словами и одним взглядом своих простых глаз умела успокоить Зайку, когда та прибегала с разбитой коленкой, легко убеждала Николая Львовича, что случайно обмененная им шляпа идет ему гораздо больше. Она все чаще и чаще вызывала на замороженном лице Николая Львовича улыбку, и он стал теперь даже с удовольствием просиживать в парке положенные для Зайки часы прогулок.

Затравленная, загнанная в угол жизнь осторожно нащупывала выход, поднимала голову навстречу солнечным пятнам, радовалась каждому бесхитростному цветку на своем пути. Но вдруг опять, больно и безжалостно огретая хлестким кнутом, съеживалась в комочек.

Зайка заболела.

Только что ушедший врач долго смотрел на ее воспаленные глазки, выслушивал, выстукивал ее пышащее жаром тельце.

— Дифтерит, — сухо поставил он диагноз, складывая в футляр пенсне.

Зайка сначала плакала, капризничала, но потом притихла, все с большим трудом глотая воздух.

Николай Львович не спал уже два дня и две ночи, все время просиживая у кроватки своей дочурки.

— Девочка моя, Заинька! — говорил он, стоя перед ней на коленях.- Зачем же ты так, милая, а? Давай уж лучше я сам буду болеть за тебя, а ты бегай, топай ножками, шуми, капризничай . . . Милая моя! . . . Не надо, а? . . .

И целовал ее маленькие горячие ручки, приглаживал ее встрепанные белокурые волосики на такой дорогой ему головке. Но потом вдруг вскакивал и посылал Ивана Николаевича за доктором, требовал консилиума, самых последних, лучших средств. И суя доктору гонорар, он с мольбой

в глазах жал ему руку. А доктор, вздыхая и мотая головой, все повторял:

— Мы не боги, не боги! Ждите сегодня кризиса.

А маленькое существо в кроватке, тем временем, металось в жару и о чем-то жалобно похныкивало.

— Сегодня кризис, — повторял про себя Николай Львович, — а завтра? ... Или выживет, или ...

Он заметался по комнате.

— Анастасию Николаевну надо позвать, — неожиданно для себя решил он, — у нее у самой был ребенок, она знает, что делать.

До сих пор их знакомство ограничивалось лишь встречами в парке, и Николай Львович начал сомневаться, придет ли она, сам не зная, почему, ожидая от ее визита чего-то решающего.

И она пришла.

— Я так и знала, что у вас что-то случилось, потому что вы не показываетесь в парке, — просто сказала она, снимая пальто и шляпку. Но взглянув на осунувшееся, почерневшее лицо Николая Львовича, она больше ничего не сказала, а прямо прошла в детскую.

Зайке становилось хуже. После сильного жара ее начало знобить. Николай Львович набросал на нее все, что только было в доме подходящего, но бедная девочка продолжала трястись от озноба. Став перед кроваткой на колени, он стал руками растирать ее холодеющие ножки и тщетно пытался согреть своим дыханием ее ручки.

— Надо горячие бутылки достать, — сказала Анастасия Николаевна.

— Бутылки? — как в трансе, повторил Николай Львович, но потом вдруг бросился в кухню. Руки его дрожали, когда он, при помощи Ивана Николаевича, наполнял бутылки водой, а потом никак не мог закрыть их пробкой, ронял на пол, расплескивая воду.

Анастасия Николаевна взяла бутылки из его рук, аккуратно завернула в полотенца и обложила ими трясущееся маленькое тельце.

— Анастасия Николаевна, что еще делать? Говорите! — хватал Николай Львович ее за руки, ища спасения у этой спокойной маленькой женщины, деловито выпроваживающей из детской и няню и Ивана Николаевича.

— Меньше лишних людей Больше воздуху ... Делать больше ничего не надо, Николай Львович, надо только ждать.

— Ждать? Как ждать? Чего ждать? Нельзя, нельзя ждать! Поймите вы что нельзя! Надо что-то делать. Делать! — метался Николай Львович по комнате:-Ведь, вы же сами знаете, что значит потерять единственного ребенка. У вас у самой... Простите! Ах, что будет!

— Успокойтесь, успокойтесь, — говорила Анастасия Николаевна, кладя ему на плечо руку:-Вы сами заболеете. Разве можно так?

— Я позову доктора, — рванулся к дверям Николай Львович.

— Но ведь, только полчаса, как он ушел.

— Ах, да! Он тоже ничего не может сделать. Никто ничего не может сделать. Никто!

Схватившись за голову, он застонал.

— Если Зайка умрет, я не буду жить. Она — это последнее, что осталось у меня.

Анастасия Николаевна и сама видела, как много значит для него жизнь его ребенка. Она видела и его обезумевшие глаза и его нервно подергивающееся лицо и понимала, что на детской кроватке, действительно, лежало для него самое дорогое в жизни. Но что могла она сказать? Она, совершенно чужая женщина в ногах дорогого ему ребенка.

— Я знаю, чьи все эти проделки! — вдруг крикнул Николай Львович:-Знаю! Он у меня жену отнял, а теперь отнимает и ребенка. Это он! — кричал он, бегая по комнате.

— Кто он? — тихо спросила Анастасия Николаевна.

— Ах, вы не знаете! Это был негодяй большой руки. Я убил его, а теперь вот он и мстит мне за свою смерть. Он всегда стоял у меня на дороге. Всегда пакостил, сколько только мог. Он сказал, что не уйти мне от него никогда. Никогда!... И вот я убил его, а он все равно, преследует меня. Это его штучки! Я узнаю! О, действительно, не уйти мне от него! Это он и стоит сейчас, демон, у изголовья Заиньки.

Протянув вперед руки, Николай Львович безумными глазами уперся в стенку.

— Стоит и смеется, негодяй, своим мелким дьявольским смехом... Я так хорошо помню этот его смех, который сразу прервался, как только я выстрелил в него... Этот смех до сих пор стоит у меня в ушах. Ха-ха!

Зайка заметалась по кроватке, стала выбрасывать ручки из-под одеяла и то зарывалась личиком в подушку, то недоумевающе широко раскрывала глаза. А ее отец в это время стоял над ее кроваткой и тихо смеялся. Его большой

нос на бледном худом лице, после бессонных ночей, выдался еще больше. Плечи опустились. Он даже как-то сгорбился за последние дни, как будто ему стало тяжело носить длинное, неудобное туловище. В слабо освещенной комнате его растрепанные волосы, казалось, уходили в пространство. Было что-то трагическое во всей его беспорядочной, с расстегнутым воротом, фигуре, и он сам сейчас, со своим нервным смехом, напоминал демона.

Анастасия Николаевна в один момент осознала, что оказалась здесь не случайно и что должна что-то немедленно сделать для этого человека, который так неожиданно признался ей в ужасном преступлении.

— Как его звали? — шопотом спросила она.

— Владимиром, — так же шопотом ответил он.

— Надо молиться! Николай Львович, надо молиться за его душу. У него никого не было, кто бы молился за него?

— Хм! Конечно, нет! Кто же станет приносить за него молитвы!

— Вы!

Николай Львович удивленно посмотрел на нее.

— Да, вы! — решительно повторила она: — Его душа мечется, ищет выхода в действии. Может быть, вы и правы, что она неотступно с вами, потому что, наверно, многим была связана при жизни. Я ничего не знаю из вашего прошлого, но из того, что вы мне сейчас сказали, я заключаю, что, наверно, у вас было что-то страшное. Потому-то вы и решились на убийство . . . Но сейчас не это важно. Важно одно: вы должны дать его душе другое направление. Молитесь, и он отойдет. Молитесь сейчас же, не откладывая! Давайте вместе молиться!

Анастасия Николаевна слегка тронула его за рукав, как бы приглашая следовать за собой, и опустилась на колени. Поддаваясь ее настроению, Николай Львович встал рядом с ней на одно колено и уронив голову, замер.

В голове на мгновенье пронеслись далекие картины детства, когда маленький мальчик Коля, под влиянием ласки законоучителя и притягиваемый действовавшим на воображение символизмом православной обрядности, вот так же, на коленях, простаивал все церковные службы в далеком провинциальном городке России. Как отходил он тогда от всего земного, проникаясь молитвенным экстазом!

И стоя сейчас на коленях, Николай Львович почувствовал, как внутри него вдруг повернулся какой-то крохотный, неосязаемый простыми человеческими чувствами,

рычажок, пытающийся приоткрыть тщательно скрываемую ото всех заветную полость души. На момент что-то радужно-яркое сверкнуло пред его сознанием. Что-то такое, что не объяснимо словами, но, благодаря чему, он вдруг ощутил всю необъятность вселенной и почувствовал себя одновременно и великим и ничтожным. Это ощущение было страшно кратковременным. Оно вмиг блеснуло и исчезло. И Николай Львович отчетливо уже слышал рядом шопот Анастасии Николаевны:

— Господи! Владимира! Душу Владимира упокой! Дай его душе место в твоем лоне и упокоение от мирских дел. Освободи ее от земных желаний, приблизь к Себе, о, Господи! Дай мятущейся душе Владимира вечный покой. Господи, услыши нас! . . .

Долго еще губы Анастасии Николаевны шептали слова молитвы, и в ее глазах, устремленных на окно, блестели слезы мольбы за жизнь маленького существа, разметавшегося в кроватке, а также и за жизнь склоненного рядом несчастного отца.

В комнате стало напряженно тихо, лишь слышен был проникновенный шопот склоненной полноватой женщины и тяжелое дыхание больного ребенка.

— Папик! — вдруг прорезало тишину.

Николай Львович разом вскочил с колен и бросился к Зайке. Она смотрела на него осмысленными сухими глазками.

— Пить хочу, папик, — протянула она ему свою ручку.

— Милая! Девочка моя! — залепетал Николай Львович, не сразу возвращаясь в действительность:—Пить хочешь? Сейчас, сейчас, деточка!

Обняв Зайку, он трясущимися руками стал поить ее. Анастасия Николаевна стояла тут же и вытирала с ее подбородка расплескиваемую воду и вдруг воскликнула:

— Да, ведь, она вся пропотела! Николай Львович, достаньте свежую рубашечку, обязательно надо переменить ей белье. Да прогладьте рубашечку утюгом, чтоб нехолодная была. Лучше разбудите няню.

— Нет, я сам . . .

— Кризис прошел. Николай Львович, вы понимаете? — с наполненными счастьем глазами говорила Анастасия Николаевна:–Понимаете? Бог оставил вам вашу девочку.

— Да, да! — бормотал Николай Львович, не замечая, как слезы радости свободно текли по его щекам. Прижав к груди бесконечно дорогое жаркое тельце ребенка, он по-

крывал поцелуями ее мокрый, с прилипшими волосиками, лобик.

Переодетая во все свежее, Зайка облегченно вздохнула и сейчас же заснула.

Да, кризис прошел. Николай Лвович это ясно видел. Его девочка, его чудесная маленькая Заинька осталась жива.

И вдруг он новыми глазами взглянул на стоявшую рядом с ним у кроватки его ребенка маленькую полную женщину, со счастливой улыбкой на непритязательном добром лице смотрящую на спавшую Зайку.

— Это вы, — воскликнул он, хватая ее за руки, — вы спасли мне ее!

— Что вы! Что вы! Разве можно так говорить? Это Бог! Бог! Чувствуете вы его?

— Нет, нет! Впрочем, не знаю... Иногда как будто... Вообще же, мне не представлялось случая познать Его.

— Вы думаете, не представлялось, а на самом деле Он несколько раз открывался вам. Только по грубости чувств своих вы Его не замечали, проходили мимо.

— Когда же это было? — резко заметил Николай Львович. — Когда Он мне открылся? Не измена ли Гальшки — Божественное проявление?

— Нет, не измена, — мягко возразила Анастасия Николаевна, — а выявление человеческого ничтожества. Вы должны были б через измену самого дорогого, самого близкого вам человека почувствовать бесценность и ничтожность животной привязанности. А духовной связи с ней. ведь, у вас не было?

Николай Львович промолчал, а Анастасия Николаевна продолжала:

— Вы должны через это испытание подняться духовно, а не падать еще ниже, иначе зло восторжествует над вами. Вот в этом и есть проявление Бога. Он указывает вам путь, и если вы захотите, то пойдете по этому пути, а если нет...

— А если нет? — подхватил Николай Львович.

— Хуже будет.

Анастасия Николаевна замолчала. Молчал и Николай Львович. В комнате было почти темно. В углу чуть теплился ночник, слабо освещавший две притихшие фигуры: высокую, тонкую — Николая Львовича и маленькую, округленную — Анастасии Николаевны. Недалеко Зайка ровно дышала в здоровом и крепком сне. И в этой мягкой полутьме Николай Львович остро почувствовал душевный бархат сидевшей с ним рядом женщины.

— Стася, —обратился он к ней, и голос его снизился до шопота: — Вы разрешите мне так вас называть?

Анастасия Николаевна отыскала его руку и молча пожала ее.

— Стася!

— Ну?

— Тише, молчите! Сейчас буду говорить я. Я вас понял, то есть, вернее, я вас почувствовал. Вы . . . я не знаю . . . В вас есть что-то, что воспринимается не телом и не головой, а душой. Может быть, вы и правы: с ней — дьявол, а с вами — Бог. И если я вернусь к ней, то погибну . . . Я, вероятно, очень земной, меня так тянет к ней, ко злу. Это — Корнелия тянет . . . Вы не понимаете — я потом когда-нибудь объясню. Я . . . я хочу преодолеть себя. Мне одному трудно, я не смогу . . . Помогите мне, Стася. Я хочу быть с вами. С вами тепло так, и потом, может быть, вы — тоже десница Его.

— Боже, ну зачем же вы так меня превознесли, — возразила Анастасия Николаевна, и хотя в темноте Николай Львович не мог хорошо видеть ее лица, но он почувствовал, как она стыдливо при этом улыбнулась. — Но, впрочем, это неважно: пусть превознесли. Важно то, что вы — несчастны, я это вижу. Вижу, что я вам нужна. Разве могу я вам отказать в дружбе? Ведь, так? Вы говорите, ведь, о дружбе? Я не хочу от вас ничего больше. Вы несчастны, но и я . . . и мне, ведь, тоже хочется немножечко того тепла, о котором вы говорите, чтоб уж не так холодно было жить на свете. И я думаю, нам вместе будет уютно и хорошо.

— Добрая вы моя! — воскликнул Николай Львович, ища ее руку — Мне кажется, что мы знаем друг друга давно-давно, много столетий назад . . . Вы мне родная . . .

Николай Львович медленно поднес к губам ее маленькие, пухлые руки и значительно поцеловал их одну за другой.

— Бедный вы мой! — тихо прошептала Анастасия Николаевна и коснулась губами его склоненной головы.

*
*

Николай Лвович определенно убедился, что Анастасия Николаевна, действительно, ничего не ждет от него и что она просто рада разделить с ним свое одиночество. Эта уверенность сделала его смелее. Он охотно встречался с ней, сопровождал в музей или в картинную галлерею. Она также была большой любительницей всяких выставок, и

Николай Львович вдруг вспомнил и свое короткое увлечение живописью, охватившее его когда-то в дни юности Опять найдя в себе потерянный, было, интерес к этому роду искусства, он был рад разделить его со своим новым тактичным, образованным другом.

Но Анастасия Николаевна нисколько не навязывала ему своих интересов, а, наоборот, сумела заставить его говорить о себе. И Николай Львович удивлялся, с какой легкостью он посвящал ее в свои планы, развивал перед ней свои идеи.

Эта маленькая женщина с непритязательной внешностью умела отпирать самые сложные запоры тайников сердца.

— Вам, с вашим характером, обязательно надо замуж выходить, растить детей и прочее, — сказал он как-то, провожая ее домой из театра.

— Нет уж, такое счастье не для меня, — ответила она, — я уже шесть лет вдовею и, кажется, уже потеряла интерес к мужчинам.

— Никогда не говорите таких вещей! Шестилетнее, хорошо закупоренное вино,— мечтательно проговорил Николай Львович.

Анастасия Николаевна быстро взглянула на него, и Николаю Львовичу показалось, что ее глаза блеснули не то задором, не то кокетством. Он сжал ее локоть и сказал:

— А я бы не прочь отведать этого вина

Они в это время подошли к дому. Она никогда не приглашала его к себе, и Николай Львович совсем не представлял себе, как она живет. Сейчас же, после его двусмысленной фразы, Анастасия Николаевна в нерешительности стояла у дверей и молча крутила вокруг пальца ключ.

— Вы не хотите позволить мне войти посмотреть, как вы живете — тихо спросил он, наклоняя к ней свое лицо.

— Уже поздно ... — пусто ответила она, упорно крутя вокруг пальца ключ:-Вы, наверно, находитесь под впечатлением этой легкомысленной французской пьесы, что мы только что видели.

Вместо ответа, Николай Львович обнял ее за талию и, прижавшись лицом к ее щеке, перекатил свое лицо до ее губ и крепко поцеловал ее.

— Вы — демон! — оттолкнула она его и ринулась к двери.

Николай Львович преградил ей дорогу и молча взял из ее рук ключ. Она не вырывала его, а лишь испуганно взглянула в его вдруг потемневшие глаза и неуверенно проронила:

— Вы хотите . . . войти?

— Да! — твердо ответил он, отпирая дверь.

Анастасия Николаевна покорно опустила руки.

*
*

Россия была объята войной. Русские люди геройски гибли и в японских водах и на китайской земле. Все туже затягивался политический узел, и с каждым днем все труднее становилось закончить эту войну почетно для русских.

Николаю Львовичу, как живущему в Европе, виднее были ошибки русского командования и правительства, но все же он не мог согласиться с недоброжелательной европейской критикой. Тягостно было слышать разговоры вокруг, тягостно было развернуть иностранную газету, которая вся была на стороне врага России.

Война разбудила в Николае Львовиче любовь к отечеству. Он стал острее ощущать все русское и с любовью перебирал в себе патриотические чувства. Всторону были отброшены и Гегель, и Шеллинг, и Фихте, которыми он раньше так увлекался. Он стал много покупать книг по русской истории, изучал ее особенности и старался предугадать будущее великого русского народа, на долю которого выпало еще одно тяжелое испытание судьбы.

В Россию Николай Львович посылал горячие патриотические статьи и батальные рассказы. Никогда не видя близко войны, он так воодушевлялся темой, что рассказы эти получались очень реальными, и он получал из Москвы и Петербурга много восторженных отзывов. Николая Львовича это очень подбодрило, и некоторое время он был удовлетворен своей работой, чувствуя, что делает что-то правильное, полезное. Но когда однажды он получил от редактора »Русского блага« предложение совместно работать, то сразу и решительно отказался от лестного предложения. Ему вдруг показалось, что он отклонился в сторону и пошел по пути заурядного писателя, и что его опять хотят сделать журнальным рабом.

»Лучше я не буду ничего писать, чем писать то, что с меня потребуют«, — решил он.

Война вполне закрепила Николая Львовича в должности иностранного корреспондента, и он теперь уже, не скрывая, писал в Москву, что намерен обосноваться в Швейцарии.

От Гальшки приходили холодные, пустые письма. Николай Львович начал привыкать к мысли, что она остается лишь матерью его ребенка, а что его личная жизнь все теснее переплетается с жизнью Анастасии Николаевны. Эта маленькая женщина завладела не только им, но и зайкиным расположением. Теперь девочка уже больше не походила на сироту: о ее платьицах, чулках и ботинках заботилась Анастасия Николаевна. Она также стала заниматься с ней и азбукой, и Зайка, частенько устроившись у нее на диване, любила записывать в свои тетрадки какие-нибудь каракули, в то время как сама Анастасия Николаевна была занята перепиской рукописей ее отца. Анастасия Николаевна завладела всей черной работой Николая Львовича и во многом ему помогала.

Николай Львович, часто небрежно возлегая у нее на кушетке и смотря на склонившуюся над письменным столом ее полную фигуру, думал о том, что как хорошо было б, если бы эта женщина была Гальшкой, если б, вместо Анастасии Николаевны, здесь сидела его золотоволосая изящная женка и так же вот добросовестно и с такой же охотой переписывала бы его черновики.

Но, вместо Гальшки, рядом был лишь верный друг — Стася, хороший, добрый человек, баловавший своей привязанностью, своим вниманием, всем тем, к чему Николай Львович, собственно, даже и не привык. Ее расположенность и искренняя дружба очень трогали его и, мысленно задерживаясь на этом, он, в конце концов, приходил к заключению, что, пожалуй, ничего не имеет против того, чтобы вот так, рука об руку, и доживать с ней свой век. Она была хорошей, доброй женщиной. А любовь? Ну, об этом между ними никогда не говорилось. Впрочем, Николай Львович даже и боялся этого разговора, потому что его собственное сердце было отравлено Гальшкой. Заглянуть же, что делалось в сердце Анастасии Николаевны, он не осмеливался. Не осмеливался потому, что иногда ему казалось, что эта маленькая, добрая женщина на самом деле полюбила его. Ему было страшно установить этот факт, потому что сам он до сих пор был болен Гальшкой.

Вот Анастасия Николаевна кончила работу за письменным столом. Встала, сложила бумаги.

— Никс, я переписала все, что вы мне дали вчера, — сказала она: — Теперь мне осталось только прокорректировать ваши сегодняшние записки. Вы сделали очень удачный

перевод Фридлэндера. По-моему, вам нужно больше внимания уделять переводам.

— Стася, идите, сядьте со мной рядом, — сказал он. — Право же, вы меня конфузите: часами сидите за моей работой, в то время как я трутнем лежу у вас на кушетке и благодушествую. Вы меня просто избаловали.

— Вот и отдохните. Не все же вам работать. У вас здоровье не такое уж крепкое, чтобы себя перетруждать.

Она села рядом и стала рукой разглаживать его волосы.

— Какая вы нежная! Какая ласковая! — говорил Николай Львович, в истоме закрывая глаза. — Я не привык ко всему этому, Стася. Мне так странно, что . . . меня ласкают. Я привык, что я всегда сам безответно ласкаю, но чтобы меня вот так ласкали, — мне непривычно и потому странно.

— Ничего, я вас приучу, — ответила Анастасия Николаевна. — Я нарочно буду еще больше вас ласкать, целовать, чтобы вконец испортить, чтобы вы, наконец, почувствовали себя лучше всех, а не думали б, что вы — самый последний и забытый человек на свете.

Она говорила это, а ее добрые серые глаза в это время так хорошо светились. Только ли доброта была в них? Нет, пожалуй, этот блеск был не только от доброты. . .

— Вы, ведь, Никс, очень хороший человек, умница, талантливый. . .

— Ну, уж вы очень хорошего обо мне мнения, — смущенно возразил Николай Львович.

— Я правду говорю: вы — богатая натура, а окружение ваше пыталось вас сравнять с толпой. Вы не можете с ней равняться, когда вы на целую голову выше ее. Я очень хорошо вас узнала, потому так и говорю.

— Ну, мне совсем стыдно стало от таких похвал. Настенька вы, вот кто! — страстно воскликнул Николай Львович:-Милая, добрая Настенька! Правда, ведь? Хорошая вы! Настенька!

Он обнял ее и зарыл свое лицо в ее пухлой шее.

— У вас есть душа, Настенька. И хорошая душа. На меня сейчас она проглянула. У женщин, по большей части, ее нет. Они бездушные и эгоистки. А у вас есть душа. Она уголком выглянула на меня и согрела. . Знаете ли вы, Стася, что вы согрели меня? И знаете ли, как хорошо быть согретым? Это очень, очень хорошо!

Он совсем прошептал последние слова.

Анастасия Николаевна молча гладила его волосы.

* * *

Жизнь Николая Львовича начала входить в колею. И только известия из России пугали: там происходили рабочие беспорядки, восстания, массовые манифестации.

И вдруг однажды от Гальшки было получено длинное, на четырех страницах, письмо. Она писала о том, какой взрыв в обществе произвело закрытие первой думы, и о том, что началась всеобщая забастовка и что вообще жить сейчас в Москве стало небезопасно. Дальше она писала, что хотела бы приехать к нему, отдохнуть от всех политичеких событий и также повидать Зайку. »Помнит ли она еще меня?« — заканчивала она свое тревожное, длинное, не похожее на все предыдущие, письмо.

Видно было, что кроме забастовок и материальных неудобств с Гальшкой произошло что-то более серьезное. Конечно, в ней могло заговорить материнское чувство, она могла просто соскучиться о дочери, хотя и писала о ней лишь в конце. Но могла здесь быть и другая причина. Может быть, у нее произошел разрыв с Антоновым? И вдруг она, действительно, приедет сюда! Николай Львович к этому себя не подготовил и совсем не представлял, как это произойдет.

Он ходил по комнате, нервно ероша волосы. Как же быть? Конечно, она как мать всегда имеет право повидать своего ребенка. Но, ведь, она ничего не знала о настоящем образе жизни своего мужа, не знала, чем он заполнял свою жизнь, кто был его другом. Она просто извещала его о своем намерении, ни на минуту не задумываясь над тем, что он может этого не хотеть. Но так ли это? Действительно ли Николай Львович не хотел ее приезда? Он чувствовал, как взволновало его это письмо, как всколыхнуло оно в нем задремавшие, было, чувства, заставившие заныть старые душевные раны.

Он решил ничего не отвечать ей на письмо. Может быть, таким образом она поймет, что у него есть что-то, что заставляет его молчать.

А Анастасия Николаевна? Говорить ли ей? И тут Николай Львович почувствовал себя трусом. Но наблюдательная и внимательная, она, все равно, сразу заметила в нем перемену. И прямо смотря в его сосредоточенное, нахмуренное лицо, она просто сказала ему:

— У вас сегодня складка меж бровями легла глубже. Что-то случилось, Никс? У вас неприятности? Впрочем, если не хотите, не отвечайте.

— Да, я, пожалуй, лучше не скажу вам, — согласился он. . .

* * *

Прошла неделя.

Николай Львович еще раз перечел письмо и понял, что Гальшка, безусловно, приедет.

С каждым днем он все острее чувствовал ее приближение. Он разделил весь путь от Москвы до Берна на отдельные психологические куски. Сначала далекие, куски эти приближались и делались все более и более близкими и с каждым днем отламывались, падая по эту сторону гальшкиного пути. Падали и нагромождались один на другой, и от этого нагромождения делалось с каждым днем тяжелее на душе.

В конце концов, Николай Львович с облегчением поделился с Анастасией Николаевной возможностью приезда жены.

Вместо ответа, Анастасия Николаевна стала молча приготавливать на спиртовке шоколад. И когда горячий напиток был готов, она ласково усадила Николая Львовича за стол.

Они часто так попивали вдвоем приготовленный ею шоколад, который получался у нее особенно хорошо. Николай Львович любил сидеть так у нее вечерами, в ее со вкусом обставленной столовой, и потягивать сладкий, горячий напиток.

— Вы ее любите, — вдруг нарушила молчание Анастасия Николаевна. — Да, любите, Никс, несмотря ни на что.

— Сейчас я больше боюсь ее, чем люблю. Я не хочу, чтобы она опять перевернула мою жизнь по-своему, опять оплевала бы все, растоптала, а потом, подняв со дна души моей все, что еще там оставалось, спокойно бы уехала к другому. Я, знаете, решил бороться, чтобы не позволить ей этого сделать, — решительно сказал Николай Львович, беря руку Анастасии Николаевны и дружески пожимая ее. — Я для нее игрушка, минутная забава, и ради этого я вовсе не хочу потерять постоянного друга, Стася. Вы понимаете меня?

Николай Львович поцеловал ее руку.

— Пускай она едет, в конце концов, но я дам ей понять, что она — только мать Зайки, и что между нами все кончено.

— Вы рассуждаете правильно, Никс, — задумчиво про-

говорила Анастасия Николаевна, — но только выдержите ли вы этот искус?

— После того, как я узнал спокойную, хорошую жизнь с вами, я не променяю ее на тот духовный сумбур, который несет с собой Гальшка. Я могу погибнуть с ней, я это знаю . . . чувствую . . . Я боюсь ее!

Несмотря на рассчитанное ожидание, Гальшка все же приехала неожиданно.

Возвращаясь как-то с Зайкой с прогулки, Николай Львович был встречен на улице Иваном Николаевичем, который и сообщил, что в гостиной его дожидается Галина Александровна.

От этого известия у Николая Львовича захолонуло сердце. Но взяв себя в руки, он довольно спокойно вошел в дом, выставляя на первый план Зайку, которую он заранее уже подготовил к приезду матери.

Гальшка с улыбкой поднялась с дивана навстречу. Она попрежнему была хороша и стройна. Изящный синий костюм плотно облегал ее фигуру, а белоснежные, пышные кружева вокруг шеи обрамляли, как картину, ее красивую голову и, сливаясь с белым же, спускавшимся на плечо, пером шляпы, как бы умышленно объединялись для торжества женского вкуса и изящества.

Подтолкнув к матери Зайку, Николай Львович воспользовался несколькими минутами, чтобы оправиться от охватившего его волнения. И все же не смог произнести ни слова для приветствия, когда целовал ее руку: спазма перехватила его горло. Она так же безмолвно поцеловала его в голову и сейчас же занялась Зайкой.

— Как ты выросла! Совсем большая стала. И страшно на папу похожа. Такая же длинноносая, как и он . . . Только одни глаза мои

»Неужели эта женщина — моя жена?« — спрашивал себя Николай Львович, любуясь Гальшкой. »Как она прекрасна! Как обаятельна! Немного возмужала за последний год . . . Пополнела« . . .

А Гальшка, тем временем, все говорила и говорила. Рассказывала и о неудобствах, связанных с путешествием, и о России, и о том, что вообще было жарко ехать, и еще о чем-то. . .

Николай Львович смотрел, как быстро двигались ее пухлые капризно очерченные губы, каким блеском светились ее глаза, и потому мало понимал, о чем она говорила. Он был неприятно поражен тем холодным приемом, который Зайка оказала матери. Она прекрасно понимала, что эта красивая дама у них в гостиной на диване была их с папой — мамой, но это понятие так и осталось только в голове, душой же она не чувствовала к ней тяготения После довольно безразличного объятия, она сейчас же отошла в сторону и широко раскрытыми глазами, по-детски, беззастенчиво, рассматривала Гальшку.

— Ну, а как же ты живешь? — обратилась к мужу Гальшка, после того как исчерпала весь запас своих первых впечатлений.

Николай Львович откашлялся, чтобы освободить горло от спазмы.

— Так, вот ... Понемножку, — ответил он нехотя.

— У тебя квартирка мала, но, впрочем, на первое время ничего. Из окон твоего кабинета хороший вид: подозреваю, что ради этого вида ты и квартиру-то снял. У тебя там, в кабинете, я видела довольно приличный Зоин портрет карандашом. Откуда он у тебя?

Николай Львович растерялся и прежде, чем успел что-нибудь ответить, Зайка быстро выпалила:

— Это Настасья Николавна нарисовала.

Гальшка вскинула на Николая Львовича глаза.

— Кто это?

Слегка побледневший, Николай Львович твердо встретил ее взгляд и сухо ответил:

— Одна наша знакомая.

— А-а . . . — понимающе протянула Гальшка и перевела разговор на Ивана Николаевича, который ей показался очень постаревшим.

— Ему, пожалуй, уже все 60 лет, — сказала она.—А няня мне совсем не нравится: неуклюжа, простовата. Для Зои нужна няня поизящнее, с хорошими манерами, а с такой не трудно и огрубеть. Но, впрочем, этот вопрос тоже не очень спешный. . . Как твое здоровье? С виду, ты как будто поправился.

Так, в пустяшном разговоре, они провели время до обеда. Николай Львович с удивлением установил, что Гальшка рассчитывает остаться здесь надолго. Он все порывался спросить ее об этом, но не мог подобрать удобного момента: он боялся, что этот вопрос может оказаться бестактным. И

вдруг, во время дессерта, произошел неожиданный инцидент, который сразу, без особых подготовок, сделал многое тайное явным. Поводом к этому инциденту послужило молоко, поставленное, по распоряжению матери, перед зайкиным прибором. Зайка молоко не очень любила и хвастливо заявила, что когда бывает у Настасьи Николаевны, то всегда пьет шоколад.

— Ах, это опять ваша знакомая, — саркастически заметила Гальшка, делая ударение на слове »ваша«.

— Ты долго думаешь пробыть здесь? — из чувства неловкости, совсем не к месту, вдруг вырвалось у Николая Львовича, и этим он еще более усугубил общую неловкость.

— Думала прожить до окончания войны, — сухо ответила Гальшка, — но сейчас я не уверена, что никому не помешаю здесь своим присутствием.

— Почему же? — с вернувшимся спокойствием возразил Николай Львович: — Твое место матери никто не может занять.

Гальшка промолчала, но после обеда она обратилась к Николаю Львовичу:

— Мне хотелось бы серьезно поговорить с тобой.

Они долго, не начиная разговора, молча сидели в гостиной на диване. Николай Львович пускал какие-то замысловатые клубы дыма изо рта, Гальшка же пусто перебирала небрежно сложенные на столе журналы, вероятно, не решаясь начать разговор.

— Итак, у тебя есть женщина, — наконец, сказала она.

— Да.

— Значит, я напрасно сюда ехала, я здесь лишняя.

— Мать никогда не может быть лишней для своего ребенка, — ответил Николай Львович прописной истиной из книги о морали и добродетелях порядочного человека.

— И только? — грустно посмотрела на него Гальшка.

— А ты на что же рассчитывала? — ответил он вопросом же.

— Я ехала сюда, думая, что мы восстановим нашу прежнюю жизнь, что все будет по-старому.

— Это для меня новость!

Николай Львович встал и нервно прошелся.

— Этого я уж никак не ожидал. Что же: у тебя произошел полный разрыв с . . . этим . . . с твоим любовником?

Гальшка вздрогнула, но все же решила попробовать защититься:

— О каком любовнике ты говоришь?

— О последнем, милая! Первого я тебе простил.

Николай Львович уже начал терять самообладание. Он не предполагал, что этот разговор будет для него таким волнующим.

— У меня нет любовника, — после небольшой паузы проговорила Гальшка:-Все это сплетни.

— Ах, вот как! А кем же тебе приходится Виктор Павлович Антонов?

Николай Львович не заметил, как перешел в саркастический тон, не заметил, что теперь он уже больше не играет размеренного, холодного мужа, спокойно выпускающего замысловатые клубы дыма заграничной папиросы, а уже стал самим собой, когда ревность и злоба против соперника начали затемнять рассудок.

При упоминании имени Антонова, Гальшка повернула разговор:

— Ты меня не понял. Я не то хотела сказать. Я, конечно, догадалась, что ты все знаешь о Викторе. Поняла это еще там, на вокзале, когда ты уезжал и когда ты так сухо со мной простился. . . Но повторяю: у меня нет любовника. С Виктором все кончено.

— Вот видишь, какая ты бесчестная! — воскликнул Николай Львович. — Ты сначала ощупала меня и пробовала, было отрицать свою связь. И только, когда убедилась, что я, действительно, все знаю, тогда. . . Ах, Гальшка, как ты изменилась! Что они с тобой сделали!

Николай Львович опять встал и несколько раз прошелся по комнате, а потом снова сел напротив:

— Ну, что же: поссорились, стало быть? Ничего, помиритесь, все обойдется, — едко, добавил он.

— Нет, не помиримся. Я узнала, что он — ничтожный человек, и к нему не вернусь. Потому я и приехала сюда, Коля, что убедилась в сделанной ошибке. Теперь я знаю, что . . . что ты для меня самый дорогой человек.

— Спасибо, — деланно поклонился Николай Львович: После ничтожества нетрудно и мне стать некоторой ценностью. О чем же ты раньше думала? Нельзя же все ошибаться и ошибаться. Тебе не 16 лет, чтобы не разбираться в людях и поступках.

— Я увлеклась. . .

— Влечение полов! А я думал, что ты вот-вот потребуешь от меня развода, выйдешь замуж за человека, которого нашла достойнее меня. . . Будете счастливы. . . Потому

я и уехал, что, во-первых, не хотел мешать вашему счастью, а во-вторых ... уж очень противно было!

— Нет, то не любовь была, — грустно повторила Гальшка: — Я люблю только тебя.

— Ах, как интересно!

Николай Львович опять вскочил с дивана.

— Если ты любила меня, то как же решилась на измену? Как могла решиться причинить мне столько страдания?

— Я не могла сразу разобраться в своих чувствах.

— Нет, Гальшка! Ты сейчас говоришь мне неправду. Говоришь ее, может быть, из самозащиты, может быть, из чувства потерянности в мире. Я не думаю, что ты меня действительно любишь. Когда-то любила »немножко«. Но все-таки, любила... Я видел, я чувствовал тогда эту любовь. Боже! Каким счастливым сделало меня это открытие. Да, я был счастлив, Гальшка, что ты хоть »немножечко«, но любишь меня. Я был счастлив ... А теперь нет! Я не думаю, что ты меня любишь.

— Ты так говоришь, — возразила Гальшка, — потому что у тебя у самого есть кто-то, и ты просто хочешь от меня отделаться.

— Это, — глупости! Любовница у меня есть, я об этом прямо сказал, но... Что же я должен был делать? Монашеских склонностей у меня никогда не было. Морально я чувствовал себя свободным. А тут случайно я встретил женщину, одинокую, свободную, с широкими взглядами. Мы с ней и сошлись, без всяких обязательств по отношению друг к другу, просто сошлись...

— Значит, ты так же просто можешь ее и оставить Правда, ведь, Коля?

Какой-то злобный огонек блеснул в глазах Николая Львовича, и он цинично ответил:

— Зачем? Она меня удовлетворяет во всех отношениях.

— Тогда мне лучше скорее уехать отсюда.

— Нет, я этого тоже не думаю... У нас есть дочь. Нас связывают общие интересы. Морально я тебя всегда поддержу, раз ты оказалась забитой жизнью. .

Гальшка пытливо посмотрела на него. Она не могла понять: говорит ли он искренне, или же издевается над ней. Да, он тоже изменился за последний год, в нем есть что-то новое, какая-то ядовитость, он весь брызжет озлобленностью.

Под ее пытливым взглядом, Николай Львович пытался

засмеяться, но у него, вместо смеха, изо рта вырвался какой-то неопределенный звук: то ли возглас, то ли стон.

— Нет, это не так просто, моя милая Гальшка! Ты будешь менять мужчин, как перчатки, а я буду тебя после них подбирать! Нет, не так просто! Ты сейчас уже не представляешь для меня такой ценности. После того, как ты принадлежала трем мужчинам, ты можешь принадлежать всем. Конечно, как мать моего ребенка, я все еще ценю тебя и ... и потому мой дом всегда к твоим услугам, ну и, может быть, даже мое доброе отношение.

Говоря это, Николай Львович не спускал глаз с лица Гальшки, как бы боясь пропустить хоть малейшее его выражение и даже как будто жадно искал в ее лице какого-то особого выражения от его нехороших, не совсем искренних слов, а сам в это время, не замечая, ломал свои длинные, тонкие пальцы.

— Из всей твоей тирады, — ответила Гальшка, — я вынесла одно: ты меня больше не любишь.

— Этот вопрос слишком серьезный, Гальшка, — уклонился Николай Львович.

— И значит, ты никогда меня не простишь? И мне никогда нельзя надеяться вновь стать твоей супругой, восстановить все прежнее, забыть все передряги жизни и зажить спокойной, семейной жизнью?

— Ты меня очень трогаешь, — ехидно отозвался Николай Львович, — но я не могу ответить сейчас на все эти вопросы. Все это гораздо сложнее, чем ты думаешь. Вообще, я считаю, что на сегодня нам довольно, и мы на этом покончим наш деловой разговор. Неправда ли? Я распоряжусь, чтобы тебе приготовили мою спальню, я же сам помещусь в кабинете.

Он встал и, не дожидаясь ответа, поцеловал ей руку и вышел. Гальшка потом слышала, как он ходил в детскую и, вместе с няней, уговаривал Зайку лечь спать, после чего вернулся в кабинет, переоделся и вышел из дому.

Гальшка все это слышала, оставаясь бесцельно сидеть в гостиной, »В чужой гостиной«, — подумала она. Да и все вокруг было ей сейчас чужое. Она думала, что едет к своей семье, но ошиблась: ее дочь, не видевшая ее целый год, отвыкла, встретила холодно и даже недружелюбно. Может быть, она чувствовала настроение отца и, из чувства обожания, старалась подражать ему.

Гальшка думала встретить здесь всепрощающего, бесконечно любящего мужа, но оказалось, что им завладела дру-

гая женщина, в его же чувствах она не могла разобраться: он оставил очень путанное впечатление.

»Кто эта женщина? — думала Гальшка об Анастасии Николаевне: — Холодная ли, развратная авантюристка, или добрая, бесхарактерная мямля? Конечно, можно все узнать через прислугу« . . .

Но все это было неглавное. Главное было то, что она, Гальшка, жемчужина общества, светская львица, сидит сейчас в гостиной своего бывшего мужа, брошенная, никому ненужная. Дочь даже не пришла сказать »спокойной ночи«, а муж, вероятно, ушел к »той« женщине.

Гальшка оглянулась вокруг. В тихой, опустевшей комнате она почувствовала себя сиротой. Тоска сдавила ей грудь, и она заплакала.

Так грустно закончился ее первый день пребывания в новом, маленьком городке, затерянном в горах Швейцарии.

* * *

Лето стояло прекрасное. Гальшка получала большое удовольствие от прогулок по городу. Она ходила по магазинам, тратила деньги и в этом, казалось, находила какое-то успокоение, давая выход своей энергии. Она настояла на аренде рояля и, с появлением в доме инструмента, почувствовала себя счастливее. Музыкой она заполняла свои длинные вечера, когда Зайка ложилась спать, а Николай Львович уходил из дому. Оставшись одна, она любила сесть за рояль и мечтательно перебирать клавиши. Только слегка перебирать. Играть что-нибудь серьезное она не могла: думы одолевали ее. Думала она о своей новой, непривычной жизни, о том, что оказалась здесь в положении третьестепенной личности. Для ее психологии это было шоком.

Николай Львович обычно уходил из дому тотчас же, как ему удавалось уговорить Зайку лечь спать. На подобные уговоры у него иногда, правда, уходило очень много времени и потому, когда он особенно спешил, то пускался на хитрости. Ему нужно было обежать все комнаты и везде переставить часы вперед, потому что Зайка шла спать только тогда, когда убеждалась, что, действительно, пришел этот неприятный час. И если какие-нибудь часы опаздывали, она сейчас же с радостью возвещала, что еще не пришло ей время спать.

Но когда все же, наконец, приходилось подчиниться неизбежному и идти в детскую, то и тут долго еще шли окончательные переговоры: ложиться или нет, пока, нако-

нец, не удавалось ее раздеть и уложить в постель. Но и в постели Зайка продолжала шалить и, будучи уверена, что она всем домашним делает большое одолжение тем, что легла спать, вела себя надменно и требовала то того, то другого, пока француженка-няня окончательно не выбивалась из сил и не звала на помощь Ивана Николаевича. Он был строг и имел на девочку большое влияние. Но случалось, что даже он не мог ничего сделать с Зайкой, и тогда, обычно, звали самого Николая Львовича.

— Не спит она, — качал головой Иван Николаевич, зная, что Николай Львович только и ждет, когда можно будет уйти с уверенностью, что его капризница уснула. — Требует, чтобы вы пришли ей сказку рассказывать.

— Вот девчонка! — с досадой восклицал Николай Львович, сбрасывая пиджак и надевая домашнюю бархатную куртку, потому что, если Зайка заметила бы, что он куда-то собирается уходить, то стала бы еще больше капризничать.

— Чего не спишь?

— Сказку, папка!

— Никаких сказок нет и не будет, а ты изволь спать.

— Как нет? Ты мне про волка расскажи.

— Волк спать ушел.

— Ну, про зайчика.

— И зайчик спит. И медведь пошел спать к себе в берлогу. А вороны, галки и совы собрались вокруг Зайки-непослушки и едва глаза держат открытыми от усталости: так им всем спать хочется. А лисичка убежала и перехитрила всех: раньше всех и заснула. И весь лес спит... Деревья шумят листьями: ш-ш-ш, ш-ш-ш ... Спать надо! Все спят, одна Зайка не спит.

— Папа ...

— Закрой глазки, — перешел на шопот Николай Львович, — и не разговаривай, а то зайчика разбудишь, а он уже второй сон видит и утром будет всем его рассказывать. А кто не спит, тому и рассказывать утром нечего.

Николай Львович взял ручку Зайки в свою.

— Спать, спать, спать ... Все звери спят. Тише! Не разбуди! Ш-ш-ш ...

Он сидел у кроватки своей дочурки, подперев одной рукой голову, а другой держа ручку Зайки.

В гостиной щелкнула крышка рояля. Это Гальшка пришла туда. Шагов не слышно. Толстый ковер скрадывал легкую поступь.

»Наверно, будет сейчас петь. Как бы не разбудила девочку: только что начала засыпать«, — думал Николай Львович.

Но в гостиной было тихо.

»Что же она там делает? Наверно, перебирает ноты«.

Николай Львович стал тихонько освобождать свою руку из сонно-теплой зайкиной. Руки пригрелись, и Николаю Львовичу было жаль приятного детского тепла, сразу от него отскочившего, как только он освободил руку. Милое созданье! Он долго не мог оторвать глаз от спокойного личика заснувшей девочки. Ему очень хотелось поцеловать ее в лобик, но он боялся ее разбудить — тогда опять пришлось бы ломать фантазию над всякими зверями. Он тихонько встал и на цыпочках вышел из детской. Опять надел снятый им из предосторожности пиджак и прошел в гостиную.

Гальшка держала в руках альбом нот и как-то бездумно рассматривала его.

»Она скучает. Ей нечем себя занять«, — подумал Николай Львович.

— Вот интересные книги, — сказал он, бросая на стол какие-то литературные новинки: — Может быть, почитаешь? Я писал отзывы о них, может быть, помнишь?

— Не читала . . . Не помню . . . Спасибо. А ты что? Опять уходишь?

— Да. Спокойной ночи!

— А я уж и не знаю, чего тебе пожелать, — тихо, как бы про себя, проговорила Гальшка.

Николай Львович приостановился на пороге, выжидая продолжения едкого замечания, но его не последовало. Повторив »спокойной ночи«, он вышел.

*

И так бывало почти каждый день.

Наконец, однажды Гальшку взяло возмущение против такого образа жизни, и она сказала Николаю Львовичу:

— Ты мне создал такие условия жизни, от которых я готова хоть завтра бежать обратно в Москву. Ты с убеждением, кажется, решил, что я настолько ничтожество, что буду переносить все это?

— Я никогда не думал, что ты ничтожество, — ответил Николай Львович: — Я заметил в тебе зачатки души с первого же раза, как только увидел тебя. Мне тогда же стало казаться, что ты погрязаешь в светской тине, и я захотел вытя-

нуть тебя из нее. Но оказалось потом, что силы мои были недостаточны, и, вместо того, чтобы спасти тебя, я сам чуть, было, не завяз в болоте Те духовные проблески, которые я в тебе открыл, заглохли под давлением ничтожных, плоских людей, их задавило изысканное, расфранченное, но пустое общество, которое ты предпочла простому, но глубокому по содержанию существованию. В тебе заглохло все, что было лучшего, осталась лишь напомаженная, красивая внешность, фактически весьма малоценная, во всяком случае, не стоющая жертв и приношений. То, что я в тебе ценил, ты сама же уничтожила. Осталась одна оболочка, без внутреннего содержания. Мой кумир разбит, опоганен, опошлен . . .

— Ты не прав, ты не прав, — горячо запротестовала Гальшка. — Ты просто злобишься, потому что не можешь мне простить. Но тогда имей ко мне хоть простое человеческое чувство. Я приехала к тебе, ведь, как к последнему убежищу. Как ты этого не понимаешь! Я, ведь, думала, что ты . . . что ты меня спасешь от меня же самой. Ко мне все лезут, ищут моей любви. Конечно, я — красива, и это есть причина всех причин. Мужчины тянутся ко мне, как к красивому цветку, который хочется сорвать. Я же сама или слишком слабохарактерна, или еще что . . . не знаю. Вернее, я тоже тянусь к красивому, но попадаю на безобразное, гадкое. Я ощущаю на своих руках скользкую, липкую грязь от всех этих мерзких людей, от мерзкой жизни. Я не этого хотела. Мне все это противно! Я не хочу всех этих Толей, Витей! Я хочу уйти от всех них и . . . не могу. Поэтому-то я и приехала к тебе: спаси меня! Спаси от меня самой!

Крепко сжав губы, слушал ее Николай Львович. Когда она кончила и с мольбой протянула к нему руки, в глазах у нее стояли слезы.

— На меня сейчас глянула моя прежняя, любимая Гальшка, — тихо проронил он и, подойдя к ней, опустился на колени и поцеловал край ее платья.

Она ласково провела руками по его волосам и, не выдержав, разрыдалась.

— Бедная моя! — глухо проронил он, обнимая ее ноги: — Но что же мне делать? Что делать? Прости меня, я виноват перед тобой. Давай будем жить ради нашей Зайки. Думай больше о ней, будь к ней поближе, и . . . тогда нам обоим будет легче.

*

Но отношения Гальшки с дочерью не могли наладиться. Отвыкнув от матери, Зайка, с другой стороны, привыкла ко многому такому, что было отлично от ее прежней жизни, и у нее все время бывали несогласия с матерью в мелочах, на которых и строились их отношения.

— Коля! Что же это такое? — в возмущении говорила Гальшка Николаю Львовичу.-Твоя дочь сейчас предложила мне уезжать обратно в Москву. И за что? Только за то, что я попросила ее остаться к обеду в том же платье, в котором она была утром. Она никуда не выходила сегодня, и платье совершенно свежее.

— Ну, Гальшка, не волнуйся из-за пустяков. Что ты!

— Нет, это не пустяки — выслушивать подобные заявления от пятилетней эгоистки. Я, видишь ли, ничего не понимаю: она привыкла переодеваться к обеду. Привыкла! Нет, она будет делать так, как я хочу! Или мое слово ничего не значит в этом доме?

Гальшка заплакала. За последнее время она так часто стала орошать свои чудные глаза слезами, что у Николая Львовича сжалось сердце, и он большими шагами прошел в детскую.

— Ты что скандалишь? — строго обратился он к дочери.

Увидев отца с руками в карманах, что он делал всегда, когда бывал в плохом настроении, Зайка сразу поняла, что он не пришел сюда для того, чтобы шутить, и, в свеженьком, надетом наперекор матери, платьице, она виновато подошла к отцу.

— Папик!... Я ничего.

— Мама тебе сказала, чтобы ты оставалась в утреннем платье.

— Да, сказала, но я то запачкала, оно не годится.

Николай Львович видел, что большой провинности со стороны ребенка не было, но нужно было поддержать престиж Гальшки как матери, и потому он сказал:

— Как мама сказала, так и надо делать.

— Па-а-апка!...

Обиженными глазками жалобно смотрела Зайка на отца, перекосив ротик, но не двигаясь с места.

— Я что сказал? — повторил Николай Львович.

Ротик вздрогнул, и Зайка заплакала. Но Николай Львович помнил, что в этот момент в другой комнате, тоже перекосив губки, плакала Гальшка. Как ни любил он дочь, но его сердце при этой мысли дрогнуло. После горячей, на-днях, исповеди Гальшки его сердце повернулось в ее сторо-

ну и, хотя он все еще сдерживал напор своих чувств, но в данный момент свою любовь к дочери он приносил в жертву Гальшке. И хотя ему было очень жалко плакавшую Зайку, он строго повторил:

— Живо снимай это платье и надень утреннее.

Попросив няню помочь Зайке переодеться, он самолично следил за ее переодеванием, и когда все было закончено, он сказал:

— А за то, что ты обидела маму, иди перед ней извиняться. Я буду ждать тебя в гостиной.

Войдя в гостиную, Николай Львович увидел Гальшку в кресле, со все еще мокрыми глазами. Он сел на ручку ее кресла, вынул из кармана носовой платок и стал вытирать ей глаза.

— Ну, вот ты сейчас сама, как маленькая девочка. И глаза у тебя совсем, как у Зайки... Не будем плакать, детка!

Его голос невольно выдал ласку. Слезы у Гальшки разом остановились. Она подняла глаза и встретилась с глазами мужа. В них была теплота, как бывало и прежде.

— Все дети — эгоисты, — сказал Николай Львович: — Но Зайка — маленькая эгоистка, а ты — большая. Не так ли? Думала ли ты о нас, когда бросила нас ради наслаждений?

— Коля!

— Да, Гальшка, я опять буду об этом говорить. Могла бы ты вот взять мою руку и медленно ее резать ножом? Нет, ведь? Но ты не руку, а вырвала мое сердце и медленно, не думая о причиняемой боли, терзала его. Терзала нравственно. А эта боль сильнее физической. Ты думала тогда только о своих наслаждениях.

Гальшка положила свою руку на колено Николая Львовича и стала легонько поглаживать его.

— А теперь, — продолжал он, — ты говоришь об эгоизме своей дочери, в которой ты даже и не пыталась воспитать что-либо возвышенное. Ты сейчас получаешь лишь плоды того, что сама же сеяла.

— Я уже достаточно чувствую это, — грустно покачала головой Гальшка:—Неужели нужно еще говорить об этом?

— Я хотел только сказать, что все, что ты сейчас получаешь, это лишь отголосок твоего поведения.

— И та женщина тоже?

— Отголосок . . . — повторил он: — Заслуженный реванш.

— Ты меня наказываешь?

— Нет, это вышло само собой. Это — сама жизнь.

Он, в конце концов, не выдержал раздражающего поглаживания по колену, схватил ее руку и до боли сжал ее. А потом серьезно посмотрел ей в глаза и встал с ручки кресла.

— Не могу выносить, когда Зайка плачет, — сказал он, уходя в детскую.

Через минуту Зайка, с обревелыми глазами, неуверенно вошла в гостиную.

— Мама! Я . . . виновата-а! — проревела она, подходя к матери и тычась своим мокрым ртом в ее лицо.

Гальшка обняла дочку, и Николай Львович, проходя к себе в кабинет, видел, как они, обнявшись, вместе плакали и бормотали друг другу какие-то ласковые несвязности.

Было поздно. Все в доме уже спали, когда Николай Львович решил пройти в гостиную просмотреть »Петербургские новости«, полученные сегодня с почтой, но которые за весь день ему так и не удалось развернуть.

Привычно быстро он стал скользить глазами по столбцам газеты, отыскивая нужное и интересное.

Вдруг он услышал шаги. Это шла Гальшка. Как хорошо знал он ее шаги! Только она могла так ходить: так легко, кокетливо-женственно и, вместе с тем, чуть вызывающе постукивая каблучками. Ее походку Николай Львович мог бы узнать из тысячи женщин.

Не замечая Николая Львовича, она вошла в гостиную и подошла к полке с книгами. Ей, верно, тоже не спалось, и она решила выбрать на ночь книгу поинтереснее.

На ней был легкий шелковый капотик, легко облегающий точеную фигуру. Волосы, как всегда на ночь, были спущены двумя косами. Длинные и тяжелые, они особенно подчеркивали хрупкость и стройность ее тела.

Увидев ее в таком откровенном наряде, Николай Львович притаился, боясь выдать свое присутствие. Сердце его забилось, и он плотоядно наблюдал, как она нагибалась, закидывала руки, от чего ее легкий капотик то натягивался, то чуть раскрывался, обнажая чудные формы, такие знакомые, волнующие.

— Ах! — тяжелым вздохом вдруг вырвалось у нее, когда она заметила Николая Львовича.

— Что ищешь? — приглушенно спросил он, чувствуя, что теряет самообладание, и что стоит ей только сделать шаг к нему, как он схватит ее в объятия.

И она сделала не один шаг, а подошла совсем близко.

— Вот, французский роман ... Ты читал?

— У тебя чудесный капотик, — тяжело пробормотал Николай Львович, вставая и, как лунатик, двигаясь ей навстречу.

— Это ... из Москвы ...

Последние слова она сказала в его губы, потому что он уже крепко обнимал ее.

— Я ненавижу, ненавижу тебя! Уйди! — кричал он через некоторое время, швыряя в нее ее красивым капотом: — Мне все время кажется, что ты каждый миг сравниваешь меня с тем ... негодяем: вот это был Виктор, а вот он — Николай ... Как это мучительно! Уйди!

— Зачем ты напрасно себя мучишь, Коля? Если хочешь, лучше опять избей меня, — говорила Гальшка: — Может быть, тогда тебе легче станет ...

— О-о-о ...

Схватившись за голову, Николай Львович бешенно бегал назад и вперед. Гальшка молча ушла к себе.

* *

На следующий день Николаю Львовичу было стыдно своей грубости, и он искал случая остаться с Гальшкой наедине, чтобы смягчить неприятный финал вчерашней ночи. Но Гальшка в течение целого дня, наоборот, как будто избегала его.

Вечером он, с газетой в руках, сел в гостиной в надежде, что Гальшка опять выйдет сюда. Он сидел напряженно, весь объятый одним желанием увидеть ее. Он опять чувствовал себя в плену своего тела, которое, наперекор рассудку, томилось и ждало одного: близости с Гальшкой.

Она долго не шла. Но вдруг он услышал ее шаги по коридору. Вот она вошла в столовую. Кажется, налила себе стакан воды. Вот пьет воду, ставит пустой стакан, сейчас уйдет ... Что-то подстегнуло Николая Львовича, и он бросился в столовую.

— Галь ... Тебе не спится? — спросил он, чтобы как-нибудь задержать ее.

— Да ... Спокойной ночи!

Едва взглянув на него, она направилась к двери. Николай Львович бросился через другую дверь и, пройдя коридор, пошел ей навстречу. Он встретил ее у самой спальни. Протянув в темноте руки, он коснулся сначала тонкого шелка

ее капота, а потом ощутил и все ее влекущее тело, послушно скользнувшее ему на грудь.

— Ты издеваешься надо мной, — проговорила Гальшка.

— Нет, нет! Но пойми меня, что я не могу иначе, я хочу делать тебе больно. Мне тогда легче . . . Я должен дать выход своим чувствам. Но без тебя я не могу . . . Не могу! — горячо шептал он, — я хочу, но не могу отказаться от тебя, освободиться от твоего ига. Мука моя!

* * *

Николай Львович уступил Гальшке и не встречался с Анастасией Николаевной.

Дни шли за днями, посеревшие, покрытые тоской. Николай Львович как-то сразу опять стал духовно тускнеть. Он как бы утратил способность думать отвлеченно, журнальная работа совсем не клеилась. Мысли вертелись лишь вокруг домашних дел. И опять он чувствовал в себе ту знакомую пустоту, что всегда, бывало, наполняла его и раньше, в бытность в Москве и Петербурге. Выходило так, что близость с Гальшкой рождала это ощущение. Признание этого факта и вызывало невыразимое страдание, поднимало со дна души хорошо, было, упрятанную тоску. Для него было совершенно очевидно, что за время разлуки с Гальшкой между ними еще выше выросла та стена, которая и раньше значительно мешала их духовному сближению, стена, построенная из различных интересов, разных привязанностей.

Отказавшись от встреч с Анастасией Николаевной, Николай Львович опять был духовно одинок и тем более понимал он, что несправедливо поступает с Анастасией Николаевной, с этой добрейшей женщиной, которая внесла в его жизнь то, чего он безнадежно искал в Гальшке.

И вот, в результате — безбрежная тоска, разлившаяся в груди. Тоска, от которой тускнел весь мир, убивалось всякое желание, и из-за которой отчетливее чувствовалось существование нервов в теле. Эта тоска и недовольство самим собой так захватили Николая Львовича, что он все чаще и чаще стал прибегать к опьянению себя коньяком.

По прежнему опыту он уже знал, что этот способ очень целесообразный. И по вечерам, когда в квартире уже не раздавалось беспокойного топотания Зайки, и Гальшка, объятая сном, тоже утихала в своей спальне, тогда Николай Львович начинал свои путешествия из кабинета в столо-

вую. Не один раз за длинную бессонную ночь он подходил к буфету и наливал себе душистого, крепкого нектара. Ощущение тоски притуплялось, ярче начинала работать мысль. Возбужденно ходя взад и вперед по линии кабинет-гостиная-столовая, Николай Львович опять, как бывало прежде, когда в его жизни еще не было его друга-Стаси, разговаривал с самим собой, анализируя и безбожно себя критикуя.

— Мразь! Я — мразь. Пренебрег чуткой, душевной женщиной ради кроватной любви. И что за дьявольская сила в этой Гальшке? Почему я не могу справиться с ее плотской властью надо мной? ... Живительный нектар! — крутил он перед собой стакан с коньяком, — мой благодетель! Что ухмыляешься? Разве нет? Думаешь — путь твой скользкий, и я ... ну, как бы это сказать ... соскальзываю вниз, что ли ... Ну, и что же? А на дне-то, ведь, крупинки истины? Или — нет? Думаешь сказать — на дне вонючий ил? Ну, и пусть! А может быть, я этого-то и хочу? Хочу зарыться в этот вонючий ил головой, чтоб навсегда покончить со всеми такими напыщенными понятиями, как »совесть«, »честность«, »мораль« и прочее и прочее. Ни к чему мне этот аристократизм! Мне тяжело с грузом этих нежизненных понятий, которые, чорт знает для чего, мой добрый родитель посеял в моем мозгу, отравив его. Я воспитан подонками, впитал в себя их отраву, туда мне и дорога ... Милая, добрая Стася! Простите меня! Ради Бога, простите! Я знаю, что вы понимаете меня, и даже вижу, как ласково улыбаются в ответ ваши добрые серые глаза. Знаю, что если я завтра приду к вам, вы не только без упрека встретите меня, но даже будете еще горячее целовать, как человека серьезно больного тяжелой болезнью. Вы, душевная, одна понимаете мою болезнь и не только сочувствуете, но и стараетесь помочь мне перенести ее. Моя добрая, маленькая! Простите!...

* * *

В то время как неторопливые дни уходили в серую мглу, Николай Львович однажды вспомнил, что у Анастасии Николаевны осталась часть его работы, которую она переписывала. Не вспоминал об этом раньше потому лишь, что вообще и работать не хотелось. Вспомнив же, он радостно хлопнул себя по лбу:

— Вот почему у меня и настроения писать нет — не люблю не иметь на руках целого. Читаешь отдельные ку-

сочки, и так отрывочно, отдельными разбросанными кусками, они и ложатся в голове, впечатления же целого не получается.

Возможность увидеться с Анастасией Николаевной окрылила его. Благовидный предлог для свидания послужил компромиссом с самим собой. Конечно, он мог бы послать Ивана Николаевича, этим давая ей понять, что вычеркивает ее из числа своих знакомых. Анастасия Николаевна, он был уверен, спокойно приняла бы это, не стала бы ни упрекать его, ни возмущаться, — просто смирилась бы с неизбежным. Но тогда под своим отношением к ней он окончательно должен был бы подписаться подлецом. Это было бы очень нехорошо. Не она ли так старательно переписывала его работу, заботилась о здоровье, занималась с Зайкой?

»Нет, я должен к ней пойти«, — решил он.

Но в душе он знал, что идет к ней не потому, что ее хорошее отношение вынуждает его к этому, а идет за тем теплом. что излучается от нее. Идет ощутить то чувство, о котором никогда между ними не говорилось, но которое глубоко ощущалось им. Раз познав, он уже чувствовал, что ему недостает той ласки, которую в неистощимом запасе хранила в себе эта маленькая женщина, и которой она щедро осыпала, заставляя его тихо, по-детски смеяться от радости быть обласканным.

И он пошел к ней. Но, чтобы не рождать подозрений у Гальшки, он пошел днем, — ведь, в конце концов, он шел только для того, чтобы взять свои бумаги . . .

Анастасия Николаевна очень обрадовалась, увидев его. Засыпая его поцелуями, она воскликнула:

— Боже! Никс-милый! Но какой же вы бледный стали, краше в гроб кладут! Я сейчас приготовлю шоколаду.

Николай Львович растерянно опустился на кушетку, где раньше, бывало, небрежно растянувшись, так приятно отдыхал, и проговорил:

— Знаете, Стася, я вам изменил . . .

— Я сразу так и подумала, как только вы вошли. Бедный вы мой! — сказала она, садясь с ним рядом и беря в руки его голову. Нежно поглаживая, она все приговаривала: »Бедный, бедный мой!« и все покрывала поцелуями его сразу просветлевшее от ласки лицо.

— Я не заслуживаю вас, Стася· Я гадкий, — говорил Николай Львович между поцелуями.

— Не говорите так, строго ответила она, — я скучала без вас до безобразия. О вас и о Заиньке . . . Как она?

— А вы думаете, что я не чувствовал вашего отсутствия? — возразил Николай Львович.—Вы знаете, что мне страшно холодно дома?

— Но вы, ведь, любите ее, Никс! Как же может быть холодно с человеком, которого любишь?

— Странная моя любовь. Порой я ненавижу Гальшку именно за то, что я ее люблю. И все же, люблю. И все же, с ней холодно, потому что чувства-то у нее ко мне нет, Стася. Ни супружеского, ни простого дружеского. Я это очень хорошо теперь выяснил. Она совершенно равнодушна ко мне. Вернулась только потому, что испугалась ударов судьбы. Потому-то и холодно с ней. Холодно и одиноко . . .

— Господи! Как же можно так? Ведь, так нельзя, Никс! Это ужасно! Вы, ведь, ради нее стольким жертвуете.

— Да, это верно. Жертвую многим, даже вами, Стася, хотя мне и очень страшно вас потерять, потерять ваше согревающее меня теплое чувство. Если бы вы знали, что я за вас цепляюсь, как за последнее, что есть в моей жизни хорошего! И если б вы тоже знали, как я вам благодарен.

— Милый, и я тоже.

Она взяла в руки его голову и прижала к своей груди.

— Ну, меня-то благодарить не за что. Я просто свинья по отношению к вам. Я ваш должник на всю жизнь, Стася. Никогда ничем я не смогу вам отплатить за ваше человеческое чувство ко мне.

— Ах, вы могли бы мне отплатить за все только тем, что дали б мне от вас ребенка. Это единственное, что я хотела бы, — тихо проронила Анастасия Николаевна, — больше ничего мне не нужно. Вы не могли бы сделать меня счастливее.

— Правда?

— Господи! Ну, конечно! Вот вы уже наполовину отошли от меня, скоро совсем уйдете к жене, а что же останется у меня, кроме воспоминаний?

— Я буду к вам приходить, — горячо сказал Николай Львович.

— Мне очень будет неприятно, когда вы из-за меня будете дома лгать.

— Бросьте. Как же иначе? Вся жизнь — ложь.

— Нет, нет! Это не так, Никс-милый! Ложь не есть необходимость. Можно скрывать то, что вы не хотите говорить, но лгать не надо.

Николай Львович помолчал, а потом сказал:

— Знаете, Стася, я часто думаю, действительно ли вы такая добродетельная, или же вы только кажетесь такой.

— Я пред вами не стала бы представать в ложном освещении, — тихо ответила Анастасия Николаевна, как бы задумавшись, — я слишком дорожу вашим мнением.

— Милая Стася! Да вы не смейте обижаться! Я, ведь, потому так сказал, что, искренне признаюсь, не встречал в своей жизни таких хороших людей, как вы.

— Да перестаньте вы! Совсем уж я не такая хорошая, чтоб об этом говорить.

— Нет, именно — сверхмерно хорошая, так что и не верится даже. И вот я все хожу и ощупываю и ощупываю вас со всех сторон, чтобы убедиться, что вы — реальность.

— Вы преувеличиваете, Никс-милый. Но это ничего, говорите, что хотите. У меня сегодня праздник, потому что вы пришли, и я готова вас слушать бесконечно· А уйдете вы — опять я останусь одна и буду лишь перебирать в памяти каждое сказанное вами слово.

— Стася, вы, ведь, меня . . .

Николай Львович хотел сказать: »любите«, но не договорил. Он встретился глазами с Анастасией Николаевной, и глазами же она ответила ему »да« — на его недосказанную фразу. Уста же ее, прижавшись к устам Николая Львовича, прошептали:

— Дай мне от себя ребенка:

Николай Львович привлек ее и на ее поцелуй ответил долгим, страстным.

* * *

Гальшка встретила его упреком:

— Ты опоздал к обеду. Я Зою уже накормила отдельно — думала, что с тобой что-нибудь случилось. Да и действительно, не случилось ли чего? Ты так бледен, под глазами мешки. Где ты был? Что делал?

— Бабочек ловил, — грубо ответил Николай Львович. Налив себе рюмку коньяку, он отказался от обеда и заперся в кабинете.

А ночью опять мерил длинными шагами расстояние от кабинета до столовой и время от времени согревал себя коньяком.

Спать в эту ночь он не мог.

Почему-то, ни с того — ни с сего, в голову все лез один случай в детстве, давно забытый, а теперь вдруг всплывший и будораживший возбужденный коньяком мозг.

Случай этот произошел с кошкой. С самой обыкновенной рыжей кошкой, у которой Николай Львович, как сейчас помнил, была белая грудка и белые кончики лапок, как будто на ней была надета манишка и митенки. И вот, кошка эта, в один из пьянящих мартовских дней, проводя время на крыше со своими сверстниками, каким-то образом упала в трубу широкой русской печи, которая топилась только раз в год, перед Пасхой.

Упала кошка и в течение нескольких дней неистово кричала. Потом она стала затихать, стала издавать едва слышное мяуканье и, в конце концов, совсем умолкла.

Ее отчаянное в [illegible] дни мяуканье страшно всех раздражало. Кошку искали, но никто не догадался посмотреть в печь. Так там она и издохла.

О ее падении узнали лишь через год, когда к Пасхе стали прочищать трубы. И тогда извлекли ее совершенно чистый костяк. Зрелище было жуткое.

И вот сегодня, в эту бессонную ночь, Николай Львович почему-то вспомнил трагическую смерть несчастного животного, и почему-то именно сегодня, спустя много-много лет, его стала грызть совесть. Ему казалось, что он чего-то не доделал и, если бы был повнимательнее, то мог бы спасти кошку. Он простить себе не мог, что не предпринял более серьезных шагов для ее розыска.

Сердясь теперь на свою недогадливость, Николай Львович снова подходил к буфету и опять наливал себе стаканчик коньяку.

— Нет, но, ведь, казалось бы, так просто: открой заслонку — и все. Так, ведь, нет — никто даже и не догадался до этого и дали бедной кошке умереть ужасной голодной смертью.

И хотя он понимал, что глупо сейчас мучиться этим вопросом, все же образ рыжей кошки с белой грудкой и белыми лапками, как бы в митенках, перемешиваясь с видом жуткого костяка, всплывал перед ним, и он не мог отделаться от этого образа.

— Что ты все ходишь? Мне надоело слушать твое мыканье взад и вперед, я спать хочу.

В дверях столовой стояла Гальшка. Николай Львович только что хотел налить себе коньяку, но, услышав за спиной голос, отставил почти уже пустую бутылку.

— Извините, Стася, я . . .

— Да ты пьян! — с ужасом проговорила Гальшка.

— Пьян? Извини, Гальшка.

— Да, теперь »Гальшка«, а сначала ты меня Стасей назвал.

— Ну, как же! Гальшка, конечно, Гальшка . . . Как же я мог тебя иначе назвать, как не »Гальшка« — моя Гальшка.

Он потянулся к ней.

— От тебя так и разит коньяком, — оттолкнула его Гальшка и прошла в спальню. Но Николай Львович пошел за ней и, не дав затворить дверь, вошел с ней в комнату.

— Уйди, ты пьян! — сердито повторила Гальшка.

— Ну, и что же? Ты еще меня не знаешь пьяного. А может быть, я пьяный лучше . . .

— Нет, этого не будет, — твердо ответила она.

— А если не понравилось, что я тебя »Стасей« назвал, так это пустяки. Я очень просто могу тебя назвать и Соней и Марусей . . . Имя тебе — легион. Ха-ха! Ну, что ты так дико на меня смотришь?

— Я требую хотя бы учтивости, — тихо сказала Гальшка, побледнев.

— Ну, какая же может быть учтивость у пьяного? А кроме того, что я пьян, я еще и негодяй. Конечно, ты к негодяям привыкла, тебя не удивишь. Ты говорила, что этот . . . твой хахаль, оказался негодяем. Так уж тебе везет . . . Если б я не был негодяем, вероятно, ты не променяла бы меня на него, — на негодяя с этикеткой »негодяй обыкновенный«.

— Может быть, ты лучше уйдешь к себе? Мне надоело тебя слушать. Ты никогда не говорил так много и так глупо.

— Я уйду. Но я еще не все сказал. Ты как-то меня просила оставить Стасю.

Николай Львович сделал паузу, которая была настолько длинной, что Гальшка не выдержала.

— Ну?

— Ну, и вот, — продолжал он, упершись спиной в дверь и широко расставив ноги, которые, от выпитого коньяку, переставали его слушаться, — и вот теперь я отвечу тебе на это: я ее не оставлю . . .

Опять наступила пауза. А потом Гальшка сказала:

— Ну, что же? Значит, ты любишь ее, а не меня, — вот и все.

— Нет, не потому, — возразил Николай Львович: — Есть две причины. Во-первых, она эротична. И даже, сама того не замечая, она развратна (так же, как и я), и потому . . . в ней есть этакое особое очарование . . . Ты напрасно поворачиваешься ко мне спиной. Уж извини за откровен-

ность, но... ведь, я сегодня пьян, а пьяному можно все говорить. Что же ждать от пьяного? Ведь, правда?

— Меня совсем не интересуют интимные подробности твоих отношений с этой женщиной. А если она так уж тебе нравится, так и иди к ней, а я уеду.

— Я понимаю тебя, но во-первых, я пьян...

— Брось повторять одно и то же: пьян, пьян...

— Ну, конечно, пьян. Но я не уйду, пока ты не выслушаешь меня до конца. Я еще не сказал второй причины, почему я не оставлю Стаси.

— Говори!

— Вторая причина — это та, что она меня любит... Конечно, я должен был бы поставить эту вторую причину первой, но... я этого не сделал, потому что я — негодяй и... вообще, дрянь!... Но я все же не в силах пренебречь ее любовью. Хотя, с другой стороны, казалось бы, что стоит негодяю, подобно мне, этим пренебречь?

Николай Львович вытянул вперед руку, как-то неопределенно пошевелил в воздухе пальцами, а потом продолжал:

— Видишь ли, и у негодяя бывает оборотная сторона. Она меня любит, это ясно... И знаешь, Гальшка, это для меня так страшно значительно. Меня, ведь, никто не любил и не будет любить. Ты меня любила страшно коротко и страшно мало... А она... Я никогда не предполагал, что меня можно на самом деле так любить. За что? Я тебе говорю откровенно. Конечно, я сегодня пьян... Впрочем, тебе не нравится, чтобы я это повторял — хорошо. Мне даже иногда не верится, и я... боюсь потерять ее, потому что знаю, что буду тогда опять одинок. А я познал тепло любви... И это... так хорошо, так хорошо, Гальшка... Я так не избалован женской лаской, что меня просто это... ну, как бы это сказать? Ну, поражает, что ли. Я раньше знал только любовь без взаимности. Но чтобы оказаться в другой комбинации: меня любят, а я... Гм... Я, кажется, начинаю трезветь. Пойду пропущу еще рюмочку: там что-то еще осталось, — сказал он и взялся за ручку двери.

— Коля! — предостерегающе крикнула Гальшка: — Не пей больше!

— Я сейчас вернусь, не беспокойся. Я еще тебе про кошку не рассказал, — сказал он, исчезая за дверью.

Но не прошло и минуты, как в столовой раздался грохот чего-то тяжелого.

»Что-то свалил спьяну«, — недовольно подумала Галь-

шка, направляясь в столовую, и вдруг с ужасом увидела Николая Львовича лежащим на полу. Раскрыв рот и страшно вращая глазами, он конвульсивно сжимал пальцы.

— Коля, Коля! — стала тормошить его за плечо Гальшка, но Николай Львович не пытался подняться. Гальшка бросилась в коридор.

— Иван Николаевич! Иван Николаевич! — испуганно закричала она.

Старый слуга, успев накинуть сюртук прямо поверх белья,явился на ее зов очень скоро· Он поднял стонущего Николая Львовича и на своих старчески-костлявых, но крепких руках перенес в гостиную, на диван.

— Доктора надо, — сказал он, расстегивая Николаю Львовичу ворот и освобождая грудь.

В доме поднялась суматоха. Все встали. Поднялась с постели даже француженка-няня. И только одна Зайка спала крепким невинным сном, не подозревая, что ее любимый папик находится в опасности.

Но когда пришел доктор, Николай Львович уже вполне пришел в себя.

— Это у него первый сердечный припадок? — спросил доктор.

— Не знаю . . . — неуверенно ответила Гальшка, вопросительно глядя на Ивана Николаевича.

— Никогда раньше не бывало, — ответил тот.

Доктор распорядился уложить больного поудобнее, прописал лекарство и полнейший покой на несколько недель. Причем подчеркнул, что покой этот надо понимать в полном смысле слова: не только никаких волнений и раздражений, но по возможности, даже и никаких разговоров, и, конечно, нельзя было ни читать, ни писать. Все, что оставалось Николаю Львовичу, это — думать, да и то, как сказал доктор, лучше было б просто бездумно лежать, отдав себя течению извне.

»Одним словом, — решил Николай Львович, — если превратиться в бесчувственное бревно, то можно, пожалуй, ручаться за выздоровление« . . .

* * *

Но Николай Львович сейчас и не стремился к активности. Во всем теле была такая слабость, что он, совсем по рецепту доктора, мог часами лежать с открытыми глазами и просто следить, как две мухи вяло, в каком-то забвении, безоста-

новочно кружились посредине комнаты. А устав от этого усыпляющего наблюдения, он закрывал глаза и дремал, пока у дверей не раздавалось знакомого топотанья маленьких, беспокойных ножек и неуверенно не просовывалась белокурая зайкина головка, с большими серьезными глазами. Удостоверившись, что отец не спит, Зайка радостно бросалась ему на грудь.

Она очень серьезно приняла болезнь отца, хорошо запомнила все, что говорил доктор, и в особенности запомнила новое для нее слово »режим«. Когда из аптеки принесли две бутылочки и поставили у изголовья больного, она тотчас же внимательно освидетельствовала их со всех сторон и деловито спросила мать:

— Это — режим?

— Это — лекарства.

»А где же режим? — беспокойно думала она, — доктор прописал, а »они« не дают. Определенно, в суматохе забыли.«

И все ходила за матерью и жалобно попискивала:

— Папику режим надо, мама.

— Да, да, я знаю, Зоя, отстань!

Наконец, не вытерпела и спросила прямо:

— Мама, когда же ты будешь давать папе режим? Доктор, ведь, прописал.

Тогда ей объяснили непонятное слово. Из этого объяснения ей особенно запомнился аккуратный прием лекарств. И по-взрослому стала она распоряжаться ими. Правда, сначала попробовала, было, уговорить отца выпить обе бутылочки сразу: лекарства выпиты — болезни нет. Но, оказывается, лекарства можно было пить только по капелькам, а то недолго и отравиться. (Этого еще не доставало, Боже мой!) Тогда, точно по часам, стала следить за их приемом сама. Если раньше она знала только свой час, когда нужно было идти спать, то теперь она уже изучила весь циферблат часов и через каждый час аккуратно приходила в кабинет отца и аккуратно отсчитывала нужные капли: один час одни, другой час — другие. И Боже упаси, если мать бралась за какие-нибудь из них на пять минут раньше: Зайка визжала на всю квартиру.

— Неправильно! Еще рано. Вы его у меня отравите!

И только когда в столовой часы отбивали один за другим удары, она, где бы ни находилась, стремглав неслась к отцу капать лекарство. Иногда минут по десять стояла у часов

и терпеливо ждала, чтобы большая стрелка, наконец, пришла на свое место. И только тогда старательно, до последней капли, вливала лекарство в рот Николаю Львовичу.

— Не очень невкусно? — Участливо спрашивала она потом.

— Ничего, пить можно, — улыбался Николай Львович.

Решила и сама попробовать на пальчик. Личико ее перекосилось гримаской, и с двойным сожалением она посмотрела на несчастного папика. И вдруг, охваченная геройским самоотвержением, предложила:

— Хочешь, я буду их пить сама, вместо тебя?

А потом пальчиком вымеряла на бутылочках, сколько еще больных дней в них осталось. Вед, как только последняя капля будет выпита, папка моментально должен будет вскочить с постели и здоровым голосом крикнуть:

— А ну-ка, зайченок, побежим к качелям!

Но в бутылочках так много помещалось этих капелек — не сосчитать маленькой белокурой головке. и она лишь с ненавистью косилась на длинные сигнатурки, как бы распущенные хвосты павлинов. Но покорившись судьбе, в конце концов, лишь поудобнее пристраивалась у изголовья отца и сидела тихо, совсем как большая. Так мама потребовала: сидеть — сиди, но не болтай без умолку. Сидела так до тех пор, пока сам Николай Львович не протягивал к ней руки.

— Иди поближе ко мне, Зайчик. Существо ты мое милое, бесценное, — говорил он, охотно подставляя свое лицо под поцелуи, от которых его больное, чуткое сердце на миг обливалось счастьем, как будто его обмахивала мягкая заячья лапка.

— Мы любим друг друга, правда? — шептал он на ухо своей любимице. — Существо мое!

И так сидели они, болтая о пустяках, пока не приходила Гальшка.

— Зоя, опять ты навалилась на отца! Ему тяжело.

С виноватым видом Зайка отскакивала. Она не хотела папе зла, но просто забывала о маминых наставлениях. И потому, когда через некоторое время Николай Львович опять звал ее: »Ну, иди сюда, Заинька! Мой маленький, родной человечек! Давай поговорим! Хочешь поразговаривать с папой?« — то она, в момент забыв наказ матери, тотчас же опять шла к нему и опять висела на его шее.

Иногда Николай Львович просил ее что-нибудь почитать вслух. Много присылали ему разных книг для отзыва и критики, по большей части, только что вышедшие новинки. Нетронутые, они укоризненной горкой возвышались на письменном столе. Николай Львович брал какую-нибудь из них и говорил:

— Почитай, Зайчик, мне вот это.

С серьезным видом, понимая принятую на себя ответственность, Зайка усаживалась поудобнее и добросовестно читала все подряд, лишь иногда, в очень трудных местах, переходя на чтение по слогам.

Николай Лвович приблизительно схватывал содержание, но больше любил смотреть, как во время чтения двигались детские губки, а в особенно трудных местах пошевеливался и носик. Смотрел и заливался чувством любви к своей дочке.

— Тр . . . тран . . . — старательно выводила она очень длинное слово.

— Транс-де-це . . . Транс-це-де . . . Трансдецельный, нет: транс-це-де . . .

Чуть не вспотев от усердия, Зайка останавливалась, скучными глазками смотрела в окно. Николай Львович не торопил. Отдохнув, она снова возвращалась к упрямому слову:

— Тра . . .

Николай Львович с улыбкой наблюдал за ее старанием и, в конце концов, ему делалось жаль девочку, и он подсказывал:

— Трансцендентальный.

Зайка долго с недоверием смотрела ему в рот, а потом медленно повторяла за ним непонятное слово, пока оно не выходило у нее легко.

— Ну, вот видишь, и справилась. Ах, и настойчивая же ты у меня! Умница.

Зайка довольно улыбалась, а потом, подумав немного, спрашивала:

— Папик, а зачем придумывают такие длинные слова?

— Действительно, деточка, ни к чему эти выдумки. Что может быть проще и понятнее коотерньких слов: да, нет, дай, иди, стой, туда, сюда . . . И просто и веско!

Зайка долго с недоверием смотрела на отца, а потом, поняв, что он шутит, швыряла книгу в сторону и бросалась его целовать. Ему было тяжело от навалившегося на него

тельца, но детские влажные губки так смешно ходили по его лицу, что было жаль отстранить девочку.

Но в кабинет входила Гальшка.

— Зоя, не дави папу! Сколько раз тебе надо говорить! Ты как раз легла ему на сердце. Уйди! На папе виснуть нельзя: он болен.

И ласка потухала, обрывались объятья, убегали к себе в детскую маленькие торопливые ножки.

* * *

Николай Львович едва выдержал в постели две недели. Уж очень томительно было бездумно лежать в заснувшей, с опущенными шторами, комнате и смотреть, как письменный стол все больше и больше перегружается делами.

В отсутствие Гальшки как-то заходила навестить его Анастасия Николаевна, которая разгрузила немного наваленную на столе почту, рассортировала газеты, журналы, кое-что взяв с собой, предполагая вчерне что-нибудь сделать сама. Но все же много еще оставалось нетронутым, ожидая выздоровления самого Николая Львовича.

Он был очень благодарен Анастасии Николаевне за посещение. Ему было приятно увидеть ее симпатичное, доброжелательное лицо, услышать грудной, с придыханиями голос, как будто она всегда спешила наговориться.

Николай Львович знал, что она пришла, извещенная Иваном Николаевичем. Но только не знал он, что приходила она также и для того, чтобы поделиться с ним своей радостью скоро стать матерью. Увидев его очень ослабевшим, она не решилась сказать ему эту новость, отложив сообщение до полного его выздоровления.

И Николай Львович не узнал того, что, может быть, совершенно переменило бы судьбу, но все же посещение Анастасии Николаевны освежило его. Она влила в его сонную, с приспущенными драпри, жизнь особый мягкий свет, внесла легкое тепло и что-то еще неосязаемое, но приятное и легкое, как первый солнечный день долгожданной весны.

И Николаю Львовичу от ее посещения стало на душе мягко, как будто Анастасия Николаевна выстелила ее нежным пухом. И уже без особой тоски стал смотреть он на свою всегда закрытую дверь, отделявшую его от живого мира, за которой слышен был лишь зайкин шопот и ее осторожное хождение на цыпочках.

* * *

— Нам лучше отсюда скорее уехать, — сказала как-то Гальшка, война кончилась . . . Давай, Коля, поедем назад в Москву!

Николай Львович ничего не ответил. Он смотрел на красивое лицо жены и сравнивал его с тем, что было несколько лет назад, которое ему так ласково улыбнулось, когда он увидел его в первый раз из окна гимназии. Лицо это сейчас возмужало в грехе, потеряло наивный, голубиный контур, но осталось попрежнему мило-призывным.

— Что ты на меня так пристально смотришь? — остановила его наблюдения Гальшка.

— Смотрю: та и не та . . . У тебя новые приемы, а . . . а глаза совсем, как у Зайки. Знаешь, я все же думаю, что мы, несмотря ни на что, навсегда связаны нашим ребенком. Это маленькое, верткое тельце, которое минуту тому назад висело у меня на шее, нас сроднило на всю жизнь. Правда! И знаешь, вот за то, что ты мне дала Зайку, за это чудесное существо, тобой подаренное, я готов тебе все простить . . . Все!

— Значит, едем в Москву? — быстро сообразила Гальшка, начинавшая уже основательно скучать в незнакомом маленьком городе, да еще и с больным мужем.

Но Николай Львович был сейчас углублен в философию отцовства, семейной жизни и не заметил радостной нотки в ее восклицении. И, не отвечая на ее вопрос, он продолжал:

— Иметь семью — большое счастье. И я назвал бы себя счастливым, если б . . . не стечение неблагоприятных обстоятельств. А ты, Гальшка, счастлива ли, что у нас есть дочка?

Гальшка молча кивнула головой.

— А помнишь, как ты ее не хотела? Ведь, это я тебя уговорил, вернее — потребовал, настоял, чтобы у нас был ребенок. А теперь это такое счастье иметь его! Я просто не представляю себе, как бы я жил без Зайки. И по правде сказать, я страшно тебе завидую, что ты, а не я, родил ее.

— Ну, уж ты договорился! — вставила Гальшка. — Ну, так, значит, едем в Москву. Да?

По лицу Николая Львовича пробежала гримаса.

— Я устал . . . Пожалуй, я сейчас немного сосну, — ответил он, закрывая глаза.

* *
*

— Ты идешь? — спросила Гальшка, входя в кабинет и видя Николая Львовича тщательно одетым, явно собравшимся куда-то идти.

Николай Львович нервно сложил на столе какие-то бумаги и ничего не ответил.

— Коля! Не ходи. Ты еще недостаточно оправился.

Она подошла и, как всегда, положила ему на плечи руки.

— Не пойдешь?

Николай Львович взял ее руки своими обеими и, крепко сжав их в кистях, снял с плеч.

— Ой, как больно сжал! — покривилась Гальшка: — И откуда берется такая силища? Как будто и тщедушненький такой, а так сдавил . . . А я думала, что ты еще болен, — говорила она, потирая руку об руку.

Сверкнув глазами, Николай Львович закусил губу.

— Хороший день сегодня, пойду прогуляться, — сказал он, выходя.

»Неужели я его ревную?« — спрашивала себя Гальшка после его ухода. Вспомнив, как, по ее просьбе, Николай Львович описал внешность Анастасии Николаевны — »курносая, довольно полная женщина, брюнетка со светлыми глазами . . . вообще, не блещет красотой« — Гальшка усмехнулась, но все же ей стало как-то не по себе. Какое-то новое чувство сдавило грудь. Не находя себе места, она решила тоже пройтись — стоял, действительно, прекрасный день, каких немного уже оставалось у скупой осени.

Взяв экипаж, Гальшка поехала до загородного парка. Здесь она вышла и машинально пошла по лужайке, куда ее однажды приводил Николай Львович. Тут недалеко, она знала, был обрыв, который был его любимым местом. Но она не пошла туда, а отойдя в гущу деревьев, нашла пенек и в тихом раздумье села. Это была ее уже не первая одинокая прогулка за время пребывания в Швейцарии. Она как будто стала заражаться от мужа стремлением к уединению и полюбила оставаться одна со своими мыслями.

Осенний день быстро клонился к концу, но она не спешила уходить. В дымке сумерек город вдали казался вялым, безжизненным, как будто состарившимся и потерявшим уже яркие краски, четкие очертания. Гальшка любовалась панорамой и вспоминала свой медовый месяц, шхеры Финляндии и то, как она тогда, вдвоем с любящим мужем, подолгу молча, бывало, стояла на краю какой-нибудь скалы. Они молчали потому, что их души пели, и было бы святотатственно нарушить то пение звуком человеческого

голоса, — то была песня без слов, потому что любовь не требует излияний.

И вспомнила Гальшка, как однажды Николай Львович, после одной из таких молчаливых сцен, вдруг встрепенулся, как бы освобождаясь от охвативших его любовных чар, и, всплеснув руками, воскликнул:

— Ах, Гальшка милая! Я совсем, ведь, и забыл тебе сказать!

— Что? — утомленная его жаркой любовью, вяло отозвалась тогда Гальшка.

— Не знаю, говорил ли я тебе, или нет?

— Ну, что?

— Что я люблю тебя...

— Нет, не говорил... В первый раз слышу.

— Ну, я так и знал, что забуду. Такой я рассеянный!

И рассмеявшись, они заключили друг друга в объятия.

И сейчас, много лет спустя, Гальшка все помнила тот задорный, молодой смех, который вырывался из их уст между поцелуями. Это было короткое, но сильное счастье.

Вспоминала Гальшка и то, как тогда же, стоя на самом краю скалы, Николай Львович с молодым задором говорил:

— Люблю бросать вызов жизни! Ведь, властелин я своей жизни или нет? Впрочем, извини, пожалуй, что и нет... Теперь ты, ты властительница моей жизни. Моя милая крошка, моя желанная, моя маленькая!

О, он умел для нее находить ласковые слова! Их было так много, что если бы она стала все записывать, то могла бы исписать несколько страниц.

Начинало темнеть. Надо было идти домой, чтобы не опоздать к ужину. Сама же она просила Николая Львовича не гулять долго.

Над городом то тут, то там уже начинали вспыхивать огоньки. Гальшка поднялась, чтобы идти, как вдруг сзади услышала голоса. Говорили по-русски. Кто-то пробирался через кусты прямо на нее. Гальшка остановилась.

Мужской голос сказал:

— Стася, а мы давно с вами здесь не были.

И в голосе этом Гальшка узнала своего мужа.

— Да, очень давно, — отвечал грудной женский голос, — и вы знаете, Никс-милый, о чем я еще соскучилась? — О парке.

Голос Анастасии Николаевны, торопливый, но, вместе с тем, отчетливый, больно забился в уши Гальшке.

— Можно как-нибудь и туда съездить, — ответил Николай Львович.

— Неудобно, Никс. Туда далеко ехать, и вас будут ждать дома. Опять придется лгать.

— Я уже давно весь изолгался. Когда это кончится — не знаю. Я думаю, что придется мне от вас уехать. Потому я и решил согодня повидаться с вами, чтобы вам это сказать.

— Я не уверена, но, может быть, это будет и лучше для вас. И хорошо, что вы мне об этом сказали . . . А вот я от вас что-то скрываю . . .

— Что же именно?

— Я совсем, было, уж собралась вам сказать, но вот вы сейчас сказали, что, может быть, уедете . . . Так, пожалуй, я пока вам не скажу, подожду . . . Как знать — может быть. вам, действительно, лучше будет уехать. Очень уж вам трудно, с вашим критическим отношением к самому себе. жить на две стороны.

— Нет, Стася, я всегда обожал в себе раздвоение. Вы знаете, я испытываю сладчайшее ощущение от сознания, что могу ломать себя надвое. Мне приятно находить в себе желание жить разными жизнями. Нравится выкапывать с самого дна таящиеся подсознательно инстинкты. Выкопать, претворить в жизнь, а потом посторонним зрителем посмотреть: а ну-ка, что из этого получилось? Во мне живет какое-то одно »я«, которое не особенно в ладах со всеми остальными »я«, меня населяющими, и которому, очевидно, доставляет удовольствие издеваться надо мной. Я знаю это, но, понимаете, испытываю несколько странное ощущение. Как, положим, гостеприимный хозяин чувствует себя обязанным быть, любезным с гостями так и я чувствую себя обязанным по отношению к этому злому »я«. Я делаю вид, что оно мне приятно, и нарочно покровительствую ему, сознательно поддерживая в себе зло. Мне, пожалуй, приятно себя терзать. Приятно слегка помучивать себя.

— Осторожно, осторожно! —вдруг закричала Анастасия Николаевна:–Вы так близко подошли к пропасти, что можете и свалиться.

— Да я уже давно падаю в нее . . . Зачем же вы держите меня? Какая вы смешная! Как будто ваша маленькая ручка может меня спасти! Но, впрочем, все же не убирайте ее: она такая добрая и такая теплая. Я в каждом вашем движении, в каждом слове вижу нежную заботу обо мне. Это, с одной стороны, трогает меня до чрезвычайности, а с другой —

вызывает сильный прилив жизни. У меня появляется желание прыгнуть отсюда вниз, или . . . зарычать от страсти.

Держа руку у груди, как бы стараясь удержать сильно колотившееся сердце, Гальшка стала осторожно обходить тропинку и пробираться к выходу.

* * *

Когда Николай Львович вернулся домой, в квартире было темно и тихо.

»Опоздал . . . Зайка уже спит« . . .

Он зашел в детскую, заглянул на спавшую девочку, проверил одеяла, шторы, попробовал отопление: ему показалось, что в комнате слишком тепло. Затем он прошел по всем комнатам, стараясь отыскать Гальшку (ведь, он опоздал к ужину), но Гальшки нигде не было.

— Иван Николаевич, — позвал он лакея, — зажгите лампы. Почему везде такая темнота?

— Галина Александровна не велели зажигать.

— А где она? Разве ее нет дома?

— Нет, наверно, они дома.

— Что за диво! Да, ведь, ее нигде нет.

— Я тут, — раздалось из угла гостиной.

— Гальшка! А я тебя везде ищу. Что ты тут делаешь в темноте? Мечтаешь?

Гальшка не ответила. Она сидела в углу, между дверью и окном. Маленькая, жалкая.

— Почему ты такая тихая? — участливо подошел к ней Николай Львович и взял за руку. На глазах Гальшки были слезы.

— Что с тобой? Опять плачешь? Ты стала часто плакать за последнее время.

Она молча покачала головой, а слезы безотчетно потекли по щекам и закапали на белую, в прошивках, блузку. Одна слезинка капнула на руку Николая Львовича, горячая, серьезная.

— Гальшка! — Николай Львович был в прекрасном настроении. Сегодня он окончательно чувствовал себя опять здоровым, полным жизни, и вдруг . . .

— Гальшка! — укоризненно повторил он, присаживаясь напротив.

При виде подергивающихся милых губ, у него защемило сердце. Довольный собой, сегодня он с трудом выносил эти слезы. Он погладил Гальшку по руке.

— В чем дело?

Чувство довольства жизнью разом соскочило с него при виде непонятных страданий этой близкой ему женщины.

— Что же ты все молчишь?

Гальшка лишь опять покачала головой.

— Ну, тогда пойдем ужинать, — решительно предложил он.

Они пошли в столовую. Николай Львович всматривался в лицо Гальшки, стараясь разгадать, что мучит ее, но ничего не мог понять. Молча сидели они за столом, и лишь слышно было редкое касание вилок о тарелки да степенное тиканье стенных часов.

— В газетах пишут, что в Москве все еще не изжиты забастовки.

— Да...

— Что ты смотришь на меня так пристально? — спросил, наконец, Николай Львович, заметив ее взгляд.

— Я хочу тебе сказать, что больше сносить унижений не буду. Если тебе нужна твоя Настя, потому что она... потому что она заставляет тебя рычать от страсти, то я лишняя во всей этой затее.

Лицо Николая Львовича разом побледнело, а глаза, смотревшие на Гальшку, начали суживаться и тускнеть.

— Ха-ха-ха! — откинувшись на спинку стула, вдруг раскатилась Гальшка нервным смехом.

Проглотив застрявший в горле кусок, Николай Львович закрыл руками лицо.

— Что ты еще знаешь? тихо спросил он.

— Я не пришла к обрыву, чтобы подслушивать ваши интимные разговоры: это вышло случайно, — развязно говорила Гальшка. — И я не оставалась до конца действия, а прослушала только первый акт. Оставаться дольше я была не в силах.

— Я вообще не играл с тобой втемную, но... все же я сейчас чувствую, как будто прошелся без штанов по площади.

— Сочувствую, — съиронизировала Гальшка.

Бросив на стол салфетку, Николай Львович, шатаясь, прошел к себе в кабинет.

Гальшка сразу стала серьезной после его ухода.

»Он так побледнел, — не случилось бы опять чего с сердцем«.

— Коля, Коля! Пожайлуйста, не запирайся! Оставь дверь отпертой.

Она вошла в его кабинет.

Николай Львович пытался накапать сердечных капель, но руки его так дрожали, что из пузырька лилось, а не капало.

— Давай, я тебе накапаю.

— Спасибо.

— Ты плохо себя чувствуешь? — участливо спросила она, уже сожалея о колком разговоре.

— Неважно. Позвони Ивану Николаевичу — пусть придет меня раздеть.

Когда, через некоторое время, суровый Иван Николаевич выходил из кабинета, Гальшка бросилась к нему.

— Что вы думаете, Иван Николаевич? Не позвать ли доктора?

— Не надо, — не глядя, сердито махнул он рукой:-Только оставьте его в покое.

* *

На следующе утро Николай Львович вышел к завтраку с холодным потухшим лицом, глаза его были пусты. Губы крепко сжаты, и сильнее вдавались складки вокруг сурового рта.

— Ну-с, так как же, Гальшка? Когда в Москву едем? — спросил он.

От недоумения Гальшка широко раскрыла глаза.

— Ты как будто не поняла меня. Да, я говорю, в Москву. Ведь, ты сама же просила меня об этом. Ну, так вот — я готов ехать. Хоть завтра.

— Почему же? Ведь, ты . . . — растерялась Гальшка, — ведь, ты как будто не хотел . . . Ты отказался . . . Я не понимаю.

— Тогда отказался, а сейчас повторяю: едем в Москву.

Николай Львович придвинул свой стул ближе к жене.

— Я бросаю здесь все, как есть, и еду с тобой, Гальшка, только потому, что ты этого хочешь. Все, что здесь есть для меня ценного, я оставляю ради тебя. Поняла? Если хочешь, я оформлю свою мысль так: я все приношу тебе в жертву и очень надеюсь, что ты понимаешь, насколько серьезен для меня этот шаг. Мы можем на днях же отсюда уехать. И даже чем скорее, — тем лучше, в конце концов.

Николай Львович встал и нервно прошелся по комнате.

— Я сейчас пошлю телеграмму в »Русское Благо«. Зайке надо купить шубку. Попрошу Ивана Николаевича сегодня же сходить купить билеты . . . Ах, да! Ты еще не дала мне

своего согласия, — прервал он сам себя, — едешь ты или нет?

Он выжидательно остановился перед женой.

— Еду, — тихо проронила она.

— Вот и прекрасно, — деланно громко сказал он, как будто хотел подбодрить самого себя.

— Но как же, Коля . . . Что ты скажешь »ей«?

— Что скажу? Что именно тебя беспокоит? А впрочем, ты сейчас узнаешь.

Он сел к письменному столу и написал:

»Милая Стася! Я больше к вам не зайду. Послезавтра я уезжаю с женой в Москву. Думаю, что так будет лучше. Если хотите придти на вокзал, я буду вам благодарен за вашу последнюю улыбку. Я сообщу через Ивана Николаевича, в котором часу я уезжаю. Будьте счастливы! Прощайте!«

С деревянным лицом Николай Львович подал письмо Гальшке.

— Распорядись, чтобы письмо передали по назначению сегодня же.

Не отрываяась от папиросы, Николай Львович начал быстро и широко шагать по комнате.

— Вот, — через большую паузу, наконец, сказал он, — учись, как надо швыряться лучшими человеческими чувствами. Впрочем, именно ты-то меня этому и учишь.

Он опустился перед Гальшкой на колени и взял ее руку.

— Гальцука! Нехорошая моя! Для меня нет ничего дороже тебя, и, как видишь, я топчу чувство хорошей доброй женщины, потому что вижу, что нельзя так все оставить: для тебя это не жизнь. Я понял, как ты перестрадала за это время. Больше я не могу видеть твоих заплаканных глаз, твоего унижения. Сегодня ночью я о многом передумал. Да, я приношу тебе в жертву единственную любовь. Жестоко по отношению к ней, но так надо . . . Это — моя последняя жертва для тебя. Собственно, я не должен был бы говорить этого тебе, но говорю потому, что боюсь, что ты не оценишь этой жертвы, потому что . . . не любишь меня . . . не поймешь! Но, повторяю, я не могу больше видеть тебя униженной. Для меня всего дороже твое самочувствие. Довольно играть в прятки: я люблю тебя, Гуль!

Николай Львович наклонился к ее руке и долго не отрывался от этой нежной и жестокой руки.

* * *

На вокзале было людно и весело. Было много экскурсантов и просто путешествуюших. Интернациональная толпа пестрела нарядами и шумела разнородыми языками. Было много красивых женщин, много цветов, поцелуев, но нигде не видно было слез.

Зайка ходила с Иваном Николаевичем по перрону, все рассматривала и на все требовала у мрачного и неразговорчивого лакея объяснения.

Николай Львович с крепко сдвинутыми бровями, съежившийся, нервно обшаривал глазами входящую публику.

— Извини, Гальшка, — вдруг сказал он, — разреши мне оставить тебя на несколько минут.

И пошел навстречу быстро идущей Анастасии Николаевне.

Она сегодня была продуманно одета, в новой, к лицу, шляпке, из-под которой на Николая Львовича глянули удивленные, но, как всегда, добрые глаза. Он сразу почувствовал себя виноватым и, схватив ее руки, без слов, молча сжал их.

— Как я рада вас видеть, Никс, — сказала Анастасия Николаевна: — Рада, что вы разрешили... придти мне на вокзал... Ну , ну, не смотрите же так дико на меня, скажите что-нибудь, друг мой, мой хороший!

Справившись, наконец, с шаром, подкатившим к горлу и душившим его, Николай Львович хрипло сказал:

— Идемте!

И взяв Анастасию Николаевну под руку, он увел ее в толпу.

— Что? Что вы сказали? Я не расслышала. Вы будете мне писать?

— Стася! Мне будет очень тяжело без вас. Знаете ли вы это и верите ли?

— Боже! Как же я могу не верить вам! То есть, я хотела сказать: я всегда во всем верила вам. Вы всегда были так откровенны и так правдивы со мной. У меня нет причины вам не верить. И я знаю, что раз вы так говорите, значит, так оно и есть.

Николай Львович крепко держал ее руки в своих, а тяжесть, безумная, неудержимая, давила грудь.

— Я думал, что поступаю правильно, но сейчас я не уверен. Нужно ли это? Может быть, не надо было б... Может быть, я не прав... Скажите, Стася!... Скажите, и я сейчас же останусь.

— Никс! Я думаю... :вы правы. Поезжайте...

— То есть, я безусловно не прав по отношению к вам, Стася. Но так уж сложились обстоятельства, что я должен был быть не прав или к ней, или к вам. Я выбрал последнее ... Простите меня! Но я так уверен, что вы меня поймете и простите. Вы умнее, сильнее ... Поймите, что я часто не хочу того, что делаю, но меня, как перекати-поле, судьба несет, куда хочет. Что-то злое и несраведливое есть в моей судьбе. Может быть, я не искупил еще своего преступления — потому. Недостачно страдал. Я начинаю верить в это. Вы сами подали мне эту мысль. Может быть, все же не надо было убивать ... Стася! Я никогда не забуду вас. Никогда! Вы так много сделали для меня, а я ... в благодарность за все доброе, хорошее, — видите, как поступаю с вами. Может быть, и этот мой шаг будет ошибочен — не знаю, но так продолжать нельзя было. Я очень, очень вам благодарен за все, Стася!

Он значительно поцеловал ей руку.

— Не надо благодарить, не надо. Мы с вами квиты: за хорошее я получала хорошее. Я только хочу сказать ... Ах, у нас так мало времени! ... Там у меня остались ваши вещи: туфли, еще что-то ... Что мне с ними делать? Переслать вам?

— Стася! Зачем это? Зачем вы об этом говорите! Делайте с вещами, что хочите: выбросьте, оставьте себе на память, ну ...

— Нет, нет! ... Я не то ... не то хотела сказать. Никс! Я хотела сказать, что если вам будет ... ну ... плохо или что-нибудь еще ... вспомните обо мне!Я всегда буду вас ждать и ... всегда буду вас любить. Никогда не перестану. Может быть, мне не следовало бы говорить вам этого сейчас на дорогу, но ... у нас так мало времени. А может быть, это даже поднимет в вас дух. Помните обо мне, как об »*SOS*«. Хорошо? Будете?

— Милая вы!

Николай Львович с каким-то благоговением опять поцеловал ее руку.

— Вы что-то хотели сказать мне при последней встрече и забыли.

— Нет, Никс! Я не забыла, но сейчас я не скажу. Я вам лучше напишу. Если б вы остались здесь, то я сказала бы, но раз вы решили ехать, то лучше не говорить. Помните, — ведь, я так и сказала вам? Помните? Ну, так вот: секрет остается со мной. Он очень-очень маленький ... Но только знайте, что я страшно счастлива была с вами.

и даже сейчас, когда вы уезжаете, я . . . остаюсь осчастливленной вами.

Николай Львович не понял намека и сказал:

— Не поминайте вы меня лихом! Будьте счастливы! Может быть, мы когда-нибудь и увидимся . . . Только вот я хотел вас попросить об одном . . .

— Что, милый?

— Может быть, вы меня перекрестите? Помните, как однажды вы меня перекрестили? Так хорошо было потом...

— Да, да! Я сама это сделала бы. Но только я думала, что, может быть, вам будет неприятно, и я хотела сделать это за вашей спиной. Но если вы сами . . . Да хранит вас Господь! Во имя Отца и Сына и Святяго Духа! — перекрестила она его.

— Спасибо. Я, ведь, грешник. Помните, я говорил вам, что с вами — Бог, а с ней — дьявол. Я выбрал путь греховный, потому что меня тянет к плохому, оно мне свое. А ваше хорошее, хотя и приятно, но оно мне — чужое. Иногда мне казалось, что в вас есть что-то греховное, как и у меня, и так бывал рад . . . но потом я убеждался, что ошибался, что ваши добрые качества у вас превалируют. Зачем вы такая добрая?

— Не знаю, не знаю, милый. Может быть, потому что я вас люблю.

— Если бы вы не были такой чрезмерно хорошей, может быть, я остался бы с вами. За последнее время я плохо сплю по ночам. Не сплю и думаю . . . И вот пришел к окончательному убеждению, что как я ни стараюсь идти в ногу с добром, я сбиваюсь с колеи и все норовлю шмыгнуть в сторону, где бурьян, крапива, колючки . . . Мне не по пути с высокими понятиями. Как ни стараюсь, а чувствую, что все порочное, злое куда как приятнее. Это потому, что в корне-то я грешник, а все хорошее во мне — только оправа . . . Ах, второй звонок! Я вам наговорил в последнюю минуту так много несуразно-глупого, ненужного. Простите!

— Нет, нет! Все хорошо! Да хранит вас Бог!

— Прощайте!

Николай Львович еще раз перецеловал ее руки.

— Прощайте!

* * *

В поезде Николай Львович почти не отрывался от Зайки. В возне с ней, в осязании ее тельца он как бы хотел забыть

себя, отвлечься от своих мыслей, и то просто тормошил ее, то играл с ней в примитивную карточную игру »пьяницу«. Зайка, от досады, что несколько раз подрял оставалась »пьяницей«, разревелась. Она была уверена, что отец видит все карты насквозь, и в реванш предлагала партию в бирюльки, в которой считала себя знатоком. Но игра эта, из-за тряски в вагоне, не клеилась, да и душно становилось. Николаю Львовичу не сиделось. Он выходил в коридор, смотрел вдаль, на покидаемые горы, к которым так привык за последнее время. Вспоминал, что совсем тут, недалеко, где-то в Шварцвальде, умирает великий Чехов. Чтобы в последний раз глубже упиться водухом, он открывал окно, но, боясь простудить Зайку, тотчас же опять закрывал его и своим беспокойством раздражал Гальшку, которая вообще всегда чувствовала себя плохо в дороге. Тогда он выходил на площадку и смотрел на убегающие пейзажи.

»Вот опять и опять судьба несет меня куда-то, — думал он: Хочу ли я ехать? Нет, еду потому только, что так нужно. Что-то, сильнее меня, наперекор моей воле, толкает и несет — все вперед, вперед... Безостановочно, упорно... Куда же я причалю теперь? И есть ли вообще для меня пристань?«

*

*

Не доезжая до Москвы, Николай Львович должен был слезть с поезда и заехать к редактору »Русского блага«, который жил поблизости, в своем имении.

В ответ на посланную Николаем Львовичем телеграмму, он очень любезно пригласил его к себе в имение для переговоров. Николай Львович знал, что теперь, при переезде в Москву, ему опять нужно будет много денег, и потому решился опять запрячь себя в изнурительную, отнимающую все силы, журнальную работу. Предложение сотрудничества в толстом журнале, собственно говоря, было бы исполнением давнишней его мечты, если бы эта работа протекала спокойно, согласно настроению. Принятие же на себя определенного обязательства уже отравляло всю мечту. И поэтому он ехал к редактору со стесненным сердцем.

Кроме того, всякое знакомство с новыми людьми вызывало у Николая Львовича чувство стеснения. Светского лоска у него никогда не было, после же того, как он прожил затворником около двух лет, почти совсем изолированным от людей, он и совсем одичал и чувствовал себя гимнази-

стом, который не знает, куда деть руки, как поставить ноги. Он также все время помнил, что имеет дело с известным писателем, от которого, к тому же, зависит его материальное будущее. Все эти причины и отравляли это свидание.

»Коротенько переговорить об услових и — распрощаться«, — думал Николай Львович на пороге старого, утопающего в зелени, имения.

Деловой разговор, действительно, не отнял много времени, но, тем не менее, Николай Львович прогостил у редактора целых два дня. Редактор оказался очень гостеприимным и приятным господином. К тому же, ему было очень интересно побеседовать с человеком, только что вернувшимся из Европы, и он явно старался задержать у себя Николая Львовича. Он водил гостя по окрестностям, знакомил его с живописными местечками, причем прогулки они совершали или пешком, или верхом на лошадях.

Русская природа, после заграницы, была приятна Николаю Львовичу своей натуральностью и свежестью, и он мог бы даже наслаждаться ею, если б был среди нее один, но, сопровождаемый известным, но все же малознакомым человеком, Николай Львович чувствовал себя натянуто.

Во всяком случае, он был очень рад покинуть гостеприимное имение редактора и скорей выехать в Москву. За эти два дня он до боли успел соскучиться о Зайке· И думая о ней, он прямо с вокзала, прежде всего, заехал к Эйнем за конфетами, — взял коробку миньона для Гальшки и марципанов для Зайчишки.

*
*

Сердце его защемило, когда он входил в дом, из которого два года назад уехал, оставляя в нем так много тяжелых переживаний.

Высокая лестница, устланная мягким ковром, говорила о многих шагах — правильных и неверных, твердых и шатких.

— Зайчище! — наперекор настроению, с задором крикнул он, входя в квартиру: - Где ты? Иди встречать папку!

— Коля! Зоя гуляет во дворе, — раздался из гостиной голос Гальшки. И голос этот был холодный и несколько деланный, как будто в гостиной был кто-то чужой. Николай Львович настороженно вошел.

— Здравствуй . . . Гальшка . . .

С дивана навстречу ему поднялся Виктор Павлович Антонов. Николай Львович на секунду остолбенел и чуть не выронил на пол коробок с конфетами. Кровь бросилась в лицо и, едва сдерживая себя от нахлынувшего озлобления, он сквозь сжатые зубы процедил:

— Вам что здесь нужно?

— Я пришел по небольшому делу к Галине Александровне . . . — начал, было, Антонов.

— Вон! — вне себя, крикнул Николай Львович, подступая к нему.

— Прошу без оскорбления. Я вам не даю для этого повода . . .

Но Николай Львович в следующую же минуту, бросив конфеты на рояль, ударил его по лицу.

— Коля! Коля! — вмешалась Гальшка: — Виктор Павлович зашел совершенно случайно, узнав о моем . . . о нашем приезде . . .

— Вон! Вон! А то убью! — орал Николай Львович.

— Вы будете отвечать за оскорбление, — проговорил Антонов, ретируясь, не дожидаясь дальнейших осложнений.

— Коля! Коля! Успекойся! Ты не прав! — вцепилась в рукав Николая Львовича Гальшка.

Не отдавая себе отчета, он замахнулся на нее. Гальшка инстинктивно защитилась рукой, но Николай Львович уже опустил руку.

— Нестоющая дрянь! — со смаком бросил он. Но вдруг гримаса прошла по его лицу, он прислонился к притолоке и на минуту закрыл глаза.

— Коля! — подошла к нему Гальшка, — тебе плохо?

— Нет, нет, — глухо шептал он, мотая головой, — мне хорошо, мне очень хорошо . . .

— Сам себя из-за ничего расстраиваешь. Пойми, что ты не прав! Ты совсем напрасно напал на человека. Он решительно ничего не хотел . . . Ему только и нужно было узнать у меня . . .

— Старое, опять все старое! Ложь и ложь!

Оторвавшись от двери, он, пересиливая себя, крикнул:

— Ведь, я знал! Знал, что так будет! Только не знал, что так скоро . . . И как мог я хоть на минуту тебе поверить и дать разыграть из себя дурака! Как я мог! Не выдержала и двух дней. Не ждала, значит, сегодня. Но как я мог, как мог . . .

— Пойми же, Коля! Выслушай же ты меня, наконец, — вставила Гальшка: — Он не знал, что мы приехали вдвоем. Пришел — я все ему рассказала, и он через минуту ушел бы сам, без всякого скандала.

— А потом опять вернулся бы.

— Нет, ушел бы навсегда. Честное слово!

— Не верю!

— Честное же слово!

— Нет у тебя чести. Ты вся насквозь пропитана ложью. Настолько пропитана, что бессознательно лжешь даже тогда, когда думаешь, что говоришь правду.

Вдруг что-то застелило ему глаза. Черная стена на момент встала между ним и Гальшкой и разделила их. Сердце сдавило болью. Николай Львович провел рукой по глазам — черная стена исчезла, но в сердце еще оставалось ощущение царапины. Один, опять один . . .

И вдруг перед ним предстал образ маленькой женщины, оставленной в Швейцарии. »Помните обо мне, как об »SOS«. Я всегда буду вас ждать«, — говорила она, провожая его.

— Иван Николаевич! — крикнул Николай Львович, — Иван Николаевич! Зайку! Зайку! Чемоданы! Сейчас же едем отсюда!

— Сейчас бегу за девочкой, — с готовностью ответил Иван Николаевич, напуганный его криком.

— Коля! Опомнись! Что ты делаешь? Коля!

— Предательство, предательство! Ехать! Куда-нибудь! — повторял Николай Львович, носясь из комнаты в комнату и суя в чемоданы какие-то вещи.

Схватив за руку ничего не понимающую Зайку, он, сопровождаемый своим верным старым слугой, как полоумный, выбежал на лестницу.

— Коля! Умоляю! Я ни в чем не виновата. Вернись! Честное же слово! Клянусь нашей девочкой! . . .

И упав на колени, Гальшка зарыдала перед захлопнувшейся парадной дверью.

* * *

Придерживая тоненькую ниточку, которая еще связывала тело с рассудком и которая, казалось, вот-вот порвется, Николай Львович бегал по вокзалу, бросаясь то в кассу, то в телеграф.

— Папка! Стра-а-шно! — хныкала Зайка, все порываясь вырваться из цепких рук не отпускавшего ее от себя Ивана Николаевича.

— Господи! Господи! — шептал про себя старик, — не на радость мы выехали из Швейцарии. Помилуй нас Господь! Да стой же ты на месте, неугомонная! — обращался он к Зайке, — сейчас придет отец. Видишь, телеграмму посылает.

— Зачем? Кому? Не хочу! Папик! . . .

»Еду к вам. Никс«, — перечел еще раз Николай Львович телеграмму и поставил фамилию и адрес Анастасии Николаевны.

— Поезд отходит через двадцать минут, — говорил он, безумными глазами блуждая вокруг, — куда же мы денемся сейчас?

— Да посидите вы, Николай Львович, — упрашивал его старик.

Но Николай Львович был настолько взвинчен, что ни минуты не мог оставаться на месте. Казалось, что какая-то злая энергия швыряла им из стороны в сторону. И он все бегал и бегал: то за шоколадками для Зайки, то за газетами, которые тут же складывал в карман, не читая.

И бегая так по перрону, он вдруг вспомнил себя маленьким, всеми брошенным и никому не нужным мальчиком Колей, который ходит по чужим дворам в поисках приюта и остатков пищи. Его отовсюду гоняют, но он лишь поворачивается и идет к другим соседям, в надежде что все же, может быть, найдется где- нибудь человек, который пожалеет его.

Это чувство брошенности и одиночества Николай Львович остро испытывал сейчас. Ему казалось, что сейчас, как и тогда, в детстве, он уходит из своего дома в поисках приюта у чужих.

»Так вот куда привела дорога дьявола, которую я предпочел, — ухмыльнулся он с горечью, — а сейчас поворачиваю в противоположную сторону, в сторону Стаси: с нею Бог. Но почему же мне так тоскливо при этой мысли? Да знаю же я, знаю — почему! Перед кем я сейчас лгу? Тоскливо мне и щемит у меня в груди потому . . . потому, что Стася для меня лишь только »SOS«. Ах, Гальшка, Гальшка! Зачем ты так? Ты, ведь, и сама погибнешь. Но спасти тебя, я, все равно, не могу. Все растоптано . . . Смердит . . . Всюду грязь . . . Уж очень, очень все нехорошо! Не могу . . . Или мне уж так суждено быть бездомным бродягой на всю жизнь, стать которым я когда-то мечтал в юности? Горячо мечтал об этом, а стал им совсем нечаянно, безвольно, в какой-то незарегистрированный момент, сам не отдавая себе

в том отчета. И вот брожу и брожу по миру, не находя в нем себе пристанища, как будто весь мир хлопнул предо мной парадной дверью«.

Вспомнив сцену с Антоновым, он почувствовал острое омерзение. Такое же, какое он испытал от плевка Володьки, — его предсмертного плевка в лицо. Николая Львовича передернуло.

»Нет, конечно, лучше всего бежать, бежать отсюда. От этой грязи, от мерзости. Нельзя выносить! И счастлив, что не могу выносить: значит, все же отец сильнее Корнелии... это — хорошо, хотя бы и теоретически. О, отец, я тебя не забыл! Это ты сейчас гонишь меня в неизвестность в поисках чего-нибудь более созвучного. Может быть, конечно, и там, куда я бегу, не будет мне покоя, но я просто не в силах здесь оставаться. Лучше идти в неизвестность, в неудовлетворенность, в новое разочарование, чем оставаться здесь. Сейчас мне необходимо движение. Я должен идти... Куда — все равно, лишь бы идти, лишь бы не стоять на месте. У меня все кипит внутри. Вперед же, вперед! Душно«...

Он вытер платком лицо. Но лицо было совершенно сухим и очень бледным. Он опять сделал несколько пробегов по перрону, не замечая, что толкает публику и что говорит вслух сам с собой.

— Вот где бездна-то! Вот она! Раскрывается, зияет дьявольской пастью с холодным каменным оскалом и хохочет пьяным гнусным смехом, володькиным смехом... О, если бы только знать, когда я упаду в эту бездну! Темная — надвигается, надвигается... Все ближе, ближе... Ах!

Мощный локомотив пассажирского поезда, раздвигая черной грудью себе дорогу, подходил к вокзалу.

* * *

Сев в поезд, Николай Львович сразу почувствовал разряд напряжения, в котором держал его сегодняшний день. Его охватило странное ощущение: как будто он от чего-то освобождался. Это освобождение началось с конечностей и стало двигаться к центру, к самому сердцу. И было это ощущение настолько незнакомым, новым, что стало жутко, и он крикнул, сам не зная почему:

— Зайка!

Это было его последним связным словом, а потом только бессмысленное бормотанье стало исходить из его искривленного рта.

Иван Николаевич до последней минуты держал в своих руках его голову, пока она, в последний раз кивнув жизни, не запрокинулась назад.

Еще не понимая случившегося, но подсознательно чувствуя что-то ужасное, Зайка дико закричала. Из соседних купэ вагона на крик сбежались пассажиры. Пришел вместе с другими и врач, случайно оказавшийся в поезде. Он констатировал смерть от паралича сердца.

С ближайшего пункта о происшедшем был извещен начальник станции, который, несмотря на все просьбы Ивана Николаевича разрешить довезти тело до ближайшего города, потребовал вынести труп на первой же остановке.

Тело Николая Львовича, обернутое простынями, вынесли из вагона на какой-то безымянной станции, на которой ничего, кроме жалко покосившегося станционного домика и водокачки, не было видно. Вслед за телом Николая Львовича, опустив на грудь седую голову, следовал без шапки сухой, подтянутый лакей, а из рук его, вся залитая слезами, вырывалась маленькая девочка.

— Папик! Папик! — неистово кричала она, отбиваясь от Ивана Николаевича. — Пустите! Пустите меня! Я к папику! Куда вы его несете? Па-а-а . . .

И не понимала она, что эта глухая безызвестная станция будет последним местом упокоения ее отца. Но видя, что все эти чужие и страшно официальные люди решили, во что бы то ни стало, отнять его от нее, она протестовала изо всех своих маленьких сил.

— Не смейте! Не смейте! Пустите меня к папке!

И неистовый детский плач, переходящий в визг, заглушал тщедушный звон бедного станционного колокола и мерное постукивание колес равнодушно уходящего на запад пассажирского поезда.

К о н е ц

